Л.Н. Киселева

Эстонско-русское культурное пространство

Викмо-М

Москва Русский путь 2018

УДК 929
ББК 63.3(2)6-4
К-44

ISBN 978-5-98454-045-2

Вступительная статья
А.С. Немзер

Художник
Е.В. Калашников

© Л.Н. Киселева, текст, 2018
А.С. Немзер, вступительная статья, 2018
© Оформление. ЗАО «Издательство “Русский путь”», 2018

Первое, что хочется сказать о книге профессора Тартуского университета Л.Н. Киселевой, — читать книгу эту очень интересно. Интерес тут троякий. Во-первых, увлекают конкретные историко-культурные и/или литературные сюжеты, что развертываются автором в пяти главах (при этом в главах второй и третьей каждый параграф одаривает читателя новой, словно бы самостоятельной историей). Тут равно важны материал (в изрядной мере либо знакомый только узким специалистам, либо прежде вовсе неизвестный, извлеченный из архивов и маргинальных печатных источников) и его истолкование, неотделимое от контекстуализации; соотнесение нового и «раритетного» с «ведомым всем». Во-вторых, захватывает свободное и непредсказуемое движение авторской мысли, отразившееся в мозаичной композиции книги. Переходя от главы к главе (а в иных случаях и от параграфа к параграфу), читатель может испытать что-то вроде недоумения: *почему мы сейчас оказались именно в этом историческом периоде? почему сейчас надо вникать в судьбу именно этого культурного героя?* Детективно-игровая окраска научного повествования не случайна, она органично связана с установкой на постоянную смену точек зрения, без которой, по мысли Л.Н. Киселевой, невозможно сколько-то адекватное описание любого культурного пространства, всегда гетерогенного, многоязычного, меняющегося, не равного себе. И в то же время остающегося собой, сохраняющего некоторые устойчивые черты, вдруг актуализирующего смыслы, что казались стертыми ходом времени. Тут-то и возникает «в-третьих, но далеко не в последнюю очередь». Чем дальше мы движемся по тексту Л.Н. Киселевой, тем больше ощущаем связность и плотность не только читаемой книги, но и ее объекта, тем большую *реальность* обретает воображаемое культурное пространство. В послесловии автор задается вопросом, насколько метафорично название предложенной читателю монографии. Прекрасно понимая, что всякая идеологическая, научная, поэтическая модель качественно отлична от того, что на обыденном языке именуется реальностью, Л.Н. Киселева ясно дает понять, что «эстонско-русское культурное пространство» не своевольная выдумка, но конкретный феномен, укорененный в истории, работающий сейчас и открытый будущему. Вдумчивый читатель должен договорить: после книги Л.Н. Киселевой феномен этот обрел б*о*льшую реальность.

Это, разумеется, не значит, что в книге рассказано все об эстонско-русских (эстонско-латышско-русско-немецких, балтийско-русско-европейских) культурных отношениях. Дело не в том, что нельзя объять необъятное (на-

рисовать «карту Англии в масштабе Англии»), но в установке на решение иной задачи. Относясь с глубоким интересом к опытам предшественников и работающих ныне коллег (историков, филологов, культурологов, социологов), скрупулезно учитывая их достижения, Л.Н. Киселева не стремится суммировать наработанное. Ей важно прочертить связи меж своими сюжетами, постоянно указывая на их открытость сюжетам иным — как уже получившим серьезную интерпретацию, так и ждущим истолкования, а то и едва мерцающим в сегодняшнем культурном поле. Как всякая подлинная научная работа, книга Л.Н. Киселевой стимулирует со-размышление, развитие частных положений, проекцию авторских решений на иные объекты (быть может, и не принадлежащие собственно эстонско-русскому культурному пространству) и, конечно, конструктивную полемику. Посвященная культуростроительному диалогу, книга Л.Н. Киселевой стимулирует его продолжение — на благо и эстонско-русскому культурному пространству, и отдельным культурам — в первую очередь русской и эстонской.

Глубоко закономерно, что монография Л.Н. Киселевой обрамлена главами об очень больших людях, безусловно особенно ярко воплощающих (хоть и весьма по-разному!) главный объект исследования на предпоследнем (позднесоветском) этапе его истории, — писателе Яане Кроссе и филологе (все же в первую очередь филологе!) Ю.М. Лотмане. Здесь необходимо напомнить, что при огромной значимости творчества Кросса для национального самосознания он никак не был писателем только для «внутреннего пользования». Достойно печального удивления, что в 1990-х гг. Кросс — вопреки ожиданиям многих и вроде бы благоприятной конъюнктуре — не получил Нобелевской премии. Но еще печальнее и удивительнее, что его сочинения ныне почти не публикуются в России, а имя писателя не упоминается в исследованиях «подсоветской» культуры и словесности 1970–80-х гг. Меж тем без учета быстро и хорошо переводившейся на русский язык прозы Кросса (как и прозы других писателей из союзных республик — например, Энна Ветемаа, Гранта Матевосяна или Отара Чиладзе) просто *невозможно* адекватно представить себе картину интеллектуальной жизни (духовных поисков) позднесоветской эры. Опираясь на собственный тогдашний опыт, смею утверждать, что «Императорский безумец», «Уход профессора Мартенса», «Имматрикуляция Михельсона» Кросса читались не менее напряженно и заинтересованно, чем исторические (и столь же отчетливо современные) романы Ю.В. Давыдова, Ю.В. Трифонова, Д.П. Балашова, Б.Ш. Окуджавы, исследования Н.Я. Эйдельмана, В.Э. Вацуро, Я.А. Гордина и, разумеется, Ю.М. Лотмана. Уверен, что и сейчас «Императорский безумец» — роман живой и насущно необходимый русской аудитории. Порукой тому — филигранный анализ этого многопланового и «ускользающего» от лобовых прочтений текста, предложенный Л.Н. Киселевой. Не менее впечатляет ее истолкование новеллы «Третьи горы» и пьесы «Трудная ночь доктора Карреля». Весьма важно, что, выявляя расхождения неомифологических модернистских (если не сказать — постмодернистских) текстов Кросса с историческими источниками, Л.Н. Киселева замечательно объясняет внутреннюю логику этих художественных решений. Нам открываются разом две «картины» — реконструируемая по документам и создаваемая творческой волей писателя; их наложение создает особый эффект: парадоксальным образом замысел автора не дискредитируется, но прирастает дополнительными смыслами.

Острое «эстонское» чувство Кросса оказывается сопряженным и с его всматриванием в историю России (в том числе позднесоветской), и с собственно течением имперской истории, строящим прихотливые судьбы незаурядных эстонцев. К примеру, одному из героев Кросса — художнику Йохану Келеру — посвящен раздел второй главы, основанный на найденных Л.Н. Киселевой архивных материалах. При свете точно истолкованной национальной мифологии Кросса мы объемнее видим и другие сюжеты второй главы, посвященной эстонскому национальному движению в имперском контексте. Помнится «запев» книги и там, где речь идет о совсем других материях. Так в очерках сторонних суждений об остзейских губерниях и — в особенности — о «ливонских Афинах», университетском Дерпте-Юрьеве-Тарту. Так в рассказе о невероятной (увы, в итоге весьма печальной) судьбе остзейского барона Е.Ф. Розена, дерзнувшего выступать адептом русской народности (в исторических драмах) и рафинированным европейским интеллектуалом (в путевых очерках).

Но важен для книги как целого не только «свет» Кросса, но и — никак не меньше! — «свет» Лотмана. «Свет» этот мы ощущаем буквально в каждом из очерков (независимо от того, есть ли ссылки на труды ученого). Так готовится финальное, глубоко закономерное, появление *учителя* — учителя и Л.Н. Киселевой, и многочисленных незаурядных гуманитариев (русских, эстонских, принадлежащих иным национально-культурным традициям), и бессчетного множества людей, что просто обучались в Тарту, читали книги и статьи Лотмана, видели его на экране телевизора. Сам объект книги (эстонско-русское культурное пространство) возникает под мощным воздействием Лотмана — историка литературы, теоретика культуры, университетского профессора, русского интеллигента, большая часть жизни которого прошла в Тарту. От Лотмана убежденность в диалогической природе культуры как таковой. От Лотмана пристальное внимание к так или иначе строящим культуру *разным* людям — разным не только по национальности, социальному статусу, убеждениям, интеллектуальному уровню, но и мере приметности или значимости для дня сегодняшнего. Л.Н. Киселевой по-настоящему интересны и Карамзин, и Ф.В. Булгарин, и возлюбленная Жуковского Маша Протасова, и всемирно известный хирург Н.И. Пирогов, и неудачник барон Розен, и авторы сугубо практических путеводителей по Дерпту, один из которых — Д.К. Зеленин — в будущем станет выдающимся этнографом, и публицисты и политики начала XX в., тщетно пытавшиеся

разрешить национальный вопрос, и основоположники эстонской словесности, Ф.Н. Руссов и Ф. Крейцвальд, и великий лингвист И.А. Бодуэн де Куртене, борьбе которого за языковую и культурную толерантность посвящен предельно актуальный очерк. Потому и о тех персонажах, что возникают в тексте по ходу дела, автор дает краткие, но емкие биографические справки, заставляющие вновь и вновь думать о поразительных скрещениях судеб и тотальном трагизме новейшей европейской истории. От Лотмана установка на фактическую точность и знание о том, что всякий факт требует рефлексии. От Лотмана соединение того, что мы называем научностью, с пафосом просвещения, приобщения к культурным (человеческим!) ценностям. Потому замыкающий книгу портрет Лотмана оказывается завораживающе убедительным. Тут одинаково важны три его составляющих — история кафедры Лотмана, рассказ о Лотмане-собеседнике, анализ Лотмановой философии семиосферы. В каждом из этих сюжетов так или иначе звучит «тартуская нота», более чем значимая и для героя (уроженца Петрограда, солдата Великой Отечественной войны, выпускника Ленинградского университета), и для с рождения живущей в Тарту Л.Н. Киселевой, и для того культурного пространства, которому посвящена ее книга.

Выше было сказано, что глава о Лотмане монографию замыкает. Этот непреложный факт, однако, требует сильной оговорки. Книга, которую написала Л.Н. Киселева, в высшей степени открытая. По ее прочтении возникает сильное желание немедленно перечитать Лотмана. И Кросса. И письма Маши Протасовой. И пьесы барона Розена (а заодно и прочую историческую драматургию 1830-х гг.). И этнографические очерки Булгарина (а заодно и его романы). И лишь мельком поминаемые в книге «ливонские» повести А.А. Бестужева и «дерптские» В.А. Соллогуба… Думаю, перечень этот можно длить и длить. Ибо, как всякое сильное высказывание, книга о русско-эстонском культурном пространстве выводит далеко за пределы своего объекта. Безусловно необходимая коллегам автора (историкам литературы и идеологии), книга эта может (и должна) быть прочитана и более широким кругом. Эстоноязычная версия работы Л.Н. Киселевой в конце минувшего года увидела свет в Тарту, стала доступной в одной части нашего общего культурного пространства. Отрадно, что теперь к этому насыщенному мыслью, артистично написанному, исполненному благородства, а потому — крепящему дух труду могут приобщиться и русские читатели.

А.С. Немзер,
ординарный профессор НИУ «Высшая школа экономики»

ЭСТОНСКО-РУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эту книгу можно в определенном смысле назвать автобиографической, поскольку она рассказывает о том культурном пространстве, которое сформировало ее автора. Исследователю всегда трудно отделить себя, свой субъективный взгляд от изучаемого объекта, встать над материалом, чтобы быть в состоянии анализировать его с максимальной беспристрастностью. Однако бывают ситуации, когда нахождение внутри объекта дает некоторые преимущества для его осмысления. Так что эта книга является результатом пересечения личного и научного опытов, исследованием проблем, с которыми связана не только моя исследовательская карьера, но и вся моя жизнь.

То небольшое географическое пространство на северо-востоке Европы, которое ныне занимает независимая Эстонская Республика, отметившая 24 февраля 2018 г. столетие со дня своего образования, всегда было многоязычным — и в лингвистическом, и в культурном смысле. Отчасти это является результатом естественного развития любой территории, ибо в строгом смысле моноязычных территориальных образований не существует, и на эстонской земле (в результате ее естественной колонизации) в обозримый исторический период всегда жили вместе разные племена эстов, а также ливы, летты (латыши), славяне. Отчасти же многоязычие явилось результатом трагической истории эстонского народа, который в течение многих веков жил под чужим гнетом и не имел самостоятельной государственности. Датчане, немцы, шведы, поляки, российские имперские власти, а затем СССР были завоевателями, и все они оставили на этой земле свой след, в том числе культурно-языковой. Таким образом, каждый человек, родившийся в Эстонии, получал опыт многоязычия задолго до начала эпохи глобализации.

С того момента, как я начала себя помнить, я слышала вокруг себя, кроме русского, на котором говорили в семье, эстонский и немецкий языки, а также идиш. Эстонский звучал везде — на нем говорили соседи по дому, приходившие к маме знакомые и коллеги по работе, и с трех лет я твердо усвоила, что и мне нужно уметь говорить на этом языке — это было непреложное семейное правило. Меня приучили к мысли, что существуют три местных языка: эстонский, русский и немецкий. Мама

с бабушкой иногда говорили между собой по-немецки, и в пять лет и меня стали учить этому языку, так что я даже стала понимать какие-то фразы, смысл которых хотели держать от меня в секрете (до сих пор жалею, что этот ранний немецкий потом был вытеснен английским). На самом деле местных языков оказалось больше. Некоторые знакомые говорили между собой на языке, похожем на немецкий, но все же не по-немецки — столько я уже могла различать, поэтому бабушка, с которой эти дамы переходили на немецкий, объяснила мне, что так говорят евреи (название языка я узнала много позже).

Ситуация, когда вокруг говорят на разных языках, когда на полках стоят книги, напечатанные разным шрифтом (самым красивым и непонятным был готический), казалась мне настолько естественной, что иной я себе и не представляла. Понимание скрытой конфликтности этих различий пришло вместе с опытом детских столкновений на национальной почве — во дворе, в школе, в пионерском лагере. К счастью, дома ни в коем случае не поощряли враждебных чувств, а вскоре разъяснили и трагическую подоплеку таких конфликтов.

«Домашняя» история, когда говорили о трагедии революции, эмиграции — как русской после 1917 г. (ее частью была и наша семья), так и эстонской — после 1940 г., вспоминали о независимой Эстонской Республике, о вынужденном отъезде прибалтийских немцев в Германию в 1939 г., о сталинской депортации тысяч ни в чем не повинных людей (ее жертвами стали мой отец и брат моей бабушки, а также множество семейных знакомых и друзей), о раскулачивании трудолюбивых крестьян, рассуждали о бессмысленности колхозов, о преследовании верующих, — все это весьма отличалось от официальной и школьной истории. Так что многоязычие исторического дискурса также было естественной жизненной составляющей. Однако справедливости ради надо сказать, что историю Эстонии советского времени в школе фактически не затрагивали, хотя в программе она и существовала, опасаясь, видимо, конфликта между домашним и школьным знанием. Детское и отроческое сознание странным образом в состоянии примирить весьма разные взгляды, но уже к моменту поступления в университет наступила ясность и однозначность в понимании основных жизненных вопросов.

На отделении русской филологии Тартуского университета, на которое я, к великому для себя счастью, поступила, преподаватели учили читать между строк, понимать на лекциях не только прямые высказывания, но и намеки, недосказанные мысли, ловить интонацию. Кафедра Лотмана давала не только глубокие знания, но и освобождала от наивности, иллюзий и предрассудков, а общая атмосфера в университете в канун 1968 г. настраивала достаточно радикально по отношению к советскому режиму. В студенческих кругах мы быстро приобщились к самиздату, к чтению «Хроники текущих событий», что поставило последние точки над i в нашем политическом образовании.

Лекции Юрия Михайловича Лотмана, Зары Григорьевны Минц и других университетских преподавателей учили думать, анализировать тексты и историко-культурные события. Занятия научной работой под их руководством приобщили к подлинной науке, дали бесценный опыт ориентации в научных и человеческих ценностях. После окончания третьего курса я была приглашена на работу на кафедру — на должность лаборанта, как она тогда называлась (теперь бы сказали — координатор или специалист по учебной работе). С кафедрой русской литературы Тартуского университета связана вся моя жизнь, и я считаю это своей огромной жизненной удачей.

Несмотря на то что основные научные интересы членов кафедры были связаны с изучением русской литературы и культуры, большое внимание уделялось и эстонской культуре, русско-эстонским культурным контактам, рецепции европейской литературы, вопросам перевода — как в лингвистическом, так и в семиотическом смысле. Мои собственные интересы лежали в области идеологии, взаимосвязи идеологического и культурного строительства. Тема моей диссертации «Идея национальной самобытности в русской литературе между Тильзитом и Отечественной войной (1807–1812)», защищенной под руководством проф. Ю.М. Лотмана в 1982 г., во многом обусловила мои дальнейшие исследования национального дискурса. Однако в течение долгого времени я была сосредоточена на русской литературе и культуре, поскольку обращение к эстонско-русским культурным контактам казалось мне делом слишком личным, слишком связанным с моей жизнью. В конце концов я преодолела этот предрассудок и нашла для себя аспекты, которые позволили сочетать научный и человеческий опыт, как я хочу надеяться, без ущерба для научного качества. Ниже я остановлюсь на основных исследовательских задачах и установках настоящей книги, а также дам краткий обзор ее содержания и основных идей.

Одним из толчков для обращения к русско-эстонской теме явилось изучение творчества Яана Кросса, оно дало возможность рассмотреть то, как опыт имперской истории, общей для эстонской и русской культур, преломляется в эстонском культурном сознании. Первую главу книги и составили исследования трех текстов писателя, на основе которых мною были выделены приемы мифологизации истории, трансформации

документального материала, использованные историческим романистом, а также прагматика подобных трасформаций. Так, в романе «Императорский безумец» целью Кросса является продемонстрировать, как из забитого неграмотного народа прорастает эстонская нация, поэтому, хотя главным героем является историческое лицо — прибалтийский немец и русский офицер, политический диссидент Тимотеус фон Бок, основной акцент сделан на судьбе вымышленных героев-эстонцев — Ээвы и ее брата Якоба Меттика. Реальный Бок был человеком с двойной идентичностью — лифляндского дворянина и российского офицера, но своим отечеством всегда считал Россию. Этот сложный комплекс Кросса затрагивал мало; он правомерно акцентирует эстофильство Бока, но о его русофильстве лишь упоминает. Прагматика романа была иной, и моей задачей было показать, с какой целью, например, автор заставляет своего героя Якоба писать дневник не по-немецки, что соответствовало бы реалиям конца 1810-х — начала 1820-х гг., а по-эстонски, что в реальности могло произойти лишь через несколько десятилетий. Кросс создавал свои произведения в советскую эпоху, и ему было важно укрепить в эстонцах и во всех читателях, живших в СССР («Императорский безумец» и другие сочинения сразу переводились на русский язык и пользовались огромной популярностью на всем советском пространстве), веру в духовные силы и огромный потенциал угнетенных наций.

На прояснение приемов поэтики и прагматики исторического повествования Кросса направлен и данный мной реальный комментарий к исторической новелле «Третьи горы» и пьесе «Трудная ночь доктора Карелля». Анализ новеллы о Йохане Кёлере способствовал для меня детальному проникновению в биографию отца эстонской живописи и профессора Императорской Академии художеств, который стал одним из любимых героев моего воображения, а также одним из персонажей следующей главы настоящей книги.

Уже первая глава включает анализ трех составляющих местной культуры — немецкой, эстонской и русской — в их взаимном переплетении и взаимодействии. Так строятся и дальнейшие главы, хотя в каждой из них одна из составляющих обычно выдвигается на передний план.

Вторая глава посвящена истории эстонского национального возрождения в российском имперском контексте. Эта тема продолжила мои занятия феноменом империи, что является одной из актуальных задач современной науки. Основной акцент сделан мной на изучении на эстонском материале внутреннего противоречия между идеей империи как многонационального государства и политикой российских властей второй половины XIX — начала XX в., стремившихся превратить Российскую империю в унитарное русское государство. Как не раз отмечали историки, логика развития всех многонациональных государственных образований / империй должна была подсказать российским властям движение в противоположную сторону — постепенного введения культурной автономии национальных меньшинств, а затем и федеративного принципа с широким местным самоуправлением национальных окраин. Но власти продолжали настаивать на политике русификации вплоть до краха империи в 1917 г. В 1916 г. русские либералы из кадетской партии сделали отчаянную попытку исправить положение и предложили проект новой имперской идентичности. Я анализирую его на материале сборника «Отечество. Пути и достижения национальных литератур России. Национальный вопрос».

На близкой идее был основан и другой анализируемый мною проект, сформулированный в эстонско-латышском сборнике «Эсты и латыши, их история и быт», опубликованном в том же 1916 г. Оба проекта, не привлекавшие серьезного внимания ученых, особенно заинтересовали меня тем, что были завязаны на идее конструирующей роли литературы и печати в национальном строительстве. К первому сборнику была приложена объемная антология национальных литератур, в том числе — эстонской, второй такого приложения не имел, но в его статьях демонстрировались достижения культур национальных балтийских окраин, положительный образ эстонцев и латышей как культурных наций, имеющих полное право на развитие своих национальных культур. Анализируя использовавшуюся авторами антинемецкую риторику, с одной стороны, и риторику успеха, с другой, способы конструирования образа врага и параллельно — создания положительного образа угнетенных наций, приемы мобилизации российского общественного мнения в пользу латышей и эстонцев, я стремилась показать, как национальные лидеры в канун развала империи готовили почву для становления национальной государственности.

Сравнение этого материала с историей раннего этапа национального возрождения, который рассматривается в книге на примере позиции Фридриха Николая Руссова и Фридриха Рейнгольда Крейцвальда в период Крымской войны, с особой яркостью подчеркивает динамику развития национальной идеи и умелую смену национальными деятелями стратегии и тактики. На примере «Писем ревельского жителя своим деревенским друзьям» Руссова и поэмы «Война» Крейцвальда я показываю, что авторы, воспевавшие героизм русских солдат, их жертвенную гибель, были далеки от казенного патриотизма. Их прагматика была связана с задачей исторического момента — они адресовали свои

тексты простым эстонцам, которых стремились включить в проблемы большой политики и создать граждан большой страны, способных мыслить и рассуждать о мировых проблемах. Как большинство деятелей раннего этапа эстонского возрождения, «ревельский горожанин» Руссов и «отец эстонской песни» Крейцвальд рассчитывали на поддержку русского правительства и русских общественных кругов в пользу эстонцев в их борьбе против главного врага — прибалтийских немцев, поэтому и делали ставку на формирование русского (общероссийского) патриотизма. Не их вина, что царское правительство не сумело ни понять, ни оценить этой прорусской ориентации, что и привело к смене установок на новом этапе национального движения.

В когорту эстонских лидеров первого этапа национального возрождения входил и Йохан Кёлер, один из первых эстонцев, получивших высшее образование и достигших высокого положения в Петербурге — в Академии художеств и при царском дворе — и не отказавшийся от своей эстонской идентичности. Мне посчастливилось найти в рукописном отделе Пушкинского Дома дополнения к уже известной его автобиографии. Анализ его устного текста, записанного стенографисткой, помог с особой отчетливостью выявить программные установки его жизненного поведения. Художник, избравший себе эстонский псевдоним Вилианди (от названия эстонского города Вильянди, тогда называвшегося официально по-немецки Феллин), неизменно подчеркивал свою «эстонскость» и крестьянское происхождение, за что был в шутку прозван в Академии «строптивой чухной». Объяснению судьбы и жизненного поведения Кёлера помогла опора на лотмановскую методологию изучения семиотики бытового поведения и на мысль Ю.М. Лотмана о значимости исследования поведения для понимания общественной жизни и исторического процесса, в данном случае — эстонского национального движения.

В третьей главе книги «Лифляндия русскими глазами» мы вступаем в область «идеологической географии» и ментальной картографии, а также семиотики «границы», «своего» и «чужого», дискуссии о европейскости. Анализируя описания Лифляндии русскими путешественниками и авторами путеводителей имперского периода, мы в первую очередь сталкиваемся с волновавшим их вопросом о том, являются ли балтийские земли своим, российским пространством или это «своя заграница», как кратко сформулировал общую мысль Д.Н. Мамин-Сибиряк. Второй вопрос — кто и что делает их таковыми.

Прослеживая восприятие Лифляндии и населявших ее народов русскими путешественниками с конца XVIII в. (у Н.М. Карамзина, по обыкновению, — особая позиция), я прочерчиваю отчетливую эволюцию. Сначала земля однозначно воспринимается как немецкая, немецкие порядки вызывают восхищение, а местное население — отвращение: упрямые, невежественные и неопрятные крестьяне не хотят подчиняться цивилизаторским усилиям прибалтийских немцев. Начиная с 1840-х гг. картина постепенно меняется: немцы начинают восприниматься как чужаки на этой земле, а коренные народы как имеющие свою, заслуживающую уважения, историю и культуру. Разумеется, подобная эволюция соответствовала общему историческому контексту — изменению отношения к «остзейскому вопросу» в русских общественных кругах, развитию этнографии как науки и мощному развитию культуры местных народов с середины XIX в. Эволюция не была ни быстрой, ни последовательной, тем более что была осложнена со- и противопоставлением эстонцев и латышей. Мы подробно рассматриваем этот вопрос на примере произведений Ф. Булгарина и его своеобразного взаимодействия с сочинениями Г. Меркеля, А. Хупеля, де Брэ.

Особое внимание в главе уделено разностороннему анализу феномена Тарту как перекрестка культур и «центра на периферии». Анализируя его образ в русской литературе и мемуаристике, приходишь к выводу, что этот образ вполне согласуется с представлением о «тартуском духе» в немецкой и — позднее — в эстонской культурах. Это — «ливонские Афины», город юности, средоточие академической и духовной свободы. Именно такой образ воплотил в своих студенческих песнях Н.М. Языков, и этот «дерптский / тартуский миф» навсегда стал составной частью русской культуры. Правда, реальность была гораздо сложнее. «Немецкое чванство», как характеризовал поведение части немецких преподавателей Н.И. Пирогов, вызывало отторжение, буршеские традиции и чуждый немецкий быт («чужой мир», как писала М. Протасова-Мойер) не всегда вызывали восторг. Но Дерпт стал для русских школой, в которой учились терпимости к «другому», открытости к новому, где складывалась гораздо более сложная языковая и культурная картина мира. Эстонская составляющая этого мира, в силу понятных исторических причин, долго оставалась на периферии, но уже в конце XIX — начале XX в. стала заметна, в том числе и в тартуских путеводителях.

Не будем останавливаться на всех темах и аспектах, затронутых в третьей главе, это и не может быть задачей предисловия, где я хочу коснуться лишь фундаментальных особенностей эстонско-русского культурного пространства в процессе его становления. Поэтому продолжу тартускую тему обращением к программе И.А. Бодуэна де Куртене, которая сформировалась не только на основе его польского, но и тартуско-

го опытов. Она касается коренного вопроса взаимодействия культур — языковой политики. Великий лингвист многократно формулировал свои идеи о национальном и языковом равноправии как основе нормального сосуществования народов. Одно из ярких его выступлений — его речь на немецком языке на праздновании столетия Тартуского, носившего тогда наименование Императорского Юрьевского университета. В ней он, кроме того, выдвигает высокие требования к академической корпорации, которая должна, с его точки зрения, разделять идеи равноправия, свободы выбора и сопротивляться неразумной правительственной политике. Именно поэтому он с горечью обрушивается на тартуских профессоров, которые не только не протестовали против негласного запрета говорить во время юбилейных торжеств по-немецки, но и вовсе забыли, что университет стоит на эстонской земле. Идея Бодуэна де Куртене о равноправии всех местных языков (эстонского, латышского, немецкого и русского) не вызвала сочувствия у тех, кто в эпоху русификации вспоминал с ностальгией о временах доминирования немецкого языка в Дерптском университете. Бодуэн не ограничивался теоретическими декларациями, он сам изучал эстонский язык, принимал активное участие в устройстве судьбы Михкеля Веске, лектора эстонского языка, которого коллеги-немцы не допускали к профессорской карьере, несмотря на полученную им в Лейпцигском университете степень доктора и выдающиеся труды.

Программа Бодуэна де Куртене — это идеальная программа взаимодействия разных культур внутри многоязычного культурного пространства. Она кристаллизовалась не только из собственного научного и человеческого опыта ученого, но и из опыта восприятия местной культурной ситуации русскими писателями и общественными деятелями на протяжении XIX в., о котором мы говорили выше и который был Бодуэну, конечно, известен. В применении к реальным условиям российской действительности начала XX в. эта программа была утопичной и сто́ила ученому тюремного заключения, хотя и кратковременного. Но если отвлечься от реалий, то только такие установки и могут обеспечить функционирование интересующего нас культурного пространства.

Четвертая глава книги связана с эстонско-русским культурным пространством весьма своеобразно. Ее героем является родившийся в Эстонии прибалтийский немец, барон Karl Georg Woldemar Friedrich von Rosen, который, с детства мечтая о литературной карьере (первыми его сочинениями были латинские стихи), выбрал для себя судьбу русского, а не немецкого писателя, хотя до 19 лет совершенно не знал русского языка. Его стремление стать идеологом русской народности

и включиться в процесс русского национального строительства современники считали чудачеством. Исследование процесса формирования идеологии официальной народности, выраженной в триаде Уварова «православие, самодержавие, народность», привели меня к изучению драматургии барона Розена. Анализируя его исторические драмы, я убедилась, что Розен не подлаживался под официальный курс, он был чуждым конъюнктуре романтиком, который умозрительно сконструировал себе образ русской народности и ее воплощение «Святую Русь» и искренно, но безуспешно стремился убедить в ее реальности своих современников.

Однако своеобразие Розена, как показано в книге, заключалось еще и в том, что вера в «русскую народность» и стремление приобрести в ней «права гражданства» (как он выражался на своем несколько странном и искусственном русском языке) причудливо сочетались в нем с представлением о себе как о русском европейце, отличающемся от русских современников. Он попытался было развивать двойную идентичность и стать двуязычным писателем. Однако его попытка занять место в немецкой литературе (он сотрудничал с прибалтийско-немецкими изданиями, опубликовал в собственном переводе свою трагедию «Дочь Иоанна III») успеха не имела, и он прекратил эти попытки. Зато в своих травелогах, описывающих европейское путешествие, он, как я стремлюсь показать, моделирует свой двойной образ — русского патриота и космополита, европейца par excellence, «ученика и поклонника Гете», знатока Античности и европейской истории, удивляющего своими познаниями аборигенов. Характерным образом в описании путешествий Розен совершенно дистанцируется и от своих компатриотов, и от русской литературы.

Для нашей темы самым интересным из начального периода творчества Розена, когда он экспериментировал в разных жанрах, оказался его исторический роман из современной истории «Константин Левен (Из моих записок)», где героем является остзеец, а действие начинается и заканчивается в Таллине. Изучая его на фоне трактовки ливонской темы в русской литературе 1820-х гг., я пришла к выводу о бесспорном новаторстве Розена. В отличие от русской романтической повести, описывавшей остзейцев, хозяев средневековых замков, как исчадий ада, Розен выбирает современного персонажа и делает своего остзейца положительным героем, участником борьбы за независимость Греции. Он пытается усложнить и романтическую интригу, внести новые повороты в традиционные любовные коллизии. Проблема, однако, заключается в том, что литературные идеи барона Розена опережали его писательские

возможности, поэтому его роман прошел незамеченным не только современниками, но и учеными, которые никогда прежде не привлекали его в исследованиях ливонской темы.

От немецко-русской составляющей мы переходим в нашем обзоре к последней главе книги, посвященной роли Ю.М. Лотмана в формировании эстонско-русского культурного пространства уже в совершенно другую, современную нам, эпоху. Как известно, Лотман оказался в Эстонии и в Тарту случайным для себя образом, не найдя работы в родном городе в разгар сталинской антисемитской кампании. Однако он превратил этот случайный фактор в свою судьбу и выстроил свою жизнь, свою карьеру ученого как органическую часть Тарту (и не променял этот город ни на какой другой, хотя со временем получил богатые возможности для выбора), Тартуского университета и эстонско-русского культурного пространства.

То, что написано о Лотмане в этой книге, — это не строгое исследование его методологии, хотя речь идет и о формировании его концепции семиосферы, и об эволюции структурализма, и о семиотическом подходе к истории литературы и культуры. Главный акцент сделан на деятельности Лотмана — строителя культурного пространства. Она выражалась в создании кафедры русской литературы Тартуского университета как особого академического и человеческого организма, в его педагогической деятельности лектора и научного руководителя, в широкой публицистической, научно-популяризаторской деятельности, в труде по созданию учебников по русской литературе для эстонской школы, в усилиях по разрушению предубеждений против русских филологов, да еще приехавших в Эстонию из советской России. Для полноценной академической деятельности нужна была коллегиальность, атмосфера доверия и академической солидарности (вспомним позицию Бодуэна де Куртене!), которую нужно было сформировать. Как я стремлюсь показать, только благодаря сознательным жизнестроительским принципам и неустанным осознанным усилиям Ю.М. Лотман смог создать в Эстонии, где провел 43 года, основную часть жизни, свою школу, прославившую Тартуский университет во всем мире. Не будь этих усилий, число написанных Лотманом научным трудов могло бы увеличиться, но это были бы другие труды. Он менял не только методологию науки, расширял границы научного знания, но и воздействовал на окружающую жизнь, меняя людей и культурное пространство.

Эта книга никогда не была бы написана, не будь школы Ю.М. Лотмана. На его трудах, его концепции культуры как многоязычного механизма, внутри которого происходит постоянный перевод, постоянное

продуктивное столкновение «своего» и «чужого» и в результате рождаются новые явления, на его идее свободы и одновременно терпимости к иной позиции я выросла как исследователь. На этих идеях основана моя книга.

Итак, своеобразие эстонско-русского культурного пространства, как оно мне видится, состоит в многоязычии в семиотическом смысле, в присущих ему неустанном культурном строительстве, умении извлекать пользу из взаимного обогащения, в сопротивлении насилию и стремлении к свободе.

Я смотрю на проблемы культурных контактов из двух перспектив — эстонской и русской. Трудные и трагические исторические обстоятельства породили в самых больших местных общинах, эстонской и русской, виктимизационный комплекс и посеяли семена взаимного недоверия. Верю, что эти последствия прошлого будут преодолены. Только на перекрестке культур нам дано увидеть единство в многообразии и многообразие в единстве. Культура Эстонии во всем ее многообразии и есть эстонская национальная культура. Она вобрала в себя огромный опыт других культур, в том числе русской. И русская культура в целом, а не только культура местной русской диаспоры, обогатилась контактами с культурами соседних народов, в том числе с эстонской. Тарту — подлинный перекресток культур — является лучшим учебным пособием в изучении трудной науки культурных контактов.

Книга написана в рамках институционального проекта IUT 34–30 «Перевод идеологии и идеология перевода: механизмы культурной динамики в Эстонии в условиях российской и советской власти в XIX–XX вв.», которым руководит Леа Пильд, спасибо ей за сотрудничество.

Не могу не вспомнить с благодарностью профессора кафедры русской литературы Тартуского университета С.Г. Исакова, который посвятил свою жизнь исследованию эстонско-русских культурных контактов и работы которого многократно цитируются в этой книге. Без опоры на них не обойдется и в будущем ни один труд по этой теме. И можно только с грустью гадать о тех полезных и важных замечаниях, которые он бы сделал, доведись ему познакомиться с настоящей книгой.

Труды Малле Салупере, выпускницы кафедры и ученицы Ю.М. Лотмана, всегда являлись для меня образцом фактической точности, тонкого проникновения в предмет и честного отношения к науке. Ее доброжелательные замечания и советы были для меня неоценимы. Не меньшей признательностью я обязана Малл Йыги, своим друзья и коллегам Ларисе Петиной, Татьяне Шор, Татьяне Шаховской, Борису Равдину, Людмиле Спроге, Андрею Немзеру, а также своим коллегам

по кафедре за постоянную поддержку. Сердечно благодарю Эстонский художественный музей и лично директора Александра Мурре за предоставленные репродукции картин Й. Келера.

На эстонском языке книга «Eesti — vene kultuuriruum» вышла в 2017 г. в Издательстве Тартуского университета. Надеюсь, что теперь она найдет своего русского читателя и внесет вклад в изучение и развитие эстонско-русского культурного пространства.

Посвящаю ее лучшему городу на свете — родному Тарту, своей alma mater и своим дорогим учителям.

Глава 1

ВЗГЛЯД ЯАНА КРОССА НА РУССКУЮ ИСТОРИЮ

Яан Кросс (1920–2007) принадлежал к тому поколению эстонских интеллигентов, которые окончили эстонскую гимназию и эстонский университет и для которых русский язык был в прямом смысле иностранным. Однако в течение долгих восьми гулаговских лет (1946–1954) ему пришлось изучить этот язык достаточно хорошо, что впоследствии позволило немало переводить, наряду с немецким, и с русского, в том числе комедию Грибоедова «Горе от ума», требующую поистине виртуозного владения не только языком, но и русской культурой XIX в.

В центре творчества Кросса всегда находилась Эстония, ее сложная и трагическая судьба на протяжении многих веков чужеземного ига. Как исторический романист, он уделил большое внимание судьбе эстонцев в Российской империи, их положению между двумя жерновами — остзейским и русско-имперским («Императорский безумец», «Раквереский роман», «Уход профессора Мартенса», «Имматрикуляция Михельсона», «Третьи горы», «Трудная ночь доктора Карелля» и др.). Эти произведения, написанные в советский период, часто были отчетливо аллюзионны, и эти внутренние параллели между имперским и советским гнетом, примеры стойкого противостояния властному давлению помогали эстонцам выстоять и сохранить свою идентичность и культурную преемственность. Однако не только эстонцам. Яан Кросс был одним из самых популярных писателей на территории большой страны, именовавшейся тогда СССР, его сочинения переводились на русский, издавались большими тиражами и читались миллионами благодарных читателей, ценивших в них в том числе «другой», неофициальный взгляд на русскую историю.

Предметом настоящей главы являются три текста — «Императорский безумец», «Третьи горы» и «Трудная ночь доктора Карелля». Они анализируются и с точки зрения взгляда Я. Кросса на русскую историю, и с точки зрения поэтики его повествования, и с точки зрения поэтики художественных сочинений на историческую тему, где проблема соотношения реальности и вымысла, героя и его исторического прототипа всегда является актуальной.

1.1. Русская история и культура в романе Яана Кросса «Императорский безумец»

«Императорский безумец» — один из самых знаменитых романов Я. Кросса, переведенный на многие языки мира, — был опубликован в 1978 г. На русском был впервые напечатан в 1980 г. в журнале «Дружба народов», отдельным изданием — в 1984 г. в переводе О.А. Самма[1].

Нас будет интересовать один из аспектов большого и сложного текста, на первый взгляд — не центральный, но тесно переплетенный с основной проблемой романа, которую можно обозначить как «судьба эстонцев под чужим гнетом». И дело тут не только и, может быть, не столько в описываемой Кроссом исторической эпохе, когда Эстония входила в состав Российской империи и была разделена между двумя остзейскими губерниями — Эстляндией и Лифляндией, где господами являлись прибалтийские немцы, а эстонцы в основной своей массе были крепостными крестьянами. Кросса интересует в первую очередь то, как из забитого неграмотного народа, оказавшегося между двух чужих враждебных сил (помещичьей — остзейской и государственной — российской), прорастает эстонская нация. Поэтому рядом с главным героем, прототипом которого является реальное историческое лицо — лифляндский дворянин, российский гвардии полковник в отставке Тимотеус Эбергард фон Бок, в 1818 г. посаженный императором Александром I в Шлиссельбургскую крепость за «возмутительное» письмо, — появляется вымышленный повествователь, эстонец Якоб Меттик, брат жены Бока. Ээва, бывшая крепостная крестьянка, ставшая Екатериной фон Бок, имеет реального прототипа, и все же эту романную героиню вполне можно считать плодом творчества писателя, т.к. о реальной Китти, как называл ее муж, слишком мало что известно.

[1] Ольга Самма (урожд. Левина, по первому мужу Смолян; 1912–1985), германистка, ученица Е.Г. Эткинда, автор исследований о Ф.М. Клингере, Шиллере, переводчица с немецкого, до выхода на пенсию была доцентом ЛГПИ им. Герцена. В 1965 г. вышла замуж за известного эстонского литературного деятеля Отто Самма (1912–1978), переехала в Эстонию. Она настолько блестяще изучила эстонский язык, что стала основной переводчицей произведений Кросса на русский. Писатель высоко ценил переводческую деятельность Ольги Самма [Kross 1982]. Отдельным изданием русский перевод «Императорского безумца» вышел в 1984 г. и потом несколько раз переиздавался. Затем роман был переведен на финский (1982), шведский, венгерский (1983), болгарский (1984), чешский (1985), словацкий (1985), литовский (1985), норвежский (1986), польский, немецкий, украинский (1988), французский (1989), латышский (1991), английский, голландский, испанский, датский, португальский (1992), итальянский (1994) и японский (1995) языки.

К моменту написания «Императорского безумца» Малле Салупере еще не разгадала тайну этого удивительного брака. Ее исследование, во многом уточняющее и корректирующее фактическую подоснову романа, было опубликовано лишь в 1990 г. [Salupere 1990; перепечатано: Salupere 1998; русский вариант: Салупере 1995]. Однако еще Н. Лыжин в известной статье о Боке [Лыжин 1859][2] (одном из основных источников романа) писал, что Тимотеус в течение 13 лет был безответно влюблен в некую девушку, и сравнивал его чувство с любовью Новалиса к Софи и Жуковского к М.А. Протасовой. М. Салупере установила, что предметом страсти была Юлия Катерина фон Берг (Julie Catherine von Berg, 1786–1817), которая в 1813 г. вышла замуж за Карла фон Бока, брата Тимотеуса, и скончалась в 1817 г. [Salupere 1998: 76]. Ее служанкой была эстонка Эва (Ewa), недаром названная при переходе в православие Екатериной — при венчании в Успенской церкви г. Тарту она была записана как Екатерина Петрова — ее имя напоминало Боку о его утраченной возлюбленной [Ibid: 81].

Я. Кросс не знал имени возлюбленной, но история несчастной любви Т. фон Бока была ему в общих чертах известна, поэтому его трактовка брака Тимо в романе столь же «идеологична», как и жест прототипа. Нет сомнения в том, что брак с крестьянкой, заключенный через несколько месяцев после смерти любимой женщины (смерть — 14 марта 1817, свадьба — 12 октября 1817), в период обдумывания политического меморандума, — стал составной частью общественной программы Т. фон Бока: «Вижу в каждом эстонце своего соотечественника» [Бок 1951: 193][3].

Кроссу, автору романа об эстонской доле, важно подчеркнуть, что эстонские крестьяне Ээва и Якоб способны в короткий срок стать образованными людьми, что Китти сделалась не просто женой, но и соратницей Тимо, а также настоящей аристократкой, обладающей обаянием красоты, ума и светского такта и не потерявшей при этом трудовой крестьянской закваски. Она равно открыта общению и с деревенскими женщинами, и с интеллектуальной элитой университетского Дерпта. И конечно, Тимо и Китти в романе связывает глубокая взаимная любовь. У Кросса выбор, сделанный остзейским дворянином в пользу эстонской крестьянки,

[2] Заглавие статьи Лыжина ориентировано на цензурные условия 1850-х гг. и призвано скрыть имя главного героя.

[3] Некий перелом в чувствах к жене произошел, видимо, позже. Ср. в черновике письма к Александру I, опубликованном А.В. Предтеченским в монографии о Боке: «С каждым днем я привязываюсь к моей жене — она беременна и гонима всеми. Я могу исчезнуть, и ее участь тогда будет ужасна» [Предтеченский 1953: 81].

должен утвердить в глазах читателя романа гордость за эстонский народ, уверенность в его великих возможностях. Преображение вчерашних крестьян в собеседников Паррота, Мойера, Эверса, Жуковского и пр. подчеркивается неоднократно, но повышенная реакция некоторых персонажей (например, императрицы Марии Федоровны), воспринимающей это как небывалое «чудо», трактуется иронически (см.: [Кросс 1987: 147]).

Якоб Меттик — совсем не «простодушный землемер» и не человек, утративший одну (эстонскую) идентичность и не обретший другой (как иногда пишут исследователи). Это сложный, рефлектирующий герой, утверждающий в своем новом и весьма неопределенном сословном статусе *эстонскость*. Выход за пределы сословной ограниченности для Якоба (как и для Тимо) и не означает утраты национальности. Именно поэтому Кросс, вопреки исторической достоверности, заставляет Якоба писать свой дневник по-эстонски. В предисловии, где рассказывается история рукописи, якобы доставленной автору неким любителем эстонской старины, нашедшем ее в блокадном Ленинграде, специально оговорен вопрос о языке:

> Эстонский язык перемежается в дневнике с иноязычным текстом, французским и немецким (подразумеваются переписанные Якобом отрывки рукописи Тимо. — *Л.К.*), эти части переведены мною на эстонский, и весь текст унифицирован, чтобы сделать его доступнее современному читателю [Кросс 1987: 6].

Между тем, по наблюдениям исследователей, не только в начале, но и во второй половине XIX в. языком образованных эстонцев оставался немецкий:

> Эстонский язык в конце прошлого (т.е. XIX. — *Л.К.)* века не был столь развит, чтобы его можно было использовать для обмена мыслями в сферах науки, литературы, искусства и др. Даже в таком оплоте эстонскости, как Общество эстонских студентов, знание эстонского языка в 1890-е годы было «очень неудовлетворительным». Только в 1900 г. в устав ОЭС было внесено требование, чтобы член Общества в течение первого семестра полностью овладел эстонским языком [Karjahärm, Sirk 1997: 194][4].

[4] Здесь и далее эстонские цитаты из трудов исследователей и критиков даны в переводе автора настоящей книги.

Разумеется, Яану Кроссу эти факты были прекрасно известны. Но для его концепции романа было необходимо другое. Поэтому в число действующих или упоминаемых лиц введено такое количество образованных эстонцев: врач и исследователь эстонского языка и фольклора Фридрих Роберт Фельман (1798–1850), известный топограф генерал Карл Теннер (1783–1860), эстонский пастор, исследователь эстонского языка Отто Вильгельм Мазинг (правда, этнически он был наполовину немцем). Все они своим бытием доказывают, что эстонцы могут встать на уровень европейской образованности, если хотя бы приоткрыть им дверь к просвещению. Недаром у Якоба перелом в восприятии меморандума Тимо наступает, когда он доходит до тезиса о равенстве всех классов перед законом и о том, что «знания должны обеспечивать право на занимаемую должность» [Кросс 1987: 131].

Какой же предстает в романе Кросса Россия, ее история и культура? Для ответа на эти вопросы нам придется сначала проследить, как трактует их реальный Тимотеус (Тимофей Егорович) фон Бок (1786–1836) в своей воображаемой речи в Лифляндском ландтаге, которую он направил Александру I в виде меморандума.

Хотя Бок писал свой текст по-немецки и потом перевел его на французский для императора[5], он превосходно владел русским языком (что доказывает его письмо Жуковскому, опубликованное М. Салупере [Салупере 1995: 65–66]) и принадлежал к кругу остзейцев-русофилов, именовавших друг друга в интимной переписке русскими уменьшительными именами: Тимоша (Т. фон Бок), Фединька (будущий генерал-фельдмаршал Фридрих Берг), Луша (Карл Лилиенфельд) [Salupere 1998: 73]. Соответственно, выбор языка, на котором текст был послан императору, — также жест, демонстрирующий независимость автора и как бы ставящий его на один уровень с адресатом. Это важно подчеркнуть, потому что Бок чувствует себя русским и видит в России свое отечество[6]: «Лифляндия всегда была мне родным домом, наиболее дорогим для меня местом на земном шаре, но никогда не была отечеством» [Бок 1951: 193]. Бок считает, что лифляндское дворянство должно стать «неотъемлемой частью русского дворянства», в противном случае оно

[5] Текст был опубликован А.В. Предтеченским в переводе на русский язык. См. о рукописи: [Бок 1951: 191].

[6] М. Салупере показала, что Т. фон Бок слушал в Дерптском университете курс лекций А.С. Кайсарова. Так что, скорее всего, он помнил и знаменитую «Речь о любви к Отечеству», произнесенную в Дерпте и напечатанную потом в «Сыне отечества» (1813. № 27). Переклички между текстами очевидны.

будет «только маленькой иностранной колонией»[7]. «Мы должны быть русскими, мы можем быть русскими, станем же русскими», — призывает он лифляндцев.

У этой позиции есть два объяснения: первое — это восхищение русским народом, основанное на опыте эпохи 1812 г.:

> Даже если бы в России не было дворянства, ее народ все равно занял бы выдающееся место среди других цивилизованных народов. Тот, кто сам имел случай сравнить низшие классы различных стран, находил, что русский бородач занимает первое место в Европе по своей религиозности, любви к родине, чистосердечию, деятельности, сообразительности. Нам не хватает еще, к несчастью, третьего сословия, вследствие чего, несмотря на большие усилия, мы постоянно падаем в грязь. Но что нам мешает создать его? С великой способностью русской нации к совершенствованию для этого нужно не более 20 лет [Бок 1951: 194].

В этом рассуждении особенно характерно употребление местоимений «мы», «нам». Бок чувствует себя частью русской нации: «Сердце мое целиком принадлежит только великому народу, в тесном единении с которым я предпринял и совершил то, что является наиболее прекрасным в мире» [Бок 1951: 193].

Конечно, под словом *нация* он подразумевает не этничность, а гражданство и причастность к русской культуре. Бок с восхищением перечисляет имена выдающихся поэтов (среди которых не забывает и своего друга Жуковского), скульпторов, художников, композиторов, актеров[8], проявляя глубокую осведомленность в русской культуре, утверждает на-

[7] Ход рассуждений Бока воистину поразителен. «Мы, лишенные, в силу хода вещей, утешения религии — наши церкви являются храмами равнодушия <…> насколько были бы мы несчастны, если бы мы не имели даже отечества?» [Бок 1951: 193], — говорит он, имея в виду остзейцев. Это замечание проясняет его идею сделать православную церковь, «как храм Евангелия, народности и терпимости» [Бок 1951: 200], господствующей в новой, реформированной России.

[8] Ср.: «Хотя русские пойдут дальше, но те, кто знает Державина, Дмитриева, Озерова, Крылова, Батюшкова, Жуковского, те, кто изучал Карамзина, видел Минина и Пожарского (имеется в виду памятник работы И. Мартоса. — *Л.К.*), работы Толстого, Егорова и Уткина, те, кто слышал литургию Бортнянского, кто видел на сцене Шушерина, Брянского, Семенову и Данилову, те, господа, отдадут справедливость этим славным именам, причем сделают это тем более охотно, если они знакомы с античным миром» [Бок 1951: 194].

личие в России «государственных людей с большими заслугами, способных решать задачи европейского масштаба» [Бок 1951: 194]. Не забывает Бок и о православном духовенстве: «И хотя правительство ослабило духовенство в целом, голос Платона (т.е. митрополита Московского Платона (Левшина). — *Л.К.*) слышится с тем большей силой» [Там же].

На этом фоне особенно резко и бескомпромиссно звучит критика в адрес правительства и главным образом лично императора. Деспотизм и рабство — вот пороки России. «Демагогия и ханжество всегда были первыми спутниками тирании» [Бок 1951: 196], — утверждает Бок, и именно в этих пороках он обличает Александра I. Автор меморандума создал высокий риторический текст большой обличительной силы. Он называет царя Тартюфом, «тщеславие, ничтожество и произвол — его божество, которому он приносит в жертву страну» [Бок 1951: 198]. Александр любит парады, «потому что парад есть торжество ничтожества» [Там же] — список подобных обвинений в тексте весьма внушителен. Конечно, мстительный царь не простил ни открытого разговора об убийстве своего отца Павла I, ни критики военных поселений, ни протеста против мистицизма Священного союза, ни «проститутки» Крюденер[9], ни обвинения в «измене родине» [Бок 1951: 199] в связи с польским вопросом.

Однако нам необходимо вернуться ко второй причине, по которой Т. фон Бок призывает остзейцев влиться в состав «национального дворянства». По его мнению, остзейцы обладают древними конституционными правами и смогут повести за собой русское дворянство в борьбе с деспотизмом и произволом. У этой утопической и аристократической позиции было немало общего с взглядами Пушкина начала 1830-х гг., когда тот надеялся на чувства независимости и чести старого русского дворянства, его способность противостоять бюрократическому произволу. Таким образом, Бок возлагает на лифляндцев великую миссию в преобразовании России.

Положительная программа Бока — это требование реформ, которые объединили бы нацию: представительное правление, конституция, гласность суда, уважение к закону и пр. В качестве лидера реформ он видит дворян, т.к. «они одни во всей империи цивилизованы» [Бок 1951: 200]. В свою очередь, дворянство, «требуя от императора правосудия, порядка и гражданской свободы, гарантирует эти же права своим соб-

[9] Бок насмешливо пишет, подразумевая Александра и баронессу Крюденер: «Предположим, что явился бы император, который не постыдился бы войти в связь с проституткой, или маниаком, или профессиональной обманщицей, выдающей себя за божью избранницу…» [Бок 1951: 195].

ственным подданным», т.е. крестьянам. В результате, называя рабство «институцией, столь же бессмысленной, сколь и возмутительной» [Бок 1951: 192], Бок ставит несколько двусмысленный вопрос: «В наших ли интересах как дворянского сословия и в интересах ли страны в целом отделить от нас крестьянина»? [Бок 1951: 193][10].

Вернемся к роману. Ю.М. Лотман в своем интервью об «Императорском безумце» [Lotman 2005] уже отметил некоторые важные для текста Кросса литературные и исторические параллели: пушкинский прием исторического повествования в «Капитанской дочке», «Дон Карлос» Шиллера (существенный именно для русского контекста), «Горе от ума» Грибоедова, параллель между судьбой фон Бока и Чаадаева. К проницательной характеристике Лотмана: «“Горе от ума” Грибоедова — это и есть история Бока» [Lotman 2005: 70] — добавим, что в начале 1960-х гг. Я. Кросс перевел комедию Грибоедова на эстонский язык [Gribojedov 1964], так что хорошо помнил, как Чацкий за свой «карбонаризм» был объявлен сумасшедшим. Очевидно, что переводческая работа не прошла даром для оригинального творчества писателя.

Конечно, было бы соблазнительно предположить, что Кроссу была известна статья Ю.Н. Тынянова «Сюжет “Горя от ума”» [Тынянов 1968], впервые напечатанная в 1946 г., где тема мнимого безумия получила широкий историко-политический контекст (параллель с клеветой вокруг Байрона, с делом Чаадаева), но утверждать мы этого не можем. Как не знаем и того, читал ли Кросс статью Ю.М. Лотмана 1975 г. «Декабрист в повседневной жизни» [Лотман 1975], где в том числе цитируется и меморандум Бока. Между тем поведенческий кодекс Тимо, как он представлен в «Императорском безумце», поразительно перекликается с лотмановским анализом бытового поведения декабристов.

В своем интервью [Lotman 2005], говоря о безумии как форме протеста, Ю.М. Лотман упоминает исследование Мишеля Фуко «История безумия в классическую эпоху». В принципе книга могла быть известна и Кроссу, т.к. вышла в 1961 г. и выдержала к 1970-м гг. несколько изданий на разных языках. Но опять-таки мы не имеем ответа на этот и другие вопросы и не исключаем, что даже открытие его архива не внесет в них ясности. Кросс был склонен скорее заметать следы своих творческих поисков, чем наводить на них исследователей[11].

[10] В романе Якоб Меттик будет постоянно с недоумением возвращаться к этому тезису.

[11] В своих лекциях «Автобиографичность и подтекст», прочитанных в Тартуском университете в 1998 г., говоря об «Императорском безумце», он фактически ничего не сказал об источниках романа. См.: [Kross 2003: 84–90].

Как нам представляется, в указанных случаях мы имеем дело лишь с типологическими перекличками, свидетельствующими о высочайшем уровне исторической интуиции эстонского романиста и о его глубоком проникновении в русский и европейский контекст начала XIX в.

Обратимся теперь к тому, как «Записка» Бока была переработана Кроссом в «Императорском безумце», и к тому, какой предстает перед читателями романа александровская и николаевская Россия. Трактовка дана как бы на двух уровнях:

1) сюжетно-событийном — арест Тимо, его исчезновение (семья не знает, куда и как надолго его увезли), потом освобождение и жизнь «безумцем» под домашним арестом;

2) идейном (восприятие идей Тимо) — по сюжету Якоб Меттик находит в тайнике господского дома в имении Выйзику черновик меморандума, начинает его изучать, переписывать в дневник с собственными комментариями, переходя от резкого неприятия позиции зятя к постепенному ее пониманию[12].

Романный текст меморандума Тимо далеко не всегда соответствует опубликованному оригиналу «Записки» Бока. Он *создается* Кроссом по законам жанра исторического романа. Иногда это — монтаж из разных мест «Записки», но часто — со значимыми добавлениями и смысловыми сдвигами[13]; некоторые же, весьма обширные, части вставлены Кроссом с опорой на иные источники, в частности «Историю России с древнейших времен» С.М. Соловьева[14].

[12] Об эволюции, произошедшей с персонажем в ходе чтения меморандума, см.: [Laanes 2004].

[13] Ср., например, письмо Тимо императору [Кросс 1987: 93] с текстом реального письма [Предтеченский 1953: 80–81].

[14] Экскурс в русскую историю эпохи Елизаветы [Кросс 1987: 96–97] почти дословно выписан из соответствующей главы «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева: «Лопухиных всех троих и Анну Бестужеву казнить смертью, колесовать, вырезав язык. Ивана Мошкова, Александра Зыбина, князя Ивана Путятина, Софью Лилиенфельд казнить смертью — Мошкова и Путятина четвертовать, Зыбину и Лилиенфельд отсечь голову за то, что, слыша опасные разговоры, не доносили. Камергера Лилиенфельда за нерадение о том, что слышал от жены, лиша всех чинов, сослать в деревню; вице-ротмистра Лилиенфельда, подпоручика Акинфова и адъютанта Колычова определить в армейские полки; дворянина Ржевского высечь плетьми и написать в матросы. Императрица изменила эту сентенцию таким образом: троих Лопухиных и Анну Бестужеву высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку; Мошкова и Путятина высечь кнутом, Зыбина — плетьми и послать в ссылку, Софью Лилиенфельд, пока не разрешится от бремени, не наказывать, а только объявить, что велено ее высечь плетьми и послать в ссылку» [Соловьев 1993: 228].

Приведем один, но весьма выразительный пример смыслового сдвига. Т. фон Бок пишет о Павле I:

> Павел поплатился жизнью за насилие над дворянством, и если с тех пор появились еще новые примеры рабства, желание спокойного и достойного существования обнаруживается теперь (когда нация признала свое единство и силу) с тем большей силой [Бок 1951: 194].

А вот как Кросс «проясняет» этот несколько путаный пассаж:

> *…Император Павел заплатил жизнью за насилие над дворянскими* ***правами и над человечностью****… <…> А если и после того времени все еще наблюдаются* ***тирания*** *и рабство, то мечта о* ***законной*** *и честной жизни ныне, когда* ***народ осознал*** *свое единство и силу, стала еще более властной…* [Кросс 1987: 95]. (Курсив в цитатах здесь и далее принадлежит источнику. Выделено мною. — *Л.К.*)

Мы видим, как романист усиливает тираноборческую направленность текста.

Приведем один из очень многих примеров интерполяций. Кросс добавляет в текст Тимо рассказ о трусливом поведении Константина Павловича при Бауцене и его ругательство в адрес гусар: «*Вы быки, только и умеете, что драться!»* [Кросс 1987: 96], причем эти слова даны в эстонском тексте по-русски в следующей форме: «Вы, быки, вы умеете только драться!» [Kross 1978: 96][15]. Фраза необходима для поддержки возмущенных реплик Тимо (также отсутствующих в оригинале Бока): «*Господа, грязь должна течь в жилах вместо крови, чтобы стерпеть такое оскорбление <…> Я спрашиваю: кто же мы? Стадо семьи Романовых?*» [Кросс 1987: 96].

Восхищение русской культурой, присутствующее в тексте Бока, сохраняется и в меморандуме Тимо. Имеются в романе Кросса и сцены с сочувственным изображением личности Жуковского (см. об этом:

[15] Видимо, источником этой фразы послужила презрительная реплика Константина Павловича в адрес Егерского полка, встреченного великим князем в конце 1812 г., при начале заграничного похода, в «непарадной» одежде. Она передана Н. Тургеневым в книге «Россия и русские»: «Эти люди только и умеют, что сражаться!» [Тургенев 2001: 27]. К вопросу о храбрости / трусости великого князя: [Кучерская 2005: 112].

[Киселева, Степанищева 2003]), и неоднократные и очень положительные упоминания о декабристах — честных и мужественных борцах с тиранией. Но в целом критика деспотизма и деспота так или иначе переходит и на Россию — страну, где царит рабство и деспотизм. Поэтому Тимо, в отличие от его прототипа, не призывает лифляндское дворянство становиться *русским*. Это для Кросса концептуально важно.

Первоначально повествователь Якоб Меттик судит об окружающем с точки зрения эстонского крестьянина, для которого *все* господа, и в первую очередь, конечно, немцы (местные землевладельцы) — враги. Однако постепенно он проникается логикой зятя — этого «гвоздя в теле империи», как Тимо себя называет. И событийный пласт (арест, обыск, слежка за освобожденным «безумцем», доносительство) становится импульсом для постепенного расширения социально-политической перспективы. Поэтому и Якоб начинает рефлектировать над собственным отношением к верховной власти, над тем, какую позицию по отношению к ней должен занимать он сам, его бывший начальник-эстонец майор Теннер, а также сын Тимо и Ээвы Юрик.

По ходу повествования Яан Кросс последовательно разворачивает перед читателями образ империи, где востребована не честность, а угодничество, где служба государству легко оборачивается ложью и даже предательством.

Именно поэтому у Кросса фактически нет разницы между александровской и николаевской Россией. Одним из ее символов становятся жандармы, которые приезжают в Выйзику, чтобы арестовать Тимо [Кросс 1987: 60]. В строгом смысле это не анахронизм. Яан Кросс опирался на опубликованное письмо Александра I к лифляндскому губернатору Паулуччи, где говорится о возможной посылке, правда, одного жандарма[16].

Напомним, что Жандармский лейб-гвардии полуэскадрон, одетый в голубые мундиры, был образован в 1815 г. И все же это были другие жандармы, чем те, что потом стали подчиненными графа А.Х. Бенкендорфа. Их функция первоначально состояла в поддержании порядка в армии. Причем ни упомянутый полуэскадрон, ни образованный вскоре Жандармский полк не вошли потом в состав Отдельного корпуса жандармов, который возник при Николае I и действительно стал политической полицией. Но слово «жандарм» должно было вызвать у читателей «Императорского безумца» однозначные ассоциации, поэтому

[16] Ср.: «Вы отправите г-на Бока с высылаемым к вам фельдъегерем, придав сему последнему, если будет нужно, одного жандарма в помощь» [Три письма 1886: 115].

Кросс неоднократно прибегает к нему в романе. Недаром упомянута и «Пчела», т.е. одиозная газета «Северная пчела», хотя в 1822 г., о котором идет речь, она еще не выходила. Как и в случае с жандармами, даже образованный читатель романа, способный отреагировать на название газеты, был не обязан помнить, что она начала выходить на три года позже. Кроссу важно было наполнить свой текст знаками-символами, создающими устойчивое ощущение России как полицейского государства.

Не будем множить примеров. В заключение постараемся объяснить функцию такого образа России, хотя это и так довольно очевидно. У трактовки Кроссом России — два плана: исторический и современный. Исторически речь идет об империи эпохи Александра I и Николая I, которая действительно являла собой деспотическое государство. Видимо, имело значение и то, что имперская Россия не вызывала особых симпатий у советских властей и у цензуры, а это делало достаточно острый роман Кросса более «проходимым». Но у него, как у всякого подлинного исторического романа, имелся и второй план.

Конечно, «Императорский безумец» — роман о политическом диссиденте, бросившем вызов власти и поплатившемся за свою смелость девятью годами одиночного заключения и гражданской смертью, отказавшемся бежать из страны, чтобы остаться «гвоздем в теле империи», воспринимался в СССР на рубеже 1970–80-х гг. как очень актуальный. «Психушки», куда заключали советских диссидентов (в том числе эстонцев) за политическое инакомыслие, физические методы воздействия в этих спецбольницах, в тюрьмах и лагерях, а также проблемы компромисса с властью, перед которым рано или поздно оказывался любой мыслящий советский гражданин, вопрос об отъезде из страны (добровольной либо вынужденной эмиграции) или продолжения жизни «под прессом», опыт доносительства, сотрудничества с органами политического сыска — все эти советские реалии легко извлекались читателем из подтекста «Императорского безумца»[17].

Разумеется, никаких примитивных аллюзий Кросс не допускал[18]. Но как настоящий исторический романист он отвечал своим текстом на вопросы, которые волновали его современников и его самого. И читатель помнил, что Российская империя оказалась не вечна. В этом состоял еще один — на этот раз оптимистический — подтекст романа. Он давал надежду. Поэтому глубоко не случайно, что в «Императорском безумце» уделено такое внимание «эстонской доле».

[17] В своих лекциях Кросс говорил об «исторических рифмах» между 1820-ми и 1970-ми гг.: [Kross 2003: 88–89]. Р. Вейдеманн пишет о том, что выступление эстонской интеллигенции в 1980 г. против русификации Эстонии, известное как «письмо сорока», в частности, вдохновлялось поступком героя «Императорского безумца» [Veidemann 1996: 323].

[18] Ср. его собственное признание: [Kross 2003: 84].

1.2. Герои и их прототипы у Яана Кросса (на примере новеллы «Третьи горы» и пьесы «Трудная ночь доктора Карелля»)

Яана Кросса волновали люди, связанные с одной из самых ярких акций периода эстонского национального возрождения — строительством Карловской церкви в Таллине. Двое из них — отец эстонской профессиональной живописи Йохан Келер (Johann Köler; 1826–1899) и выдающийся врач, чьи методы лечения используются до сих пор, Филипп Карелль (Philipp Jakob Karell; 1806–1886) — являлись одновременно и членами кружка так называемых друзей народа или петербургских патриотов[19], а также видными личностями при русском императорском дворе.

Сюжетной основой исторической новеллы (или малого исторического романа) Яана Кросса «Третьи горы», напечатанной в 1975 г.[20], послужила документальная история о создании алтарной фрески в Карловской церкви в 1879 г. Главный герой — автор фрески, профессор Императорской Академии художеств Йохан (или по-русски — Иван Петрович) Келер. Текст охватывает многие эпизоды жизни художника и замечательного общественного деятеля, активного борца за права эстонского народа. Придворный врач Филипп Карелль, также изображенный в «Третьих горах» и многократно упоминаемый в романе «Уход профессора Мартенса» (1984), является главным героем в исторической пьесе Кросса «Трудная ночь доктора Карелля» («Doktor Karelli raske öö. Ajalooline näidend», см.: [Kross 2005: 239–293]). Она была впервые поставлена в Эстонском драматическом театре в 1994 г. (режиссер-постановщик Микк Микивер, в главной роли Айн Лутсепп), но опубликована только в 2000 г. в серии «Библиотека журнала “Лооминг”». Событийная канва интересующих нас произведений, хотя и написанных Кроссом в разное время, тесно переплетена.

[19] См. о деятельности кружка: [Karjahärm, Sirk 1997: 26–29], а также об эстонцах в Петербурге в 1850-е гг.: [Ibid: 20–22; Pullat 1981; Pullat 2004].

[20] Русский перевод Ольги Самма вышел из печати в 1976 г., в год 150-летия Й. Келера.

Когда автор пишет роман или пьесу, т.е. вымышленное повествование, то какое значение может иметь соотношение текста с внехудожественной реальностью? Этот вопрос неизбежно встает при анализе любого художественного текста, тем более актуален он, когда речь идет о сочинении на исторический сюжет. Свобода *исторического* романиста или драматурга по определению не безусловна[21], тем более не безусловна она, когда речь идет об авторской установке на восстановление культурно-исторического ландшафта Эстонии, о чем Яан Кросс прямо пишет в предисловии к «Третьим горам». Однако Кросс недаром делает оговорку, что на культурно-исторической карте Эстонии не хватает не только объектов, но и красок. В «Третьих горах» его интересуют именно «краски», поэтому он порой вполне сознательно приносит им в жертву исторические детали[22]. Одна из целей настоящего параграфа — дать реальный комментарий к некоторым эпизодам интересующих нас сочинений Кросса. «Несоответствие» вымысла фактам не снижает художественных достоинств текста как вымышленного повествования, и образы не теряют своей убедительности и глубины. Реальный комментарий проясняет поэтику исторического повествования и задачи, которые ставил перед собой автор. Так что в конечном итоге данное исследование направлено на изучение поэтики творчества Яана Кросса.

Собственно действие в исторической новелле происходит в течение двух дней и завершается освящением фрески Келера «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные...», состоявшемся 29 июля 1879 г., но перед читателями проходит значительная часть жизни главного героя. «Третьи горы» написаны в форме внутреннего монолога Келера, что сразу делает из реального исторического лица художественный образ — кроссовского Келера. Кросс создает не просто историческую

[21] В применении к Кроссу об этой проблеме замечательно писала исследовательница Эа Янсен: [Jansen 2005: 136].

[22] Следует учесть и то, что какие-то детали, видимо, просто оставались ему неизвестными, а какие-то он не счел нужным уточнять. Например, герой открывает свежий номер «Revalische Zeitung» со статьей о процессе Веры Засулич — но процесс происходил на полтора года раньше! Полагаем, что это — сознательный анахронизм, который можно объяснить тонким авторским ходом, рассчитанным на внимательного и знающего читателя. Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника, обер-полицмейстера генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепова. В «Третьих горах» есть эпизод (описанный на документальной основе), как Келер обращается к Трепову после произведенного у него обыска. Тут Кроссу нужна внутренняя «рифма» эпизодов, даже если она заметна не всем читателям. В архитектонике художественного произведения такие «рифмы» играют существенную роль.

новеллу, а модернистский текст о художнике, о природе искусства. Изредка в этот внутренний монолог вторгается прямая речь других персонажей. Самая существенная интерполяция — это письмо, полученное кроссовским Келером в момент окончания работы над фреской, от давнего знакомого, хийюмааского помещика Рудольфа фон Гернета (имя реальное — владелец имения Ваэмла, которое реальный Келер действительно посетил в 1863 г., — но образ сконструирован[23]). Письмо служит завязкой основного узла новеллы и источником внутренних переживаний художника. Оно выявляет и главный нерв повествования — борьбу двух сил в Остзейском крае: его хозяев, остзейских немцев, и возрождающейся эстонской нации, одним из лидеров и символов которой является Келер.

Возведение Карловской церкви в Ревеле также являлось результатом этой борьбы. Кросс не останавливается на подробностях строительства церкви, рассчитывая на то, что хотя бы в общих чертах они эстонскому читателю известны, поэтому они уходят в подтекст, в предысторию. Напомним кое-какие факты. Долгое время единственной лютеранской церковью в Ревеле, где происходили службы на эстонском языке, была церковь Пюхавайму (Св. Духа), в результате ее приход в середине XIX в. доходил до 14 тыс. членов. Началась грандиозная национальная акция по сбору денег для строительства нового храма, в 1870 г. состоялось первое богослужение в еще не совсем достроенной церкви. В концепции кроссовского Келера (что совпадает и с позицией Й. Келера) залог возрождения эстонской нации — это умение объединять усилия, поэтому возведение церкви становится символом национального возрождения. Однако в новелле не подчеркивается, что в этой акции сотрудничали представители разных наций и разных слоев общества. Так, к крупнейшим донаторам принадлежали немцы — петербургский архитектор и коллега Келера по Академии художеств Отто Гиппиус (Otto Pius Hippius, 1826–1883), безвозмездно спроектировавший храм, ревельский архитектор Рудольф Кнюпфер (Rudolf Otto Knüpfer, 1831–1900), безвозмездно руководивший строительством. Рядом с ними стояли эстонцы — предприниматель Ханс Хенрих Фальк (Hans Heinrich Falck), придворный врач Филипп Карелль (который не только сам пожертвовал деньги, но и явился посредником крупного вклада в 15 тыс. рублей со стороны царской семьи) и придворный художник Йохан Келер. Его фреска «Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-

[23] Некоторые детали (например, то, что Гернет является президентом яхт-клуба) верны, но относятся к более позднему периоду жизни реального Гернета.

ненные…» была даром эстонскому народу. В новелле Кросса стоимость подарка проходит красной нитью через текст — не только материальная стоимость (работу оценивали в 10 и даже 15 тыс. рублей), но и его моральная цена. Герой Кросса постоянно рефлектирует — ему кажется, что он своей работой только «откупается» за «предательство» своего народа: он выбился в люди, тогда как его собратья страдают под гнетом помещиков, а его пример только служит укреплению социальной системы (как бы подчеркивая, что система не препятствует талантливому эстонцу сделать карьеру!). Фактически основная тема новеллы — это цена компромисса. С точки зрения автора, Келер платит свою цену и в искусстве — как придворный художник он вынужден идеализировать свои модели.

У кроссовского Келера в тексте два двойника — два деятеля эстонского возрождения — радикал Карл Роберт Якобсон (какое-то время бывший при дворе учителем немецкого языка) и умеренный Карелль, и художник мечется между этими двумя моделями поведения, постоянно осуждая себя за компромиссы. Доктор Карелль, по Кроссу, действует очень медленно и осторожно, молчит и соглашается, чтобы лишь иногда добиться у власть предержащих какого-то небольшого результата в пользу эстонцев. Кроссовского Келера это раздражает. Оправдание в глазах героя врач получает тогда, когда решается на «протестный» поступок: отказывается делать аборт любовнице императора Александра II Екатерине Долгоруковой. Заметим, что эпизод этот (повторенный и в пьесе «Трудная ночь доктора Карелля», см. ниже), возможно, и пикантный, но апокрифический. К 1879 г. княжна Долгорукова (через год ставшая морганатической женой императора) уже жила в Зимнем дворце (что было реальному Келеру прекрасно известно), родила Александру четверых детей[24]. Кроме того, для гинекологических операций при дворе имелся целый штат лейб-акушеров. Привлекать к подобной процедуре (возникни в ней потребность!) 73-летнего лейб-медика, тайного советника Филиппа Яковлевича Карелля не было необходимости. Однако у Кросса имелся источник,

[24] Княжна Екатерина Михайловна Долгорукова (1847–1922) стала любовницей императора Александра II в июле 1866 г. 6 июля 1880 г. в Царском Селе состоялось ее венчание с овдовевшим императором. Указом от 5 декабря 1880 г. ей был пожалован титул светлейшей княгини Юрьевской. Дети: Георгий (1872–1913), Ольга (1873–1925), Екатерина (1878–1959) были узаконены и получали фамилию Юрьевские (Борис, родившийся в 1876 г., умер младенцем). Последняя дочь — Екатерина — родилась 9 (21) сентября 1878 г. Известно, что Александр II обожал своих детей. Имелись у императора дети и от других любовниц.

на который он и опирался. Это книга эстонского пастора и генеалога Мартина Липпа[25], где приводятся устные рассказы, далеко не всегда восходящие к самому Кареллю.

Вернемся к кроссовскому Келеру. Идея слияния с народом и — невозможность такого слияния постоянно его преследуют. Поэтому в своем внутреннем монологе герой иногда употребляет по отношению к эстонскому народу отчужденно-отстраненное «они». Создание фрески — это одна из возможностей преодоления разделительного барьера. Кроссовский Келер — человек не религиозный, и пишет он своего Христа, потому что это нужно «им», т.е. его не столь продвинутым собратьям. При этом главный его замысел — написать *национального* Христа[26]. Так интерпретирует Я. Кросс тот факт, что моделью для лика Спасителя, по признанию самого художника, послужил эстонский крестьянин Виллем. Реальный Келер действительно встретил его на Хийюмаа в 1863 г. и тогда же написал с него картину «Крестьянин с топором» (художественно это была явная стилизация под Иоанна Крестителя с полотна Александра Иванова «Явление Христа народу»). И вот тут-то Кросс и завязывает основной сюжетный узел — антагонист героя Рудольф Гернет, таинственным образом узнавший о замысле национального Христа (этот мистический момент также рефлектируется художником), издевательски разоблачает перед Келером его модель, что должно, по его замыслу, привести к краху национального проекта.

Во-первых, Виллем — не совсем эстонец (в нем течет «чужая кровь»), а во-вторых, по своим моральным качествам совсем не годится для модели Христа. Прежний кучер Штакельбергов (каким его

[25] См.: [Lipp 1932]. Книга была написана в 1919 г., из ее рукописи был сделан своеобразный экстракт и опубликован в виде статьи (с соответствующими ссылками) будущим редактором печатной версии А. Лююсом, тоже занимавшимся изучением деятельности Карелля: [Lüüs 1926: 545–555]. Лююс повторил фрагмент об отставке Карелля. Характерно, что Мартин Липп — это тот самый пастор, который говорил проповедь на церемонии освящения фрески Келера в Карловской церкви 29 июля 1879 (см.: Köleri fresko // EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus. URL: https://www.kaarlikogudus.ee/kirik/koleri-fresko (дата обращения 19 сентября 2018 г.), хотя Липп не был пастором этого прихода), и этот факт обыгрывается в новелле. Кросс, который ничего не дает случайно, как бы указывает на один из своих источников.

[26] О важности сюжета «Третьих гор» с точки зрения национального проекта (урок петербургских патриотов), а также о его аллюзионности на советскую ситуацию 1970-х гг., об автобиографических проекциях Я. Кросса, его размышлениях над миссией художника в условиях несвободы и чужой власти см.: [Salokannel 2009: 324–327].

знал Келер) стал жестоким управляющим, садистом, с удовольствием подвергающим порке своих соплеменников. Тут Кросс вводит в действие весь модернистский комплекс: художнику видится, что вместо Христа он написал дьявола, эстонцы будут поклоняться лже-Христу. Только дьявол мог раскрыть Гернету тайну замысла о национальном Христе, о котором сам Келер не распространялся. Все это ввергает художника в такую депрессию, что он задумывается даже об уничтожении своего произведения или о бегстве с церемонии освящения. Причем сам герой (не говоря уж об авторе!) в минуты просветления прекрасно понимает, что *в искусстве* вопрос о моральных качествах модели не может иметь никакого значения. Другое дело — для национального проекта.

Если опять-таки обратиться к фактам, то очевидно одно — реальный Келер ни в чем дурном Виллема заподозрить не мог. До 1972 г., когда в журнале «Kultuur ja elu» появилась заметка о нехристианском поведении модели келеровского Христа (см.: [Tevier 1972: 18–20; Kruus 1976: 304]), в эстонской печати, где не раз рассказывалось о кучере Виллеме[27], не было упоминаний о его жестокостях. Возможно, что Яан Кросс слышал какие-то устные легенды на островке Кассари (рядом с Хийумаа), где когда-то располагалось имение Штакельбергов и где в 1970 г. писатель приобрел себе хутор[28].

Однако не так уж важно, был или не был реальный Виллем Тамм садистом[29], гораздо существеннее, как и зачем использован этот мотив Кроссом. Функция подобного «сдвига» в художественном мире новеллы связана, как нам представляется, с трактовкой Кроссом фундаментальных религиозно-философских проблем — амбивалентной природы искусства и религии (переплетение добра и зла, божественного и дьявольского начал), отчетливо звучат ницшеанские мотивы. Обращается

[27] См. сводку данных: [Reidna 1983: 89].

[28] Дом Виллема Тамма, который достался после его смерти в наследство его дочери Хелене, стал позднее дачей Айно и Оскара Каллас. Здесь была создана большая часть произведений Айно Каллас 1920–30-х гг.

[29] А. Кывамеэс подчеркнула связь образа Виллема у Кросса с эстонской литературной традицией — бурмистр у Э. Вильде в «Войне в Махтра» [Kõvamees 2005: 115–128]. Зато, заметим в скобках, сами «Третьи горы» Кросса воспринимаются порой как документальный источник. Так, на сайте Карловской церкви г. Таллина история с «красивым Виллемом», послужившим моделью для образа Христа, излагается с использованием текста Кросса (см.: Köleri fresko // EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus. URL: https://www.kaarlikogudus.ee/kirik/koleri-fresko (дата обращения 19 сентября 2018 г.)). Так историческая новелла обнаруживает свой неомифологический потенциал и становится мифопорождающим устройством.

писатель и к эстонской литературной традиции[30]. Как верно заметил Оскар Круус, реальный Келер не был озабочен проблемой Христа и черта[31], зато кроссовский Келер — очень даже. Герой долго находится во власти искушения, но в конце концов побеждает его[32]. Более того, стремится обрести подлинную веру, к чему его призывает и его подруга Элла Шульц. Это — идеальный женский образ[33], носящий реальное имя, но сконструированный писателем. Как нам представляется, Кросс отталкивался при этом от портрета, написанного Й. Келером в 1868 г. (можно предположить, что по заказу ее отца).

Реальная Элла Шульц — это музыкант и композитор Элизабет (Елизавета Георгиевна) Шульц (1846–1926), писавшая под псевдонимом Адаевский (Ella von Schultz-Adaïewsky) [Hüsken 2005]. Псевдоним составлен из буквенных обозначений ударов литавр в увертюре к опере Глинки «Руслан и Людмила» (A, D, A — ля, ре, ля)[34] и в романе не упомянут. Однако некоторые факты из ее биографии Кроссом использованы. Достаточно иронически описан ее отец — врач, писатель и переводчик Георг фон Шульц (Georg Julius von Schultz; 1808–1875), писавший под псевдонимом Dr. Bertram (см. новейшую биографию: [Pärnik 2006]). Кстати, он, как и автор «Третьих гор», являлся переводчиком «Горя от ума» (только Шульц переводил на немецкий) — у Кросса названы другие его переводы. Упомянута в «Третьих горах» и ранняя концертная деятельность Елизаветы (об успехе ее концертов в Дерпте в 1862 г. писал Ф.Р. Крейцвальд), и то, что она училась у Рубинштейна. Действительно,

[30] Несколько по-иному писал об этом комплексе проблем О. Круус [Kruus 1976: 305], который увидел здесь следование эстонской национальной традиции и указал на примирительную трактовку взаимоотношений Бога и дьявола в эстонском фольклоре и литературе. Эстонский национальный черт Ванапаган оказывается у А.Х. Таммсааре рупором положительных идей. Однако не менее важно было бы говорить о ницшеанской линии у того же Таммсааре (см.: [Пильд, Тоомель 2010: 260–261]).

[31] Тот же О. Круус высказал справедливое предположение о том, что реальный Келер не был озабочен проблемой Христа и черта [Kruus 1976: 304–305].

[32] Если обратиться к истолкованию заглавия, то, как мы полагаем, это и есть «третья гора» (= препятствие), которую преодолевает кроссовский герой.

[33] А. Кывамеэс справедливо вписала образ Эллы в парадигму идеальных героинь Кросса [Kõvamees 2005: 115–128].

[34] Сама Е.Г. Шульц в 1870-е гг. написала несколько опер на сюжеты из русской истории — «Дочь боярина», «Заря свободы», «Соломонида Сабурова». Она, как и отец, интересовалась фольклором, только музыкальным (в том числе эстонским, а также греческим). Кроссовская Элла играет своему Джанни (так она называет Келера) «греческие песни», однако Греческую сонату для кларнета (или скрипки) и фортепиано реальная Э. Шульц сочинила в 1881 г.

Елизавета Шульц училась в 1862–1869 гг. в только что открытой Петербургской консерватории — по классу фортепьяно у А. Рубинштейна и А. Дрейшока и композиции у Н.И. Заремба и А.С. Фаминцына (в это же время у них учился и П.И. Чайковский).

Антон Рубинштейн оказался нужен в новелле для одного из центральных эпизодов, когда кроссовские Келер и Элла организуют помощь эстонским крестьянам с Хийумаа, которые прибыли в Петербург летом 1868 г. в надежде на переселение на юг России, но были выдворены полицией обратно на свой остров, под власть своих же помещиков.

Этот вопиющий акт несправедливости действительно имел место, только реальные Йохан Келер и, скорее всего, Элла Шульц отношения к этим событиям не имели. Келера летом 1868 г. в Петербурге не было. Документ, со всей очевидностью свидетельствующий об этом, — письмо А. Юрьева — был опубликован после выхода в свет новеллы Кросса «Третьи горы» — в монографии Бориса Энста о Келере (см.: [Enst 1980]). Однако хранится это письмо в Тарту в Литературном музее. Знатокам Келера, консультировавшим писателя, оно было известно, а через них, видимо, и Кроссу — уж слишком близко к тексту описаны в «Третьих горах» события лета 1868 г.

События же эти подробно изложены в письме, *адресованном* Келеру и хранящемся в его архиве. Оно было написано 2 июля 1868 г. членом кружка петербургских патриотов, чиновником Морского министерства Александром Юрьевым (1835–1878) и направлено в Рязанскую губернию, в имение Семеновых Урусово, где Келер в это время находился.

Согласно документу на помощь попавшим в беду эстонским крестьянам добровольно пришли русские купцы, обеспечившие голодных хлебом, и добросердечные петербуржцы, жертвовавшие им деньги (особенно после опубликования статьи о них в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Голосе»). Собранная сумма оказалась солидной (472 рубля), она была разделена между крестьянами, и каждому досталось по 3 рубля. Кроме того, на собранные деньги было куплено продовольствие на обратную дорогу. Среди участников этой акции были полицмейстер и православный священник.

В новелле Кросса 500 рублей привозят на баркас Элла и Келер. Причем деньги эти они занимают у Рубинштейна. Знаменитый композитор выбран не только по упомянутой биографической связи с ним прототипа, но из-за своего еврейского происхождения. Кроссовская Элла не обинуясь напоминает своему учителю о том, что он принадлежит к угнетенной нации, призывая его к солидарности с другим угнетенным национальным меньшинством[35]. Конечно, вообразить себе подобный диалог в Петербурге в описываемую эпоху невозможно — это явилось бы скандальным нарушением не только этикета, но и этики. Однако Кросс пишет *национальный* исторический текст, для которого мифологизация оказывается одним из ведущих приемов.

В этой связи такое большое значение приобретает в «Третьих горах» любовная линия. Кроссовский Келер выступает как страстный любовник и как предмет любви со стороны нескольких дам. Главная возлюбленная, конечно, Элла. Понятно, что документальные данные о любви старого холостяка Й. Келера к музыкантше Элле Шульц отсутствуют. Как установлено исследователями, эта сюжетная линия сконструирована по намеку, сделанному подругой Эллы, эстонской певицей Айно Тамм (см. об этом: [Soonpää 1978: 149]; [Väike Köleri sõnastik 2000: 125]). Думаю, что не меньшую роль сыграл и портрет Эллы работы Келера.

Трогательный роман решен у Кросса в романтическом ключе — как свободный союз двух людей искусства. Причем именно Элла, несмотря на свое эстофильство и религиозность, отвергает предложение о браке и настаивает на свободной любви[36]. А кроссовский Келер, в полном соответствии с романтическим каноном, постоянно размышляет о своем уродстве[37] и об ангельской красоте Эллы, о двадцатилетней разнице в возрасте между ними, о своей душевной дисгармонии и о ее гармонии.

Другой любовный сюжет — это уже прошедший роман Келера с Надеждой Павловной Семеновой, женой его ближайшего друга, сенатора и камергера Николая Петровича Семенова[38], а также любовь к нему сестры Семенова Наталии Петровны Грот, жены академика Я.К. Грота.

---

[35] Эта сцена у Кросса происходит в гостинице на Малой Морской улице, где Рубинштейн якобы остановился. Реальному Рубинштейну не было необходимости нанимать гостиницу, т.к. он проживал в столице по адресу Троицкий переулок, д. 13, кв. 12 (см.: [Адресная книга 1867–68: 410]). Этот переулок был в 1929 г. переименован в ул. Рубинштейна.

[36] Интересно отметить, что реальная Элла Шульц замуж так и не вышла, вторую половину жизни (с 1882 г.) провела за границей, в Италии и Германии, и умерла в Бонне в одиночестве. Долгие годы провела в замке Нойвид, в аристократическом и чисто женском музыкально-литературном кружке. Однако такое решение было, по всей вероятности, вызвано материальными соображениями. От русского императорского двора Элле была назначена солидная пенсия (теперь бы сказали — стипендия), которую она имела право получать до замужества.

[37] Словесные портреты Кросса показывают, как внимательно он рассматривал работы Келера и его фотографии и насколько детально был знаком с его творчеством.

[38] Намек на этот сюжет имеется и в пьесе «Трудная ночь доктора Карелля».

История этих сюжетов у Кросса выросла также из творчества Келера (всех этих людей он неоднократно портретировал), его документально подтвержденной верной дружбы с семействами Семеновых и Гротов, а также, возможно, из исследовательских спекуляций — хотя о том, был ли осведомлен о них Кросс, судить не беремся.

В 1976 г., т.е. уже после выхода в свет «Третьих гор», на научной конференции, посвященной 150-летию Келера, прозвучал доклад Б. Энста [Enst 1983], где он высказывал гипотезу о том, что Келер был любовником Надежды Павловны Семеновой[39] и даже отцом двоих ее детей — сына Петра и дочери Маргариты, а также о том, что Наталья Грот была влюблена в Келера. Умозаключения делались на основании более чем пристрастного анализа писем Келера[40]. Гипотеза о незаконнорожденном сыне опровергается просто — Келер физически не мог стать отцом Петра Николаевича Семенова, родившегося 7 сентября 1858, т.к. с 1857 по 1862 г. находился за границей. Кросс ничего не пишет о рождении детей, но догадки про любовные отношения отыгрывает полностью[41]. Исследовательская мифология соединяется с писательской и дает богатую неомифологию (даже если генетически они не связаны). Однако лично я очень благодарна Б. Энсту, т.к. его ошибочная догадка (Петр Семенов — сын Келера) явилась стимулом к моим занятиям. Первоначально я искала разгадку авторства статьи, подписанной «П. Семенов», из сборника «Эсты и латыши…»[42] (см.: [Семенов 1916]). Загадку не разгадала, зато погрузилась в интереснейший мир, где переплетены судьбы русских, эстонцев, немцев — художников, ученых, писателей.

Однако сейчас речь идет о новелле «Третьи горы», где любовные сюжеты — это не просто обычный романный прием. У Кросса они несут дополнительную нагрузку — это признак социальной победы, утверждения эстонца в чужом и чуждом ему обществе. Именно поэтому предметы любви героя, как правило, социально выше его; препятствие увеличивается, когда речь идет о замужних дамах. То, что Надежда Семенова является женой его ближайшего друга, морально усложняет ситуацию для героя, но придает ей дополнительный блеск. Кроссовский Келер почему-то видит в ее лице крестьянские черты (на портрете работы Й. Келера они, по-моему, не просматриваются). В случае Натальи Грот существен не столько статус ее мужа-профессора, сколько ее происхождение (дворянский род Семеновых восходит к XIV в.). Для концепции Кросса очень важно, чтобы эстонец, выходец из бедной крестьянской семьи, оказался победителем по всем линиям: в искусстве, в карьере, в любви. Успехи на любовном фронте — это еще одно подтверждение высокого потенциала не только его личности, но и потенциала эстонской нации[43]. В «Третьих горах» другой эстонец — К.Р. Якобсон — *прыгнул* еще выше: он целовался с царской дочерью, со своей ученицей великой княжной Марией Александровной (за что лишился места учителя немецкого языка). Не беремся судить, насколько этот эпизод соответствует исторической реальности, но в художественном мире новеллы это — важная характеристика радикала Якобсона.

Кросс стремился создать не историческое исследование, а художественное повествование, которое должно было оживить эстонскую историю, сделать ее интересной, красочной и человечной. Главную свою задачу Яан Кросс выполнил. Его Келер, конечно, отличается от реального, но в целом его характер вполне соответствует реальному Й. Келеру. В его лице показан великий потенциал эстонского народа [Jansen 2005: 138], и выбор исторического персонажа для этой цели в высшей мере удачен. Келер показан как талантливый сын своего народа, который побеждает все трудности. Именно в таком ключе писали о профессоре Императорской Академии художеств и придворном портретисте Иване Петровиче Келере-Вилианди и его русские современники, сравнивая эстонского живописца с русскими собратьями по цеху: «Большая часть наших художников так же, как и Келер, вышла из крестьянской избы; но многие ли из рисующих хорошо лапти не забыли своей несчастной семьи? <…> А Келер как был <…> так и остался не блудным, а истинным сыном своего народа» [Александров Н. 1894: 418].

Доктор Филипп Карелль, с которым постоянно спорит кроссовский Келер в «Третьих горах» и с которым сравнивает себя кроссовский Мартенс («Уход профессора Мартенса»), становится в пьесе «Трудная ночь доктора Карелля» в буквальном смысле слова вершителем судеб Российской империи. Кроссовский Карелль дает Николаю I яд, чем кла-

[39] Николай Семенов (1823–1904) женился на Надежде Шишкиной (1836–1914) 9 июля 1854 г. в Ярославле.

[40] О них пойдет речь в следующей главе настоящей книги.

[41] Рано умершая Маргарита Семенова (1880–1893) теоретически могла быть дочерью Келера, хотя никаких реальных доказательств этому исследователь не приводит [Enst 1983: 98]. У Кросса именно на это время приходится роман героя с Эллой, а об отношениях с Н. Семеновой он говорит как о давно прошедших.

[42] Об этом сборнике см. ниже, в главе 2.

[43] Кросс нередко прибегает к такому приему. Его генерал Михельсон сделан не только эстонцем, но и любовником императрицы Екатерины II («Имматрикуляция Михельсона»), крестьянка Ээва становится женой и соратницей лифляндского дворянина и политического диссидента Т. фон Бока («Императорский безумец»).

дет предел его тридцатилетнему царствованию и деспотизму[44]. Правда, делает он это по требованию самого императора и с ведома наследника престола великого князя Александра Николаевича. Андрес Соосаар посвятил специальную статью трактовке Кроссом проблем врачебной этики [Soosaar 2008]. Нас же интересуют, в первую очередь, исторические источники, на которые мог опираться Кросс в своей трактовке событий.

Основное действие в пьесе происходит в ночь на 2 марта 1855 г. Автор перевел время с юлианского календаря (действовавшего тогда на всей территории Российской империи) на григорианский. Николай I скончался днем 18 февраля 1855 г., соответственно его предсмертная ночь — ночь на 18 февраля 1855 г. Не исключено, что такой перевод на современный зрителю и читателю календарь является сигналом модернизации событий, к которой прибегает Кросс в этой пьесе. Возможно также, что точное соблюдение хронологии вообще не входило в задачу писателя. Так, в «Трудной ночи доктора Карелля» третье действие (эпилог) датируется концом июля 1879 г. На набережной в Петербурге Келер встречает Карелля и с беспокойством сообщает ему новость: он получил письмо от К.Р. Якобсона о закрытии газеты «Сакала» («Sakala»). Между тем выход этой еженедельной газеты был приостановлен на 8 месяцев в мае 1879 г. (последний перед приостановкой номер вышел 5 мая, а следующий — 5 января 1880 г.). В конце июля это не могло быть новостью для петербургских патриотов, вовлеченных в ее издание. Кроме того, автор «Третьих гор» не мог не помнить, что в июле 1879 г. Келер находился в Таллине и работал над фреской «Придите ко Мне…». Работа заняла 10 дней, была завершена 23 июля (4 августа), освящена фреска в присутствии Келера 29 июля (10 августа) 1879 г. Более того, как уже говорилось выше, эпизод с отставкой Карелля обсуждается в «Третьих горах» именно в Таллине, где кроссовский Келер узнает эту новость (на следующий день он собирается ехать в Петербург хлопотать за «Сакала»).

[44] К символическим моментам, призванным внести дополнительный штрих в характеристику России как тиранического государства (с явной проекцией и на советскую эпоху), относится замечание Карелля о том, что при Павле I поэтам за эпиграммы урезали язык [Kross 2005: 253]. Кроссовский герой приводит это в доказательство безумия императора. Конечно, в павловскую эпоху к таким казням уже не прибегали. Скорее это авторская отсылка к «Императорскому безумцу», где (также с хронологическим сдвигом) используется подобный прием. См. об этом в предыдущем параграфе этой главы. Поэтике Кросса вообще свойственна внутренняя интертекстуальность, т.е. перекрестные отсылки к собственным текстам на разных уровнях.

Разумеется, встречаются в пьесе и бессознательные анахронизмы, неизбежные в любом сочинении на историческую тему. Так, в пьесе студент Академии художеств Йохан Келер приходит с визитом к Кареллю вечером 17 февраля (1 марта) 1855 г., и они обсуждают будущее художника, которого придворный врач уговаривает всесторонне совершенствовать свое искусство и обещает способствовать в будущем его придворной карьере (для обоих придворная должность — это средство и путь служения эстонскому народу). Они обсуждают картину Келера «Геркулес выводит Цербера из преддверия ада». Я. Кросс знал по искусствоведческой литературе, что в 1855 г. Келер работал над этой картиной, за которую получил малую золотую медаль, но точная дата начала этой работы была ему неизвестна. Между тем программу на медаль Совет Академии назначил лишь 9 апреля 1855 г.[45], так что обсуждать этот сюжет накануне смерти Николая I герои не могли. В том же разговоре героев Карелль предрекает, что, если Келер будет упорно работать, Академия должна будет сделать его профессором и потом присудить звание академика (см.: [Kross 2005: 263]). В реальности в Императорской академии художеств иерархия званий (в отличие от известной Я. Кроссу академической иерархии) была обратной: сначала получали звание Академика (Келер был удостоен его в 1861 г.), а затем профессора (Келер стал им в 1867 г., что свидетельствовало о быстрой и успешной карьере).

Одним из основных источников при создании пьесы «Трудная ночь доктора Карелля» послужили уже упоминавшиеся нами работы М. Липпа [Lipp 1932] и А. Лююса [Lüüs 1926]. Скорее всего, именно из них почерпнул Я. Кросс не только объяснение причин отставки Карелля (о чем мы писали выше), но и имя его преданного слуги, эстонца Ниголаса Тишлера (Nigolas Tischler). Кросс добавил к краткому упоминанию[46], что доктор познакомился с ним в пору службы в госпитале Конногвардейского полка [Kross 2005: 249], и сделал Ниголаса своеобразным двойником императора Николая: в одну ночь они решаются на самоубийство. Кареллю удается спасти извлеченного из петли слугу и добиться от него обещания не повторять попытки, а после этого его вызывают в Зимний дворец, где Николай требует от него яда и угрожает повеситься, если не получит смертельного снадобья.

[45] См.: [Сборник 1866: 236]. Медаль была присуждена Келеру 30 сентября 1855 г. [Сборник 1866: 250].

[46] Ср.: «Уже в молодости, учась на врача, Карелль познакомился с солдатом-эстонцем Ниголасом Тишлером и взял его к себе в услужение. Ниголас остался верным слугой Карелля почти на всю жизнь» [Lüüs 1926: 554].

К указанным работам восходят описания взаимоотношений Карелля с лейб-медиком Мартином Мандтом, который когда-то рекомендовал младшего коллегу на должность придворного врача, а потом обвинял в неблагодарности, и другие детали[47]. Однако ни Липп, ни Лююс не поддерживают версии об отравлении Николая[48]. Поскольку она составляет центральный сюжет пьесы «Трудная ночь доктора Карелля», то нужно задуматься об источниках, послуживших толчком для кроссовской интерпретации событий.

Смерть императора Николая, последовавшая после недолгой болезни, явилась загадкой для современников, предметом многочисленных сплетен и спекуляций среди современников и потомков, излагалась в целом ряде мемуаров и становилась предметом специальных исследований как историков, так и медиков. Конечно, Кросс, прекрасно знавший русскую историю, знакомился со многими сочинениями на эту тему. Их можно разделить на две группы: принимающих официальную версию о кончине императора от паралича легких и поддерживающих версию о самоубийстве (первый намек в печати появился в «Колоколе» в 1859 г.), восходящую к лейб-медику Мартину Мандту (1800–1858). Думается все же, что непосредственным источником и, возможно, толчком могла явиться для Кросса статья Анатолия Смирнова «Разгадка смерти императора», опубликованная в 1990 г. в качестве послесловия к книге известного историка Александра Преснякова (1870–1929) «Российские самодержцы» [Пресняков 1990][49].

А.Ф. Смирнов (1925–2009), проделавший довольно характерный путь от сотрудника Академии общественных наук при ЦК КПСС до лектора Сретенской духовной семинарии, долго занимавшийся историей революционного движения в России, а потом ставший автором книги

[47] Среди важных для Кросса — расстроенные нервы дочери Карелля Марии (она действительно умерла от душевной болезни), рассказ о знакомстве Карелля с Николаем I (император узнает, что он — эстонец, и радуется этому обстоятельству). Последний факт был весьма существенно трансформирован Кроссом, для которого царь — неограниченный властитель, презирающий подданных. Поэтому его Николай напоминает врачу о его происхождении («сын крепостного слуги» [Kross 2005: 273]), чтобы заставить беспрекословно повиноваться приказу. Великодушие и уважение к человеку отсутствуют у кроссовских самодержцев — не только у Николая I, но и у Александра II.

[48] Причем М. Липп делает это с опорой на воспоминания самого доктора, которые записывал и разбирал один из информантов — А. Трумм [Lipp 1932: 51–52]. К сожалению, воспоминания не были опубликованы, а архив и библиотека Карелля не сохранились.

[49] Издание представляет собой перепечатку вышедших еще в 1920-е гг. работ историка, в том числе его известной краткой монографии «Апогей самодержавия. Николай I» (Ленинград, 1925). Послесловие А. Смирнова занимает с. 435–462 книги.

о Карамзине (2006), поддержал версию о самоубийстве императора. В своей статье он широко пользовался мемуарами польского революционера Яна (Ивана) Савицкого (1831–1910), имевшего псевдоним Стелла. Воспоминания писались в старости, были изданы после смерти автора[50] и в библиотеках Эстонии отсутствуют. Смирнов знал их по своим занятиям польским восстанием 1863 г. и его деятелями[51]. Большая часть его статьи — это перевод из этих воспоминаний, но неточный, с большими смысловыми сдвигами и собственными интерполяциями. Чтобы сделать Савицкого свидетелем событий, о которых тот мог знать в лучшем случае с чужих слов, Смирнов излагает его биографию, мягко говоря, тенденциозно, хотя в его распоряжении была корректная биографическая справка, составленная по архивным данным (см.: [Дьяков 1967: 153–154]).

Савицкий — сложная и противоречивая фигура. Он был выпускником Академии Генерального штаба (1854) и служил в штабе Отдельного гвардейского корпуса, но адъютантом великого князя Александра Николаевича и другом его детства (разница в возрасте между ними — 13 лет!) не был, как не учился в Пажеском корпусе и т.д., как это представляет Смирнов [Смирнов 1990: 453]. Реальный (а не мифологический!) Савицкий сделал хорошую карьеру, дослужился до чина полковника, вышел в отставку в 1863 г. и принял участие в польском освободительном движении. Потом жил вне пределов Российской империи, поддерживал связи с Герценом. Однако еще в Петербурге он установил достаточно тесные отношения с Н. Добролюбовым и Н. Чернышевским и даже какое-то время был любовником жены последнего [ЛН 1953: 434]. Сейчас не место вдаваться в подробности его жизни и даже его воспоминаний. Для нашей темы важно, что он подробно и красочно описывает сцену, как Николай вынудил доктора Мандта дать ему яд, о чем ему якобы рассказал за границей сам бывший лейб-медик. Приведем цитаты из разговора Николая и Мандта, который, как нам представляется, использовал Кросс (хотя и сделал основным действующим лицом Карелля[52]):

> — Был ты мне всегда преданным, и потому хочу с тобою говорить доверительно — ход войны раскрыл ошибочность всей моей внешней политики, но я не имею ни сил, ни же-

[50] См.: [Stella-Sawicki 1921]. Никаких ссылок на это издание в статье Смирнова нет.

[51] См., например, его монографию: [Смирнов 1959]. Савицкий был членом кружка Сераковского.

[52] У Кросса яд готовят оба медика, но Николай I предпочитает принять его от Карелля, поскольку тот является его подданным.

лания измениться и пойти иной дорогой, это противоречило бы моим убеждениям. <…>

— Ваше Величество, — отвечал я ему, — Всевышний дал Вам крепкое здоровье, и у Вас есть силы и время, чтобы поправить дела.

— Нет, исправить дела к лучшему я не в состоянии и должен сойти со сцены, с тем и вызвал тебя, чтоб попросить помочь мне. Дай мне яд, который бы позволил расстаться с жизнью без лишних страданий, достаточно быстро, но не внезапно (чтобы не вызвать кривотолков).

— Ваше Величество, выполнить Ваше повеление мне запрещают и профессия и совесть.

— Если не исполнишь этого, я найду возможным исполнить намеченное, ты знаешь меня, вопреки всему, любой ценой, но в твоих силах избавить меня от лишних мук. Поэтому повелеваю и прошу тебя во имя твоей преданности выполнить мою последнюю волю.

— Если воля Вашего величества неизменна, я исполню ее, но позвольте все же поставить в известность о том Государя-Наследника, ибо меня как Вашего личного врача неминуемо обвинят в отравлении.

— Быть посему, но вначале дай мне яду [Смирнов 1990: 454–455].

Кросса могли заинтересовать здесь аргументы, препятствующие врачу совершить подобный поступок («профессия и совесть»), которые он, однако, отбрасывает, а также идея участия наследника в событии. Все эти мотивы подробно разработаны в пьесе «Трудная ночь доктора Карелля», в соответствии с ее концепцией.

Главный герой — это типичный для Кросса рефлектирующий персонаж, который пытается решить для себя мучительную проблему: согласившись дать яд царю, он поступает как борец за свободу и спаситель отечества, как раб или как гуманист[53]. При следующей пограничной ситуации Карелль уже не сомневается и на провокации не поддается — он решительно отвергает предложение царя Александра II нарушить

[53] Выводит кроссовского героя из этого состояния его жена (по традиции — добрый ангел сомневающегося персонажа), которая поразительным образом проникает ночью в Зимний дворец, выслушивает исповедь мужа и становится свидетельницей приготовления яда. Конечно, это вымысел, но для театрального действа — весьма эффектный.

врачебную этику и уголовное законодательство (аборты в Российской империи являлись деянием уголовно наказуемым, хотя мера наказания чуть преувеличена автором). Доктор Карелль обретает свободу — свободу от компромисса[54].

Финал очень символичен и перекликается с финалом «Третьих гор»: Карелль с женой и Келером едут в церковь[55] слушать Баха. Доктор признается, что Бах помогает ему преодолеть сомнение в существовании Бога, и звучит баховская токката. Освящение фрески Келера в «Третьих горах» проходит под звуки баховского прелюда (Кросс даже приводит ноты!) — «высокие торжественные звуки», «могучий гремящий водопад». Музыка Баха если и не делает кроссовского Келера верующим христианином, то, во всяком случае, вызывает молитвенное обращение к Христу и помогает выдержать церемонию, преодолеть страх перед разоблачением своей тайны — что он изобразил в образе Христа жестокого и страшного человека, можно сказать — дьявола. Так Кросс возвращает читателей и зрителей к одной из любимых своих тем — теме искусства, его всепобеждающей силы. Самое высокое искусство, по Кроссу, способно победить и собственную двойственность, подчинить дьявольское начало божественному.

Как мы полагаем, реальный комментарий очень многое проясняет в природе исторического повествования Я. Кросса. Оно неомифологично, аллюзионно, требует максимальной концентрации читательского внимания, задает немало загадок, разгадывать которые необыкновенно интересно.

[54] Ср. трактовку поведения Карелля перед Александром II у Липпа [Lipp 1932: 47]: мужественный, героический поступок, который можно сравнить с поведением библейских героев — Натана перед Давидом и Иоанна Крестителя перед Иродом! Кросс использует ту же модель для сравнения, но в другой ситуации. Его Карелль сопоставляет себя в роковую ночь отравления Николая I с вольноотпущенником Фаоном [Kross 2005: 279]. Однако кроссовский Карелль недаром колеблется в имени античного персонажа, ибо имеет в виду другого вольноотпущенника — *Эпафродита, который в усадьбе Фаона* держал меч перед Нероном и помог императору покончить с собой, чтобы тот избежал позорной и мучительной казни. Скрытая параллель Николай — Нерон, конечно, важна для Кросса.

[55] В какую именно — не уточняется, но эстонский читатель мог догадаться, что — в эстонскую Яановскую (недаром путь из дворца пролегает по набережной Невы). В условиях советского времени, когда эта церковь в Ленинграде была разорена и превращена сначала в склад, потом в жилой дом, это был один из тех намеков, с помощью которых писалась «тайная» национальная история, которую так ценили читатели Кросса. Почетным патроном петербургской Яановской церкви, реставрированной и вновь освященной в феврале 2011 г. (современный адрес: ул. Декабристов, 54), был лейб-медик Карелль.

Глава 2

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЭСТОНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В этой главе на примере взаимодействия российского имперского пространства и эстонского национального движения второй половины XIX — начала XX в. поднимаются проблемы, актуальные для современного исторического знания и широко обсуждаемые в мировой науке. Это — природа империи, различные трактовки лояльности, идея равноправия наций и национальное строительство, эволюция национального движения — от борьбы за покровительство со стороны имперских властей к идее культурной автономии и, наконец, национальной независимости. В первой части главы проблемы эти ставятся на материале литературных проектов — сборника «Эсты и латыши, их история и быт», изданного в 1916 г. в Москве по инициативе эстонской диаспоры, сборника «Отечество», изданного в том же году русскими общественными деятелями — членами партии кадетов, искавшими выхода из тупиковой имперской национальной политики, а также проекта, выдвинутого горьковским издательством «Парус». Все они так или иначе связаны с «эстонским делом».

Во второй части главы мы обращаемся к раннему этапу эстонского национального возрождения (пробуждения). На примере сочинений о Крымской войне Ф.Н. Руссова и Ф.Р. Крейцвальда, а также автобиографии отца эстонской живописи Й. Келера мы стремимся показать, что их ориентация на Россию и «русский» патриотизм являлся частью их эстонского национального проекта.

2.1. Империя как пространство для национального строительства

2.1.1. Конструирующая роль литературы в имперском национальном строительстве

Тема империи находится сейчас в фокусе исследовательского внимания и на Западе, и в России. Труды Уильяма Фуллера [Фуллер 2009], Рикарды Вульпиус [Вульпиус 2010], Мартина Ауста [Ауст 2010], Алексея Миллера [Миллер 2008], [Миллер 2010], Бориса Колоницкого [Колоницкий 2010] и многих других историков развивают самые разные аспекты проблемы, в том числе проблему имперской идентичности. Однако не следует думать, что подобный подход есть изобретение современного исторического дискурса, следующего за книгой Б. Андерсона «Воображаемые сообщества» [Андерсон 2002]. Соотношение *имперского* / *государственного* и *национального* рефлектировалось уже в ту эпоху, когда империи (в частности, Российская) были еще реальностью, а не политической метафорой.

Нации — это сравнительно поздний вид групповой самоидентификации. В его создании участвуют культурные элиты данного сообщества, формирующие тот «национальный миф», который выполняет консолидирующую функцию и лежит в основе любой национальной самоидентификации. Б. Андерсон подчеркивал роль «печатного капитализма» в этом процессе, сделав основной упор на газеты. С нашей точки зрения, не менее существенна художественная литература, которая является одним из важнейших средств строительства «национального мифа».

Писатель — это одновременно и носитель мифа, и его создатель. Художественная литература — не этнографическое описание, и национальные образы строятся, конструируются в ней не столько на основании бытовых впечатлений о том или ином народе, сколько исходя из общих мировоззренческих установок, из литературной традиции и, наконец, из поэтики конкретного текста. Писатель отталкивается от стереотипов, созданных до него, и вносит в них свои изменения. Он конструирует образы, которые воспринимаются читателем как нечто органичное, почти что реально существующее или, по крайней мере, возможное в реальности[56]. Так, на формирование национального самосознания эстонцев и даже на появление самоназвания *eestlane* (эстонец) вместо прежнего *maamees* (мужик) или *Undeutsche*[57] огромное влияние оказала поэма Ф.Р. Крейцвальда «Калевипоэг» (1857–1861), которая стала восприниматься как исконный национальный эпос:

> Эпос этот долгое время считался народным эпосом, наравне с Гомером, финским «Калевала» и пр., но это было недоразумение. Крейцвальд заимствовал материал из эстонских песен,

[56] Зачастую именно писатели становятся в глазах общества «отцами нации». На раннем этапе национального пробуждения эстонцев бесспорными лидерами нации были писатели Ф.Р. Фельман, Ф.Р. Крейцвальд, Й.В. Яннсен, Л. Койдула, К.Р. Якобсон и др. Здесь и далее в центре нашего внимания будет эстонская культура.

[57] Так именовали эстонцев прибалтийские немцы (остзейцы).

> сказок, преданий, «но сам Калевипоэг, каким он является в поэме, есть создание Крейцвальда <…> Народные предания знают о Калевипоэге только, что он отличался необыкновенною физическою силою и вел борьбу с нечистыми духами», автор присоединил идею возмездия [Отечество 1916: 83].

Не менее важна и репрезентирующая функция национальной литературы, представляющей свой народ, так сказать, внешнему наблюдателю, поэтому степень ее доступности на иных языках, кроме родного, также становится важным фактором национального строительства. В условиях империи, когда национальным меньшинствам необходимо отстаивать свои позиции на общегосударственном уровне и доказывать свою культурную самостоятельность[58], литература того или иного народа становится мерилом его зрелости, а его будущее во многом зависит от презентации его культурных достижений на государственном языке.

Кроме того, поскольку в литературе в целом каждый народ существует как бы в нескольких «конкурирующих» зеркалах: в зеркале собственной национальной литературы (которая создает «портрет» нации) и одновременно в литературах других (в первую очередь, соседних) народов, — от того, какой образ окажется более влиятельным, также зависят перспективы национального строительства.

Как известно, в Российской империи — и в правительственной политике, и в общественном сознании с середины XIX в. — постоянно боролись две (по сути своей — взаимоисключающие) концепции:

1) идея многоэтничности. В Российской империи проживало более 100 наций и народностей, что традиционно воспринималось властью положительно — как предмет гордости, как своеобразное украшение короны, и такой взгляд внушался и подданным. Еще Екатерина II, руководствуясь имперским, в точном смысле слова, принципом многоэтничности, поощряла научные экспедиции для изучения окраинных народов России, а также издание трудов вроде знаменитой книги И.Г. Георги[59]. В научном отношении эти труды затем были продолжены Русским географическим обществом (основано в 1845 г.). Вряд ли следует оговаривать, что они также часто стимулировались политическим заказом и использовались в идеологических целях.

[58] Что, в свою очередь, является первым шагом в борьбе за национальное самоопределение и собственную государственность.

[59] См. полное название: «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей» (1776–1777).

Члены царской семьи увлекались коллекционированием этнографических материалов. Николай II основал Этнографический отдел Русского музея императора Александра III, из которого позднее вырос самостоятельный Этнографический музей. Царь на свои средства выкупил для музея ценные коллекции, он сам и другие Романовы передали музею свои собрания. Этнография страны развивалась достаточно активно, в частности издавалось и большое количество популярной литературы (очень разного качества и достоинства): например, серии брошюр «Народы России» или «Где на Руси какой народ живет и чем промышляет»[60], а также 12-томная «Живописная Россия — отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» [Живописная 1881–1901], выходившая с 1881 по 1901 г. под редакцией П.П. Семенова — будущего Тян-Шанского. Эти книги были призваны показать читающей России, сколь велика и разнообразна страна, в которой они живут.

Вместе с тем сама идея нации, а тем более национальное строительство, национальные движения, стремящиеся к торжеству этничности и этнизации территорий, противоречат природе империи как многонационального государства и угрожают ее целостности[61]. Именно с этим связана другая концепция:

2) идея моноэтничности — доминирования единственно «полноценной» титульной нации, с которой другие в конечном итоге должны слиться (так называемая русификация окраин[62]). Эта идея базировалась на центральном имперском принципе — единой и неделимой России. С точки зрения имперской власти, все по-своему культивировавшееся богатство и разнообразие этносов безальтернативно объединялось в единое тело — отечество, которое могло расширяться, прирастать землями и народами, но не могло уменьшаться. Национальные движения воспринимались как потенциальная угроза единству, расценивались как нелояльность, даже предательство и влекли за собой репрессии. Само-

[60] Издавалось и множество тенденциозных псевдонаучных брошюр (см., в частности: [Брюггеманн 2006; Лескинен 2004; Вишленкова 2011]).

[61] Тем не менее история Российской империи двигалась именно в таком направлении, поэтому развитию национальных нарративов уделяется все больше внимания при изучении «имперского измерения истории России» [Миллер 2008: 6].

[62] Видимо, для самих власть предержащих было не до конца ясно, что под этим подразумевается. Полная ассимиляция («обрусение» ста наций и народностей) была очевидно нереальной, невоплотимой. Границы же культурной интеграции (усвоение всеми жителями империи русского языка и культуры) были слишком зыбкими и в реальной политике также трудно проводимыми.

державие всегда было центром российской имперской идеологии, а лояльность короне всегда была основным требованием власти к подданным — как к отдельным личностям, так и к нациям. Все общественные силы и движения расценивались (чем дальше, тем больше) с этой точки зрения.

По мере углубления политики русификации идея того, что в России *много* наций со своими национальными языками и литературами, становилась политически все более острой. Поэтому, особенно для идеологов, оппозиционных официальному курсу, было важно привлечь печатное слово и художественную литературу «окраин» к своим построениям.

Отношение к лояльности у российской власти и у ее подданных с национальных окраин существенно различалось. Власть считала лояльность естественной и неотъемлемой *обязанностью* своих *подданных*, а подданные, напротив, воспринимали ее как своего рода товар, обменный продукт в ходе борьбы за достижение своих целей. Печатное слово, и в частности художественная литература, становилось в этих условиях все более востребованным средством для формирования идеологии — как официальной, так и оппозиционной.

Ниже речь и пойдет о двух проектах, возникших на закате Российской империи и связанных с использованием печатного слова одновременно и в национальном и имперском строительстве, с попыткой примирить эти конфликтные начала и добиться своих, в каждом случае — различных — целей. Оба они в большей или меньшей степени связаны с западными регионами Российской империи, и в частности с Остзейским краем, а также с национальным движением эстонцев и латышей.

2.1.2. Эстонско-латышский проект «Эсты и латыши, их история и быт»

Сборник под таким названием был издан в Москве в 1916 г., видимо, в конце апреля, т.к. уже 1 мая в петроградской эстонской газете «Pealinna teataja» на него появилась рецензия (см.: [Rets. 1916]). Задумывался сборник гораздо раньше, в самом начале Первой мировой войны. О готовящемся издании в тартуской газете «Postimees» было сказано следующее: «Идея возникла уже в прошлом (т.е. в 1914. — *Т.К.*) году, была поддержана в Московском обществе эстонских студентов, и осуществление этого дела находится в руках представителей этого общества и латышской общины» [Kaelas 1915]. Опоздание было связано с денежными трудностями. Автор призывал соотечественников

помочь изданию и многозначительно замечал: «Сейчас добытчиками дохода являются только московские эстонцы (через членские взносы). Поскольку денежная поддержка со стороны латышей довольно слаба, то добывание денег ложится на плечи маленькой эстонской общины» [Ibid.].

То, что идея издания зародилась в диаспоре, вполне закономерно. Те, кто жил в русском окружении, особенно остро чувствовали, как мало знают об Остзейском крае даже в образованном русском обществе:

> Например, до войны в России господствовало широко распространенное мнение, будто эстонцы и латыши по своему происхождению находятся в близком кровном родстве с немцами. Нельзя скрыть, что представители коренных прибалтийских народов сами являлись причиной подобных предубеждений. Здесь, в большой России, немецкие бонны, немецкие управляющие, винокуры или землемеры на хорошем счету, а об эстонцах и латышах почти никто ничего хорошего не слышал. Поэтому эстонцам и латышам, которые ищут в России места, очень выгодно признать себя немцами, а если это по той или иной причине невозможно, то объяснить, что эстонцы и латыши — это почти один и тот же народ с немцами [Rets. 1916].

Историки, изучая центры эстонской и латышской культуры в Петербурге и в Москве, до сих пор делали главный упор на том, как сохранялись и развивались эстонская и латышская культуры в условиях инонационального окружения. Это вполне соответствовало основным направлениям деятельности, в частности, Московского эстонского общества[63]: изучение родного языка, издание газеты, организация школы, церкви, хоров, театра, а также социальная помощь соотечественникам на чужбине. Нам хотелось бы обратить внимание на тот аспект национально-культурного строительства, который далеко не сразу был осознан самой диаспорой как важная *миссия*. Это — *выход за пределы своей*

[63] Московское эстонское общество было зарегистрировано 31 декабря 1908 г. (см.: [Московское 1909]), однако сами члены считали временем его основания 1900 г., когда было образовано Московское эстонское благотворительное общество (см.: [Устав 1900]). С июля 1915 г. оно располагалось по адресу: Чистые пруды, д. 17 (эти помещения использовало и Московское общество эстонских студентов), его деятельность находилась на подъеме, хотя число членов снизилось со 185 до 138 (см.: [Moskva 1915]).

общины, работа по созданию имиджа собственной нации и культуры среди другого народа, в контексте большой империи.

В остзейских провинциях Российской империи петербургская власть долгое время взаимодействовала только с балтийскими немцами, хозяевами края, лично преданными царской семье. Их особый статус в рамках империи до поры до времени власти не очень волновал (хотя слабые попытки этот статус ограничить все же предпринимались). Коренные жители, эстонцы и латыши, воспринимались по аналогии с русскими крестьянами — как простой народ, требующий соответствующего обхождения (в основном дисциплинарных мер в случае неповиновения господам). Однако после образования Германской империи в 1871 г., когда стали раздаваться голоса немецких публицистов о необходимости восточным немецким провинциям, т.е. остзейским, также воссоединиться с исторической родиной, а среди остзейцев стал набирать силу германский национализм, положение приобрело неожиданную остроту. К этому времени национальное пробуждение эстонцев и латышей также стало заметным фактором местной жизни. Правительство даже попыталось использовать этот ресурс в своих интересах, хотя делало это не очень ловко и умело[64].

Таким образом, число акторов в отношениях между имперским центром и балтийской периферией к концу XIX в. заметно возросло. В ситуацию включились, кроме центральной власти:

1) русские чиновники, посланные проводить в жизнь правительственную политику, но часто проявлявшие собственную инициативу (см.: [Миллер 2008: 8]);

2) остзейские «германские» националисты (см.: [Андреева 2002; Киверик 2007]);

3) «лояльные» России остзейцы;

4) русские националисты в центре;

5) представители иных, весьма по-разному настроенных общественных кругов России и, соответственно, — печать самых разных направлений[65];

6) немецкие публицисты в Германии (см.: [Вираб 1916; Laaman 1920]);

[64] Было бы невозможно перечислить все труды, где затрагиваются проблемы взаимоотношений имперского центра и остзейской окраины. Упомянем лишь некоторые из них: ([Исаков 1961; Karjahärm-Sirk; Karjahärm 1998; Брюггеманн 2002; Brüggemann 2007]; об интересующем нас периоде см., в частности: [Андреева 2002; Карьяхярм 2002]).

[65] В названных работах (см. предыдущую сноску) авторы касались также и отношения российской печати к остзейскому вопросу. См. также: [Михайлова 2008].

7) лидеры национального движения эстонцев[66] и латышей (разных направлений) и их печать.

Этот список можно продолжать и уточнять.

Словом, национальные движения среди коренных народов и среди прибалтийских немцев из периферийной внутриполитической коллизии превратились в болезненную внешнеполитическую проблему, в борьбу в сфере политических интересов России и Германии. Каждый участник этого процесса вырабатывал собственную стратегию и менял (или не менял!) ее в зависимости от ситуации.

В обмен на лояльность эстонцы хотели добиться хотя бы минимальных условий для собственного национального строительства: получить культурную автономию, достичь решения земельного вопроса и ликвидации немецких привилегий. Однако своя лояльность была и у балтийских немцев, они трактовали ее как личную и добровольную унию с монархией, а остзейские привилегии рассматривали как *обязанность власти* эту самую лояльность оплачивать. Вопрос состоял в том, чья лояльность перетянет, и тут нужны были «группы поддержки». Балтийские немцы имели большие связи в высших сферах Петербурга. Главным же ресурсом эстонцев и латышей была печать.

Как известно, создание печати на родном языке сыграло в эстонском и латышском национальном строительстве первостепенную роль. Но в общении с центральной властью, в поисках средств и методов воздействия на нее для продвижения своего «проекта лояльности» нужен был выход за пределы своей общины, на большой печатный рынок на русском языке. Только он мог мобилизовать широкую общественную поддержку эстонскому и латышскому «проекту».

Нас будет интересовать, какие попытки в этом направлении предпринимались и какие применялись дискурсивные практики[67], т.е. какую версию своей ситуации и какой «автопортрет» пытались предъявить российскому обществу эстонцы и латыши. Этот вопрос пока, насколько нам известно, почти не изучен (привлекались лишь речи в

[66] Т. Карьяхярм пришел к однозначному выводу, что, несмотря на русификаторскую политику российского правительства, общая ориентация вождей эстонской нации в конце XIX — начале XX в. оставалась антинемецкой и прорусской (см.: [Karjahärm-Sirk 1997: 275–277; Karjahärm 2007: 198–199]). Более того, вплоть до 1917 г. никто из них не отстаивал идеи независимости Эстонии от России. Актуальной оставалась позиция Я. Тыниссона, высказанная им в 1909 г.: эстонцы являются лояльными гражданами и патриотами России [Karjahärm 2007: 195].

[67] Некоторые дискурсивные сценарии выделил К. Брюггеманн, но его интересовал дискурс «русской Прибалтики» в имперское и советское время [Brüggemann 2007: 85–90].

Государственной думе депутатов от коренных народов Эстляндии и Лифляндии).

Основой конструирования подобного дискурса всегда является *образ врага*. Наш случай не исключение. Из двух противников — местных господ и русской власти — роль главного врага была отдана прибалтийским немцам. То, в какой мере коренные народы прибалтийских губерний ненавидели остзейцев, наглядно продемонстрировали события 1905 г. Однако нужен был момент, когда антинемецкая риторика смогла бы получить широкий резонанс и вызвать сочувствие в разных кругах российского общества (не только в правой печати).

Первая мировая война буквально дала шанс в руки, и национальные деятели им воспользовались.

Содержание интересующего нас коллективного труда «Эсты и латыши, их история и быт» недвусмысленно свидетельствует о том, что книга выполняет задачи национального строительства. Делается это последовательно и очень умело. Даже такая, казалось бы, нейтральная статья, как «Прибалтийский край. (Географико-статистический очерк)» Скуенека (М. Скуениекса) имела отчетливую направленность — подготовить новое административное деление края (что и последовало через год, уже при Временном правительстве). Автор доказывает нецелесообразность разделения эстонцев и латышей между двумя губерниями, т.к. они «по языку, характеру, нравам и обычаям резко отличаются друг от друга» [Эсты и латыши 1916: 274]. Но одновременно Скуиниекс всеми доступными ему статистическими средствами подчеркивает высокий уровень самосознания и культуры этих народов, подтверждая их зрелость, возможность выхода из-под остзейской «опеки»: *поголовная* грамотность[68], в отличие от остзейцев, где «среди прибалтийского дворянства больше неграмотных, чем среди крестьян» [Там же: 284].

На титуле сборника «Эсты и латыши…» обозначена серия: «В Прибалтийском крае», что указывает на замысел издателей продолжать знакомить читателей с «малыми» «коренными» народами края (оба определения были для авторов концептуальны). Первое должно было указывать на мирный и — косвенно, в контексте эпохи — угнетенный характер этих народов, а второе — с особой силой подчеркнуть основную концепцию сборника: немцы — пришельцы, а эсты и латыши — исконные обитатели этой земли, им, а не остзейцам она и должна принадлежать.

[68] Тут автор несколько приукрашивает картину: приведенные им данные свидетельствуют о высоком, но не о 100-процентном уровне грамотности коренных народов [Эсты и латыши 1916: 283].

Сборник состоит из 12 статей, но пронизан единством концепции. Она может быть изложена в следующих тезисах:

1. Немцы — главные враги эстонского и латышского народов. Они всегда и во всем руководствовались только своими сословными и материальными интересами.

2. Прибалтийские немцы — совсем не носители и распространители культуры, а бессовестные эксплуататоры.

3. Русское правительство виновно главным образом в том, что не только не ограничило привилегий немцев, но даже восстановило те, что были отменены шведами (тут главный виновник — Петр I), и далее всегда шло на поводу у остзейцев: Александр I освободил крестьян, но отобрал землю (из-за того, что проект писали бароны!). Великие реформы Александра II так и не получили в крае должного распространения. Даже русификация Александра III, вместо того чтобы ударить по немцам и положить предел господству немецкого языка, вылилась в обрусение народной школы коренных народов и ограничения на употребление эстонского и латышского языков.

4. Эстонцы и латыши добились больших успехов в развитии своей национальной культуры — не с помощью немцев и русских, а вопреки тем препятствиям, которые чинили и те и другие (особенно остзейцы!). Показатели высокого уровня: почти поголовная грамотность, развитие национальной журналистики, печатного слова, литературы, театра, а также кооперации, ссудо-сберегательных касс, рождение своей интеллигенции и буржуазии и пр.

5. Коренные народы Прибалтики давно созрели для самостоятельного существования. Русское правительство должно провести давно обещанные реформы, чтобы обеспечить широкую автономию именно коренным народам, освободить их из-под власти остзейцев.

6. Русское общество, которое еще мало осведомлено о действительном положении дел в Прибалтике, должно поддержать справедливые требования коренных народов и обеспечить им общественную поддержку.

Авторы, чьи работы собраны под одной обложкой усилиями анонимной издательской комиссии[69], были людьми различной политической ориентации, что отразилось на их последующей судьбе. Однако среди авторов сборника могли быть и его инициаторы. Возможно, одним из них был эстонский юрист Пеэтер Руубель (Peeter Johannes Ruubel;

[69] «Издательская комиссия» — это подпись под предисловием к сборнику. Как явствует из процитированного выше уведомления [Kaelas 1915], в нее входили деятели Московского общества эстонских студентов, деятели латышской и эстонской московской диаспоры.

1885–1957), написавший статью «О социально-политических стремлениях эстской интеллигенции»[70]. Он учился сначала в Тартуском, потом в Московском университете и принимал участие в деятельности как группировки «Noor-Eesti» [Ruubel 1918: 51], так и Московского общества эстонских студентов и Московского эстонского общества. В 1915–1918 гг. он служил в Петрограде, а до этого успел недолго поработать в Эстонии [Ruubel-50 1935]. Он мог быть хорошим связующим звеном между разными городами и деятелями. В период образования самостоятельного эстонского государства Руубель был одним из разработчиков закона об автономии, а затем — конституции Эстонской Республики. Зато другой юрист — редактор сборника и автор программной статьи Михаил Андреевич Рейснер (1868–1928), ученик А.Л. Блока, отца поэта, — стал потом одним из авторов первой конституции РСФСР.

Среди участников труда «Эсты и латыши…» были упомянутый выше будущий член латышского сейма и премьер-министр Латвии статистик Маргерс Скуениекс (Скуенек в русской огласовке; 1886–1941), расстрелянный коммунистами, и латышский революционер, историк Карл Иванович Ландер (1883–1937), член компартии с 1905 г., занимавший потом в советской России крупные должности[71]. С ним соседствуют позднее погибший в сталинском лагере Рейн (Роман) Элиасер (Rein Eliaser, 1885–1941)[72] и член кадетской партии, гласный Петроградской городской думы адвокат Эммануил Абрамович Дубос(с)арский (1879–1920, расстрелян большевиками в Керчи)[73]. Рядом с русским педагогом из Риги Сергеем Алексеевичем Золотаревым (1872–1941?)[74] находим ве-

[70] Она явилась русской версией его эстонской работы [Ruubel 1914]. Ср. также более позднюю его книгу [Ruubel 1920].

[71] Ему принадлежат в сборнике две статьи: «Очерк развития аграрного строя Латвии и Эстонии» и «Латышская интеллигенция и ее социальные стремления». Они продолжали его работы о Прибалтийском крае в многотомной «Истории России в XIX веке» (СПб., 1906–1907).

[72] Рейн Элиасер — выпускник Рижской духовной семинарии, учился на юридическом факультете Казанского университета, окончил Тартуский университет в 1910 г., адвокат, член Эстонского парламента в 1931–1937 гг. [Eliaser-50 1935]. Его статья в сборнике — «Роль дворян в местном самоуправлении Прибалтийского края» — явилась продолжением двух ранее опубликованных на эстонском языке работ [Eliaser 1911; Eliaser 1914].

[73] Его статья называется «Несколько слов о суде присяжных в Прибалтийском крае».

[74] Ему принадлежит статья «10 лет в прибалтийской школе». Золотарев был составителем многих хрестоматий по литературе, методических разработок, а также книги «Очерк по истории учительского объединения в России» (Пг., 1915). При советской власти был репрессирован и умер в лагере.

ликого лингвиста И.А. Бодуэна де Куртене (1845–1929), коллегу редактора сборника по Петроградскому университету[75].

Через все 12 статей проходит мысль об остзейских немцах как поработителях, угнетателях, которые принесли неисчислимые бедствия эстонцам и латышам, но которые вредны также и России, ее интересам. Любопытно, как антинемецкая риторика не просто конструирует образ врага, но и умело эксплуатирует концепт лояльности: остзейцы — сепаратисты, а эстонцы и латыши — верные сыны России. Понятно, что такая позиция была рассчитана на подцензурные условия военного времени, на правительственные и националистические круги России. Поэтому в предисловии упор делается на лояльности русскому народу и на устранении всякой мысли о сепаратизме (которая в самой книге звучит более чем явственно). Вот цитата из предисловия: «Сепаратисты в крае не эсты и латыши, а кучка всесильных магнатов, держащих страну в сетях обмана и своеволия» [Эсты и латыши 1916: VIII]. И тут издатели с удовольствием ссылаются на публицистов шовинистического «Нового времени» и вполне солидаризируются с их антинемецкой риторикой, махровой шпиономанией и поиском врагов, а на другие органы русской печати, которые пытались остановить эту разнузданную травлю прибалтийских немцев, даже обижаются, возмущаясь защитой «баронов». Цель такова: русские должны понять, кто им «свои»[76],

[75] Пока нам не удалось установить, кто скрывается под псевдонимом Senex (статья «Латышская народная школа») и кто такой П. Семенов (о статьях Семенова и Бодуэна см. ниже). Автор статьи «Экономические и культурные успехи латышского народа» И. Лапин — это, скорее всего, латышский журналист, писатель и педагог Jānis Eduards Lapiņš (1885–1941), в 1910–1915 гг. учившийся в Московском коммерческом институте, где получил степень кандидата экономики, и в 1914–1915 гг. изучавший литературу в Московском городском народном университете А.Л. Шанявского. В 1917 г. стал одним из основателей Национально-демократической партии, в 1917–1918 гг. — членом Земского совета и Временного правительства Латвии. В 1920–30-е гг. — крупный общественный и политический деятель Латвийской Республики. Сердечно благодарю Л. Спроге и Б. Равдина за ценные консультации.

[76] Согласно предисловию латыши вообще оказываются почти славянами, и утверждается это со ссылками на научные данные. Приведем цитату, чтобы была очевидна система смысловых сдвигов, к которым прибегают авторы для достижения своих целей: «Гораздо больше сродства в этнографическом отношении у нас (латышей) с самими русскими. Латыши — племя литовское, довольно близкое к полякам, и входящее в состав так называемых балтийских славян. *Проф. Поржезинский* на основании филологических данных сближает их еще больше: он говорит об общем *балтийско-славянском* праязыке, из которого вышел и язык латышский, частнее (sic!) относимый им к группе балтийских языков (не-германских)» [Эсты и латыши 1916: X]. Такой конъюнктурный подход был осужден эстонским рецензентом, полагавшим, что неразборчивость в средствах может только подорвать авторитет издания [Laaman 1916].

а кто «чужие». В ход была пущена и вполне традиционная ура-патриотическая риторика военного времени: «Эсты и латыши счастливы и горды сознанием, что настоящая ужасная и кровавая война дала им возможность <…> на боевом фронте стать плечом к плечу с русскими героями против своих врагов и поработителей — немцев» [Там же: XI–XII]. Бороться же с немцами за свою национальную самобытность эсты и латыши обещают «при помощи русских и русской культуры» [Там же: XI]. Конечно, это была риторика[77], и характерно, что предисловие было резко осуждено рецензентом, который назвал его «уродом» [Laaman 1916][78].

Однако пробавляться только ура-патриотической риторикой в духе «Нового времени» было не очень перспективно, поэтому она была использована в предисловии, а в дальнейшем тексте редуцирована. Гораздо больший отклик могла найти у русского читателя мысль о несправедливости, угнетении, тотальном подавлении немцами коренных народов. Эта мысль нашла самое яркое отражение в статье М.А. Рейснера «Немцы и балтийская культура». Пером опытного публициста развенчивает он миф о культуртрегерской роли остзейцев в Прибалтийском крае, а также в России в целом и полемически откликается на выпады германских националистов и опровергает также их мифы[79]. По мысли Рейснера, остзейцы заботились лишь о своих выгодах, поэтому готовы были отдаться даже Ивану Грозному: «И если бы Аттила согласился подтвердить их привилегии, они признали бы его своим высшим суверенным господином» [Эсты и латыши 1916: 28]. Эти законченные крепостники были готовы, как считает автор, «одинаково служить и польскому Сигизмунду, и русскому Петру» [Там же: 45], лишь бы те защищали их интересы.

[77] Нельзя не согласиться с Т. Карьяхярмом, который, приведя несколько весьма выразительных ура-патриотических высказываний эстонских газет 1914–1915 гг. в поддержку победы русского оружия, заметил, что это была «скорее тактика, чем внутреннее убеждение» [Karjahärm 1998: 205]. Однако некий отсвет реальности на ней все же был. Карьяхярм приводит данные о большом числе эстонских *добровольцев*, отправлявшихся на фронт, и пишет о различии антирусской и прогерманской позиции финнов и прорусской ориентации эстонцев, совсем не желавших победы Германии.

[78] Автор рецензии — Эдуард Лааман (1888–1941), крупный эстонский журналист, общественный и политический деятель. Учился на юридическом факультете Петербургского университета в 1908–1912 гг., был членом Петербургского общества эстонских студентов. Принимал активное участие в становлении Эстонской Республики (секретарь Временного правительства Эстонии в 1918 г.). Был пресс-атташе посольств Эстонии в Лондоне и в Москве. Расстрелян в кировской тюрьме.

[79] Материалы упоминавшейся выше статьи историка И. Киверика об антирусских немецких изданиях [Киверик 2007] подтверждают адекватность изложения Рейснера (см. также: [Вираб 1916]).

Характерно, что пафос статьи был тут же поддержан строгим рецензентом:

> Прибалтийские немцы, которые считают себя форпостами немецкой культуры, на самом деле на каждом шагу попирают немецкую культуру во имя своих сословных интересов. Если бы завоеватели Прибалтики действительно несли немецкую культуру, как это любят утверждать их историки в последнее время, то к настоящему моменту не сохранилось бы и следов эстонского и латышского народов — они давно и с легкостью были бы онемечены. Только узкая немецкая сословная политика и групповая отгороженность позволили коренным народам сохраниться — чудесный пример того, как у плохого явления могут иметься и положительные последствия [Laaman 1916].

Лааман и другие эстонские рецензенты с удовольствием отмечали, что под пером русских авторов сборника антинемецкие (как и антирусификаторские) выпады звучат гораздо более убедительно и отводят подозрения «в националистических преувеличениях со стороны коренных народов».

Наряду с яркой антинемецкой риторикой в сборнике присутствует и критика действий русской власти в Прибалтийском крае. Иногда она звучит приглушенно, а иногда и очень отчетливо. Например, тот же Рейснер пишет о «поистине варварском нашествии русских полчищ» на Лифляндию в XVI в. [Эсты и латыши 1916: 28], о «страшном опустошении Лифляндии, сопровождавшемся безмерным грабежом и свирепостью» при Петре [Там же: 28–29], о «полуазиатском владычестве русских в XVIII в.» [Там же: 39]. Его вывод: именно русская власть обеспечила немцам подлинное владычество в крае и полностью подчинила им местные народы.

Критика русской политики имела двойную направленность: это было обращение к оппозиционному русскому общественному мнению, в котором она могла найти отклик, но и к либеральным кругам в правительстве, которые должны были проникнуться сознанием вины и ускорить давно ожидаемые реформы в крае.

Однако инициаторы издания понимали, что добиться желаемых ими результатов (что составляло главную цель сборника) лишь на основе

негативной риторики невозможно. Поэтому был включен еще один важный механизм — *риторика успеха*, т.е. демонстрация достижений коренных народов. Вот что пишет, например, П. Семенов об эстонцах в статье «Эсты. Культурно-исторический очерк»:

> Сопоставим первую половину XIX столетия и современность в жизни эстов — глазам не верится, какая произошла здесь перемена. Тогда перед нами несчастный, приниженный раб, лишенный благ материальных и духовных, ныне — молодая, крепкая нация, смело и твердо подвигающаяся по пути самоопределения, несмотря на все препятствия [Эсты и латыши 1916: 162–163].

Далее в этой статье и в других перечисляются достижения: хорошие урожаи, получаемые крестьянами благодаря использованию сельскохозяйственных машин и передовых методов ведения хозяйства, рост уровня жизни и образованности. Грамотность традиционно высока, издается 40 газет и журналов, число студентов-эстонцев в университетах достигло 800, растет городское эстонское население, а также число эстонских учителей, адвокатов, инженеров, чиновников и пр. [Там же: 164–166] (ср. с наблюдениями современных историков)[80]. Приведен и очерк развития «высокой» эстонской культуры, в том числе деятельности группировки «Noor-Eesti» [Эсты и латыши 1916: 170].

Итак, авторы сборника не только приводили примеры несчастий и унижений, не только клеймили врагов и осуждали близорукую политику русского правительства в остзейском вопросе, но и показывали, что империя будет иметь гораздо меньше проблем, если пойдет навстречу национальным чаяниям коренных народов балтийских провинций.

Посмотрим теперь более внимательно, как эта концепция была воспринята и отрефлектирована в эстонских газетах того времени, издававшихся как в Эстонии, так и в столице империи. Речь пойдет об уже упоминавшихся статьях в знаменитом тартуском «Postimees», в петроградском «Pealinna

[80] При всей болезненности проводившаяся в конце XIX — начале XX в. политика русификации имела результатом усвоение государственного языка, что открывало гораздо более широкие возможности для получения образования, а также для карьеры. Историки пишут о стремительном росте с конца XIX в. числа чиновников-эстонцев на государственной службе [Миллер 2008: 63–64]. Т. Таннберг продемонстрировал, как стремительно росла численность кадровых офицеров-эстонцев в российской армии — осенью 1917 г. их было около 3 тыс., что составляло 1,2% всего офицерского состава [Таннберг 2006: 138]. Такой перечень возможностей, умело «схваченных» в рамках лояльности, можно было бы продолжить.

Teataja» и в «Tallinna Teataja». Важно, что, как и сам сборник, эти статьи сочетают взгляд *извне* (из Петрограда и Москвы) и *изнутри* (пишут эстонцы, для которых все, о чем говорится, составляет кровный интерес)[81].

Еще до выхода книги в тартуской газете развивалась мысль о том, что эстонцы должны работать над созданием выгодного имиджа своей нации и культуры в России, особенно в среде русского образованного общества. Для финансирования подобной широкомасштабной работы предлагалось даже создать специальный фонд — «Капитал для ознакомления с Эстонией» при Эстонском литературном обществе [Eesti 1915]. Поэтому уже в первой статье, где давалась предварительная информация о сборнике, подчеркивалось, что «Эсты и латыши…» — первая ласточка, которая поможет преодолеть бытующие в русском обществе предрассудки относительно эстонцев и латышей, облик которых в глазах русского правительства и общества исказили остзейцы. Второй важный момент — надежда на то, что издание поможет продвижению реформ в крае [Kaelas 1915][82]. Исходя из этого, и в данной статье, и в последующих рецензиях книга оценивалась положительно.

Итак, и содержание сборника, и его целевые установки были восприняты хорошо. Однако, пожалуй, более интересны содержавшиеся в рецензиях критика и соображения общего характера.

«Pealinna Teataja» видит главный недостаток в отсутствии в книге «Эсты и латыши…» капитальных работ, в малом внимании к современ-

[81] Характерно при этом, что в письме из Москвы А. Каэлас (см. ниже), возможно имевший непосредственное отношение к изданию, в предуведомлении для эстонских читателей группирует авторов сборника по национальному признаку: эстонцы, латыши, русские и другие (М. Рейснер и Бодуэн де Куртене). В рецензии Лаамана деление дается не столько по национальному признаку (хотя сказано, что русские статьи — самые острые), сколько по политической ориентации: «В статьях латышей иногда очень видно, что они — чистой воды марксисты. Проф. Рейснера считают если не совсем красным, то розовым. И деятели эстонской московской комиссии, сколько мы о них знаем, не правее кадетов» [Laaman 1916].

[82] Александр Каэлас (1880–1920) — выдающийся эстонский православный богослов, философ и психолог. Выпускник Рижской духовной семинарии (1901), Московской духовной академии (1905) и Московского университета (1911), член Поместного собора Русской православной церкви 1917–1918 гг., приват-доцент Московского (1914–1919) и Иркутского (1919–1920) университетов. В 1919 г. заочно избран профессором философии Тартуского университета и кандидатом на кафедру правящего архиерея Эстонской православной церкви — епископа Таллинского и Эстонского (после мученической кончины первого эстонского епископа Платона). Занять ни одну из этих должностей ему не было суждено — он скончался в Иркутске от тифа.

ному состоянию местного самоуправления, к событиям 1905 года. Когда рецензент пишет: «Поскольку эта книга выросла из потребностей жизни и ставит перед собой практические цели, то ее содержание достаточно легковесно и поверхностно» [Rets. 1916], — он как будто учитывает прагматику издания, но для него это не является оправданием. Он думает в первую очередь об эстонском читателе, поэтому выделяет статью М. Рейснера и особенно рекомендует знакомиться с материалами о соседях — латышах. Имеются и элементы национальной самокритики: мы уже цитировали вывод рецензента о том, что предрассудки относительно коренных народов возникают из-за того, что они сами в поисках выгодного места во внутренних губерниях России выдают себя за немцев или за родственные им народы.

Самая интересная и концептуальная рецензия написана Эдуардом Лааманом. Он тоже отмечает «конспективный характер» статей об эстах и латышах и уделяет главное внимание статьям об Эстонии и эстонцах. И все же, кроме статей Рейснера, Элиасера, Руубеля, речь идет и о работах Ландера, Лапина, Золотарева. Однако самое существенное в его рецензии — это выстраивание идеологического контекста исходя из проблем и недочетов национального строительства. Здесь и отмеченная рецензентом «скромность» эстонских и латышских авторов по сравнению с русскими, и косвенный призыв не упиваться собственными достижениями, в частности положительной статистикой:

> Преподнесенные в цифрах, достижения латышской культуры могут вызвать зависть в большой России: примерно 1000 обществ и сообществ, пресса, где только одной газеты печатается 90.000–100.000 экз., литературной продукции издается 2<000>–10.000 экз. и т.п. Однако это лишь внешняя сторона культуры и всего только начало [Laaman 1916].

Э. Лааман считает, что национальная пресса еще далека от «народности»:

> Подобно тому как большая российская печать вертится вокруг политических интриг и пустяков, оставляя почти без внимания глубинную жизнь государства, так и наша пресса освещает из жизни родины только общества, сообщества, праздники, опять праздники, сообщества, общества, иногда какой-нибудь несчастный случай или преступление, — действительно, порой по письму зарубежного корреспондента в столичную газету можно получить гораздо более живое представление о жизни во Франции и в Англии, чем по нашей печати о нашей родине [Там же].

Рецензент высоко ставит сборник «Эсты и латыши…» в первую очередь за то, что поднятые там вопросы и их трактовка дают иной масштаб местным реалиям. Книга для него — это зеркало, которое призвано дать новое отражение прибалтийской ситуации не только русскому обществу в большой России, но и самим коренным народам, которые должны взглянуть на себя в новом ракурсе. Поэтому в своей рецензии Лааман подчеркивает, что книга позволит эстонцам больше узнать о себе — не из фактов (которые им известны), а из-за их неожиданной трактовки: «Такие обзоры нашего положения, сделанные для чужих, придают им более глубокую перспективу, которая позволяет сделать неожиданные наблюдения, замечания и выводы» [Laaman 1916]. Одну из опасностей для местного национального движения автор усматривает в узости взгляда, в разобщенности, в постоянных спорах и полемиках. Так, он замечает о работе Ландера:

> Когда читаешь статью, невольно закрадывается мысль: не потому ли у нас, малых народов, так много трений и споров, что мы почти совсем не знаем жизни и опыта друг друга? И у больших народов почти такие же малопродуктивные «провинциальные» трения, но там общий большой масштаб помогает ощутить разницу между пустяками и важными вещами. В жизни малых народов тоже много общего и всеобщего, но опыт каждого остается в его собственных узких границах, среди провинциалов нет лидера, который бы собрал и обобщил опыт отдельных членов общины [Там же].

Лааман ставит перед своими читателями ответственные задачи: «Сейчас народы большой России делают только первые шаги к тому, чтобы ознакомить с собой друг друга. Нужно идти гораздо дальше. Знакомство должно вылиться в контакты, в дружеское сотрудничество, совместную деятельность народов» [Там же].

Пафос рецензии далеко выходит за пределы рядового обзора книжной новинки. И здесь автор перекликается с точкой зрения, высказанной в сборнике «Эсты и латыши…» в замечательной статье И.А. Бодуэна де Куртене «Дерпт — Юрьев: (К вопросу о “равноправии”)», которая удивительным образом в обзоре Лаамана не упомянута. Этой работе в нашей книге будет посвящен специальной параграф.

Пока мы сосредоточили свое внимание на «эстонской» части сборника. Теперь обратимся к «латышской» части издания. В целом она находится в русле общей концепции, однако, как мы постараемся показать, статьи о латышах не только доминируют количественно по сравнению с «эстонскими» (5:2), но и выделяются некоторыми важными особенностями.

В первую очередь, латыши гораздо более радикальны, что, напомним, сразу было отмечено эстонскими рецензентами: «В статьях латышей иногда очень видно, что они чистой воды марксисты» [Laaman 1916: 2]. Конечно, «чистой воды марксист» — один, Карл Ландер, и вполне закономерно, что в статье «Латышская интеллигенция и ее социальные стремления» он представляет историю латышского национального движения как неуклонное движение к марксизму [Эсты и латыши 1916: 195 и далее]. Однако и Иван Лапин (J. Lapiņš) в статье «Экономические успехи латышского народа» утверждает: «Можно сказать, что латышский пролетариат не знает другой такой одушевляющей всех идеи, как социализм. Латышский рабочий, если он политик, то непременно социал-демократ» [Эсты и латыши 1916: 215–216].

Ландер и Лапин подробно описывают историю латышского национального возрождения, характеризуя его деятелей, печатные издания и пр. Однако позиции этих авторов все же не идентичны. Лапин более подробно останавливается на деятелях первого этапа, чья активность и привела к тому, что латыши обрели свою национальную культуру и поднялись экономически. Автор дает впечатляющую статистику, сравнивая положение в Латвии и во внутренних губерниях России, подчеркивая при этом, что «вся Латвия по народонаселению меньше Рязанской или Воронежской губернии» [Там же: 223].

Обратим внимание на то, что именно в «латышских» статьях, вопреки тогдашнему официальному территориальному делению, употребляется название «Латвия». Это соответствовало одной из программных установок издания — добиться нового административного деления края по этническому принципу, на Эстонию и Латвию, что, как уже упоминалось, было осуществлено через год, в апреле 1917-го. В сборнике о нецелесообразности тогдашних губернских границ Эстляндии, Лифляндии, Курляндии специально писал М. Скуениекс [Там же: 274].

Лапин с гордостью пишет, что газет и журналов на латышском языке выходит около 60, причем ежедневных газет — 12 [Там же: 221]. Они доступны по цене, и в каждом крестьянском доме газета имеется обязательно, при этом каждое почтовое отделение в Латвии получает русских газет не менее, чем в русских губерниях. Продолжая свой сравнительный анализ, Лапин подчеркивает, что «газеты латышей во многом отличаются от русских, т.к. большинство газет издается для простого народа. Все они несравненно популярнее (т.е. ориентированы на народное чтение. — *Л.К.*) русских газет». Автор замечает, что русские земские деятели часто не знают, какую газету выписать для простого народа, потому что они или слишком сложны, или слишком бульварны. «У латышей нет газет, которые не мог бы читать весь народ» [Там же: 222]. Учитывая сравнительно высокий уровень «латышского простонародья», газеты печатают много статей по сельскому хозяйству, по вопросам культуры. По числу выходящих на родном языке книг латыши находятся на четвертом месте в России, а по их стоимости (дешевизне) — на третьем, после поляков. Латышские писатели издаются тиражом от 3 до 10 тыс. экземпляров, а Блок, Бальмонт, Верлен на русском языке — 1–2 тыс. экземпляров, при этом латышская интеллигенция читает еще и по-немецки, и по-французски, и по-русски [Эсты и латыши 1916: 222].

Если Ландер стремится объяснить все происходящие в Латвии процессы социальными факторами, то Лапин много внимания уделяет национальному характеру. Его характеристика латышей внутренне полемична по отношению к тому образу, который был когда-то создан Г. Меркелем[83] и подхвачен русскими публицистами (с одной стороны, забитый и угнетенный, а с другой — веселый и услужливый народ):

> Латыши не очень общительны, но все-таки не угрюмы и не забиты. Среди них чаще всего попадаются два типа — добродушный, близкий к Франциску Ассизскому, и тип жадного приобретателя, который до низости не стесняется средствами. Как недавние рабы, латыши не отличаются темпераментом. Для приволья, танцев, искусства латыш не имеет много досуга: он вечный труженик. Вот почему душа латыша по виду очень серая, но в самом деле он высечен из гранита и во многих стремлениях проявляет удивительную настойчивость. Несмотря на это, в латыше много душевных черт, родственных русским: добродушие и любовь к широкой жизни. С другой стороны, в нем сравнительно крепка душевная дрессировка, немецкий меланхолизм, аккуратность. Латыш по своим душевным качествам стоит на полпути между русскими и немцами, с оригинальными чертами литовско-латышской расы. Сравнительно с другими народностями России отличительная черта латышей — трудолюбие: именно трудом он

[83] Об этом мы будем говорить в главе 3.

> побеждает своих врагов. Труду латыша научила его суровая судьба. Природа Латвии, особенно Лифляндии, неблагодарна. Сколько здесь песчаных и глинистых холмов! Русские крестьяне здесь скоро разорились бы [Там же: 216–217][84].

Лапин стремится всячески подчеркнуть произошедшие в конце XIX — начале XX в. изменения: «Латышский народ — это великан, выздоравливающий после вековой болезни, разрывающий цепи, которые столетиями привязывали его к барской сохе» [Эсты и латыши 1916: 208]. Он настаивает на том, что латыши перестали быть только крестьянским народом[85] и сделались культурной нацией:

> Латыши имеют не только все сословия и классы населения, но и свою довольно богатую, хотя еще неглубокую национальную культуру, обширную литературу, свои театры и оперы и даже мечтают о национальной высшей школе. Правда, и сейчас в Латвии еще много угнетенных крестьян и рабочих, но даже эти крестьяне и пролетарии не чужды сознания своего достоинства; нередко такой угнетенный становится носителем культурных начал в своем народе, стоит во главе просветительных и земледельческих обществ, выступает как певец хора, артист любительской сельской труппы и т.д. Рядом с ним стоит зажиточный крестьянин; это человек, который живет в просторных комнатах с залом, с мягкой мебелью и роялью; сын его — студент, а дочь — гимназистка или курсистка. Он машиной пашет, машиной сеет и жнет, нередко делает экскурсии в Швецию и Данию, чтобы изучить новейшие способы хозяйства[86]. Этот крестьянин не

[84] В этой приподнятой характеристике латышей в сравнении с соседними народами хотелось бы в первую очередь выделить черты самокритики, которые служат наиболее веским доказательством зрелости латышской нации.

[85] Описывая процессы урбанизации, отток латышского населения в города, автор одновременно утверждает: «Но деревня от этого не ослабела: благодаря чрезвычайно быстрому распространению сельскохозяйственной культуры и машинного труда латышское крестьянство до сих пор считается самым сильным классом в Латвии» [Эсты и латыши 1916: 215].

[86] Последнее утверждение отчетливо полемично по отношению к устойчивому взгляду, сформировавшемуся в XIX в. под влиянием немецкой публицистики, согласно которому успехи сельского хозяйства и применение новых сельскохозяйственных технологий в Прибалтике связаны исключительно с деятельностью остзейских землевладельцев. См. ниже, в главе 3.

> пропускает случая, чтобы повидать лучшие спектакли или народные праздники в своей национальной столице — Риге [Там же: 209–210].

Еще одна важная тема — это дискриминационное положение прибалтийских крестьян по сравнению с ситуацией во внутренних губерниях России. В 1860-е гг. «русские крестьяне были наделены землей, а латышские должны были пожертвовать целое поколение, чтобы за дорогую плату откупить родную землю» [Эсты и латыши 1916: 213]. Коренным прибалтийским народам достались лишь «лохмотья великих реформ» [Там же].

В «латышских» статьях остро ставится тема русификации, судьба латышской народной школы. Вообще, обвинения в адрес русского правительства звучат гораздо громче, чем в «эстонских» статьях. Чего стоит хотя бы фраза: «Великая Северная война погубила всю культуру в Лифляндии, да еще больше половины всего населения» [Там же: 216].

Чтобы наглядно представить русскому читателю, что означает правительственная политика в области просвещения, Лапин приводит выразительную аналогию:

> С первого дня ученик в школе должен был говорить только по-русски. Что это значит, можно понять, если вообразить, что в русской деревне с первого дня поступления в школу крестьянский мальчишка должен был бы говорить только по-французски или по-английски и не смел бы молвить ни слова на родном языке. Школа становится средством пытки [Там же: 218].

Не менее выразительны примеры русского педагога Сергея Золотарева, десять лет проработавшего учителем в Лифляндии в 1890-е гг. Он приводит мнение хозяина имения, где был домашним учителем и одновременно преподавателем в народной школе графа Палена. Тот заявлял, что «латышей и не следует учить русскому языку и по-русски, что латыши примитивный, малокультурный народ, не имеющий исторической литературы, и его не следует выводить из того умственного состояния, которое соответствует его социальному положению» [Там же: 248].

Такова была позиция немцев, но не лучше была и позиция российских чиновников от просвещения, которые требовали, чтобы с крестьянскими детьми, вопреки педагогическому смыслу, с первого дня за-

нимались по-русски учителя, которые сами плохо владели этим языком. Золотарев приходит к выводу, что это была не случайная оплошность, а сознательная установка, что русский язык использовался правительством как тормоз умственного развития латышей. Подлинное приобщение к русскому языку и культуре считалось ненужным и даже опасным, поэтому читать с учениками книги и просто разговаривать вне урока по-русски запрещалось. Преподавать же требовалось не по правилам педагогики, а так, как прикажет инспектор. Среди учителей скорее поощрялось пьянство, чем чтение книг, а русские книги и журналы даже отбирались [Эсты и латыши 1916: 249]. В угоду идеологии от педагогов требовали «одурачивать учеников», как выразился Золотарев, рассказывая о том, что следовало «доказывать славянское происхождение императрицы Екатерины II», возводя слово «цербстский» (Anhalt-Zerbst) к «сербский» [Там же: 252].

С пафосом Золотарева вполне солидарен и народный учитель Senex. Он подчеркивает, что русификация послужила причиной деградации умственных запросов как учеников, так и учителей, падения уровня просвещения. Вот его вывод:

> Народу не нужно ни клерикализма, ни русификации; ему нужно просвещение, подготовка молодого поколения к жизни, к службе своей родине, своему отечеству, всему человечеству. Что знание русского языка для латышей необходимо, против этого никто не спорит. Но мы требуем, чтобы нам гарантировали неприкосновенность нашей национальности, сохранение самобытности нашей культуры [Там же: 242][87].

Итак, можно сказать, что «латышская» часть сборника особенно критична к российской политике в Прибалтийском крае и более настойчива в требованиях по ее изменению. По мнению авторов, эта политика, вопреки здравому смыслу, репрессивна по отношению к коренному населению края и служит поддержкой его врагам, которые одновременно являются и врагами России. Немецкое владычество держится на русских штыках [Эсты и латыши 1916: 247]. Авторы сборника «Эсты и латыши, их история и быт» подчеркивали опасность и непродуктивность

[87] Кстати, на фоне резкого антинемецкого (точнее — антиостзейского) пафоса сборника статья Senex'а «Латышская народная школа (По впечатлениям народного учителя)» выделяется тем, что говорит и об определенной положительной роли, которую сыграли немцы (пусть и под давлением извне) в организации просвещения латышей [Эсты и латыши 1916: 231–233].

такой политики. В 1916 г. лидеры национального движения эстонцев и латышей еще не были уверены в близкой возможности создания самостоятельных национальных государств и выделения их из состава Российской империи. Но ситуация в стране развивалась быстро, и лидеры сумели оперативно на эти изменения отреагировать. Не прошло и года, как лозунги изменились.

Итак, Первая мировая война — канун образования независимых национальных государств Эстонии и Латвии — период, когда эстонское и латышское национальное строительство вступило в решающую фазу. И поэтому нам казалось особенно важным рассмотреть стратегию участников движения, а также избранную ими тактику для достижения своей цели, которая и была в конце концов достигнута. 12 апреля 1917 г. была образована отдельная административная единица по этнотерриториальному принципу — Эстонская губерния, управляемая местным парламентом, избранным прямым голосованием жителей, и исполнительным органом — Земским советом (Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu). Совет этот и провозгласил независимость Эстонской Республики 24 февраля 1918 г., хотя еще на рубеже 1917–1918 гг., по данным Т. Карьяхярма, многие эстонские лидеры сомневались в возможности самостоятельного существования такого маленького государства, как Эстония [Karjahärm 2007: 198–199]. Ситуация в Латвии в 1917 г. была сложнее, т.к. она находилась под немецкой оккупацией, однако в начале декабря в г. Валке латвийские организации окончательно сформировали Латышский временный национальный совет (Latviešu pagaidu nacionālā padome). Независимость Латвийской Республики была провозглашена 18 ноября 1918 г.

Империя же не была в состоянии перестроиться. Имперский дискурс оказался сильнее инстинкта самосохранения.

Могла ли история повернуться по-другому? Если говорить не об абстрактных возможностях, а о конкретно-исторических обстоятельствах, то нет. Об этом свидетельствует и опыт Австро-Венгерской империи, гораздо более либеральной в национальном вопросе, и судьба Белого движения в России (см.: [Кукушкина 2002]). Парадоксальным образом империя оказалась гораздо более благоприятным пространством для национального строительства, чем для сохранения собственного существования.

Рассмотренный нами сборник «Эсты и латыши, их история и быт» — это своего рода подготовительный этап к решающей борьбе за национальную независимость, объединение усилий двух общин, проявление столь нужной для успеха солидарности соседних народов.

Сейчас мы перейдем к другому проекту, созданному в центре и пытавшемуся перестроить империю на демократических основах и решить наконец национальный вопрос, удержав таким образом целостность государства. Инструментом в этой борьбе была избрана художественная литература национальных окраин и национальных меньшинств Российской империи.

2.1.3. Русский либеральный проект создания новой империи на основе равноправия наций: «Отечество. Пути и достижения национальных литератур России. Национальный вопрос»

Этот коллективный труд [Отечество 1916] вышел в Петрограде в том же 1916 г., что и «Эсты и латыши…». По непонятным причинам он, так же как и первый, выпал из поля зрения исследователей, хотя содержит весьма ценный материал для характеристики эпохи, для изучения имперского и национального дискурсов, имперской идентичности и т.п. Оба издания предполагали продолжение, но в силу понятных исторических причин их не последовало.

Пока не совсем ясно, были ли эти сборники связаны между собой. Можно предполагать, что — хотя бы отчасти; по крайней мере, И.А. Бодуэн де Куртене печатался в обоих, так что их участники могли быть осведомлены о планах друг друга. Во всяком случае, эпиграф к «Отечеству» заимствован из статьи Бодуэна, опубликованной в сборнике «Эсты и латыши, их история и быт». Типологическая же, контекстуальная, а также прагматическая связи — безусловны, как очевидны и различия в избранной стратегии. Общим является стремление обоих авторских коллективов доказать ценность культур национальных меньшинств, бесперспективность и опасность политики русификации, необходимость широких демократических реформ, которые только и смогли бы вывести Российскую империю как многонациональное государство на новый уровень развития. Однако выбирают они разные дискурсивные стратегии:

— «Эсты и латыши…» эксплуатируют германофобию русского общества (немцы — враги России), в «Отечестве» немецкая тема не затрагивается, что знаменательно в контексте антинемецкой истерии периода Первой мировой войны (об общественно-политической атмосфере в России в те годы см.: [Фуллер 2009; Колоницкий 2010]);

— оба сборника хотят повлиять на российское общественное мнение, но «Эсты и латыши…» строят образ врага, а «Отечество» сосредоточено на формировании конструктивной положительной программы;

— для латышей и эстонцев гораздо важнее добиться решения *своих* задач (культурной автономии, отмены привилегий остзейских немцев, земельной реформы и др.), поэтому для них вопрос об имперской идентичности является скорее тактическим. Авторы «Отечества» заняты решением *общих* задач, они заинтересованы в том, чтобы Российская империя, переродившись в свободное демократическое государство, сохранила свою целостность.

Сборник «Отечество», как явствует из дат под статьями, собирался во второй половине 1915 г. (цензурное разрешение — 11 марта 1916 г.). Нам, знающим последующий ход исторических событий, известно, что до конца Российской империи оставалось менее двух лет. Однако авторы этого не знали и были полны планов относительно ее переустройства. Они стремились подготовить тот момент, когда будет достигнута победа в «великой войне» и можно будет думать о будущем *новой России*. Это будущее, по их убеждению, должно было быть достигнуто мирными средствами, путем демократических преобразований и сознательного переустройства и государства, и общества. Для них будущее России безусловно связывалось с сохранением империи, поэтому свою задачу авторы видели в том, чтобы сформировать у читателей *имперскую идентичность* (хотя слова «идентичность», конечно, не употребляли). Основа концепции издания — демонстрация преимущества империи как государства многонационального перед государством унитарным: разнообразие наций, языков и культур — залог самодостаточности страны.

Сборник был адресован не столько правительству, сколько обществу и был призван сформировать новую систему ценностных ориентаций. Преодоление узости мышления, ксенофобии, по мысли инициаторов сборника «Отечество», должно было осуществляться, с одной стороны, через анализ ситуации, с помощью рациональных аргументов, а с другой — через практическую демонстрацию культурного богатства населяющих империю народов. С этим связана и структура издания.

Оно состоит из двух частей — в первой (около 100 страниц) помещены теоретические (программные) статьи Б.А. Гуревича, В.М. Бехтерева, И.А. Бодуэна де Куртене и Н.А. Гредескула. Вторая (почти пятисотстраничная) называется «Историко-литературный отдел» и представляет собой антологию финской, эстонской, латышской, литовской, украинской, еврейской, польской и грузинской литератур. Структура каждого из подразделов этого отдела идентична: вступительная статья о развитии данной литературы, а затем представительная выборка прозы, поэзии и даже драматургии в переводах на русский язык. Литература этих народов была мало известна русскому читателю, и антология была призвана

убедить его в том, что кроме русской культуры в России существует еще много развитых и достойных уважения национальных культур. Авторы историко-литературных статей подхватывают и развивают идеи первого раздела, а порой формулируют отдельные положения даже удачнее «теоретиков».

Прежде чем перейти к подробной характеристике концепции издания, остановимся на его инициаторах-редакторах. Их пятеро, трое одновременно являются и авторами статей (Бодуэн, Гуревич и Гредескул), двое — князь П.Д. Долгоруков и профессор В.Н. Сперанский — статей не написали (Долгоруков вообще имел прозвище «Leader ohne Worte»), но и появление их имен на титуле было знаковым. Можно сказать, что один титульный лист мог бы стать основой для романа — столь любопытны и характерны судьбы этих людей.

Бодуэн, Гредескул и Сперанский принадлежали к петербургской профессуре. Борис Абрамович Гуревич (1889–1964) был литератором и переводчиком, на его книгу стихов 1912 г. «Вечно человеческое. Книга космической поэзии» довольно едко отозвался Гумилев. Сын известного киевского раввина и юрист по образованию, Гуревич был борцом за права евреев. После революции эмигрировал, с 1937 г. жил в США, где и скончался. В 1957 г. его кандидатура якобы выдвигалась на получение Нобелевской премии мира.

Гораздо менее благополучно сложилась судьба другого юриста, одного из лидеров кадетской партии и товарища председателя I Государственной думы, подписанта Выборгского воззвания, участника дискуссии вокруг «Вех» (см. его статью в сборнике «Интеллигенция в России», 1910) — Николая Андреевича Гредескула (1865–1941). После переворота 1917 г. он остался на родине, какое-то время работал в ленинградских вузах, затем, по некоторым сведениям, был репрессирован и умер в блокаду. Понятно, что с такой политической биографией долго продержаться при советской власти можно было только в совершенно исключительных случаях.

Другой лидер кадетов, член Государственной думы и депутат Учредительного собрания — князь-рюрикович Павел Дмитриевич Долгоруков (1866–1927) хотя и эмигрировал (уехал из Крыма на последнем пароходе в конце 1920 г.), но в 1926 г. из Парижа нелегально пробрался в СССР, чтобы организовать подрывную деятельность против большевиков. Был опознан, арестован и расстрелян в 1927 г. Человек поразительно разносторонний, он был до революции основателем ихтиологической станции у себя в подмосковном имении, в другом имении построил завод по выделке паркета, а в третьем — лесопильный завод,

поставлявший в Москву дрова. Поддерживал знакомство с Л.Н. Толстым, был пайщиком Московского Художественного театра. Но главным делом для него была его общественная деятельность, также весьма разносторонняя — и организатор помощи голодающим, и активный деятель земского движения, но главное — один из создателей и лидеров Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), от которой и в эмиграции требовал активной и практической деятельности по спасению России.

Еще один юрист, профессор кафедры философии права Петербургского университета Валентин Николаевич Сперанский (1877–1957) происходил из Вильно, был товарищем Ф.Э. Дзержинского по виленской гимназии и оставил о нем воспоминания. Он эмигрировал в 1924 г., до этого успел побывать в Екатеринбурге и собрать материалы о расстреле царской семьи, издал потом на французском языке книгу «Дом специального назначения» (La «Maison à destination spéciale». Paris, 1929).

Среди авторов программных статей «Отечества» было два великих ученых-академика — филолог Иван Александрович (Ян Нецислав Игнаций) Бодуэн де Куртене (1845–1929), благополучно окончивший свой путь в независимой Польше, и невропатолог Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927), оставшийся в России и как будто бы успешно продолжавший карьеру в качестве директора основанного им в 1918 г. Института по изучению мозга. Но в 1927 г., по сведениям семьи, слишком «недипломатичная» медицинская консультация Сталину стоила ему жизни.

Состав авторов недвусмысленно свидетельствует о том, что «Отечество» выражало установки влиятельной Конституционно-демократической партии, можно даже сказать — было кадетским изданием, рассчитанным на либеральную интеллигенцию, которая и составляла для них «общественное мнение». Тираж в 2500 экземпляров нельзя назвать впечатляющим для «пропагандистского» издания. Скорее он сопоставим с тиражом литературных изданий того времени, например поэтических сборников (для сравнения — второе издание «Камня» Мандельштама было отпечатано в количестве 1000 экземпляров). Учитывая, что основной объем книги составляла антология литератур национальных меньшинств, такой тираж следует признать разумным.

Однако вернемся к программе сборника. Внутренний посыл всего текста — это протест против политики русификации и стремление показать, что она непродуктивна и опасна, в первую очередь, для самого государства.

С позиции правительства, политика русификации, имевшая, как хорошо известно, тяжкие последствия, была направлена как раз на укре-

пление империи[88]. Это, как уже говорилось выше, была близорукая попытка противостоять движению национального возрождения со стороны разнообразных национальных окраин, испуг перед возможностью развала государства. Поскольку вначале «опасность» исходила из Польши (восстание 1830–1931 гг. под девизом «За нашу и вашу свободу!»), то любое национальное движение стало ассоциироваться для властей с революцией и сепаратизмом. В результате, например, в Остзейском крае, где на начальном этапе национального возрождения латыши и эстонцы видели в русском царе защитника от местных господ-немцев, а в русских — союзников[89], правительство продолжало поддерживать прибалтийских немцев, видя именно в них «лояльный» элемент и опору своего господства в крае. Понятно, что в последнем случае сказалось и чувство социальной солидарности: латышские и эстонские крестьяне были так же чужды и враждебны правительственной элите, как и русские. Эта ложная стратегия в сочетании с политикой «обрусения» народной школы отвратили местные народы и их национальных лидеров от центра и в конечном итоге привели к результатам, прямо противоположным ожидаемым. На опасность такой политики и пытались указать в своих статьях авторы «Отечества».

Другой импульс интересующего нас издания — это попытка заинтересовать тогдашнее русское общество тем комплексом проблем, которыми оно не интересовалось, — национальными. Этими мотивами проникнуты все статьи, что придает книге единство (можно даже сказать — характер коллективной монографии).

Хотя все авторы являются «государственниками», но государство для них — это всего лишь инструмент, гарант, обеспечивающий жизнедеятельность как отдельных личностей, так и всего общества. Подлинным воплощением России является, с их точки зрения, не самодержавие, не бюрократический аппарат, а культура. Именно культура — это «палладиум» России, как пишет Б. Гуревич на первой странице статьи, открывавшей сборник. Скорее всего, он помнил выражение Карамзина из только что тогда опубликованной записки «О древней и новой России» (СПб., 1914): «Самодержавие есть палладиум России: целость его необходима для ее счастья» [Карамзин 1991: 105], но Гуревич его перефразировал и вложил в него совсем иной смысл.

Вообще, понятийный аппарат издания — это интересный пример пересмотра всех концептов, связанных с национальным строительством, разрабатывавшихся в эпоху 1812 г.: отечество, патриотизм, народная гордость, мессианизм. И это не случайно и связано не только с широко отмечавшимся столетним юбилеем 12-го года. Как известно, война 1914 г. именовалась «второй Отечественной», поэтому на всех уровнях происходила актуализация идеологического контекста столетней давности.

[88] Глубокий анализ русификаторских устремлений и связанных с ними политических действий российского правительства см.: [Миллер 2008: 53–77].

[89] Об этом речь пойдет в следующих параграфах настоящей главы.

Заглавие и сама статья Б. Гуревича «Россия — творимая нация» имеет любопытную перекличку с названием и даже с концепцией книги Б. Андерсона «Воображаемые сообщества». Идея Гуревича заключается в том, что Россия как *имперская нация* еще должна быть создана, и этот процесс уже начался с помощью культуры. Слово «русский» он чаще всего употребляет в значении «российский». Он полагает, что в России будет создана духовная культура, не уступающая «в ценности западным» культурам и собирающая «народы России вокруг русского народа в особый культурный микрокосм». Национальности России должны почувствовать себя «единой нацией» и с трибуны Думы сказать «свое слово об имперском национальном самосознании» [Отечество 1916: 8]. Эта новая самобытная (не заимствованная!) культура будет слиянием «в одно целое чаяния славянофильского мессианизма и мечты западника». Именно в этом смысле Гуревич произносит свою сакраментальную фразу: «Теперь или никогда должен быть создан идеал русской культуры, идеал, который должен стать палладиумом, общим всем народам России» [Там же: 7].

Такое сближение (даже синтез) культур, по мнению автора, должны стать результатом добровольного творческого сотрудничества. В свойственном ему патетическом стиле Гуревич описывает чаемый результат, подводя к привычной мифологеме Святой Руси, но пытаясь и ее наполнить новым смыслом:

> И овеянное Византией армянское творчество древности, и грузинская поэзия, знающая розы персидской лирики, и пышность романтической Польши, и юность балтийских народов, и мудрая мысль помнящего античность и арабов еврея, и элегическая песня Украйны — все это да вплетется в живой венок русской культуры, когда братская, единая для всех сынов и милая Россия подымет в Европе свой сияющий лик — лик подлинно Святой Руси [Там же: 8].

Не будем входить в детали религиозных рассуждений Гуревича, связанных со сциентизмом. Для нас важнее отрицание насильственной

русификации как ложного пути созидания имперской нации и переоценка слова «инородческий», которое должно, по мысли Гуревича, стать почетным [Там же: 11]. Еще один важный аспект — размежевание «языка нации и языков национальностей», а также последующая судьба собственно русской культуры. Автор полагает, что русский язык должен «потесниться», но его уступки другим национальным языкам будут компенсированы его мировой ролью — тем, что «он вступит равноправным членом в семью языков Запада» [Там же].

В кратких статьях Бехтерева и Бодуэна продолжается мысль о бесперспективности и пагубности насильственной русификации, у первого — на польском, у второго — на еврейском примерах. Бехтерев четко формулирует принципы единства народов в многонациональных государствах:

> Тяготение отдельных народов друг к другу достигается не чем иным, как взаимным уважением и взаимным признанием прав, свободой их духовного развития, общекультурными задачами и общими взаимно выгодными политико-экономическими интересами [Отечество 1916: 14].

Россия грешила именно против этих принципов, и ученый далее показывает последствия подобной «политической близорукости». Попрание польской конституции 1815 г. привело к двум польским восстаниям, к переориентации славянских народов на Австрию (австрославизму), к ухудшению русско-французских отношений и как результат — к поддержке Россией Пруссии во Франко-прусской войне, к появлению могущественной объединенной Германии и в конечном итоге к мировой войне. Болгария, когда-то спасенная Россией, теперь вступила с ней в войну, что свидетельствует о крахе российской политики на Балканах. Она велась таким образом, что болгарам «постоянно мерещилось» «превращение Болгарии в русскую губернию и судьба ее, подобная русской Польше» [Там же: 16]. С Польшей спохватились только во время войны, и Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич издал воззвание, но и оно вызвало недовольство у той части русского общества, которая считает политику подавления естественной. Бехтерев вспоминает «с чувством глубокого стыда» о том, как в Варшаве расклеивались объявления об автономии, которую даровал Польше российский император, — «как раз в то время, когда неприятельские войска с участием польских легионов, под звуки польского гимна “Еще польска не сгинела” вступали с развернутыми знаменами в Варшаву» [Там же: 17]. И далее — еще один удар по русскому самолюбию: «Поляки из рук немцев получили польский университет и польский политехникум; по-видимому, нечто подобное предстоит и в г. Вильно» [Там же]. Чтобы избежать подобных ошибок в будущем, России, как пишет Бехтерев, «необходимо пересмотреть наши внутренние национальные вопросы» [Там же] и стать «не Россией Ксеркса, а Россией Христа», как писал В. Соловьев.

Статья Бодуэна де Куртене — это его доклад, прочитанный на съезде автономистов 1905 г. на тему «Возможно ли мирное сожительство разных народностей в России?». Предисловие к нему 1915 г. проникнуто горечью и скепсисом. Он корит себя за то, что потерял много времени «в ущерб научным занятиям» «на никому не нужные словоизвержения и бумагомарания» [Отечество 1916: 19], участвуя в разных национально-освободительных съездах и союзах, которые теперь именует кривляниями «сорвавшихся с цепи рабов». И хотя академик называет свой тогдашний доклад «скромным историческим памятником наивных заблуждений и несбыточных мечтаний» [Там же: 21], он все же публикует его по прошествии десяти лет.

Как всегда у Бодуэна, написанное им более ста лет назад кажется написанным сегодня. «Межплеменную, междуисповедную и междуклассовую» ненависть и вражду он называет болезнью, которую необходимо лечить реформами «общегосударственного и общественного устройства» и «коренными реформами в области обучения и воспитания юношества» [Там же: 22]. Первый пункт его программы: отделение церквей от государства и школы от церквей. Другой — отказ от шовинизма. Он считает, что нельзя делить «граждан одного и того же края на пришельцев и на туземцев или автохтонов, на гостей и на хозяев». В качестве иллюстрации он приводит литовский пример: «Даже в Гродно, где литовцы являются редкостью, все-таки все тамошние жители, и белорусы, и поляки, и евреи, по мнению литовских шовинистов, только терпимые гости литовского народа» [Там же: 22–23]. Бодуэн призывает отказаться от исторических претензий, принять современную ситуацию как исходную точку решения проблем:

> Мы должны отбросить <…> лозунг: «Россия для русских», «Польша для поляков», «Литва для литовцев» и т.д. Россия для всех тех, кто в ней живет. Польша для всех тех, кто в ней живет. Литва для всех тех, кто в ней живет [Там же: 23].

Разумеется, автор считает необходимым отказаться от «каких бы то ни было национальных и вероисповедных стеснений»: человек подлежит ответственности за свои поступки, а не за происхождение.

Одним из принципиальнейших пунктов программы Бодуэна является признание полного равноправия всех языков: «Нет господствующего русского народа; нет подчиненных ему неполноправных народов», но русскому языку отводится «роль общего языка, роль объединителя отдельных областей всего государства»[90] [Отечество 1916: 23].

В национальном вопросе Бодуэн стоит на позиции полной свободы индивидуального выбора. Национальность для него — это культурная идентичность. В таком отходе от узкого этницизма в понимании национальной идентичности Бодуэн де Куртене далеко опередил свое время и предвосхитил современный подход к проблеме[91]. С его точки зрения, можно принадлежать к двум и более национальностям, а можно — ни к одной[92].

Уточняя свою позицию по проблеме языка, ученый высказывает мысль, которая многим в условиях русификации могла показаться чуждой: «Поляк, литовец, еврей, татарин, армянин, грузин — может любить русский язык в такой же мере, как и свой родной» [Там же: 24]. Но далее делается различие между русским языком «целой плеяды усмирителей и “водворителей порядка”» [Там же: 25] — языком Муравьева, Д.А. Толстого и Победоносцева, и «языком всех тех русских, которые провозглашали научные истины, идеалы прекрасного, начала справедливости, подвергаясь за это всяческим гонениям и принося в жертву даже свои жизни» [Отечество 1916: 25]. Автор называет здесь декабристов, Чаадаева, Герцена, Тургенева, В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого[93]. Более того, он полагает, что:

> Ненависть по отношению к какому-нибудь языку является пережитком дикого состояния, является перенесением своеобразного религиозного фанатизма в область нововекового общежития [Там же].

[90] То, что Гуревич назвал «языком нации», в отличие от языков национальностей (см. выше).

[91] Ярче всего этот подход выражен в: [Андерсон 2002].

[92] Он приводит пример немца из Ганновера, доктора Зауэрвейна, который «был национальным поэтом, политическим агитатором и патриотом в прусской Литве, в Лужицком крае и т.д. Вместе с языком он вселял в себя тоже народную душу других племен и народов. Он воодушевлялся их национальными идеалами» [Отечество 1916: 24]. Обыденный пример для Бодуэна — это одновременная принадлежность к двум — еврейскому и польскому, к польскому и литовскому, немецкому и эстонскому и т.д. — «общественным целым».

[93] Подобное разделение Бодуэн применяет и по отношению к немецкому языку, см.: [Отечество 1916: 25].

Бодуэн предлагает отказаться от всего того, что может подпитывать национальную рознь. В первую очередь, с точки зрения Бодуэна, это религиозная рознь, поэтому он призывает отказаться от прозелитизма, от некритического преподавания Закона Божия в школах. Однако и программа других школьных предметов должна быть пересмотрена. Он считает, что и преподавание «так называемой» отечественной истории в настоящем виде «является лучшим средством прививки человеконенавистничества вообще и народоненавистничества в частности» [Там же: 27]. Преподавание литературы тоже должно быть реформировано:

> Из школьных хрестоматий и сборников должны быть устранены отрывки, воспевающие военные подвиги, набеги и захваты, а зато должно быть отведено место произведениям, основанным на общечеловеческой солидарности [Там же].

Важно также, считает ученый, знакомить в школе с языками и литературами других местных народов. Как в Финляндии финнам преподают шведский язык, а шведам — финский, так полякам надо хотя бы факультативно преподавать еврейский, а русским в Казани — татарский и т.д. Подчеркнем афористически точную формулировку Бодуэна: «Взаимное ознакомление вселяет тоже взаимное уважение и способствует упрочению мирного сожительства» [Там же: 28].

Особого внимания для автора заслуживает еврейский вопрос. Он пишет, что «евреи всегда идут в первых рядах подневольных мучеников», и этот privilegium odiosum заставляет относиться к их судьбе особенно пристально, тем более что даже «передовая интеллигенция» считает еврейский язык (т.е. идиш) всего лишь жаргоном немецкого языка. Как лингвист Бодуэн поясняет, что еврейский язык вырос «на южно-немецкой почве», но развился и впитал в себя много ненемецких элементов, так что знающему немецкий легче понимать голландский, чем еврейский[94].

Бодуэн де Куртене мыслит радикально, поэтому в статье много цензурных изъятий — целые строки заменены точками. Он полагает, что России следует отказаться от юлианского календаря, «чтобы уподобиться в этом отношении громадному большинству цивилизованных стран» [Отечество 1916: 26], и даже перенести все религиозные праздники на

[94] Бодуэну было, конечно, прекрасно известно, что дискуссия насчет идиша имела давнюю историю. Уже с середины 1860-х гг. родство идиша с немецким вызывало беспокойство властей, опасавшихся «германизации» российского еврейства (особенно в Западном крае) и стремившихся перевести обучение евреев на русский язык. См. об этом: [Западные окраины 2006: 321–322].

один день. Поскольку христиан большинство, то мусульманскую пятницу и еврейскую субботу надо перенести на воскресенье. Конечно, он тут же делает оговорку, что не настаивает на таком решении. На чем он настаивает, это на отказе от обоготворения «Молоха государственности»: «Государственная мегаломания есть величайшее несчастие, ведущее прежде всего к гибели самого государства» [Там же: 28]. Школьникам следует преподавать основы политэкономии и правоведения, а также всячески противостоять проникновению в их среду «шовинистических песен <…> глупых анекдотов, бранных кличек и прозвищ, преподносимых одними национальностями другим» [Там же].

Статья Бодуэна — это страстный призыв к отказу от межнациональной и межконфессиональной борьбы, к созданию тесного общения, того, «что по-немецки называется Fühlung, между народностями России» [Отечество 1916: 29], к общечеловеческой солидарности. Несмотря на весь свой скепсис, ученый все же надеется, что хотя бы в будущем это будет возможно, но только на основе свободы и уважения к правам человека.

Последняя и самая обширная из программных статей в сборнике «Отечество» — «Россия и ее народы» — принадлежит Н.А. Гредескулу. Как специалист по гражданскому праву, он рассматривает Россию как многонациональное государство именно с этой точки зрения. Однако для него принципиально различие между государством как аппаратом принуждения и подавления и *отечеством*. Это такое государство, такая страна, которые обеспечивают права и свободы личности, развитие культуры. Именно в этой связи Гредескул ставит старый вопрос о любви к отечеству и народной гордости:

> И то чувство, которое соединяет граждан с отечеством, не есть уже ни лукавый страх, ни черствый и сухой долг, а это есть горячая, преданная, всем готовая жертвовать любовь <…> Это чувство любви к отечеству мы именуем патриотизмом [Там же: 43–44].

И далее, анализируя пути возникновения империй как многонациональных государств, автор настаивает на том, что *великим* может стать лишь то государство, которое решит национальный вопрос. Только если государство станет *отечеством* для всех живущих в нем народов, национальная проблема будет решена [Там же: 59].

Напоминая, что нация — позднее образование, Гредескул (как потом Б. Андерсон) говорит о трудностях в определении этого феномена.

Сам он следует определению нации как коллективной личности и делает вывод об исторической неизбежности дарования нациям всех тех прав и свобод, которые уже считаются естественными в отношении отдельных человеческих индивидов. Однако, по его мнению, для достижения этой цели народам не обязательно идти путем сепаратизма.

Теперь, с высоты последующего опыта, нам кажется наивным утверждение Гредескула, что лидеры национальных движений в Российской империи и не стремятся к сепаратизму. Однако в начале 1916 г. такое требование еще не выдвигалось (или редко выдвигалось) публично, и сами национальные лидеры, как уже указывалось нами выше, относили его на более отдаленную перспективу (другое дело, что ситуация стала развиваться очень быстро и примерно за год изменилась кардинально).

Современная Россия, с точки зрения Гредескула, по-настоящему не решила ни правовой, ни культурной, ни национальной проблемы [Отечество 1916: 67]. Пути решения последней он, как и другие авторы сборника «Отечество», видит в отказе от политики принудительной денационализации и ассимиляции нерусских народностей, а также в перестройке общественного сознания. Гредескул полагает, что носителем национальной идеи является интеллигенция [Там же: 49], поэтому и надо воздействовать в первую очередь на нее. Автор приводит знаковый для него пример того, как иногда общественные деятели неожиданно становятся на репрессивную точку зрения и солидаризируются с правительством. Так, украинцам и белорусам не только официальные круги отказывают в праве на самоопределение, но и П.Б. Струве, постоянно толкующий об «украйнской» опасности [Там же: 78]. «Неужели, — спрашивает автор, — появление Шевченка наносит какой-то ущерб Пушкину или Гоголю?» [Там же: 79]. И все же Гредескул исполнен умеренного оптимизма и надежд на будущее.

В целом сборник «Отечество», хотя и очень критичен по отношению к российской национальной политике, все же сосредоточен на положительной программе — на указании конкретных и вполне реальных, с точки зрения авторов, путей выхода из кризиса. Инициаторы и авторы сборника полагают, что у России еще имеется потенциал для внутреннего преображения, и хотят всеми силами этому преображению содействовать.

Кадетский проект можно было бы определить теми же словами, которыми Г.П. Федотов характеризовал мировоззрение Пушкина, — Империя и свобода. Однако тот же Федотов проницательно замечал:

> …как только Пушкин закрыл глаза, разрыв Империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали Империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали Империю [Федотов Г. 1992: 142].

Накануне распада Российской империи кадетские теоретики решили этот разрыв преодолеть. Они задумали создать новую «правильную», свободную империю и объединить «всяк сущий в ней язык» на основе нового «имперского национального самосознания». На службу своему проекту они поставили литературоцентризм русской образованной публики. Демонстрируя зрелость культур национальных меньшинств, привлекая эстетический потенциал их художественной литературы, они рассчитывали вызвать интерес к национальным проблемам и сочувствие к своей программе.

Именно поэтому к первой — теоретической — части примыкает вторая, как бы «иллюстративная», своего рода практическое доказательство верности исходных принципов. Как уже упоминалось, это 500-страничная антология произведений из разных национальных литератур (литератур меньшинств). В обращении редакторов говорилось о необходимости «ознакомить широкие круги русского общества с теми бесчисленными культурными ценностями, которые накоплены вековой работой национальностей России».

В антологии, как уже говорилось, представлены в русских переводах образцы финской, эстонской, латышской, литовской, польской, малорусской (sic!) или украинской (знаково употреблены оба наименования!), еврейской (на иврите и на идише), польской и грузинской литератур. Каждый раздел снабжен квалифицированной вступительной статьей. Планировался и второй том, где должны были появиться образцы белорусской, мусульманской (так!), караимской, армянской, новейшей грузинской и дополнительные обзоры и переводы польской, еврейской, «малорусской», литовской и других литератур. Издатели надеялись выпустить и английское издание сборника, но этим планам уже не суждено было осуществиться.

Таким образом, по мысли инициаторов «Отечества», литература и культура могли и должны были стать противовесом политике русификации, разрушающей многонациональное государство и ставящей русский язык и культуру в ложное положение. Как писал Бодуэн де Куртене, в новом отечестве «нет господствующего русского народа; нет подчиненных ему неполноправных народов» [Отечество 1916: 23].

Итак, задача антологии как будто бы прикладная: наглядно проиллюстрировать культурные преимущества многонациональной страны. Однако — что знаменательно — решение задачи было связано с признанием *эстетической ценности* литератур других российских народов. Таким образом, литература выступает в антологии как искусство, а не как публицистика.

Есть и еще одна сторона, или третья составляющая проекта. Именно антология была призвана продемонстрировать, что в России существует не только великая русская литература, но и значительные, развитые, богатые *другие* литературы, без знания которых так же невозможно составить представление о культуре своей страны, как и без русской. Закладывались основы новой культурной парадигмы, новой системы эстетических ценностей; оппозиция «свое» — «чужое» получала (точнее — должна была получить) новое наполнение.

Однако у этого проекта, исходившего от Конституционно-демократической партии, имелся «конкурент». В это же самое время в том же городе Петрограде развивался параллельный проект издания сочинений национальных меньшинств России. Он был задуман и воплощен М. Горьким, основавшим весной 1915 г. на собственные средства издательство «Парус». Программа его была очень широкой (Горький давно лелеял мечту об организации универсального издательства). В качестве девиза был выбран стих Некрасова «Сейте разумное, доброе, вечное», и под этим девизом осуществлялась публикация и философских, и естественно-научных, и политических сочинений, и художественной литературы, а также собственного журнала «Летопись».

Среди многих начинаний этого замечательного издательства был и проект издания антологий национальных литератур. К их составлению и редактированию был привлечен В.Я. Брюсов, выступавший и в роли переводчика (сначала эта роль была предложена И.А. Бунину, но он отказался, см.: [Голубева 1966: 166]). Для Горького издание подобной серии было давним замыслом. Он задумал ее еще в 1900-е гг., в издательстве «Знание», где предполагал напечатать сборники еврейской, грузинской, татарской, польской, латышской, армянской литератур [Пиксанов 1946: 110–111]. Тогда этот замысел не осуществился, да и «Парус» успел выпустить только три сборника: армянский [Армянский 1916] (цензурное разрешение 4 марта 1916 г.), латышский [Латышский 1916] (цензурное разрешение 21 ноября 1916 г.) и финский [Финляндский 1917]. Планировалось охватить очень многие литературы, но этим планам (как и продолжению «Отечества») помешала революция.

Любопытно, что в горьковских документах ничего не упоминалось об эстонском сборнике, однако С.Г. Исакову удалось установить, что такой сборник все же задумывался. Его составление было поручено Густаву Суйтсу[95]. Б. Линде, ведший с Горьким переговоры, даже утверждал, что сборник был готов, хотя никаких его следов не сохранилось. Однако все же в газете «Постимеэс» («Postimees») 14 мая 1916 г. появилось сообщение о планируемом «эстонском альманахе» на русском языке, к составлению которого были привлечены Г. Суйтс, Ф. Туглас и Б. Линде [Исаков 1968: 14]. Горький заказывал и статью об эстонской литературе «с общественным уклоном», написание которой Суйтс собирался поручить П. Руубелю [Там же]. Были составлены и доставлены Брюсову для перевода подстрочники эстонской лирики (их тексты также не сохранились). И все же С.Г. Исаков смог реконструировать возможный состав эстонского сборника по аналогии с другой, эстоноязычной, антологией Суйтса «Eesti Lugemisraamat», вышедшей в Хельсинки в 1916–1919 гг. [Там же: 16–18][96].

Предприятие Горького было гораздо более широкомасштабным, чем у деятелей «Отечества». Каждый из его сборников по объему приближался к их антологии, включавшей восемь литератур. «Парус» привлек к переводам лучшие силы: В. Брюсова, А. Блока, В. Иванова, С. Шервинского, В. Ходасевича, Ю. Верховского, Л. Рейснер и др. Деятели «Отечества», насколько можно судить, новых переводов для антологии не заказывали, перепечатывали то, что имелось в наличии. Для отбора текстов при горьковском «Парусе» составлялись так называемые национальные комитеты [Голубева 1966: 166], т.е. отбор осуществлялся носителями культуры. Однако состав этих комитетов, как и выбор авторов вступительных статей, был довольно специфическим.

Постараемся более детально сопоставить два проекта — «Отечества» и «Паруса». Между ними было много общего: оба пытались противостоять ксенофобии, хотели привлечь внимание к культуре, показать эстетическую ценность литератур российских национальных меньшинств и дать представление об их развитии от истоков до современности. Тем не менее различия были гораздо более фундаментальными, и касались они идеологических установок.

[95] Характерно, что посредником в переговорах с Г. Суйтсом, жившим тогда в Хельсинки, являлся лектор русского языка и библиотекарь Гельсингфорсского университета, член РСДРП В.М. Смирнов, который организовывал транспортировку нелегальной литературы через Финляндию в Россию [Исаков 1968: 10–11].

[96] В статье С.Г. Исакова восстанавливается история знакомства Горького с Эстонией и эстонской культурой, а также финские контакты деятелей эстонской культуры в 1900–10-е гг.

Кадеты были сторонниками войны до победного конца и надеялись на солидарность всех народов России в ее продолжении. Они исходили из презумпции сохранения империи, хотя и на новой, демократической и свободной основе. Сепаратизм они считали непродуктивным и стремились доказать, что путь взаимного обогащения будет более выгодным для национальных культур, чем курс на отделение от общего целого. Своих сотрудников для антологии — составителей разделов и авторов историко-литературных статей — издатели «Отечества» набирали в академических кругах. Это были университетские преподаватели или ученые — лингвисты, литературоведы, этнографы, фольклористы: академик В.Н. Перетц, Эдуард Вольтер, Ян Йыгевер, Карл Тиандер, Иван Кипшидзе, Иосеф Клаузнер, Исидор Эльяшев, Николай Державин. Конечно, они были прекрасными знатоками своего предмета, но не всегда обладали «острым пером», которое необходимо для популярных и пропагандистских изданий. Хотя в целом все они придерживались общих установок «Отечества», однако жесткого идеологического контроля внутри сборника не существовало, и авторы были достаточно автономны в своих суждениях. Например, Карл Тиандер в статье о финской литературе дает ясно понять, что ее будущность зависит от европейского (а не от русского) контекста, от того, насколько удастся сохранить «шведский элемент», обеспечивающий Финляндии положение «старинного северного моста между Востоком и Западом» [Отечество 1916: 26]. Цензура недаром вымарала финал его статьи. В начале Тиандер с сожалением говорит о родичах финнов — мордве, черемисах, — которые остались внутри России, вдали от европейской культуры, в первобытной дикости, и это вполне прозрачно указывает на отношение автора к российскому контексту.

Вступительные статьи в горьковских сборниках гораздо более радикальны. Их авторами, как и членами так называемых национальных комитетов, были в основном марксисты или околомарксистские деятели, проводившие *антиимперские* идеи. Само издательство «Парус» имело репутацию крайне левого и оппозиционного, в основном из-за последовательного антивоенного и антимилитаристского курса. Горький был решительно настроен против войны, поэтому в большевистских кругах он воспринимался как «свой», а его издательство — как большевистское. Большевики и другие радикалы часто подвергали «Парус» и журнал «Летопись» критике за «отступления» от «единственно верного» курса, однако как раз «ошибки» («просветительство», увлеченность культурой) обеспечивали Горькому широкие литературные контакты, а его издательству — успех.

Все же в национальном проекте «Паруса» идеология давала о себе знать весьма ощутимо. В результате образовался зазор между группой переводчиков (которых приглашал в основном Брюсов) и теми, кто формировал список текстов для переводов и идеологию раздела. Например, как показала О.Д. Голубева, латышский национальный комитет вообще не включил в антологию стихов модернистов. Брюсов выступил со встречным предложением перевести произведения литераторов «нового искусства» — Эглитиса, Фалия. С кандидатурой В. Эглитса комитет так и не согласился (выбрав Я. Акуратера), Фалия принял, зато добавил двух рабочих поэтов. Брюсов настаивал на том, что «у латышей-поэтов есть произведения более сильные, более яркие, более ценные, чем те, которые переведены или переводятся» (письмо Брюсова в издательство цит. по: [Голубева 1966: 168]). Он выбирал тексты, исходя не из общественно-политической их значимости, а из художественной ценности. Получился «конфуз» со стихами Райниса: национальный комитет хотел представить его как революционера, а Брюсов, который его переводил, отобрал лирические стихотворения [Голубева 1966: 168]. В результате переговоров вместо изначально предложенных комитетом восьми поэтов в «Сборнике латышской поэзии» оказалось представлено 16 (от «младолатышей» до современности).

Надо отдать должное вступительной статье социал-демократа Яниса Янсонса-Брауна «Латышское общественно-культурное развитие и латышская литература». Она, несмотря на всю тенденциозность и «марксистскость», написана ярко и концептуально. Думается, не случайно А. Упит в 1930 г. вспомнил о ее положительной роли в популяризации латышской культуры [Там же: 170]. Статья Янсонса давала читателю большой (но разумно дозированный) фактический материал о развитии латышской культуры от фольклора до современности. Автор не идеализировал ее достижений. «Правда, — писал он, — латышская культура еще молода и бедна, литература не может сравняться с литературой родины Ибсена», и все же как «латышский край уже не представляет собой глухого, снегом занесенного провинциального угла» [Латышский 1916: 31], так и литература «переросла рамки этнографического рассказа» [Там же: 1].

Э.А. Вольтер, писавший о латышской литературе в антологии «Отечества», был поставлен в совсем иные условия — видимо, он был очень ограничен в объеме (его очерк в четыре раза меньше, чем у Янсонса), поэтому он отослал читателей к своей статье на ту же тему в энциклопедии Брокгауза и Ефрона и обещал продолжение во втором томе

«Отечества». На малом пространстве текста Вольтер пытается упомянуть о многом, но связного запоминающегося рассказа у него не получилось. Тексты также представлены довольно однобоко: два рассказа Яна Порука, два его стихотворения, 10 стихотворений Райниса (в том числе в переводах В. Эглитса и Э. Вирзы) и несколько народных «четверостиший» в переводе того же Эглитса.

Эстонская литература представлена в антологии «Отечества» гораздо более ярко. Составитель раздела и автор вступительной статьи Яан Йыгевер (Jaan Jõgever, 1860–1924), или, как называли его по-русски, Иван Егевер — лектор эстонского языка (1909–1918) Юрьевского университета, один из основателей эстонского Тартуского университета и первый его профессор эстонского языка[97]. Как и многие православные эстонцы, он получил образование в Рижском духовном училище и семинарии, потом окончил Дерптский университет как славист. В 1907 г. стал одним из основателей Общества эстонской литературы, а в 1906-м — инициатором и первым издателем журнала «Эстонская литература». Он, как и Вольтер, являлся автором соответствующей энциклопедической статьи в словаре Брокгауза и Ефрона, но со своей задачей в «Отечестве» справился, на наш взгляд, гораздо лучше.

Статья Йыгевера называется «Краткий очерк истории эстонской литературы», и название это концептуально[98]. Она подразделяется на параграфы, имеющие выделенные шрифтом названия: «Эстонский народ», «Время владычества немецкого ордена в Лифляндии», «Народная словесность» и т.д., вплоть до последнего — «XX столетие». Структурированность текста, безусловно, облегчает восприятие и диктует определенный ритм чтения. Кроме того, статья написана живо, с личным одушевлением, но без полемических выпадов, свойственных статье Я. Янсонса, о которой шла речь выше.

Концепция Йыгевера во многом близка к той, что была выражена в эстонской части сборника «Эсты и латыши, их история и быт»: весь путь эстонского народа изложен как путь к успеху, к европейской цивилизации, через противостояние немецкому господству. Правда, это не мешает Йыгеверу отмечать заслуги немецких пасторов в развитии эстонского языка и письменности.

---

[97] П. Аристэ в обзорной статье о преподавании эстонского языка и о развитии финно-угроведения в Тартуском университете дает в целом положительную, хотя и сдержанную оценку его деятельности на посту лектора, а затем профессора эстонского языка (см.: [Ariste 1954: 97–98]).

[98] В отличие от несколько аморфного заглавия статьи Э. Вольтера — «Латышская литература».

Для нашей темы ценно то, что Йыгевер четко описывает те способы, которыми создавалась неомифология и новый национальный эстонский миф. Назвав Ф.Р. Фельмана «отцом новой эстонской литературы», он пишет:

> Вполне добросовестно отыскивая в эстонских народных верованиях то, что он хотел в них находить, но чего на самом деле не было, дополняя это заимствованиями из финских источников, Фельман создал стройную, но не выдерживающую ныне никакой критики эстонскую космогонию и эстонский Олимп, представив все это в очень живых образах, и оказал этим громадное влияние на всю последующую эстонскую литературу. Наиболее популярный из этих созданий есть бог поэзии и музыки Ванемуйне, общий любимец эстонцев, образованных и еле грамотных, на тысячи ладов воспетый, и как-то с трудом верится, что из-за этого симпатичного образа выглядывает не тысячелетняя древность, а богатая фантазия Фельмана [Отечество 1916: 82–83].

Как показывает Йыгевер на примере Фельмана и Крейцвальда, именно личное творческое начало, конкретный автор стоят за национальным мифом и тем самым формируют идею нации, национальное самосознание.

Подборка литературных текстов в эстонском разделе ориентирована на современную литературу: рассказы А.Х. Таммсааре («Значительный день»), Э. Вильде («Аттестация старосты Карла»), Ю. Лийва («Обыденная история»), отрывок из драмы А. Кицберга «В вихре», лирические стихотворения Л. Койдула, А. Хаава, Г. Суйтса, К. Сеэта и Ю. Лийва[99]. Она призвана продемонстрировать художественную полноценность, жанровое и стилистическое разнообразие молодой национальной литературы. Вместе с тем подборка, по мысли составителя, должна раскрыть эстонский характер (стойкость, твердость перед жизненными невзгодами, чувство собственного достоинства, способность к глубоким любовным переживаниям), а также вскрыть социальные проблемы эстонского общества (отношение с господами-немцами, расслоение внутри самого крестьянства).

Однако литературе, по мысли Йыгевера, свойственна, говоря современным языком, не только консолидирующая функция в национальном строительстве, но и репрезентирующая. Литература становится проводником нации в мир большой европейской и мировой культуры. Недаром о «Калевипоэге» говорится: «…единственное произведение эстонской литературы, перешедшее в мировую литературу» [Отечество 1916: 83][100].

[99] Подбор лирики отчасти совпадает с изданием [Поэты 1898], однако переводы публикуются уже более совершенные.

П. Олеск в статье, посвященной 150-летию со дня рождения Я. Йыгевера, назвал его национальным деятелем с чувством миссии [Olesk 2010] и напомнил о его резком противостоянии социал-демократическим идеям. Йыгевер, действительно, служил национальной идее, но, во всяком случае, на момент написания статьи, в августе 1915 г., был вполне солидарен с либеральной кадетской идеей преобразования империи. Свою статью он завершает рассуждением о будущем. Автор выражает уверенность, что, когда «русский народ <…> свои права себе отвоюет», тогда эстонцы, «не выпрашивая подаяний из милости», будут «в праве рассчитывать на получение того и в той мере, чего и в какой мере они заслужили, соответственно вкладу, внесенному им в общую сокровищницу всех народов единой Российской империи» [Отечество 1916: 89]. То, что вскоре, когда ситуация резко изменилась, Я. Йыгевер, как и другие деятели эстонского национального движения, стали действовать по иному сценарию, никак нельзя поставить им в вину. Именно негибкость и неумение идти навстречу меняющимся обстоятельствам привели русских либералов к поражению.

Имперский национальный проект потерпел неудачу. И дело не только в военных обстоятельствах, в вечной косности и самоубийственности российской правительственной политики, даже не в том, что «поздно спохватились» — протесты против русификации, как и издания разного рода сборников и антологий национальных литератур с 1880-х гг. имели место постоянно. Национальная идея обладает огромной консолидирующей силой, когда надо собрать воедино один этнос и создать из него нацию. Но в многонациональном государстве, как показывает история не только Российской империи, рано или поздно рождается *много национальных идей*.

Проект кадетов, проект «Отечества», был интересен и, в отрыве от практики — даже убедителен, но совершенно утопичен. Они явно шли против течения, пытаясь взывать к разуму и к «чувствам добрым» в условиях захлестнувших страну экономического и морального хаоса, иррациональных импульсов и действий, вызванных ксенофобией и

[100] Мысль о том, что именно развитие культуры обеспечит будущее нации, является продолжением теоретического раздела сборника «Отечество» и проходит через многие литературные статьи — Тиандера о финской, Вольтера о латышской и др.

шпиономанией. История показала, что имперский потенциал был исчерпан, а национальное и имперское строительство — это *contradictio in adjecto.*

Российская империя распалась, чтобы вскоре преобразоваться в новую, но не свободную, а тоталитарную «империю». Это единое союзное государство, в теории обещавшее право наций на самоопределение и пр. блага, на практике вновь прибегло к подавлению национальных меньшинств[101], к насильственной русификации, к физическому уничтожению национальной интеллигенции и даже к депортации целых народов[102].

К сожалению, в последующей судьбе народов России сбылись как раз худшие опасения авторов сборника «Отечество» — нерешенность национальных проблем оказалась фатальной для будущих поколений.

2.2. Национальное самосознание на раннем этапе национального возрождения

2.2.1. Официальный патриотизм или забота об «эстонском деле»? Сочинения Фридриха Николая Руссова и Фридриха Рейнгольда Крейцвальда о Крымской войне

Первый, ранний этап эстонского национального возрождения / пробуждения (rahvuslik ärkamisaeg) хронологически определяется по-разному. Чаще всего его начало датируется 1857 г., когда, с одной стороны, начала выходить газета «Perno Postimees» («Пярнуский почтальон»), а с другой — печататься «Калевипоэг» [Laur 2000: 234]. Как бы ни называть предшествующий этап, связанный с деятельностью Ф.Р. Фельмана и его круга, — предвозрождением или начальным этапом возрождения (Г. Суйтс, например, выделял «первоначальное пробуждение» («esiärkamine») [Suits 1934] и «первый национальный этап» («esimene rahvuslik etapp») [Suits 1934]), — во всяком случае, тот факт, что в 1840 г. Ф.Р. Крейцвальд начинает печатать свои сочинения на эстонском языке, заставляет нас передвинуть хронологическую границу если не к началу 1840-х, то хотя бы к началу 1850-х гг.

[101] Теперь вместо инородцев презрительно именовавшихся «нацменами».

[102] К сожалению, и тут имелись соответствующие образцы (хотя и осуществлявшиеся в гораздо меньших масштабах) из времен Первой мировой войны — превентивные массовые депортации евреев из прифронтовой полосы. См. об этом: [Западные окраины 2006: 334].

Одним из ярких деятелей этого этапа является Фридрих Николай Руссов (Friedrich Nikolai Russow, 1828–1906) — человек интересной и во многом характерной для первого поколения эстонской интеллигенции судьбы, внесший вклад в развитие трех культур. Сам он принадлежал по рождению, воспитанию и языку к эстонской и немецкой культурам, прожил бóльшую часть своей жизни (с 1863 г.) в Петербурге, где заслужил известность как хранитель Кабинета гравюр и рисунков Императорского Эрмитажа и ученый хранитель Музея антропологии и этнографии Императорской Академии наук [Петри 1910; Шафрановская 1980; Иванова 2007]. Его путеводитель по музею [Руссов 1900] до сих пор не потерял своего значения[103]. Хотя в столице Российской империи Руссов дослужился до чина статского советника и был кавалером российских орденов, именовался по-русски Федором Карловичем, он не порывал связей с краем своего рождения. Он был членом кружка петербургских эстонских патриотов (Ф. Карелль, Й. Келер, К.Р. Якобсон, А. Юрьев и др.), ходатайствовавших перед власть предержащими об улучшении положения эстонских крестьян и участвовавших в эстонском национальном движении[104].

Происходил Руссов из Эстляндии, и родным его языком, по-видимому, был эстонский, хотя и немецкий он знал с детства[105]. Его дед по отцу Антон Руссов был крепостным, дворовым человеком барона Фридриха Густава фон Розена в имении Кийкла-Каукси (Kiikla-Kauksi, в немецкой традиции: Kiekel in Kirchspiel Jewe, Wierland). Помещик был человеком просвещенным, приятельствовал с известным драматургом Августом фон Коцебу, с помощью которого в имении Розенов был организован домашний театр[106], где ставились пьесы на немецком и на эстонском языках. В этом театре играл дед Руссова, а когда Розен перебрался в Таллин, то Антон Руссов продолжал играть в немецком любительском театре Коцебу (Revaler Liebhaber Theater). Отец Руссова Карл Густав Андреас родился

[103] Человек многосторонних талантов, выдающейся эрудиции и памяти, он принадлежал к числу создателей этого музея [Петри 1910]. Кроме того, был художником-любителем (живописи учился у профессора Академии художеств и своего друга Й. Келера), искусствоведом и коллекционером.

[104] В частности, Ф. Руссов принял участие в грандиозном эстонском проекте по строительству в Таллине Карловской церкви для эстонского прихода и составил приходской устав.

[105] Запутанная история происхождения Ф. Руссова подробно изложена в замечательной статье [Aarma 2012], и далее мы излагаем данные по этой статье. Основные биографические данные приведены также [Kalda 1966].

[106] Непосредственным организатором был домашний учитель Ф.Г. Арвелиус (Friedrich Gustav Arvelius), выпускник Лейпцигского университета, ставший в 1790 г. преподавателем, а позже и директором ревельской / таллинской гимназии.

в Таллине, служил писцом в таможенном управлении, женился на Каролине Марии Незор. Странная фамилия Незор — это *Розен*, прочитанная наоборот. Мать Руссова была внебрачной дочерью барона Карла Густава фон Розена-младшего (1765–1833) и горничной-эстонки Марии Юргенс, дочери крепостного ткача (его семья получила свободу в 1805 г.).

К слову сказать, это родство (хотя и «неофициальное») с баронским семейством оказалось счастливым для Ф. Руссова, позволив ему обозначать свое происхождение «из обер-офицерских детей» (см.: [Формулярный список Руссов; Дело Руссова]) и получить гимназическое, а затем и университетское образование (он окончил юридический факультет Петербургского университета).

Руссов рано потерял родителей, его воспитательницей оказалась бабушка Мария Юргенс, которую внук чтил и до ее кончины в 1867 г. навещал в Таллине. Его раннее детство прошло в имении Рийдаку, которым управляла бабушка. Это время, проведенное среди эстонских сверстников, дало подлинное знание эстонского языка (ибо дальнейшее его образование проходило на немецком и русском языках[107]) и эстонского сельского быта, позволило ему впоследствии с полным правом печатно обращаться к деревенским жителям как к друзьям.

Мы имеем в виду серию брошюр под общим заглавием «Tallinna koddaniku ramat omma söbbradele male» [Russow 1854–1857], которую Ю. Пеэгель проницательно назвал протогазетой [Peegel 1966]. Она была издана Руссовом на эстонском языке в Таллине в 1854–1857 гг. в 12 выпусках[108]. В дословном переводе заглавие звучит так: «Книга таллинского гражданина (горожанина) для его сельских друзей», в более литературном и, возможно, авторизованном — «Письма ревельского жителя своим деревенским друзьям» [Петри 1910: 2]. Письма деревенским друзьям написаны еще на таллинском диалекте и напечатаны по «старой» орфографии (в 1850-е гг. как раз шла активная полемика по поводу норм эстонской орфографии). Книжечки стоили недорого и были адресованы эстонцам (в контексте того времени деревенские жители и эстонцы — это синонимы; наименование «эстонцы» вошло в употребление с 1857 г.). Издание было посвящено актуальным современным событиям — Крымской войне, болезни и смерти Николая I, коронации нового императора. В выборе и трактовке событий Руссов следовал тем же образцам, которые тиражировались в это время русской журналистикой и публицистикой, и был вполне солидарен с «русской» точкой зрения[109].

[107] Потом М. Юргенс с двумя внуками переехала в Пайде, где Ф. Руссов окончил уездное училище, а затем — в Таллин, где окончил гимназию.

[108] Не все из них были написаны Руссовом: 10-й и 11-й выпуски были составлены Й.Д. Петенбергом (Johann Daniel Petenberg; 1830–1858), школьным товарищем и соратником Руссова, поэтом, переводчиком, иллюстратором. Как замечает М. Калда: «…для печатания таких брошюр не требовалось специального разрешения, как для газеты» [Kalda 1966: 159]. В 4-й главе второго тома «Истории эстонской литературы», написанной М. Калда, содержится наиболее подробная характеристика литературной деятельности Руссова [Kalda 1966: 159–163].

В этом смысле издание представляет собой пример трансляции имперской патриотической идеологии (в терминологическом, а не в оценочном смысле слова) на балтийской окраине, среди народа, только начинавшего приобщаться к общественной жизни. Эстонские исследователи писали об этой стороне «Tallinna koddaniku ramat omma söbbradele male», как правило, с чувствами неловкости и необходимости оправдать Руссова за «казенный патриотизм» и «верноподданнические чувства» [Peegel 1966; Kalda 1966]. Думается, что в этом нет необходимости, и его позиция не должна нас удивлять. Как большинство деятелей первого периода эстонского национального возрождения, Руссов полагал, что главным врагом эстонского народа являются прибалтийские немцы-помещики, которые нещадно эксплуатируют крестьян-арендаторов, держат их в нищете и препятствуют их развитию. Хотя крепостное право было официально отменено в Эстляндии и Лифляндии еще в 1810-е гг., положение местных крестьян мало отличалось от ситуации русских крепостных (о чем наш автор знал не понаслышке). Руссов надеялся, что защитить эстонских крестьян от немецкого гнета сможет центральное правительство, поэтому ориентировался на Россию. С этим связаны его двунаправленные усилия. С одной стороны, он всеми доступными средствами пытался предать гласности угнетенное положение местного населения Эстляндии и Лифляндии. Он участвовал в прогремевшем на всю Европу анонимном издании «Эстонец и его господин» (Der Ehste und sein Herr: zur Beleuchtung der öconomischen Lage und der Zustandes der Bauern in Ehstland / von Einem, der weder ein Ehste noch dessen Herr ist. Berlin: R. Gaertner; Amelang, 1861); был соиздателем либеральной

[109] К моменту издания «Писем…» Руссов состоял чиновником Эстляндского губернского правления. Русским языком, по собственному признанию, владел плохо, однако, как нам представляется, это касается скорее разговорной речи. Как считается, создавая свои очерки о Крымской войне, он опирался на немецкие газеты [Peegel 1966: 129], хотя полагаем, что вопрос об источниках еще нуждается в прояснении. Русским языком Руссов, окончивший Петербургский университет, безусловно, владел настолько, чтобы читать тексты на этом языке. Я обратилась к этому изданию, когда изучала трактовку неудачной, проигранной Крымской войны в русских изданиях для народного чтения, поэтому могу утверждать, что и материал, и точка зрения Руссова с ними во многом совпадают [Kisseljova 2014].

газеты «Revalsche Zeitung» (1860–1863)[110]; а также перевел на эстонский «Eestimaa Talorahwa Seadus» («Эстляндское крестьянское уложение», 1858), чтобы эстонцы имели представление о своих законных правах и обязанностях. Руссов с полным основанием считается автором статьи «Talupoegade mäss Mahtras 2. juunil 1858» («Крестьянский бунт в Махтра 2 июня 1858 г.»), которая послужила одним из источников романа Э. Вильде «Война в Махтра» [Alttoa 1973: 169]. Для второй части своей трилогии «Когда кретьяне из Анья посетили Таллин» («Kui Anija mehed Tallinnas käisid») писатель пользовался материалами из немецкой периодики, которые, по-видимому, также были предоставлены Руссовом, участвовавшим в качестве переводчика при допросах крестьян, связанных с экзекуцией в Таллине в 1858 г. [Alttoa 1973: 173][111].

С другой стороны, Руссов стремился к тому, чтобы интегрировать эстонцев в общерусский контекст, с чем и была связана его трактовка событий Крымской войны. Хотя основные военные события происходили на далеком юге, но в российской армии и во флоте служили выходцы из Эстонии; кроме того, война затронула эстонское население непосредственно, т.к. соединенный англо-французский флот действовал и в Балтийском море [Бородкин 1904; Tannberg 1991]. Флот блокировал Таллин, высадил десант на острове Сааремаа, где, как пишет Руссов, англичане обижали местных жителей[112]. Автор внушает своим деревенским собратьям, что эстонцы причастны к делам общего отечества (isamaa) — России, что русские войска = «*наши* войска», которым противостоят «враги» (англичане, французы, турки).

Руссов знакомит своих деревенских друзей с неизвестным для них русским народом (процент русских в Эстонии в середине XIX в. был столь невелик, что не все сельские жители лично с ними сталкивались). Русский характер раскрывается у него в основном на примере поведения солдат, т.е. вчерашних крестьян (следовательно, собратьев адресатов), — это храбрые, стойкие, самоотверженные и добрые люди, к которым можно отнестись с доверием и симпатией[113]. Однако между ним и русскими авторами книг для народа есть по крайней мере два отличия. Во-первых, если русские писали *о русских для русских*[114], т.е. возбуждали национальную гордость за *свое, за себя*, то эстонский автор пишет о *других*, пытаясь сделать их для читателей *«своими»*[115]. Во-вторых, Руссов не трактует эстонских крестьян как детей. Это определенно отличает его авторскую позицию от позиции тех русских сочинителей, которые писали «для детей и народа» (таков частотный подзаголовок этих изданий), как бы отождествляя интеллектуальный и эмоциональный уровень взрослых крестьян и городских жителей с детским сознанием.

Вместе с тем характерно, что в «Tallinna koddaniku ramat omma söbbradele male», создававшихся по ходу событий, сконцентрированы именно те эпизоды Крымской войны, которые затем вошли в ретроспективные компиляции, составив канонический русский национальный нарратив об этой проигранной, но тем не менее героической народной войне.

Объясняя причины войны, Руссов перекладывает вину на европейские державы, боявшиеся усиления России. Он дает довольно подробную хронику событий и делает основной акцент на героизме русских солдат, а также приводит примеры их гуманного отношения к противнику[116]. Например, в пятом выпуске Руссов рассказывает о двух солдатах, которые окружили заботой раненого турка, говоря: «Это такой же раненый солдат, как и мы, пусть он, бедный, немного отдохнет и помолится за нас Богу по своей вере». Самоотверженность русских солдат доказывается, например, эпизодом спасения Тотлебена. При взрыве бомбы солдаты прикрыли его своими телами и сами погибли [Russow 1854–1857: X, 6]. Другой пример — это речь Корнилова к защитникам Севастополя перед началом бомбардировки, а также рассказ о его гибели. Начальник ведет себя здесь не как господин, а как товарищ солдат и матросов. Его последние слова: «Я счастлив, что умираю за Отечество <…> как сладко умирать с чистым сердцем» [Russow 1854–1857: VII, 5–6]. Потом эта сцена включалась во все русские сочинения о севастопольской обороне.

[110] О позиции газеты и о вынужденном уходе из нее Руссова в 1862 г. см.: [Kalda 1966: 160–161].

[111] Руссов под фамилией Rutow фигурирует в романе и как действующее лицо [Alttoa 1973: 174]. С большой долей вероятности перу Руссова принадлежит материал об избиении ходоков из Ания в герценовском «Колоколе» [Kalda 1966: 160].

[112] См.: [Russow 1854–1857: IV]. Характерно, что современные историки склонны подчеркивать корректное обращение англичан с местными жителями [Rosenberg 2000: 85].

[113] Конечно, тем самым Руссов включается в русское национальное мифотворчество и передает своим эстонским читателям этот миф.

[114] Принципиальным здесь также оказывается язык, на котором написано сочинение.

[115] Что подчеркнуто местоимением «наши» по отношению к русским войскам.

[116] Нельзя не согласиться с характеристикой исследовательницы: «Подвиги русских солдат Руссов описывает столь эмоционально, что нельзя сомневаться в искренности его восхищения их мужеством, самоотверженностью, удалью и гуманизмом» [Kalda 1966: 159].

Впрочем, Руссов пишет не только о подвигах, но и о технической отсталости России (недостаток паровых судов, плохое вооружение, плохие дороги и пр.), приведшей к поражению в войне. Однако в его рассказе нет осуждающих и обличительных интонаций, он говорит об этом как об общей беде.

Автор «Писем…» не боится перегрузить своих крестьянских читателей информацией — военными, географическими и топографическими подробностями, а также историческими экскурсами в эпоху Петра I и Александра I. Он называет имена французских, английских и русских военачальников, пишет о французском императоре Наполеоне III и о русских царях Николае I и Александре II. Автор, хотя он и городской житель (для той эпохи, когда понятия «эстонец» и «крестьянин» были синонимами, горожанин воспринимался как «господин», т.е. немец!), ведет со своим адресатом диалог *на равных*. Автор и читатели объединены по этническому и языковому признакам, выбор языка оказывается определяющим, хотя вынесенное в заглавие слово «друзья» также помогает установить равноправный контакт. Просветительский пафос свойствен Руссову, он хочет расширить горизонт эстонцев — не только интеллектуальный, но и политический. Вместе с тем он предполагает, что даже если крестьяне чего-то не знают, то им будет интересно это узнать, а понять сказанное они определенно в состоянии.

Однако «Tallinna koddaniku ramat omma söbbradele male» — это не единственное сочинение Руссова, посвященное Крымской войне, и не единственное произведение на эстонском языке об этом событии. Далее речь пойдет о своеобразном поэтическом диалоге двух замечательных деятелей эстонского национального возрождения — Ф.Н. Руссова и Ф.Р. Крейцвальда. В тот момент они жили в разных городах: первый в Таллине, второй в Выру, но были знакомы, высоко ценили друг друга и до конца жизни Крейцвальда находились в тесном эпистолярном контакте[117]. Более того, дядя Руссова по отцу был школьным товарищем Крейцвальда [Aarma 2012: 38]. «Отец эстонской песни» считал Ф.Н. Руссова самым талантливым среди молодого поколения эстонских поэтов.

В 1854 г. Руссов выпустил отдельным изданием стихотворение (или небольшую поэму) «Söalaul Eestima tüttarlastele Wanna wisi järrel» («Военная песня эстонским девушкам, старым напевом») — текст в высшей мере знаменательный уже тем, что возрождал в печати эстонский народный рунический стих (regivärss), стих будущего «Калевипоэга». «Военная песня» дала толчок Ф.Р. Крейцвальду для написания собственной поэмы «Война». Цензурное разрешение на эту поэму было дано 31 июля 1854 г., в ней упоминается также третье «Письмо ревельского жителя…», следовательно, оба текста Руссова не только вышли к этому времени в свет, но и были доставлены в Выру.

[117] К сожалению, их обширная переписка до сих пор не обнаружена [Kalda 1966: 160].

«Песня» Руссова максимально приближена к народной образности и написана в форме беседы автора, девушек, соловья и кукушки. Автор вопрошает, слышат ли девушки приближающийся шум:

Kas te kuulsite kuusikust kollinat,
Musta metsa taggant mürrinat,
Ranna poolt rattaste raksumist? [Russow 1854: 1][118].

Все пугаются, девушки просят соловья и кукушку посмотреть с высокой ветки, кто там едет — сваты или похоронная телега. Ответ неутешительный — начинается война. Соловей придерживается пессимистической точки зрения: девушек ждет горькая участь — без помощи, без возлюбленных, они осуждены будут носить траур и плакать:

Öpik möistis, oksast wasto:
„Ö pik! ö pik! kül on ö pik
Waesel walwajal waewa ösel,
Langegu pärjad linnapeadest, -
Langend pähhe leinarättikud,
Kukkund kätte murrekarrikad,
Silma halleduse hallikad.
Kurb teil tulnud kaebaminne,
Järsko läila lahkuminne:
Sõdda sanud meie male [Russow 1854: 2][119].

Кукушка утешает девушек, она утверждает, что едут свадебные гости (saajad), и приглашает приветствовать женихов (peiupoisid). Война, как в большинстве народных традиций, изображается здесь как свадебный пир, где невесты, ожидающие женихов, — это пушки, заряженные ядрами и готовые встретить женихов-врагов:

[118] Здесь и далее даем подстрочник в собственном переводе: «Слышали ли вы из ельника шум, / Из-за темного леса гром, / С берега скрип колес?»

[119] «Соловей понял и ответил с ветки: / Ночь длинна, ночь длинна, о, как ночь длинна (обыгрывается созвучие слов «соловей» / ööbik и «ночь» / öö. — *Л.К.*) / Для бедного сторожа в горестную ночь, / Пусть падут венки с русоволосых голов, — / Оденутся головы в траурные платки, / В руки падут кубки, наполненные горем, / Глаза будут источать печаль. / Горько придется жаловаться, / Внезапно сладкое время прошло: / Война пришла на нашу землю!»

Terre, terre! sajukenne!
Terre, peio! peiopoisid!
Astuge armsad meie määle!
Mis otate, mis wahhite?
Egga te ehtel aega wida
Kaugel merre kolleda laenedes?
Uddu teil rikkub hea meele,
Saddust sate jo soppaseks,
Päike pölletab arro peast teil [Russow 1854: 4][120].

Финал текста очень сильный — он предрекает поражение врагов:

Tulle tökruja werrewaenlane, -
Werre werise pulmawodi,
Wao kui kurjawaimo warri,
Kao kui kuio! kukku! kukku! [Russow 1854: 4] [121].

«Парный» к песне девушкам текст — «Laul Eestima-meestele» («Песнь эстонским мужчинам») — был создан в том же 1854 г. другом и соратником Руссова Й. Петенбергом. На нем, однако, мы не будем останавливаться, как и на других менее значительных поэтических сочинениях о Крымской войне той же направленности (А. Умблиа, Х. Вильде [Petenberg 1854; Petenberg 1854a; Petenberg 1854в; Umblia 1854; Wilde 1854]). Перейдем сразу к поэме Крейцвальда, которая явилась репликой на стихотворение Руссова, что прямо явствует из текста:

Ladussuuga laulupoead
Sünnitavad sõa-laulu,
Loowad lahingi lugusi
<…>
Wana wiisil wilistelles –
«Tütarlastele» tuluksa,
Rõemuks noorte neidudelle;
Laulawad, et kaljud kostwad,
Metsad wastates mürawad,
Laened kuuldes kohisevad,
Tuule tiiwad wahisewad!
Se on õige, **Wiru wennad**,

[120] «Здравствуйте, здравствуйте, свадебные гости! / Здравствуйте, шаферы и женихи! / Приходите, любезные, на нашу гору! / Чего вы ждете, что смотрите? / Вы ведь не на наряжение время тратите (не наряжаетесь, не украшаете себя) / В далеком море на страшных волнах? / Туман вам портит настроение, / От дождя вы испачкаетесь, / Солнце выжжет ваш разум».

[121] «Приди, кровный враг, — / В кровавую брачную постель, / Растворись, как тень злого духа (дьявола), / Исчезни, как дурной призрак! Пади! Пади!»

Arju-maal kaswanud kaimud,
Linna kallid kodanikud,
«Sõbra kirja» sobitajad [Kreutzwald 1854: 2–3][122]. (Выделено мною. — *Л.К.*)

Крейцвальд продолжает и развивает народную образность[123], на которой основана «Военная песня…» Руссова (в том числе упомянута и кукушка), но введен образ битвы как косьбы, присутствуют и Турис, старый бог вражды («Turris, vana vaenujumal»). Автор «Калевипоэга» в позднем письме к академику Антону Шифнеру от 15 марта 1878 г. специально останавливается на этом аспекте, с гордостью называя свою поэму следованием «эстонской народной песне». Он с саркастическим удовольствием приводит также отзыв своего оппонента — пастора Э. Ааренса — о поэме: «Ka sõnnikus on elu!» («И в навозе есть жизнь!»), считая его настоящим комплиментом своему тексту [Kreutzwald — kirjad 1953: 514]. Однако множественное число «Wiru wennad» (братья-вирусцы) в приведенной цитате, возможно, указывает на отсылку и к стихотворению Петенберга, также причастного к изданию «Писем Ревельского жителя…». Именно песни с севера, из земли Виру, разбудили его, старого певца (laulik vana), и он взял в руки каннель.

Поэма «Война» — в бóльшей мере идеологический текст, чем «Песня…» Руссова. Здесь изображается не война вообще (у Руссова нет отсылок к конкретным актуальным событиям, хотя, конечно, подразумеваются именно они), а вторжение прямо названных врагов (воры-англичане, их приспешники — французы, турки) на беззащитную землю. Приведем русский поэтический перевод немногих строк поэмы, сделанный А. Соколовым для юбилейного издания «Ф.Р. Крейцвальд в портретах и иллюстрациях»:

А француз боится бани,
Под Москвой ее изведав,
И английской птице страшно
На берег чужой садиться…

[122] «Умелые сыны песни / Слагают песни о войне, / Творят рассказы о боях / <…> / Насвистывая на старый мотив — / “Девушкам” в награду, / На радость молодым девицам; / Поют так, что скалы откликаются, / Леса шумят в ответ, / Волны, услышав, рокочут, / Крылья ветра трепещут! / Это правда, братья-вирусцы, / Дружищи, выросшие в земле Харью, / Дорогие горожане, / Сочинители “Дружеских писем”».

[123] Использование народной образности было характерно и для русской поэзии периода Крымской войны. Напомним в качестве примера знаменитое военное стихотворение Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны…»: «Им (матерям. — *Л.К.*) не забыть своих детей, / Погибших на кровавой ниве, / Как не поднять плакучей иве / Своих поникнувших ветвей» [Некрасов 1981: 14].

Вот их подвиг и отвага:
По морям сновать да грабить
Корабли людей торговых,
Похищать добро чужое,
Разорять рукой разбойной
Беззащитные селенья,
Жечь со злобой сатанинской… [Крейцвальд 1953: 126, ср.: Kreutzwald 1854: 17–18].

На протяжении текста враги награждаются многочисленными уничижительными эпитетами, изображаются в виде хищных зверей (англичане — львы, французы — волки, турки — медведи) или птиц; их действия трактуются как неправомерная агрессия. Символ России — двуглавый орел — получает в этом контексте несколько неожиданную интерпретацию: сочетание силы и нежности. С одной стороны, это обычная реализация образа: мощная птица с железными когтями и клювом, со стальными крыльями. С другой, постоянно упоминается теплое гнездышко орла, где подданные-птенцы защищены с материнской нежностью: «Soe ja pehme kotkapesa / Varjab meid kui linnupoegi» — эти строки повторяются как рефрен. И еще: «Katab pesas pehme kaisu / Emaliku eldusega / Lapsokese karja kinni» [Kreutzwald 1854: 8–9].

«Viru laulik» («Вируский певец», как именовал себя Крейцвальд) сопоставляет счастливую жизнь Эстонии под эгидой орла и прежнюю горькую долю:

Enne Wene walitsusta,
Kange kotka kaitsemista
Põlnud Eesti wanal põlwel
Muud kui pika piinamisi:
Waga were walamisi:
Sõda oli ala sõitamas,
Mõega tera tapemas,
Katk aga kuri kurnamas,
Nälja küüned näpistamas,
Waenu käpad kägistamas;
Seadus solk ja segane,
Kohus kukru omane [Kreutzwald 1854: 9–10][124].

[124] «До правления России, / Без защиты сильного орла / У прежних поколений эстонцев / Не было ничего, кроме мучений, / Пролития смиренной крови: / Война постоянно настигала, / Убивая острием меча, / Злая чума изнуряла, / Когти голода щипали, / Лапы бедности душили; / Закон был дурной и путаный, / Суд принадлежал мошне (взяточникам)».

Русские войска изображаются в сочувственных и возвышенных тонах («Seisab wahwa Wene wägi / Sõa käras wankumata» [Kreutzwald 1854: 16][125]). Эстонцы — их часть: «…ka meie päevil / Leida wahwas Wene wäes / Mitu Wirust wõrsund meesta…» [Kreutzwald 1854: 21]; «Olge rõõmsad, eesti emad: / Teie rüpes kantud pojad, / Armukaisul hautud lapsed / Saavad wahwa Wene wäe / Wõidumeeste seltsiliseks» [Kreutzwald 1854: 22][126]. Подобно Руссову, Крейцвальд призывает не бояться войны, он подчеркивает, что смерть на войне почетна. И оканчивает он свою поэму впечатляющим образом: певец кладет свой каннель на могилу павших воинов, и струны каннеля, колеблемые ветром, будут возвещать о том, что на этом месте находится могила бесстрашных бойцов.

Напомним, что сам Крейцвальд считался участником войны: как врач он руководил двумя военными госпиталями, организованными в Выру в 1855 г.[127] К своей поэме он относился серьезно. Сразу по выходе он послал свое сочинение в Петербург, знакомым академикам [Kreutzwald — kirjad 1953: 52], а в позднем письме к Шифнеру характеризует «Войну» как «isamaaline südamekergendamine» («патриотическое сердечное излияние») [Ibid: 516] и считает по-прежнему актуальной в свете новой русско-турецкой войны.

Среди тогдашних эстонских читателей поэма была столь популярна, что через семь лет после первого издания была переиздана без ведома автора [Nirk 1966: 97]. Не менее популярными были и патриотические «Письма Ревельского жителя…» Руссова.

Заметим, что не следует недооценивать эмоциональных переживаний современников Крымской войны, которые видели чужие корабли у своих берегов и ощущали, что решается судьба страны, в которой они живут. Напомним стихотворение Н.А. Некрасова «14 июня 1854 года (в день первого появления соединенного флота у Кронштадта)», напечатанное в 1854 г. в № 7 «Современника»:

Великих зрелищ, мировых судеб
Поставлены мы зрителями ныне:
Исконные, кровавые враги,
Соединясь, идут против России;

[125] «Стоит храброе русское войско / В рокоте войны несгибаемо».

[126] «…и в наше время / В храбром русском войске / Найдутся мужчины из Виру»; «Радуйтесь, эстонские матери: / На ваших коленях взращенные сыновья, / В нежности вынянченные дети / Станут сотоварищами храбрых русских солдат-победителей».

[127] Оба наших автора были награждены бронзовой медалью на андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг.

Пожар войны полмира обхватил,
И заревом зловещим осветились
Деяния держав миролюбивых...
Обращены в позорище вражды
Моря и суша... Медленно и глухо
К нам двинулись громады кораблей,
Хвастливо предрекая нашу гибель,
И наконец приблизились — стоят
Пред укрепленной русскою твердыней...
И ныне в урне роковой лежат
Два жребия... и наступает время,
Когда решитель мира и войны
Исторгнет их всесильною рукой
И свету потрясенному покажет [Некрасов 1981: 130].

Но вернемся к Руссову и Крейцвальду. Какова прагматика рассмотренных нами текстов? Имеем ли мы право причислять их авторов к казенным патриотам только на том основании, что они прославляют двуглавого орла и русского царя? Думаю, что нет. Если судить ретроспективно, то можно указывать на наивность и «ошибки» авторов. Но они жили и творили в ином контексте, и нам гораздо важнее понять их логику, чем мерить их поступки современными нам мерками. Национальное строительство — формирование молодой эстонской нации — остро нуждалось тогда в опоре. Определяя судьбу и будущее эстонского народа, деятели раннего этапа эстонского национального возрождения искали поддержки своим устремлениям развивать эстонский язык, оригинальную литературу на эстонском языке, эстонскую печать у тех, от кого зависели возможности их реализовать. Национальные лидеры стояли перед четкой дилеммой: прибалтийские немцы или российское правительство, русское общественное мнение; и не без основания не доверяли первым, следовательно, приходилось рассчитывать на вторых и ориентировать своих читателей в этом направлении. Нам известно будущее, им оно известно не было. Ранний этап эстонского национального возрождения — это поучительный период именно с «русской» точки зрения: политика имперского правительства не пожелала учесть устремлений эстонских просветителей, и начавшийся через пару десятилетий период русификации в корне изменил позиции и расстановку сил в эстонском национальном строительстве — далеко не в пользу недальновидных правителей.

2.2.2. «Эстонский выбор» профессора Петербургской академии художеств Йохана Келера-Вилианди

> Я — эстонец по рождению, но в то же время искренний русский патриот. Как гуманист, я не мог остаться равнодушным, видя страдания моих собратьев-эстонцев на их родине, но как русский патриот не могу смотреть равнодушно на постепенное отчуждение Балтии от России.
>
> *Письмо Й. Келера царю*[128]

В середине XIX в., когда интенсивно шел процесс формирования эстонской культуры Нового времени, национального пробуждения, становления эстонской идентичности (*eestlane* вместо «talorahwas»), многие представители первого поколения эстонской интеллигенции все еще отказывались отождествлять себя с «низким» сословием, утрачивали родной язык и онемечивались. Если более глубоко вдуматься в этот выбор (отбросив карьерные и прочие «практические» устремления, хотя тогда для многих именно они были примарными), то это было в том числе и желание отождествить себя с европейской культурой, символом которой для них была культура немецкая, — другими словами, своего рода «европейский» выбор. Имелись ли альтернативы онемечиванию, возможности достижения «европейскости» при сохранении «эстонскости»? В начале XX в. подобная программа была сформулирована деятелями «Noor-Eesti» («Молодая Эстония»): «Будем эстонцами, но станем европейцами!» Было ли это возможно в середине XIX в., на заре эстонского возрождения? Жизнь и деятельность отца эстонской профессиональной живописи и художника российского императорского двора Йохана Келера (1826–1899) показывает, что было. На протяжении своего жизненного и творческого пути он неустанно подчеркивал принадлежность к угнетенной эстонской нации и служил ей.

Один из первых эстонцев, получивших высшее художественное образование, он не хотел, чтобы его по фамилии принимали за немца, поэтому стал подписывать свои картины «Келер-Вилианди», хотя тогда лишь немногие его зрители могли догадаться о том, что вторая часть подписи происходит от эстонского названия «Вильянди» — уезда, из которого художник был родом. В XIX в. город и уезд назывались по-немецки — Фелли́н, что весьма отдаленно напоминало о Ви́льянди, и для непосвященного уха такая подпись звучала как нечто немецко-итальянское.

[128] [Väike Köleri sõnastik 2000: 145]. Цитируется в моем обратном переводе с эстонского.

Бóльшую часть своей жизни Йохан Келер прожил в Петербурге. Здесь он стал сначала студентом, затем профессором исторической и портретной живописи Императорской Академии художеств, а также придворным художником, автором портретов четырех российских императоров и членов их семей, учителем рисования великих княжон. В Петербурге его звали Иваном Петровичем и считали, небезосновательно, русским художником, в том числе и потому, что он принадлежал к русской академической школе живописи. И все же в том же Петербурге Келер входил в кружок эстонских патриотов и служил эстонскому делу. Эта сторона его деятельности хорошо известна, и мы не будем на ней останавливаться. В данном случае нас будет более интересовать его самоощущение как эстонца, стремящегося освободиться (и освободить свой народ) от прибалтийско-немецкого диктата и одновременно европейца, вполне освоившегося в разных культурах и языках.

Об этом он подробно рассказал в своей автобиографии, текст которой (в виде расшифровок стенографических записей) мне удалось обнаружить в Отделе рукописей Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) [Биография Арх.][129].

Остановимся на этом тексте немного подробнее, поскольку долгое время одним из основных источников биографии Келера являлся текст, опубликованный в двух номерах журнала «Русская старина» за 1882 и 1886 гг. [Русская старина 1882–1886][130], считался как бы «оригиналом». Первая его часть содержит сведения о детстве и юности художника (до 1846 г.), вторая — рассказ о годах обучения в Петербурге, о заграничном путешествии и о деятельности Келера до 1882 г. Серьезная источниковедческая проблема состоит, однако, в том, что собственно автобиография (т.е. текст от первого лица) составляет лишь вторую часть публикации, первая же являет собой пересказ, сделанный в третьем лице. Пользуясь публикацией «Русской старины», никто из многочисленных исследователей творчества Келера не обратился к архиву журнала. Оказалось, что там хранится расшифровка стенографической записи устного рассказа художника, записанного стенографисткой в присутствии и при участии редактора журнала М.И. Семевского. Таким образом, нашелся текст, который хотя и не написан рукой художника, но который с гораздо большим основанием можно назвать «оригиналом» первой части его автобиографии.

Расшифровка устного рассказа охватывает период до 1864 г., т.е. покрывает полностью первую часть, напечатанную в «Русской старине» в

[129] Этот архивный текст опубликован нами с комментариями: [Биография 2012].

[130] Во втором номере частично был повторен материал, опубликованный четыре года назад. Отрывки из этой автобиографии были переведены на эстонский язык.

пересказе, и начало второй. Архивный текст существенно отличается от опубликованного: он больше по объему, содержит ряд любопытных подробностей, опущенных при публикации. К сожалению, начиная с 1864 г. рассказ либо не сохранился, либо находится в необработанной части архива «Русской старины», которая исследователям недоступна. Однако даже в таком усеченном виде архивная автобиография представляет собой бесценный источник. Здесь мы слышим голос живого Келера — фиксацию его *устной речи*, с повторами, некоторыми характерными неправильностями и эстонизмами, сохранившимися, несмотря на свободное владение, в его русском языке: «тех пор, как я запомнил себя» (себя помнил); «знал <умел> по-эстонски читать»; «учитель умер, а другого сейчас не было» (сразу не нашли); «устраивали театры» (спектакли) и др. Русский язык он усваивал из живой речи окружающих. Его признание, что он «забыл» русскую грамматику, отражает ситуацию в том смысле, что его русская речь имела не книжную, а «устную» природу. Отсюда характерные коллоквиализмы и даже просторечия («оттудова», «откудова», «ндрав», «яйцы», «на узеньку дощечку», «стекла были вспотевши» и др.).

Память у художника была превосходная — описывая детство и юность, период обучения в Академии художеств и заграничного путешествия, он припоминает множество живых и разнообразных деталей[131]. Рассказывая о себе, Келер постоянно подчеркивает свою принадлежность к эстонской нации и гордится своим крестьянским происхождением[132]. Его рассказ исполнен гордости за то, что его жизнь — жизнь профессора и члена Совета Императорской Академии художеств, придворного художника и европейской знаменитости — свидетельствует о возможностях, таящихся в его народе. Что же касается физического труда и пережитых испытаний, то всего этого было в его жизни предовольно.

[131] Некоторые, но далеко не все подробности европейского путешествия были известны из писем Келера к Н.П. Грот из Парижа и Рима, обнаруженных в архиве Академии наук и опубликованных на эстонском языке в 1972 г.: [Письма 1972]. Оригиналы — по-немецки. Публикатор М. Лепик, сравнивая письма с тем, что было известно о путешествии по «Русской старине», сделал вывод, что память в старости изменила художнику, что он забыл подробности, столь ярко представленные в письмах к Н. Грот. Приводимый ниже текст опровергает это предположение. Яркие подробности, наполнявшие его рассказ, были просто опущены при публикации.

[132] «Я видел часто, как люди бывали глупы, что относились с пренебрежением к простому народу, зачастую говоря: “Он мужик, ну что от мужика можно ожидать?” У нас было все равно, что эстонец или мужик, только тот, кто в модном платье, тот только считался благородным. Когда в <18>64 году я был в Ревеле и в его окрестностях, меня спросили, откудова я. Я говорю, что я эстонец. “Вас, вероятно, отправили из Эстляндии?” — говорят мне. — “Нет, говорю я, — я из Лифляндии”. — “Но такого эстонца, — говорят они, — мы никогда не видали”» [Биография 2012: 193].

Рассказ ярко демонстрирует личность художника, его честность и прямолинейность, мягкий юмор. Он живо описывает свои первые «художественные» опыты: театральные декорации в доме маляра Фабера, где листья на деревьях висели у него на ниточках, и первое одобрение его искусству — пушка, по мнению зрителей, получилась похоже. Суждения Келера о людях нелицеприятны, он старается говорить правдиво и искренне, не приукрашая ни себя, ни окружающих.

Однако не менее важно, что из его безыскусного рассказа проступают драгоценные подробности жизни и быта эстонских крестьян первой половины XIX в.[133] Келер с глубоким уважением говорит о своих родителях, и хотя оценивает положение семьи как относительно благополучное («бедность у нас была не особенная»), но признается, что хлеб ели с мякиной и жили в условиях суровой экономии. Нельзя без волнения читать повествование Келера о том, как его отец — полуслепой крестьянин (по сути, батрак) — пытается дать хотя бы одному из пяти своих сыновей образование, отдавая на это все накопленные деньги, и их хватает только на три года обучения. Будущий профессор и придворный живописец «долбит» немецкие уроки в Вильяндиском уездном училище, плохо понимая преподаваемое на чужом языке, но все же стараясь не отстать, и даже получает в награду за прилежание русскую грамматику. В 12 лет Келер начал свой трудовой путь: сначала в конторе у управляющего, потом маляром в Цесисе (тогдашнем Вендене), откуда на деньги, вырученные от продажи собственного пальто, отправился в Петербург, мечтая поступить в Академию художеств. И далее — работа у «вывесовочного» мастера и посещение вечерних академических классов, первые успехи в искусстве. Только собственным трудом и упорством он добился и высшего образования, и карьеры, и знания иностранных языков (кроме немецкого и русского — французского и итальянского).

Рассказ Келера о годах учебы в Императорской Академии художеств дает представление как о царивших там нравах, так и о гордом и независимом характере молодого художника, часто своим нежеланием заискивать и просить действовавшего во вред себе. Однако честный Келер все же признает, что без протекции и в его жизни не обошлось. Так, однажды Академия художеств выдала ему золотую медаль не по

[133] Ими очень интересовался редактор журнала «Русская старина» историк и общественный деятель М.И. Семевский (1837–1892) — не только по обстоятельствам службы в Главном комитете об устройстве сельского состояния, но и по внутреннему убеждению в неблагополучном положении крестьян в Российской империи и необходимости его улучшить. Семевский явно провоцировал Келера своими вопросами на детальную характеристику крестьянского быта.

решению Совета (как это обычно делалось), а по прямому указанию президента — дочери императора Николая I великой княгини Марии Николаевны, которой он стал известен «домашним» образом — через ее лейб-медика. Через много лет профессор Келер не без горечи напомнил своему коллеге, ректору Академии художеств Ф. Иордану о том, как был несправедливо обойден Советом Академии при распределении медалей и как великая княгиня восстановила справедливость.

Знакомство с Марией Николаевной, возникшее заочно и не по инициативе тогдашнего студента, сыграло немалую роль в жизни Келера. Чтобы быть замеченным при дворе и стать придворным художником, учителем рисования царских дочерей, кем становится Келер в 1860-е гг., полезно было иметь «знакомства». «Вход» в придворный мир обеспечили ему не только его талант и успехи в искусстве, но и знакомство с лейб-медиками (К. Гартманом и Ф. Кареллем), определенную роль мог сыграть и его друг, будущий академик Я.К. Грот, бывший в 1850-е гг. преподавателем у великих князей.

Заграничное путешествие Келер предпринял на свои деньги, поскольку Совет Академии художеств отказал ему в праве на пенсионерскую поездку в Италию. 1857–1862 гг. молодой художник провел за границей: путешествовал по Германии, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Франции, Италии, в основном жил в Риме. Келер — внимательный наблюдатель нравов, он подсмеивается и над русскими (за работу на «авось»), и над англичанами (за их излишнее туристическое любопытство), и над итальянцами (за грязь и неаккуратность), но особенно достается немцам (за скупость, пошлость, ограниченность). Однако критический взгляд никогда не мешает высоким оценкам всего хорошего и интересного, с чем он сталкивается, будь то люди или произведения искусства. Не случайна его дружба в А. фон Боком[134], и недаром именно с немцами Келер заводит наиболее тесные контакты в Риме. Это было частью его вполне осознанного жизнестроительства, точно подмеченного Я. Кроссом в его романе «Третьи горы». Вспоминая свое пребывание в Европе, художник неоднократно упоминает свое стремление учиться

[134] Бок Александр Романович (Alexander von Bock; 1829–1895) — скульптор. Выходец из Лифляндии, учился в Академии художеств у П.К. Клодта, в 1857 г. получил большую золотую медаль, звание классного художника за барельеф «Распятие Христа Спасителя». В 1858–1964 гг. был пенсионером Академии художеств. В 1864 г. получил звание профессора скульптуры. С 1865 по 1895 г. преподавал в Академии художеств [Художники 2002: 2, 17]. У Бока учились первые эстонские скульпторы А. Вейценберг и А. Адамсон. Судя по переписке, между Боком и Келером существовали разногласия по политическим и религиозным вопросам, что не помешало им остаться друзьями [Väike Köleri sõnastik 2000: 29–30].

новому (например, акварельной технике), отсюда же — желание жить среди немецких художников и интеллектуалов. Он озабочен постоянным повышением своего образовательного уровня, расширением художественного кругозора. Хотя немецких знаменитостей Овербека и Корнелиуса Келер не жалует, он все же стремится познакомиться с другой, чем была принята в петербургской Академии, живописной манерой. Был в его немецких контактах и еще один мотив — стремление доказать самому себе, что он — эстонский «мужик», не хуже (а в чем-то и лучше, успешнее) немцев, которые являются господами на его родине.

Теперь обратим более пристальное внимание на ту часть устного рассказа Келера, который касается заграничного путешествия. Окончание Академии художеств, как уже упоминалось выше, протекало для Келера достаточно драматично. Большой золотой медали он так и не получил. Своей конкурсной картиной «Саул у Эндорской (Аэндорской) волшебницы» он сам не был удовлетворен, но главной причиной неуспеха Келер считал не качество работы, а интриги. Два члена совета заверили его в благоприятном ходе обсуждения картины и заранее поздравляли с получением медали. Поэтому когда на акте вице-президент Академии граф Ф.П. Толстой с сожалением пожал ему руку, то гордый плебей, по собственным словам, «отдернул свою руку, думая: “Какой же ты президент, когда не мог поправить дело”» [Биография 2012: 198].

И тут Келер совершил шаг, достаточно рискованный в его положении, — он решился ехать за границу за свой счет. Причем ему открылась возможность получить стипендию от Общества поощрения художников, но и тут гордость (или принцип) пересилили: «Я сказал, что с удовольствием приму это, но сам просить не буду. Потом они мне писали (от Общества), что мы все купим, что будете нам писать, но только пишите для нас маленькие вещи. Но первые годы я оттудова ничего не присылал, потому что сам недоволен был своей работой. Если послать сюда что-нибудь, так надо уже что-нибудь солидное, а какую-нибудь вещь в рубль не стоит посылать» [Биография 2012: 200]. Так переплелись между собой жизненные принципы и профессиональная требовательность.

Заработав 1200 рублей за царский портрет, «художник 14-го класса», каким он вышел из Академии, половину суммы послал родителям в Феллинский уезд, а на 600 рублей отправился путешествовать по Европе и четыре года прожил в Италии.

Жизнь за границей требовала не только средств, но и знания языков. В автобиографии Келер, продолжая свою линию рассказа о смышленом мужике, констатирует: «Приготовляясь ехать за границу, я в Петербурге учился французскому языку. Я не был так прост, чтобы поехать за границу, не зная иностранного языка» [Биография 2012: 199]. Немецким он владел превосходно, в Германии наступила очередь изучения итальянского. На горном курорте он «зубрил италианскую грамматику по методе Оллендорфа[135], о которой один тамошний профессор сказал, что “этот учебник годен только для сапожников”. Но я на это отвечал: “Положим, я не буду сапожником, но убежден, что когда буду в Италии, то буду в состоянии говорить по-италиански, а вы со своей профессорской грамматикой наверно не смогли бы так ловко и скоро найти слова, которые там нужно”. Когда я поехал в Италию, то уже умел говорить» [Биография 2012: 205]. Первой собеседницей, оценившей познания эстонца в итальянском[136], стала римлянка, соседка по почтовой карете, в которой они с приятелем, скульптором Александром фон Боком, переправлялись через Сен-Готардский перевал. При этом Келер не без самодовольства замечает, что Бок (лифляндский дворянин) итальянского языка не знал.

Нас интересуют рассказы Келера о путешествии с точки зрения того, как молодой эстонец ощущал себя в Европе. Оценивая через почти четверть века полученный им опыт, он представляет себя, во-первых и в главных, *художником*, во-вторых, человеком, которому нужно было еще многому учиться — и профессионально, и с точки зрения общего образования. Однако при этом он смотрит на все вокруг как бы несколько со стороны. Любопытно, что ретроспективная точка зрения во многом совпадает с почти синхронными событиям письмами к Н.П. Грот [Письма 1972: 25–35], только в письмах он более говорит о впечатлениях от природы, а в позднейших рассказах — от искусства.

Письма более литературны и поэтичны, явно сказывается ориентация на адресата, здесь больше ностальгии по Петербургу — но это ностальгия по дому Гротов, где художник чувствовал себя членом семьи. Он вспоминает (не без удовольствия), что у Гротов его называли «меланхолическим художником» или — в ироническом регистре — «меланхолической флегмой». Цель писем — показать, как изменили его новые впечатления, особенно швейцарские горы[137]. Описание восторгов

[135] Оллендорф Генрих Готфрид (1803–1865) — автор популярных учебников различных иностранных языков в форме диалогов-упражнений.

[136] Келер совершенствовал свои знания итальянского во Франции, причем на всех языках он «старался приобрести хороший выговор, усвоить хорошее произношение» [Биография 2012: 204].

[137] И тут одно неожиданное сравнение приоткрывает завесу над малоизвестным нам образом жизни художника в Петербурге. Описывая корреспондентке свой восторг от одинокой прогулки по горам с видом на Лаго-Маджоре (Lago Maggiore), Келер замечает: «Ни на одном балу я не был так радостен, как на этой горной вершине» [Письма 1972: 30]. Значит, молодой эстонец бывал в Петербурге и на балах.

от горного пейзажа сменяется — по контрасту, как в хорошо организованном повествовании, — рассказом о приключении с контрабандистами, которые чуть не побили его камнями, охраняя пути к своим складам. С теми же подробностями Келер описывает это приключение через 25 лет, но здесь и тон более нейтральный, и нет иронического сравнения себя со св. Стефаном. Зато в рассказ включен чудный бытовой эпизод с гостиницей в горах, где, вольно или невольно, опять проглядывает сравнение себя (крестьянского парня) с дворянином Боком, а заодно наблюдение над итальянскими нравами:

> Наконец стало так темно, что едва заметна была дорога. Гостиницы не было. Мы начали проклинать, что отправились, и так мы, едва таская ноги, дошли до какой-то ветхой гостиницы, где под воротами, освещенный огнем от фонаря, стоял какой-то италианец черный, как его шляпа, и смотрел совсем разбойником. Бок спросил меня, что тут делать? — «Войти туда, — отвечал я, — так как уйти мы не можем, потому что он нас видел, и, если он нам желает сделать что-нибудь дурное, он может это, потому что мы не можем уйти с нашими усталыми ногами, и поэтому лучше войти, пусть будет что будет». Вошли в гостиницу и нашли старика добродушного с мальчиком. Спросили что-нибудь поесть. Он предложил нам сделать омлет (яичницу). Кухня была перед нашими глазами, так что мы видели, как он готовил. Бок говорил: «Не могу есть, это грязно». Я думал: «Мы же идем в Италию, где известно неопрятность, а с голоду нельзя умирать», и я преспокойно ел свою яичницу [Биография 2012: 211].

Описание качки на море по пути из Ливорно в Чивитавеккиа также сходно в деталях, но разнится в дискурсе. В устном рассказе 1882 г. подробно описана морская болезнь[138] и дан лишь намек на работу воображения: «При полной темноте и фосфорировании волн воображение мне представляло разных нимф», а в письме от 21 апреля (3 мая) 1859 г.

[138] «Поднялась буря, она была так жестока, что все предметы в каюте катились из стороны в сторону, свет погас, и с палубы был слышен страшный шум <…> казалось, что пароход ежеминутно разламывается. Воздух в каюте был для меня невыносим, и я кое-как на четвереньках вскарабкался наверх, на палубу, там судорожно схватился за борт, спиной приперся к выступающему краю, и в такой позиции провел все время, так что волны часто обкачивали меня, но болезнь моя была так страшна, что к жизни я относился довольно равнодушно» [Биография 2012: 213].

эти самые нимфы и их страшные руки, холодные поцелуи описаны подробно и даже не без педантизма[139].

Любопытны и художественные впечатления, и здесь также оценка через десятилетия совпадает, различаясь в подробностях. Европейское искусство Келер оценивает в автобиографии достаточно критически, но особенно достается от него немцам. Тут он даже вступает в спор с самой великой княгиней Марией Николаевной, считавшей, что русским художникам было бы полезно стажироваться у знаменитых в то время немецких мастеров И.Ф. Овербека и П.Й. Корнелиуса[140]. Вчерашний выпускник Академии художеств, напротив, полагал, что в Петербурге учат достаточно хорошо, и у этих знаменитых немцев учиться нечему:

> Я не имел слишком высокого понятия о этих мастерах, потому что, напр., Корнелиус действительно имеет величие в своих сочинениях, но это величие он достигает более театральными средствами, утрированием, так что иногда преспектива выходит, что, где должна быть одна сажень, там у него выходит по крайней мере 5, так что случается в его сочинениях, что голова человека бывает перевернута на спину, нога часто выходит из живота, вообще его рассудок хромает сильно, так что я слышал от италианцев, что они не понимают рисунка

[139] «В темноте я едва различал морскую пену, что дало волю воображению. <…> море ожило: это были игравшие там нимфы. Я видел их, быстро приближающихся <…> в этот момент волна меня окатила, я отер лицо, и все исчезло. <…> Корабль то поднимал меня кверху, то вновь опускал в их царство. В страхе я зажмурился, не решаясь даже дышать, думая, что вот-вот эти холодные руки схватят меня. В тот же миг я получил холодный поцелуй в лицо, точнее говоря, — поток <…> оставивший во рту соленый вкус. Эти потрясения продолжались до позднего утра» [Письма 1972: 31].

[140] Иоганн Фридрих Овербек (Johann Friedrich Overbeck; 1789–1869) — немецкий художник, проживавший в Риме с 1810 г. и оказавший влияние на развитие как немецкой, так и итальянской живописи 1820–30-х гг. В 1813 г. перешел в католичество. Глава и «патриарх» кружка «назарейцев». Наименование это не являлось самоназванием группы и первоначально имело иронический оттенок, отсылая к прическе (длинные волосы) и костюму (черный берет и плащ), который ввели в моду члены кружка. Позже они сделались общими для всех художников, живших в Риме. Петер Йозеф фон Корнелиус (Peter Joseph von Cornelius; 1783–1867) — немецкий художник, член «Союза Св. Луки», или кружка «назарейцев» — товарищества немецких художников, посвятивших себя религиозному обновлению искусства. В 1820-е гг. был приглашен королем Людвигом Баварским в Мюнхен, где возглавил Академию художеств. Написанные им в Мюнхене фрески на античные сюжеты и «Страшный суд» в церкви Св. Людвига (1836–1840) считались образцовыми произведениями немецкого академического искусства.

Корнелиуса, что это, должно быть, мускулы форестьери[141] на его рисунках, т.е. иностранные мускулы. Так Корнелиус плохо знает анатомию. Его сочинения только в маленьком виде, вроде эскизов, сносны, где ошибки не так заметны. Колорит у него невозможно плох, так что его красками в большом виде написанные предметы, как, напр., в Мюнхене в Людвихс-кирхе его Страшный суд, он испортил его вполне своими негармоничными пестрыми красками. Овербек слишком в другую сторону уклоняется, у него не живые люди выходят, а какие-то туманные образы, хотя иногда и довольно грациозные фигуры бывают [Биография 2012: 216].

Вместе с тем Келер не пропускает случая поучиться и у немцев:

За границей я считал полезным жить между иностранными художниками, но так как в Риме были большею частию немецкие художники, то я вертелся более в немецком обществе. У нас было составлено общество, называемое «Колона»[142], оно доходило до 20 человек иногда, оно состояло из людей, занимающихся по разным отраслям художеств и знаний. Так, напр., тут были археологи, филологи, поэты, художники и даже агрономы, и вследствие этого наши разговоры и споры были самые разнообразные. Иногда мы предпринимали целые экскурсии осматривать что-нибудь в окрестностях Рима. Мы ездили вместе в Кастельфузамо[143]. За воротами летом после занятий кто-нибудь затеивал игру в пестрели[144], а тут перед глазами очаровательные горы и вдали римская Кампания[145]. У нас в обществе иногда устраивались чтения, но они были для меня невыносимы, так что как бы ни было интересно чтение, но я, прослушав немного, вставал и уходил прочь. Раз мы устроили даже вроде театра между собою. Составилось у нас две партии — художники с одной стороны и ученые археологи и друг<ие> — с другой. Разумеется, каждая партия старалась быть как можно пикантнее другой партии, но так как это все устраивалось дружественно, то все и окончилось благополучно [Биография 2012: 221–222].

[141] От итал. *forestiere* — иностранец, приезжий.

[142] По названию кафе «Colonna» (via Corso), где собирались немецкие интеллектуалы, жившие в Риме.

[143] Кастельфузано — город в 25 км от центра Рима, недалеко от морского побережья.

[144] Piastrella (камни, *um.*).

[145] Римская Кампанья — Campagna di Roma, низменная местность в окрестностях Рима, в Лацио, окружена горами на севере и на юго-востоке, примыкает к Тирренскому морю на юго-западе. Один из наиболее часто изображаемых в живописи районов Италии.

Последнее замечание (о благополучном окончании состязания или «театра»), однако, не случайно. Тут же Келер описывает случай, происшедший с ним на римском карнавале, когда ему в глаза бросили горсть извести:

В меня на улице была брошена со всей силы известка, в форме гороха, этот горох был прямо брошен мне в глаза, и с такой силой, что я почувствовал страшную боль. Я ужасно взбешен был этим, и, кажется, попадись мне тогда этот злодей, бросивший в меня, я бы, кажется, убил бы его на месте, потому что это уже не в шутку было сделано, и не итальянцами, которые знают границы шуткам, а это было верно сделано кем-нибудь из чужих варваров и, может быть даже кем-нибудь из моих товарищей [Биография 2012: 222].

Поскольку товарищами были в основном немцы, то, следовательно, подозрение Келера падало на них. Вообще, недоверие и настороженность, а также ирония по отношению к немцам пронизывают текст автобиографии. Например, вот как Келер описывает восприятие немцами знаменитого грота Аццурро (Groto Azzurro) на Капри:

Один из берлинцев заметил, что если бы этот грот был в Берлине, то они устроили бы громадные ворота, а не так, как тут должно нагибаться в маленькой лодочке, сидя, и только по парам приезжать туда [Биография 2012: 219][146].

Пошлость вызывает у художника отторжение.

Однако вернемся к началу итальянского путешествия. Знакомство с итальянцами началось для Келера уже в Швейцарии, потом углу-

[146] Здесь опять Келер прибегает к контрасту, сталкивая собственное восприятие и обывательский взгляд: «Мы были очарованы сказочной красотой находящегося здесь грота, особенно вода здесь получает особенный оттенок, когда плывешь в ней сам, видя перед собой эти волны. Резонанс тут оказался тоже магическим, в то время, когда я купался, другие пели квартет, но так как тут участвовали берлинцы, так все окончилось очень прозаически — по-берлински» [Биография 2012: 219].

билось несколькими годами жизни в Италии (конец 1858-го — лето 1862 г.). Его впечатления концентрируются вокруг трех основных локусов: Рим, Неаполь, Капри, хотя он объехал почти все наиболее известные итальянские города. Те, которые не смог осмотреть по пути в Италию или во время пребывания в Риме, посетил на обратном пути в Россию (Келер перечисляет Перуджу, Болонью, Равенну, Верону и Венецию, хотя заметок об этих городах не сохранилось).

Путь к Риму лежал через Лугано, Милан, Геную, оттуда — на пароходе в Ливорно, откуда художники съездили во Флоренцию, а затем вновь отправились морем в Чивитавеккиа и только тогда достигли Рима. Северная Италия Келеру очень понравилась, хотя и здесь находятся предметы для критики:

> Переехали озеро на пароходе, а потом опять пошли пешком. Тут на озере Лаго де Комо забылись все наши неприятные впечатления, и особенно при виде Лаго-де-Гарди[147] (это было в Северной Италии). В Милане мы осмотрели собор из белого мрамора[148]. Молодые ноги на этот раз стремились вперед, на башни. По дороге нас поражало, везде на лестницах были надписи, мы удивлялись, читая их, как это могут быть в церковных стенах такие надписи [Биография 2012: 211].

Первые впечатления от Вечного города, напротив, были для северного жителя весьма неожиданными и даже разочаровывающими. Келер попал в ночной зимний город:

> В Риме мы увидали кое-где снег, чего уже никак не ожидали здесь видеть. <...> Трудно было нам в такой темноте и без всякой помощи отыскать какое-нибудь пристанище. В гостинице, в которой мы наконец поместились, было очень холодно, так что первое впечатление, произведенное на нас Римом, — было полное разочарование в нем. Как обдало нас здесь холодом в прямом смысле, так и насчет художественных произведений, при осмотре галереи, хотя и превосходной, но мы ожидали увидать в ней гораздо большее. Но как бы то ни было, мы постарались здесь устроиться возможно удобнее, наняли на Весетине[149] мастерскую и, разумеется, постарались поставить печку, а то совершенно невозможно было работать, спать было хоть неприятно, но все-таки возможно, при замерзании воды в комнате, таков был холод в мастерской, подобного я в Петербурге никогда не испытывал. Раз был случай такого рода: проснулся я утром и нашел окна вспотевшими, но так как в комнате было свежо, то я изумился, каким образом стекла могли вспотеть? Оказалось, что стекла были вспотевши не изнутри, а снаружи, потому что в это время дул теплый южный африканский ветер, так что на улице и было теплее, чем в комнате [Биография 2012: 213–214].

Но зимняя жизнь художников сменяется летней жарой. Любопытно, что первое время северянин ее не боялся:

> Жизнь художников зимою в Риме главным образом состоит в том, чтобы работать в мастерской, осматривать галереи, развалины, вообще окружность Рима, на лето уезжают, оставляют Рим, как слишком жаркий город, а уезжают оттуда к морю или в горы. Когда я первое лето жил в Риме, то всегда чувствовал потребность ходить по солнечной стороне улицы, а не по противоположной, там, где тень. Вообще, не мною одним замечено, а многими другими, что в первое пребывание в Риме не чувствуешь особенного жара, но спустя два года после моего приезда в Рим и я наконец стал ходить по той стороне улицы, где тень, а сначала, первые два года, мне приятнее было ходить по солнечной стороне [Биография 2012: 216–217].

Однако в августе 1859 г. Келер по примеру собратьев по цеху отправился к морю, на Капри. Их с фон Боком путь лежал через Неаполь, красоту которого он оценивает взглядом художника и делает интересное сравнение с Римом:

> Не стану описывать величественный въезд в Неаполитанский залив, с его Везувием, луной и с утренним освещением, скажу только, что это против Рима, где все так серьезно и где труднее понять красоты его, зато в Неаполе грандиоз-

[147] Озера на севере Италии: Комо (lago di Como) — третье по величине, Гарда (lago di Garda) — самое большое озеро Италии.

[148] Знаменитый готический Миланский собор (Duomo di Milano), третий по величине в Европе, начал строиться в 1386 г., строительство продолжалось вплоть до XX в.

[149] Искаженное via Sistina — улица в Риме, где жили многие русские художники.

ность более декоративная, которая каждого сразу поражает [Биография 2012: 217].

В Неаполе друзей ждало необыкновенное приключение — они стали свидетелями извержения Везувия, которое молодые и любознательные путешественники не преминули понаблюдать вблизи:

> Попали мы в Неаполь в то время, когда извержение Везувия уже давно было забыто; но вечером, в тот же день, мы заметили, что на Везувии много огней, и спросили, что это такое? — нам сказали, что это извержение. Это нам было очень приятно слышать, и мы поехали поскорее осмотреть его ближе, так как это извержение было сбоку горы и тихое, значит, было вполне безопасно. Но приближаясь к месту извержения, картина, однако же, вышла все-таки ужасная. Мрачная лава лилась очень медленно, приближаясь к дереву, которое начало трепетать, и как только лава коснулась ствола, так все дерево мгновенно вспыхнуло, загорелось доверху, таким пламенем, как будто был фейерверк. Мы любовались этою картиной ночью, так как днем извержение имеет совсем не такой вид, потому что днем огонь не светит. Разливаясь, лава приблизилась к дому, ворвалась внутрь его, под напором лавы и огня дом рушился. Хозяева, видя все это, спасали что могли, но без особенной суеты, поддаваясь неотвержимой силе и уступая все шаг за шагом. По краям лава, хотя раскаленная, была так тверда, что я попробовал сделать по ней шаг, и она выдержала, но, разумеется, подошвы моей обуви были обожжены. Мы отделили кусочек лавы и вложили в нее итальянскую монету гран, но палка, которой мы отделяли лаву, загорелась ярким пламенем. Во время этого извержения пострадали тут знаменитые виноградники — Лаке-мо Кристе[150] [Там же].

Капри Келер описывает как настоящий райский уголок («необыкновенный уголок Италии»), хотя путь к нему был осложнен очередной морской болезнью, которую художник описывает со свойственным ему юмором:

[150] Искаженное Лакрима Кристи (Lacryma Christi) — «Слезы Христа», виноградники монастыря, находящегося у подножия Везувия, а также название вина, производящегося с этих виноградников.

> Нам угрожала после этого еще опасность в дороге. Из Амальфи[151] по сухому пути можно идти в Соренто[152], но отчасти это было невозможно, потому что путь этот был небезопасен от разбойников, и поэтому мы решили ехать на лодке до Пазитано[153]. Погода была бурная, с трудом нашли пару рыбаков, которые согласились везти нас. Посадили нас на суше в лодку, волна нас взяла оттуда. Скоро нас укачало, это было очень неприятно, но уже пристать опять к берегу не было никакой возможности, так как тут были отвесные горы, мы очень сожалели, что поехали, а не остались хоть один день. Смотря больше на физиономию товарища, которая была совершенно зеленая, углы рта висели вниз, вообще физиономия была невообразимо несчастная, т.е. до смешного, хотя я и сам страдал в это время, но, глядя на физиономию товарища, я расхохотался. К счастию, мы доехали благополучно, и волна нас также вынесла далеко на сушу, на песочный берег [Биография 2012: 217–218].

Однако когда друзьям удалось добраться из Сорренто до Капри, они были вознаграждены и природой, и встречей с друзьями — немецким поэтом и художником Германом Аллмерсом (Hermann Allmers; 1821–1902) и естествоиспытателем-дарвинистом Эрнстом Геккелем (Ernst Heinrich Philipp August Haeckel; 1834–1919). Они составили дружескую компанию и прекрасно проводили время на острове, который тогда еще не был местом нашествия туристов:

> Местности, равной по своей поэзии с Капри, я в Италии не видал больше. В Капри мы встретили прежних знакомых, немецкого энтузиаста, писателя Алмерса и доктора Гекеля, который ежедневно возился с морской водой, где искал всевозможных маленьких жителей и даже таких мельчайших, которые он рассматривал под микроскопом; но главное наше занятие во время пребывания на Капри состояло в том, что мы предпринимали разные экскурсии вчетвером и рисовали все, кто карандашом, кто акварелью. Так как остров

[151] Амальфи — небольшой город на юге Италии, на одноименном побережье Тирренского моря.

[152] Сорренто — город на гористом полуострове в Неаполитанском заливе в Тирренском море.

[153] Позитано — небольшой город на побережье Амальфи.

> этот чрезвычайно дик и скалист, то посетителей здесь бывает очень мало, и мы там жили положительно как в дикой стране, особенно Алмерс отличался особенным костюмом. Начиная сверху — у него была соломенная шляпа в форме Меркурия, только без крыльев, он купил ее за 5 гранов, т.е. приблизительно 5 коп. Рубашка обыкновенная была, кажется ночная, грудь открытая, и к рубашке привязано полотенце, чтобы им воспользоваться в то время, когда выступит пот на лицо, так утирать его, панталоны клетчатые, с заплаткой, башмаки подкованы, на них были каблуки сзади и спереди, так что каждый шаг производил ужасно неприятный скрип, так что я неоднократно замечал у Алмерса отсутствие всякого музыкального слуха, но все-таки ничто не портило здесь наше экзальтированное настроение [Биография 2012: 218–219].

Только в одном друзьям не повезло: «Мы не могли в Капри наслаждаться местным вином, знаменитым вином де Капри, потому что в то время была болезнь виноградников, и так как в то время не умели бороться с этой болезнию, то тогда все виноградники и погибли» [Биография 2012: 219].

Келер описывает и забавные приключения с немецкой любительницей искусства некой фрейлейн Синкстак, «старой девой из Бремена» (как ее безжалостно аттестует рассказчик), которая так надоела компании, что друзья буквально бежали от нее в Сорренто на рыбачьей лодке.

После шести недель, проведенных в Сорренто (где художник писал свои первые пейзажи), Келер вернулся в Рим. Здесь его ждала приятная новость:

> Вернувшись опять в Рим, из Сорренто, я получил из Петербурга от Общества поощрения художников, через Федора Федоровича Львова[154], уведомление, что они назначили меня пансионером общества (тогда я получил на два года только по 300 рубл<ей> от них), но главная польза для меня в этом была та, что общество обещало купить все мои произведения, только небольшие. Но, к сожалению, я не мог много

[154] Ф.Ф. Львов (1819–1895) — секретарь Общества поощрения художников, конференц-секретарь Академии художеств в 1859–1865 гг., впоследствии директор Строгановского училища технического рисования в Москве. Он помогал Келеру еще в бытность его студентом Академии.

> воспользоваться этим обещанием, потому что не чувствовал достаточно энергии, чтобы сделать что-нибудь серьезное, а слишком легкие предметы я не хотел посылать в Петербург [Биография 2012: 220].

Требовательность и принципиальность, с какими Келер подходил к своему искусству, часто лишали его материальных выгод (еще об одном подобном случае см. ниже). И все же в Риме он много работал, именно здесь, можно сказать, завершилось его профессиональное становление как художника. В Петербурге он занимался исторической и портретной живописью, в Италии стал писать пейзажи и овладел акварельной техникой.

Акварели стали поводом для новой встречи художника с его царственной покровительницей, когда-то поддержавшей студента Келера. Он отмечает с удовлетворением, что Мария Николаевна купила несколько его акварелей. Доброе расположение президента Академии художеств дало Келеру смелость просить о пересмотре дела с золотой медалью, что могло бы сделать его (хотя и задним числом) пенсионером Академии и дать хорошую стипендию (300 червонцев, или около 3 тыс. рублей в год). Толчком для такого необычного шага послужила его картина «Распятие», которая понравилась Марии Николаевне. Как рассказывает Келер:

> После этого в<еликая> к<няги>ня посещала мою мастерскую на Вио-Маргут[155], она очень интересовалась всем, что я ей показывал. Сидела она на низенькой скамейке, перед мольбертом, осмотрела все эскизы и видела оконченное «Распятие». Я попросил ее поправить дело о медали, то в<еликая> к<нягиня> и советовала мне послать «Распятие» в Петербург в Академию, на золотую медаль[156]. Но я отве-

[155] Via Margutta — улица в Риме недалеко Испанской площади.

[156] О посещении великой княгиней Марией Николаевной его мастерской, об их беседах и о добром отношении к нему президента Академии художеств Келер пишет и в письме к Н. Грот от 21 апреля (3 мая) 1859 г. [Письма 1972: 32]. Там же он подчеркивает, что завел разговор о несправедливом распределении медалей не столько ради себя, сколько для будущих студентов, и выражал надежду на то, что президент сможет поправить дело. В письме к Н. Грот из Рима 19 (31) декабря 1860 г. художник вновь возвращается к визиту великой княгини в его мастерскую, выражая опасения, что, поскольку был очень утомлен, произвел на нее неблагоприятное впечатление. Келер даже просит корреспондентку разузнать у доктора Гартмана, не слышал ли он каких-то отзывов о нем [Письма 1972: 34].

чал, что так как «Распятие» хотя и написано, но правила конкурса не были мною приняты, то поэтому я считаю не вправе послать его на выставку, но только желал бы, чтобы Академия была справедлива за прежние работы мои, которые окончены по всем строгим правилам Академии; но прошение все-таки было представлено Академии, но совет отклонил его снова. Итак, моя личная гордость отняла у меня очень нужные средства для поправления здоровья и занятий художественных [Биография 2012: 214–215].

Прямолинейный и независимый художник не пожелал идти против правил. Не захотел Келер воспользоваться и другой возможностью — продать «Распятие», хотя имел покупателя. Но за эту жертву он был вознагражден: он послал картину в Петербург и в 1861 г. был удостоен звания академика Императорской Академии художеств.

Описывая свои встречи с Марией Николаевной в Риме, Келер не скрывает своей плебейской неловкости и комплексов, когда дело касалось светского общения. Когда затрагивались вопросы искусства, он не боялся спорить и возражать президенту Академии художеств, но простая встреча на улице могла поставить его в тупик:

Несколько времени позже я в раздумье, смотря вниз, шел по Вио-Кватро-Фонтане[157]. Вдруг слышу: «Куда вы, любезный?» — я поднял глаза, и рядом со мной оказалась сидящая в карете в<еликая> к<нягиня>. От этого неожиданного вопроса я сконфузился, смотрел на соседку в<еликой> к<няги>ни (с ней вместе была фрейлина). в<еликая> к<няги>ня засмеялась — «Не знаете ли вы, где живет Корнелиус», — спросила в<еликая> к<няги>ня. Я говорю, что не знаю, и удалился, оставив ее тут, где она меня остановила. После я вспомнил, что знал адрес Корнелиуса, но в ту минуту, как меня об этом спрашивали, я положительно ничего не мог сообразить, так растерялся [Биография 2012: 215].

Подводя итоги пребывания в Риме, Келер останавливается на истории нескольких своих картин, не без удовольствия замечает, что многие из них были потом куплены членами императорской фамилии.

[157] Via Quatro Fontane — улица Четырех фонтанов.

Итак, скромный «классный художник»[158], ездивший за границу на свои деньги, вернулся в Петербург академиком, уже обратившим на себя внимание двора. Вскоре по возвращении Келер становится преподавателем Академии, а также учителем рисования царской дочери. Пройдет еще немного времени, и он станет известным и даже модным художником, в 1867 г. получит звание профессора (за портрет канцлера А.М. Горчакова), будет выставляться на всемирной выставке в Париже. Но до конца жизни Келер сохранил те качества, которые в молодости позволили вчерашнему «мужику» превзойти лифляндского дворянина в знании итальянского языка, свободно чувствовать себя в Европе, восхищаться красотой, но и отпускать иронические замечания там, где что-то возбуждало в нем критику. Словом, И.П. Келер-Вилианди, повторяя его собственное выражение, не был «так прост». Со страниц его автобиографии предстает тот Келер, которого ректор Академии художеств Ф.И. Иордан как-то в шутку назвал «строптивой чухной».

Остался он верен и тому чувству, которое охватило его, когда по возвращении из Италии он посетил родные края и приехал в Таллин:

…тут я пошел на рынок, где много было приезжих мужиков и баб, но вид этого угнетенного народа произвел на меня весьма грустное впечатление. Видел я много в Италии людей в лохмотьях, но они мне все-таки казались людьми, они даже отчасти с известной гордостию протягивали руку и требовали помощи. Но здесь руку не протягивали, но общий склад был невероятно грустный. Впечатление было до того грустно, что я, вышедши за город, плакал, как дитя. Думал я: «Возможно ли довести народ до такой степени!» И потом стал придумывать, каким бы образом я мог бы что-нибудь сделать для народа, чтобы вывести его к лучшей жизни [Биография 2012: 225].

[158] Т.е. имеющий чин 14-го класса.

Глава 3
ЛИФЛЯНДИЯ РУССКИМИ ГЛАЗАМИ

Как известно, вопрос о том, какие территории, находящиеся в Европе, считаются или воспринимаются как «европейские», а какие — нет, и почему так происходит, кем и каким образом формируется этот взгляд и меняется ли он с течением времени, — достаточно сложен. Он выходит далеко за пределы географии в привычном смысле слова и является предметом политики и идеологии, т.е. принадлежит к ведомству географии «идеологической», к ментальной картографии (mental mapping) и пр. С географической точки зрения Российская империя принадлежала двум континентам, причем ее европейская часть (включавшая в поздний период существования империи 44 губернии и две автономные области — Великое княжество Финляндское и царство Польское) составляла две трети всего европейского континента. Однако с точки зрения «идеологической географии» дело обстояло несколько иначе.

Когда Петр I во время Северной войны упорно добивался присоединения балтийского побережья к своей стране, которая с 1721 г., одновременно с заключением Ништадтского мира, стала называться Российской империей, он заботился не только о приобретении выхода к морю и удобных, уже обустроенных портов (Риги, Ревеля). Он стремился включить в ее состав «европейские провинции». Европейские в смысле порядка, бытового уклада и образа жизни. Петр, желавший сделать из своей страны, которую считал отсталой и варварской (по духу — азиатской), европейскую державу, хотел превратить присоединенный к ней Остзейский край в образец для внутренних губерний России и менее всего стремился «обрусить» эти «европейские провинции».

За двести лет существования империи менялись ее границы и правительственный курс, в том числе дошло дело и до русификации. Однако в сознании россиян, которые проезжали через Эстляндию и Лифляндию или оказывались здесь по долгу службы или на отдыхе, этот край оставался «своей заграницей» или «русской заграницей», как назвал в начале XX в. свои путевые очерки об Эстонии Д.Н. Мамин-Сибиряк.

В этой главе мы хотели бы проследить, как рефлектировались русскими подданными из внутренних губерний Российской империи такие понятия, как балтийское «приграничье / пограничье», что понималось

под «европейскими провинциями» и пр., как они воспринимали местные особенности и населяющие прибалтийский край народы. Именно поэтому основным материалом для исследования будут путевые записки, роман-путешествие и другие тексты, которые относят к сложному жанру травелогов, а также путеводители, которые стали издаваться с 1820-х гг.

Особый взгляд был присущ тем россиянам (не обязательно этническим русским), которые жили здесь в течение более длительного времени (например, учились или преподавали в Тартуском университете или оказывались здесь в силу иных личных обстоятельств). Тарту как европейский «центр на периферии» является одним из главных героев этой главы. Языковая и культурная местная специфика будет обсуждаться такими разными людьми, как Н.М. Карамзин, Н.М. Языков, Ф.В. Булгарин, сводная племянница Жуковского Мария Андреевна Протасова-Мойер и великий лингвист Бодуэн де Куртене.

3.1. Европейские провинции империи. Переход через «русскую» границу

Дискуссия о том, является ли Россия европейским государством, со времен Петра I и Екатерины II, постулировавшей этот тезис в своем «Наказе», не прекращается и до сего дня.

Обобщенный взгляд (Россия в целом) перемежается более детализированным: какие именно регионы или города российской части Европы могут причисляться к *европейским*, а какие — нет. Вопрос решается в каждом отдельном случае с большим напряжением. Немало было сломано копий на предмет того, может ли Москва, с ее «азиатской роскошью», беспорядочностью и прочими особенностями, претендовать на звание европейского города. Казалось бы, о Петербурге — Северной Венеции — вопросов быть не может, но послушаем известного французского путешественника и автора знаменитой книги «Россия в 1839 году» маркиза Астольфа де Кюстина, решительно отказавшего этому городу в статусе европейского: «Здесь (в Петербурге. — *Л.К.*) очень легко обмануться видимостью цивилизации. <...> обычно первым следствием цивилизации является облегчение условий существования; здесь, напротив, условия эти тяжелы» [Кюстин 2008: 138]. Русские лишь имеют «притязания казаться такими же, как мы», т.е. европейцами [Там же]. В вопросе о принадлежности Европейской России к Европе Кюстин безапелляционен и игнорирует законы географии: «На что бы ни притяза-

ли русские после Петра Великого, за Вислой начинается Сибирь» [Там же: 159].

Разумеется, здесь мы имеем дело с крайней позицией, хотя к Кюстину, как всегда, следует прислушаться, ибо он далеко не одинок, и внимание к «материальным условиям жизни» и в путеводителях будет рассматриваться как решающий признак «европейскости». Пока же заметим, что даже те наблюдатели, в том числе и русские, которые безусловно считали Петербург европейским городом (и даже единственным европейским среди русских городов или же вовсе «нерусским»), призадумались бы причислять к *европейским* города Петербургской губернии — скажем, Гдов, Лугу или Ямбург.

Однако имелись регионы Российской империи, которые всеми воспринимались как *европейские* — в первую очередь, это как раз остзейские провинции, или три прибалтийские губернии: Эстляндская, Лифляндская и Курляндская. Само наименование «остзейские» указывало на то, что было дано не из российской перспективы, и это обстоятельство неоднократно подчеркивалось в России с нескрываемым неудовольствием. Например, А.Ф. Риттих, составитель «Материалов для этнографии России», писал об этом названии как о «географической неверности», считая, что прибалтийские немцы, в крайнем случае, должны называться «вестзейцы» [Риттих 1875: 28]. Тем не менее особый статус прибалтийских губерний, а также Великого княжества Финляндского и царства Польского был утвержден российским законодательством[159], и они воспринимались и экспонировались как «другие», как «русская заграница».

Русский путешественник, ехавший из Петербурга в Европу сухим путем, до 1795 г. пересекал государственную границу южнее Риги, и первым заграничным городом для него оказывалась Митава (нынешняя Елгава). Затем граница сдвинулась, и надолго этим городом стал прусский Кенигсберг. Однако сами путешественники единодушно воспринимали Нарву как «чужой» город. Упомянутый выше Д.Н. Мамин-Сибиряк формулирует это ощущение достаточно жестко: «Мы очутились на территории древней Ливонии <…> и сейчас все здесь остается для нас чужим, что чувствуется на каждом шагу. Одним словом, мы переехали русскую границу… Характер местности мало изменился, но совершенно другие лица, другой тип построек и даже как будто другой воздух» [Антология 2001: 485]. Замечание о «воздухе» особенно знаменательно. Конечно, имеется в виду «дух», знаменитый *Geist*, который со времен Гердера и романтизма стал основным признаком национальной идентичности (в самом широком смысле этого слова).

[159] Мы не рассматриваем сейчас изменений, производившихся в этом законодательстве российскими правителями XIX — начала XX в.

Формально никакой границы, конечно, не существовало, однако и в начале XX в. переезд через реку Нарову продолжал осознаваться как вступление в чужое пространство. Тема эта была задана уже в конце XVIII в. эталонным для русской культуры путешествий текстом Н.М. Карамзина «Письма русского путешественника». С Карамзиным тем или иным образом вступали во взаимодействие все, кто затем обращался к описанию прибалтийских провинций в русской литературе.

Он формулирует проблему гораздо лаконичнее и тоньше, чем Мамин-Сибиряк: «Немецкая часть Нарвы, или собственно так называемая Нарва <…> другая <…> называется Иван-город. В первой все на Немецкую стать, а в другой все на Рус<с>кую. Тут была прежде наша граница — о Петр, Петр!» [Карамзин 1984: 9]. Тема Петра также будет неизменно актуализироваться при обращении к ливонской теме, однако сейчас важнее, как разворачивается у Карамзина мотив пересечения границы, только намеченный в приведенном отрывке.

Буквально на следующей странице карамзинский путешественник, стремящийся в Европу, объясняет свои ощущения «инаковости» пространства в сентиментальном ключе — разлукой с друзьями: «Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался» [Карамзин 1984: 10]. Однако почти сразу же наступает кульминация, что связано с пересечением «настоящей», т.е. государственной, границы:

> Мы въехали в Курляндию — и мысль, что я уже вне отечества, произвела в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! Вот первый иностранный город, думал я — и глаза мои искали чего нибудь отменного, нового [Карамзин 1984: 10–11][160].

[160] Интересно проследить, как с ходом истории западная граница империи постепенно отодвигается и как роль «первого иностранного города», как эстафета, передается все дальше.

Таким образом, троекратным обращением к мотиву границы на малом текстовом пространстве Карамзин и задает взгляд на Эстляндию и Лифляндию как на «нашу заграницу» — чужую / свою или свою / чужую территорию. Как показывает его краткий очерк этих мест, карамзинский путешественник лишь маскируется под поверхностного наблюдателя, смотрящего на мир из окна кареты (характерно, что этот прием не будет распознан и станет потом объектом полемики Ф. Булгарина[161]). Русский путешественник смог «разглядеть» конфликт, который станет неизбежным атрибутом описаний балтийских земель: конфликт между остзейским дворянством и коренным населением края. Карамзин, по сути, заложил традицию положительного описания эстонских крестьян.

Повествование у Карамзина организуется как столкновение двух точек зрения: «местной» (немецкой), которая оказывается чуждой путешественнику, и другой — как будто бы отстраненной позиции внешнего наблюдателя, которая и оказывается истинной.

Первый тезис в этом своеобразном диалоге позиций вновь отсылает читателя к сентиментальному дискурсу, а также к собственно карамзинской логике реформатора языка: «Я заметил, что они (эстонцы. — *Л.К.*) все Немецкия слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что **слух их нежен**». (Здесь и далее выделено нами.)

Далее ход рассуждения переносится в иную плоскость: «…но видя их (эстонцев. — *Л.К.*) непроворство, неловкость и недогадливость, всякой должен думать, что они, просто сказать, глуповаты».

Однако конфликт между двумя частями утверждения тут же снимается новым конфликтом:

> Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность, и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и мужики в Лифляндии, или в Эстляндии, приносят господину вчетверо более нашего Казанского или Симбирского. Сии бедные люди, *работающие господеви со страхом и трепетом* во все будничные дни, за то уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма не много по их Календарю [Карамзин 1984: 9].

[161] Ср. у Карамзина: «Что касается до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин» [Карамзин 1984: 9] и булгаринский ответ Карамзину: «Кто знает Лифляндию только по большой почтовой дороге из Нарвы в Ригу, тот не имеет ни малейшего понятия об этой стране. Странно, что большая почтовая дорога будто нарочно проходит чрез самые бесплодные и скучные места, которые несколько оживляются только в окрестностях Дерпта и Вольмера. Верста в сторону — и виды бесподобные! Вы знаете, друзья, что Лифляндия имеет свою Швейцарию, так как Саксония имеет свою. — Саксонская Швейцария величественнее, потому что усеяна гранитными скалами; но Лифляндская Швейцария милее» [Булгарин 1839: 5].

Карамзин в свойственной ему стилистической манере не акцентирует внутреннего противоречия своих положений, обрывает рассуждения и уводит все в подтекст. Однако единство авторской позиции очевидно, хотя подобный дискурс и требует от читателя напряженного внимания. Для автора это принципиально: сложным образом организованное повествование вполне соответствует сложности описываемого им объекта. Недаром все содержащиеся у Карамзина мотивы, в том числе скрытые (пьянство эстонцев — «без памяти веселятся»), разворачиваются впоследствии другими авторами, независимо от того, соотносили ли они прямо свой текст с карамзинским или же нет.

Итак, со времен «Писем русского путешественника» эстляндско-лифляндская тема всегда будет включена в русской литературе в проблему «Россия — Европа». Для Карамзина «Европа» поставлена под сомнение — господа эксплуатируют местное население еще более жестоко, чем русские помещики своих крестьян. Более того, по предположению Ю.М. Лотмана, русские либералы уже в конце XVIII в.[162] видели «здесь **модель рабства в чистом виде**: разноплеменность прибалтийского “рыцарства” и крестьян — эстонцев и латышей, с одной стороны, и эффективность использования рабского труда, с другой, являли собой как бы модель крепостничества как такового» [Лотман 1987: 53–54].

Карамзин не останавливается на различиях между губерниями и населяющими их коренными народами — эстонцами и латышами, что станет одной из основных тем в описании прибалтийских провинций. Характерно, что само это различие не всегда и не сразу осознавалось, поскольку провинции воспринимались как «немецкие». Однако различия существовали и вскоре стали объектом внимания.

[162] Ю.М. Лотман полагал, что позиция Карамзина могла быть отчасти обусловлена его контактами с кругом А.Н. Радищева — А.Р. Воронцова, т.е. со средой передовых петербургских чиновников, внимательно следившей за положением крестьян в остзейских губерниях [Лотман 1987: 53–54].

3.2. Лифляндия и ее народы в описании русских путешественников (позиция Ф.В. Булгарина)

Административное деление на три губернии не было русским изобретением и закрепилось со времен шведского владычества[163]. По условиям Ништадтского мира были сохранены не только вероисповедание, система образования и особые привилегии (как дворянские, так и недворянские — цеховые, городские, бюргерские и пр.), но также и исторически сложившееся административное деление. В результате закрепилась довольно обычная ситуация, когда административная граница не являлась оптимальной с экономической точки зрения (Эстляндия была меньше и беднее) и тем более не учитывала национального состава населения. Эстонцы оказались разделены между двумя губерниями, из которых собственно эстонской могла быть названа Эстляндия, т.к. в ней эстонцы составляли большинство населения. В Лифляндии этнический состав был наиболее пестрым, причем латыши и эстонцы были представлены примерно в одинаковой пропорции, с некоторым преимуществом латышей (соответственно 42% и 39%). Латыши, в свою очередь, также были разделены между двумя губерниями — Лифляндской и Курляндской (тоже более маленькой, но зато с большинством латышского населения). Разумеется, об этнических проблемах при делении думали менее всего: хозяевами всех трех балтийских губерний оставались местные немцы, а кто выполнял на принадлежавшей им земле повинности, для правительства не имело принципиального значения. Это отразилось и в общем названии «Ливония» или «остзейские провинции».

Однако любая граница, возникнув, начинает осмысляться. Мы рассмотрим случаи такого осмысления разными авторами конца XVIII — начала XIX в. Сосредоточимся мы на «этнической границе», хотя большинство интересующих нас авторов дают сравнительную характеристику трех губерний с самых разных точек зрения — природно-климатической, исторической, экономической и этнографической — фиксируя свое внимание как на чертах сходства, так и на различиях между ними.

Одним из самых пристальных наблюдателей местной жизни был Фаддей Булгарин (Jan Tadeusz Krzysztof Bułharyn; 1789–1859) — человек сложной и в своем роде захватывающей биографии. Этнический поляк, родившийся в период разделов Польши, он силою обстоятельств оказался российским подданным, окончил кадетский корпус в Петербурге, в составе русской армии сражался с французами, был ранен под Фридландом и награжден российским орденом Св. Анны 3-й степени. Затем участвовал в войне России со Швецией, вышел в отставку, переехал в Варшаву и вступил в наполеоновскую армию, в польский легион, воевал в Испании и в России, заслужил орден Почетного легиона, в 1814 г. попал в плен и вновь оказался в России[164], где начал карьеру профессионального журналиста, издателя и писателя. Как литератор вошел в лучший и передовой круг русских писателей, будущих декабристов, что оказалось опасным свидетельством его «неблагонадежности» после подавления восстания 14 декабря 1825 г. Он связал свою судьбу с Третьим отделением, т.е. с политической полицией, которой в течение многих лет поставлял агентурные записки [Видок 1998] (где, к слову сказать, есть немало ценных сведений и о настроениях в Прибалтийском крае), и это сотрудничество навсегда испортило репутацию Булгарина в русском обществе.

В 1828 г. Булгарин купил под Тарту имение Карлово, где ежегодно проводил немало времени, а под конец жизни жил постоянно. По разным причинам он немало ездил по прибалтийским землям, печатал корреспонденции в своей газете «Северная пчела», некоторые из них объединил потом в «Прогулку по Ливонии» и в «Летнюю прогулку по Финляндии и Швеции, в 1838 году».

Как замечал Ф. Булгарин, «у нас, в России, почти всегда смешивают три остзейские губернии, потому что в них образованное сословие — немцы. Но эти три губернии разнятся между собою не только климатом и почвою, но даже нравами, обычаями жителей и законами» [Булгарин 1839: 6]. Далее он дает сравнительную характеристику трех губерний. Курляндия у него самая плодородная и богатая, в Лифляндии «почва не так хороша, как в Курляндии, но при удобрении плодородна» [Там же]. Самая суровая — Эстляндия, но сельское хозяйство и здесь процветает. Заслугу победы цивилизации над природой проницательный наблюдатель приписывает «постоянству, трудолюбию и экономическим познаниям эстляндских помещиков» [Булгарин 1839: 8]. На это последнее замечание обратим особое внимание.

Граница между Эстляндией и Лифляндией отмечается Булгариным в первую очередь по живописности пейзажей. Лифляндии отдано здесь безоговорочное предпочтение. Он упоминает о «Лифляндской Швейцарии», которая, по его мнению, хотя и менее величественна, чем Саксонская Швейцария, но зато милее. Разница между Лифляндией и ее

[163] Оно было установлено достаточно случайно в результате многочисленных мирных договоров, заключенных в XVI–XVII вв. между Швецией, Польшей, Данией, Россией (в разных комбинациях).

[164] Воевавшие против России в эпоху Наполеоновских войн российские подданные получили полную амнистию от императора Александра I.

северной соседкой тоже подчеркнута: «По дороге из Дерпта в Ревель, до самой эстляндской границы, виды прекрасные» [Булгарин 1839: 5].

Другой аспект, выделенный Булгариным, — этнические или же национально-культурные особенности коренного населения — эстонцев и латышей. Любопытно, что Булгарин и здесь подчеркивает границу между двумя губерниями: «…поселяне в Эстляндии лучше живут и чище одеваются, чем их родичи в Лифляндских округах» [Булгарин 1839: 8]. Авторский комментарий к этому утверждению заслуживает внимания:

> …но все-таки жилище эстляндского крестьянина, в отношении к чистоте и удобству, на один только шаг от шалашей дикарей Америки. <…> Зато господские усадьбы, или мызы, хорошо обстроены и содержатся в чистоте и порядке, а поля, особенно господские, превосходно возделаны. Удивительно, как в течение стольких веков эсты не переняли у немцев чистоты и порядка! [Булгарин 1839: 8–9][165].

Как мы видим, для Булгарина носителями цивилизации в крае однозначно являются остзейские немцы, местные же народы различаются между собой главным образом по способности и степени подражания немцам. И далее начинается тема, присущая всем сочинениям Булгарина о Балтии: противопоставление эстонцев латышам, которые, по его замечанию, «давно уже отреклись от той дикости, которая составляет главную черту характера эстонцев» [Булгарин 1839: 9].

Булгарин делает некоторые вежливые оговорки в адрес эстонцев: «Почти все путешественники осыпали эстонцев бранью и упреками. Я, напротив того, имею к ним уважение за твердость их характера, богобоязливость и за то, что они чувствуют достоинства человека» [Булгарин 1836: 384][166]. К сожалению, последующие достаточно иронические комментарии не подтверждают этих слов. Уже через несколько строк автор

[165] Это утверждение почти в точности повторяет выражение де Брэ (см. ниже), но сказанное в другой связи — в связи с тем, что немцы не смогли истребить древних обычаев местных народов.

[166] Многие «положительные» высказывания Булгарина об эстонцах были собраны в [Исаков 1960: 185–187] и породили целую легенду о том, что «он чуть ли не первый дал очень сочувственную и верную характеристику эстонцев, их хороших умственных способностей и внутреннего достоинства» [Салупере 2000: 147]. Подчеркнем, что эта статья замечательного специалиста по истории культуры Балтии Малле Салупере содержит множество ценных сведений, без учета которых дальнейшее изучение темы будет невозможно, хотя со многими ее трактовками данной проблемы согласиться трудно.

философски замечает: «Правда, надобно иметь много терпения с эстонцами: но человек, который ставит себя выше других умом (т.е., надо полагать, сам автор. — *Л.К.*), должен быть снисходительнее других к слабости и необразованности» [Булгарин 1836: 384–385]. Приведем выразительные фрагменты описания жилища эстонского крестьянина из «Прогулки по Ливонии» (1827–28):

> …огромное, четвероугольное, деревянное здание, прикрытое полусгнившею соломою, с закоптелыми отверстиями вместо окон <…> не дом, а сарай, где целое семейство помещается с лошадьми, коровами и мелким домашним скотом.

Затем следует описание его обитателей: «Растрепанные эстонские красавицы <…> полунагие ребятишки, род живых окороков, и угрюмые длинноволосые, худощавые взрослые мужчины» [Булгарин 1836: 380–381].

По обыкновению, объяснения такой ситуации у Булгарина довольно своеобразны, хотя, как мы постараемся показать ниже, не во всем оригинальны: «Не бедность и нужда заставляет эстонцев вести этот образ жизни. Сделаны были многие опыты, со стороны правительства и помещиков, чтобы заставить их жить в чистых домах, которые строили для них безденежно. Эстонцы почитали это насилием и просили оставить их в покое, при образе жизни их предков» [Булгарин 1836: 381–382]. У Булгарина эстонец груб, мстителен, упрям, неукротим, хотя грамотен (это результат деятельности шведов и немцев), «чувствителен к ласковому обхождению» [Булгарин 1836: 384], а также горд и «хочет жить так, как жили его предки» [Булгарин 1836: 571].

Латыши удостаиваются совершенно другого отношения. Булгарин не устает подчеркивать разницу между двумя народами: «На одной почве, в одном климате с эстонцами обитает другое племя, совершенно отличное в нравственном и физическом отношении. Латыши. Между латышем и эстонцем более разницы, нежели между русским и немцем, между французом и англичаниным, между италиянцем и испанцем» [Булгарин 1836: 471].

Уже первая встреча с латышскими крестьянами производит на Булгарина самое благоприятное впечатление, т.к. незнакомые крестьяне ему вежливо поклонились, сняв шляпу: «Не удостоившись никогда первого приветствия от эстонцев, я тотчас догадался, что это латыши» [Булгарин 1836: 472–473]. Далее это впечатление только углубилось: в латышской корчме был порядок и чистота, хозяйка-старушка была чисто одета, а ее дочь была прелестна, одета со вкусом и не растрепана, как эстонки — во-

лосы ее были заплетены в две косы. В отличие от еды эстонцев, которая описывалась с нескрываемой брезгливостью (плохой хлеб, бурда из молока, муки, овощей, мяса и селедки — см.: [Булгарин 1836: 381]), здесь автор встретил «свежее масло, вкусный и хорошо испеченный черный хлеб, домашний сыр, предложенный нам для завтрака в чистой посуде» [Булгарин 1836: 474]. Далее, описывая жилище латышского крестьянина, Булгарин сравнивает его с обиталищем эстонца: хотя и избы латышей топятся по-черному, но в них есть и светлая летняя половина. Скот содержится отдельно от людей. Автор признает, что пьянствуют оба народа, однако и тут он замечает разницу: «…хотя латыши любят водку, но употребляют ее с большею умеренностью, нежели эстонцы» [Булгарин 1836: 478]. По мнению Булгарина, «латыши живут лучше и опрятнее эстонцев, одеваются красивее и богаче», они «трудолюбивы, бережливы, сметливы в делах торговых» [Там же], похожи на немецких крестьян, особенно женщины, которые еще и рукодельницы и красавицы. Общий вывод насчет красоты таков: «Можно утвердительно сказать, что в отношении наружной красоты между латышами и эстонцами находится такая пропорция, как 1 к 10» [Там же: 479].

Что ж, о вкусах не спорят, и если бы дело заключалось в личных пристрастиях Ф.В. Булгарина, то вопрос можно было бы не рассматривать. Однако, во-первых, булгаринская точка зрения тиражировалась в «Северной пчеле» и, соответственно, хотя бы на уровне среднего читателя формировала мнение в России о балтийских землях. Во-вторых, такого рода сопоставления повторяются и у других авторов — как на уровне бытовых впечатлений (здесь напомним замечательные мемуары Н.И. Пирогова [Пирогов 1962]), так и ученых исследований (здесь укажем на выдающуюся книгу А.В. Хупеля «Топографические известия о Лифляндии и Эстляндии» (1774), во многом заложившую традицию описания балтийских земель и их обитателей в конце XVIII в. [Hupel 1774–1782]). Соответственно, проблема заключается не в личных впечатлениях или не только в них.

Булгарин Хупеля читал, но в своей «Прогулке по Ливонии» он с сочувствием упоминает о другом авторе — Гарлибе Меркеле. Из контекста становится понятно, что имеется в виду произведение «Древние времена Лифляндии», изданное в Берлине [Merkel 1798–99] (один раз — [Булгарин 1836: 497] — дается и прямая ссылка), хотя не исключено знакомство и с другим знаменитым сочинением Меркеля «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия» [Merkel 1797; Меркель 1870]. Не обходит Булгарин вниманием и еще одно сочинение — «Опыт критической истории Лифляндии с картиной нынешнего состояния сей области» (так

перевел заглавие этой книги А.А. Бестужев), или же «Критический очерк истории Ливонии» баварского посланника в России графа Ф.Г. де Бре [De Bray 1817][167]. Отрывок из последнего сочинения в переводе А. Бестужева был напечатан в [Сын отечества 1818] и был, конечно, прекрасно известен Булгарину (приятелю и переводчика, и издателя журнала Н. Греча), как и другая публикация — «О древних эстонцах» [Б.К. 1819][168].

Соприкосновение Булгарина с ярым борцом за освобождение крестьян, защитником прав угнетенных латышей и эстонцев Меркелем может показаться весьма неожиданным, однако характер использования как этого, так и остальных названных источников приводит к мысли, что ситуация далека от простоты и тем более простодушия.

Начнем с де Брэ, причем пока ограничимся только той частью, которая была опубликована в «Сыне отечества» (перевод Бестужева — весьма выборочный, он пропускает многие острые места оригинала, но исследование его переводческой стратегии сейчас не входит в нашу задачу). Этот текст, во всяком случае, был известен русской читающей публике. Однако с момента его выхода из печати (как и статьи «О древних эстонцах») до публикации «Прогулок по Ливонии» Булгарина пролегло целое десятилетие, многое забылось и могло быть подано заново в несколько ином контексте.

Противопоставление внешности, характера, образа жизни двух местных народов начинается с первых же строк статьи «О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян»: «Эстляндцы деятельнее и трудолюбивее латышей; но сии последние не столь грубы обычаями и вообще имеют вид более образованный; сама одежда латышей приятнее» [Сын отечества 1818: 241–242]. Ученый наблюдатель[169] сразу четко обозначает границу не между двумя губерниями — Эстляндией и Лифляндией, а между областями обитания эстонцев и латышей: «Путешественник легко узнает переход из одной области в другую по впечатлению, которое произведет в нем сие различие (в одежде. — *Л.К.*), и по наружности эстляндских (точнее

[167] Булгарин ссылается на де Брэ, но только в части, где касается истории Ливонии. В «Воспоминаниях» он рассказывает и о своем личном знакомстве с автором.

[168] Традиция приписывает авторство этой статьи В.К. Кюхельбекеру. См. об этом: [Исаков 1960: 144].

[169] На титуле оригинала книги де Брэ обозначено, что он является действительным членом Королевской Академии наук в Мюнхене, президентом Ботанического общества в Регенсбурге. Книга действительно написана со знанием дела; что касается этнографии, то автор пытается дать всестороннее описание нравов и обычаев местных народов, хотя и подчеркивает, что они стоят на низкой ступени цивилизации.

было бы перевести: эстонских. — *Л.К.*) жилищ, показывающих везде бедность и разрушение» [Сын отечества 1818: 242]. Еще более существенно различие во внешнем облике:

> Физиогномия латышей спокойна и важна, но вообще гораздо открытее и приятнее, нежели у эстляндцев, которые отращивают бороду и волосы, что придает им вид неопрятный и дикий; по лицу эстляндцев легко можно узнать, что они происходят от одного племени с многочисленным народом финским; наружность их приметно становится хуже по мере приближения жилищ к северу. — Латыши бреют бороды [Сын отечества 1818: 244–245].

Пишет де Брэ и о конфликтах между латышами и эстонцами, которые объясняет историческими причинами: «Латыши и эстляндцы доселе сохранили древнюю между собою вражду, и если она не обнаруживается явно, то сие должно приписать внимательным и твердым мерам правительства» [Сын отечества1818: 248].

Однако де Брэ не всегда склонен отдавать предпочтение латышам. Эстонские песни и танцы нравятся ему больше, чем латышские. Объединяет эти народы, по его мнению, верность древним обычаям, которых не смогли истребить немцы.

Довольно подробный этнографический очерк дополняется рассуждением автора о влиянии сурового климата, а также многовекового угнетения на особенности местных народов. Однако де Брэ тут же приводит контраргумент, которым широко пользовался еще Хупель[170], а затем постоянно эксплуатировал Булгарин[171], — сравнение с русскими крестьянами. В переводе Бестужева читаем:

[170] Близость рассуждения де Брэ с Хупелем наводит на мысль, что он просто реферирует некоторые пассажи из книги [Hupel 1781].

[171] Даже в заметке, которую справедливо считают вершиной булгаринского эстофильства, под заглавием «Несколько слов в защиту чуди белоглазой», где Булгарин призывает своего друга Греча «не презирать чухон», вспоминает о храбрости, трудолюбии, грамотности эстонцев, их любви к русским царям, их способности получить образование и выбиться в люди (приводя в качестве примера генералов Михельсона и Эриксона — как предполагалось, эстонцев по происхождению), наш автор все же не может обойтись без замечаний вроде: «Эстляндец не так проворен, как русский», «их нельзя сравнивать с московским простым народом» [Булгарин 1833: 749–751]. Постоянные оговорки, уточнения, не относящиеся к делу подробности, мелочные придирки (заметка представляет собой реплику на одно случайное замечание Греча) снижают, с нашей точки зрения, пафос «защиты чуди белоглазой».

> Русские крестьяне, коих положение ничем не лучше состояния латышей, живучи в климате столь же суровом и возделывая землю, покрытую в течение почти 8 месяцев снегами, веселы, откровенны, услужливы, деятельны и характером счастливы и любезны. <…> Рус<с>кого легко можно узнать по откровенной его физиономии и по написанному на лице его добродушию, которому редко противоречат его мысли и деяния. <…> Один русский в день наработает больше, нежели четверо латышей или эстляндцев [Сын отечества 1818: 245–247].

Однако де Брэ далек от мысли объяснять это различие лишь этническими особенностями. Он видит в национальном характере отражение национального самосознания, которое формируется исторической ситуацией: «Руской знает, что нация его могущественна, что она обладает двадцатью другими народами, и от того весьма чувствует преимущество свое над ними» [Сын отечества 1818: 247].

Итак, для де Брэ первичны исторические и политические причины, поэтому угнетенное положение (не только социальное, как у русских крестьян, но и национальное — рабство по отношению к немцам-завоевателям) имеет у него первостепенное значение для объяснения характера латышей и эстонцев.

Еще более решителен автор статьи «О древних эстонцах», чье сочинение носит следы сочувственного восприятия идей Г. Меркеля. «Вера древних эстонцев, — пишет молодой путешественник, — свидетельствует нам о народе, любившем одну независимость; вечное унижение, страх победителей лишили оный всякой другой отличительной черты» [Б.К. 1819: 127]. Основное место в статье уделено описанию свадебных и погребальных обрядов, однако в конце дается объяснение варварскому состоянию народа; оно очень красноречиво и говорит само за себя: «Домашний образ жизни, одеяние, пища, удовольствия эстонцев — все носило на себе характер грубого непросвещения и тяжкого ига. Неопрятный, ленивый, нерадивый к своим занятиям, дикий эстонец мало заботился о будущем, потому что оно не обещало ему никакого облегчения в горестной участи» [Б.К. 1819: 224]. Неизменность национального характера, привязанность к древним суевериям и грубым обычаям однозначно объясняются многовековым игом. Причем автор замечает, что и русские в древности участвовали в мучениях эстонцев: князь Ярослав (т.е. Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского) был призван эстонцами на помощь в борьбе против рыцарей, но вместо этого убивал и грабил жителей Вильяндимаа — Феллинской области [см.: Б.К. 1819: 125].

Таким образом, к моменту написания «Прогулки по Ливонии» уже сложилась традиция как описания характера местных народов и противопоставления их друг другу, так и объяснения этих явлений. Традиция эта фиксировала варварское состояние обоих народов (несмотря на наличие некоторых различий между ними) и объясняла его главным образом угнетенным и униженным положением эстонцев и латышей. Булгарину необходимо было вписать себя в эту традицию и высказать собственные предпочтения. Тем важнее факт использования им сочинений Меркеля.

Книгой Меркеля «Древние времена Лифляндии» Булгарин пользовался весьма активно. Вся историческая часть «Прогулки по Ливонии», там, где она не переписана с «Критического очерка истории Ливонии» де Брэ, перефразирована из Меркеля, но не только историческая[172]. Однако интересно не это — подобное использование чужого труда не было редкостью, особенно в литературе путешествий, и свойственно не одному Булгарину. Важен характер взаимодействия с «Древними временами Лифляндии». Мы коснемся сейчас только интересующего нас аспекта — того, как изображается двумя авторами характер латышей и эстонцев.

Книга Меркеля ярко концептуальна, имеет выраженную социально-политическую и протестную направленность. Уже заглавие снабжено выразительным ироническим подзаголовком: «Памятник поповскому и рыцарскому духу». Весь смысл сочинения — в разоблачении коварства завоевателей восточных балтийских земель, которые действовали с помощью насилия и обмана, используя и религию в качестве оружия порабощения. Протест против рабства и унижения, в которые захватчики-немцы ввергли когда-то свободные народы, — главный пафос Меркеля. В рассуждениях о национальном характере он стремится показать развращающее воздействие рабства на человеческую душу и характер, поэтому он сопоставляет характер народа, каким он был в свободном состоянии, с его современным обликом.

В первой книге, хотя она и названа «Латыши» [Merkel 1797], Меркель дает социальный портрет угнетенного жителя Лифляндии, не делая особой разницы между латышами и эстонцами. Во второй книге [Merkel 1798–1799; Merkel 1909] он последовательно со- и противопоставляет два народа, отдавая полное предпочтение эстонцам. Фактически книга — это настоящий гимн национальному характеру эстонцев.

Меркель с восхищением пишет об их сопротивлении захватчикам в XIII в., постоянном противостоянии господам в настоящем, отстаивании чувства собственного достоинства, что дает основания и для оптимистических прогнозов на будущее:

[172] Истории Ливонии в изложении Булгарина посвящена наша работа [Киселева 2006].

> Они дольше и мужественнее всего сопротивлялись немцам и, возможно, они бы и вовсе прогнали немцев из Ливонии, если бы латыши, их старинные кровные враги, не стали с ними воевать, а датчане, шведы и русские не ударили им в спину. Они вынуждены были сдаться, столкнувшись со столькими врагами. На них надели то же ярмо, которое гнетет их соседей; в некоторых местах они находятся еще в худшем положении, чем те, но их энергичный характер поднимает их гораздо выше латышей, и последние, как и немцы, до сих пор боятся их. Там, где латыш напивается допьяна, эстонец хладнокровно и разумно обсуждает средства к мести, где латыш дрожит, там эстонец угрожает[173]. Когда придет час отмщения за бесконечную несправедливость и угнетение, которые немцы творили в Ливонии, то, безусловно, эстонец первым поднимется на борьбу и отомстит самым опустошительным образом [Merkel 1909: 14–15].

Странно было бы подозревать Меркеля в антипатии к латышам, но поскольку его повествование подчинено одной идее — необходимости сопротивления угнетению, то все факторы, мешающие этому, вызывают его порицание. Именно в этом контексте следует читать горькие строки о национальном характере латышей:

> Обманутые хитростью монахов, латыши сначала почти добровольно согнули свою шею под ярмо, а когда почувствовали гнет тяжелой рукавицы рыцарей и встали на ноги, чтобы порвать узду, которой их удерживали, то было достаточно одной неудачной попытки, чтобы навсегда лишить их храбрости. Слишком мягкие для того, чтобы мощно сопротивляться иду-

[173] «Вот пример из каждодневного быта: высокомерный помещик заставляет латыша, везущего тяжелый воз, уступить дорогу его маленьким санкам и заехать для этого в глубокий сугроб, но эстонцу разрешает спокойно следовать своей дорогой, поскольку бывало частенько, что эстонец учил немца порядку и вежливости с помощью дуги, и такой способ обучения благородному помещику был очень даже понятен. Один помещик, г-н фон Т.А., позволил себе однажды шутку, проезжая мимо возов эстонских крестьян, огреть каждого кнутом, как он сотни раз делал по отношению к латышам. Но он быстро опомнился и спохватился, когда увидел гонящегося за собой эстонца с кнутом. Только горячий конь спас его. — Другого помещика, который не хотел уступать дорогу, поймали, напихали ему в штаны снегу и так отпустили восвояси. Он оказался достаточно благоразумным, чтобы не жаловаться и не выставлять себя в смешном свете» (Примечание Меркеля. — *Л.К.*).

щим извне притеснениям, слишком боязливые, чтобы отвечать прямолинейным упрямством на насилие, они позволили вогнать себя в состояние тупости и вялости. У латышей нет больше силы, осталась только крепость — не та, которая придает человеку деятельности, а та, которая позволяет ему многое вытерпеть. Их характер — игрушка помещиков: латыш либо выказывает расположение к добродетели, либо повергается в подлость в зависимости от того, кто им управляет, является его хозяин человечным или жестоким [Merkel 1909: 123].

Меркель совсем не скрывает недостатков эстонцев: они скрытны, упрямы, жестоки, мстительны, склонны к пьянству и воровству. Однако для него это лучшее доказательство исконной добродетели, исковерканной насилием и угнетением: «Под гнетом даже самые высокие дарования превращаются в недостатки. О добродетелях, которые когда-то украшали рабов в их свободном состоянии, можно судить по их нынешним порокам, и только глупец может поставить им это в вину» [Merkel 1909: 124]. Поэтому мужество и стойкость эстонцев превращаются в жестокость и упрямство, а природная мягкость и нежность латышей — в податливость и утрату чувства собственного достоинства. Виновники такой губительной трансформации — господа, их Меркель обвиняет страстно и бескомпромиссно.

Вошедшее в поговорку упрямство эстонца, которому Булгарин потом посвятит немало иронических комментариев, Меркель также объясняет их постоянным и неуклонным сопротивлением насилию и органическим недоверием к господам, даже если те предлагают нечто по-видимому полезное и выгодное:

> Вы будете бесполезно расточать перед ним просьбы и угрозы оставить задуманный им план, бессмысленны все уговоры и аргументы, чтобы заставить его отказаться от ложного убеждения. Он ничего не ответит, будет спокойно и тупо слушать, что ему будут говорить. Говорите ему час. Говорите десять часов: когда вы кончите, он уйдет и сделает то, что задумал, потому что у него есть сладостное чувство, что он не дал себя ни в чем провести и обмануть. — Он сообразителен, легко возбуждается и открыт всем нежным чувствам. Эти качества делают французов самым духовно богатым народом в Европе, а эстонцев хитрыми ворами, пьяницами и безобразниками [Merkel 1909: 124].

Как мы видим, Меркель останавливается на тех же явлениях, которые впоследствии будет фиксировать Булгарин (что еще раз убеждает нас в том, что литература путешествий складывается не столько из личных впечатлений, сколько в результате чтения разнообразных сочинений предшественников). Однако между их сочинениями пролегает пропасть. Там, где Меркель видит гибельные следствия рабства, Булгарин (пытаясь к тому же опереться на имя Меркеля, но игнорируя существо его концепции!) всего лишь — неумение следовать хорошим образцам (т.е. немцам) и глупое непослушание. Меркель считает упрямство, жестокость, мстительность эстонцев залогом их будущего освобождения, а Булгарин — трудно переносимыми свойствами, которые подлежат искоренению.

Трактовка национальных различий в очередной раз обнаруживает свою идеологическую и политическую подоплеку.

3.3. Тарту — европейский «центр на периферии»

Тарту — достаточно известное место на карте русской культуры. В XIX в. его называли «Афинами на Эмбахе», а во второй половине XX в. он получил широкую известность в гуманитарных кругах благодаря Ю.М. Лотману и Тартуско-Московской филологической, семиотической и культурологической школе. Ныне в Тарту около 98 тыс. жителей, из них примерно 16 % (т.е. около 15 тыс.) составляют русские и «русскоязычные» (русские, украинцы, белорусы, армяне, евреи и др.). По своему административно-географическому положению он всегда был городом провинциальным. Менялись столицы и степень связи с ними города: Новгород, Рига, Москва, Краков, Стокгольм, Рига и Петербург, Таллин и Москва, потом только Таллин последовательно выполняли для Тарту функцию «центра»[174]. Менялись государства и порядки,

[174] Связь с Киевом, великий князь которого Ярослав Мудрый заложил крепость Юрьев, была призрачна, связь с Новгородом — «северной столицей» Киевской Руси — более осязаема, т.к. новгородским князьям платили дань. Во времена Ливонского ордена «столица» (центр) перемещается в Ригу, во время краткого русского владычества в XVI в. — в Москву, затем в конце XVI — XVII в. при поляках — видимо, в Краков, при шведах — в Стокгольм. В 1704 г. Дерпт был взят Петром I и по Ништадтскому миру вошел в состав Российской империи. «Главной» столицей более чем на два столетия стал Петербург, а «ближайшей» — губернский город Рига, поскольку Дерпт-Юрьев являлся уездным городом Лифляндской губернии. После провозглашения независимости Эстонии в 1918 г. столицей становится Таллин (до этого — губернский город Эстляндской губернии), остававшийся в таком статусе и в советский период (с 1940 по 1991 г.), когда имелась еще и «большая» столица — Москва.

географические ориентиры, масштабы и значение самого города, но его административный «провинциальный» статус оставался неизменным. Вопрос о культурном статусе Тарту, как нам хотелось бы показать, — гораздо сложнее.

Когда же появляется в Тарту русская диаспора? На этот вопрос не так легко ответить. Коренным и доминирующим населением края в исторический период всегда являлись эстонцы или их предки, однако восточные славяне, пусть и в весьма небольшом количестве, также присутствовали здесь, во всяком случае, с XI в. Не будем забираться в глубь веков, т.к. даже о численности этого славянского (русского) населения в Средние века мы имеем скудные и противоречивые данные, а о его самосознании и говорить нечего[175]. С XVIII в. количественные показатели становятся более определенными, но степень «укорененности» (постоянства) русского городского населения Дерпта все же остается не слишком ясной. Мы будем иметь в виду период с начала XIX в., с момента возобновления в городе университета.

Вплоть до конца XIX в. Лифляндия, и Дерпт в частности, — независимо от процента коренного эстонского населения[176] — это немецкая (так называемая остзейская) провинция Российской империи, с немецким административным и культурным языком, который лишь в период жесткой русификации при Александре III и Николае II вытесняется русским. Основанный в 1802 г. Императорский Дерптский университет — это немецкий университет, с немецким языком преподавания. Начиная с петровского времени купцы, духовенство, а также немногие приезжие русские чиновники от короны, квартировавшие в Лифляндии русские офицеры (в Дерпте стоял полк), которые, выходя в отставку, оседали здесь, женились на местных жительницах или переезжали сюда на постоянное жительство из России уже с семьями, постепенно образовали очень тонкий слой «местных русских» в Дерпте и других лифляндских и эстляндских городах (сейчас мы не касаемся причудских крестьян, в основном старообрядцев, «укоренение» которых в Эстонии шло своим путем).

[175] Впрочем, известно, что до середины XVI в. в городе имелись две русские православные церкви, так называемый русский конец и Русские ворота, а накануне Северной войны — русский пригород.

[176] По статистическим данным, в 1809 г. в городе проживало 5600 жителей, в 1844 г. — 12 374, из которых эстонцы составляли 26,8%, русские 9,6%, а немцы 60,6% [Пуллат, Тарвел 1980: 50]. В 1897 г. жителей было 42 421, из них эстонцы составляли уже 68%, русские 6%, а немцы 16% [Брокгауз — Ефрон 1904: 437].

Большую же часть «русского Дерпта» составляли приезжие из столиц или из других российских губерний люди, которые воспринимали Дерпт как временное пристанище — место учебы, службы, даже «изгнания», и их самоощущение, как нам представляется, вполне совпадало с самоощущением диаспоры. Лифляндия была западной окраиной их собственного отечества, но она воспринималась ими как чужая земля («немчизна»), хотя для выезда сюда и не требовалось заграничного паспорта. Язык, нравы, обычаи — все было чуждо, требовало адаптации, культурного перевода, что вызывало иногда сопротивление, иногда принималось как должное. Дополнительную сложность составляло наличие трех местных языков — эстонского (до второй половины XIX в. — языка простонародья), немецкого и — в незначительной мере — русского и — соответственно — как минимум, трех культурных миров. Причем культурно-языковая стратификация лишь отчасти пересекалась с социальной стратификацией местного общества (в дворянском мире, разумеется, присутствовал и французский язык, но это обстоятельство нельзя отнести к местной специфике).

Вместе с тем у окраинного Дерпта была еще одна, уже упомянутая нами особенность, которая также резко выделяла его из провинциальных русских городов: наличие университета с хорошей библиотекой, профессуры, большинство которой до конца XIX в. составляли иностранцы. Город жил университетом и для университета. Но кроме того, уже в начале XIX в. здесь существовали губернская гимназия, уездная школа, две начальные, женская школа и шесть частных школ. К концу XIX в. добавились Ветеринарный институт, учительская семинария, реальное училище, женская гимназия, и в городе с 42-тысячным населением издавалось в конце позапрошлого века более 30 периодических изданий на трех местных языках (в первой половине XIX века издания осуществлялись на немецком языке). Большую часть составляли университетские научные издания, но солидным тиражом печатались также одна немецкая и одна эстонская ежедневные газеты. Провинциальный по административному положению, по масштабам и нравам основного городского населения, город по своему культурному статусу явно не мог быть однозначно отнесен к провинции. Это был своего рода «центр на периферии»[177], что не могло не придавать ему особого статуса и в глазах русских его обитателей.

[177] Именно так удачно назван небольшой мемуарный очерк Малле Салупере [Салупере 1998: 14–15].

Попробуем рассмотреть, как воспринимался Дерпт русскими в начале XIX в., на примере Марии Андреевны Протасовой-Мойер (1793–1823), поскольку в нашем распоряжении имеется значительный корпус ее писем из Дерпта за 1815–1823 гг. [Мойер 1904]. Переселение ее в Дерпт из русской провинции (имение Муратово Белевского уезда Орловской губернии) было вызвано семейными обстоятельствами: замужеством младшей сестры Александры и переездом всей семьи по месту службы ее мужа А.Ф. Воейкова, сделавшегося профессором Дерптского университета. Затем сама Мария вышла замуж за дерптского профессора И.Ф. Мойера (Johann Christian Moier; 1786–1858), здесь у нее родилась дочь, здесь она умерла и была похоронена. В своих регулярных письмах к двоюродной сестре Авдотье Киреевской-Елагиной и к В.А. Жуковскому она в основном сосредоточена на своих душевных переживаниях, на семейных делах, но все же обращается и к окружающей обстановке, что дает возможность сделать интересные выводы о восприятии Дерпта человеком русской культуры в 1810-е гг.

Проблема провинциальности как таковая мало волнует провинциалку Машу Протасову. И все же описание первых ее впечатлений от Дерпта (через четыре дня после приезда) невольно выдает ее боязнь найти здесь глухую провинцию и радость по поводу того, что опасения не оправдались:

> Нам принесли билеты в *концерт*, который дают они (профессора. — *Л.К.*) и студенты всякую неделю. <...> я надеялась найти там что-нибудь очень странное — но вообрази: 700 человек, один одет лучше другого, все женщины красавицы, зала как московская, музыка прелестная, и виртуоз *Мойер*[178], который <...> будет меня учить! <...> славный живописец *Зенф*, который рисует масляными, гуашными и на кости, будет нас учить! Еще славный арфист *Фрике* будет меня учить! [Мойер 1904: 136–137].

Однако в этом же письме Мария не преминула остановиться и на местной экзотике:

[178] Заметим, что профессор хирургии Мойер был, конечно, музыкантом-любителем, хотя и очень высокого класса. Во время обучения медицинским наукам в Вене он привлек своим концертом внимание самого Бетховена. Ср. свидетельство Пирогова: «Талант к музыке был у Мойера необыкновенный; его игру на фортепьяно, и особенно пьес Бетховена, можно было слушать целые часы с наслаждением. Садясь за фортепьяно, он так углублялся в игру, что не обращал уже никакого внимания на его окружающих» [Пирогов 1962: 236].

> Здесь народ очень смешон, все чухны[179] белокурые или рыжие и все ходят с длинными, распущенными волосами; извощики и все вообще ездят с 10 колокольчиками на каждой лошади, и это такой делает смешной стук! Эстляндский язык не похож ни на немецкий, ни на русский, и мы наняли себе прачку переводчицу. Посылаю тебе здешних денег[180] [Мойер 1904: 137].

Письма показывают открытость М. Протасовой новому для нее образу жизни, умение видеть его хорошие стороны. Выйдя замуж, она полностью разделила устремления своего мужа, известного в городе филантропа[181]. Средства на благотворительную деятельность добывались собственным трудом. Концерты, о которых она писала в первом письме из Дерпта, давались с благотворительной целью. Профессор Мойер часто лечил бедняков даром. Но денег все равно не хватало, тогда в доме Мойеров предпринимались общие работы на огороде, где трудились и профессор, и его жена, и их пансионеры. М. Мойер описывает домашние трудовые праздники: das Kartoffelfest (картофельный

[179] В тот период слово «чухна» («чухонец») не имело в русском языке пейоративного оттенка, являясь просто наименованием народа. Слово «эстонец» еще не употреблялось. Н.И. Пирогов, внимательный наблюдатель местных нравов, пишет о предубеждении немецкого образованного слоя против коренных жителей, о попытках объяснить «чухонским тупоумием» царящую в стране бедность сельских жителей [Пирогов 1962: 254–256]. Хотя сам хирург приводит немало анекдотов о пациентах-эстонцах, аналогичных сюжетам булгаковских «Записок юного врача», его взгляд — явно сочувственный — не совпадает с анализируемой им позицией немцев.

[180] Имеются в виду местные «уездные деньги»: кожаные или картонные полоски, которыми даже платили жалованье профессорам [Пирогов 1962: 256]. Отметим, однако, в цитате из письма М. Мойер и прачку в роли переводчика — явление явно неординарное для российских просторов!

[181] С гордостью пишет она о муже: «Ты не можешь себе вообразить, до какого градуса Мойерова деятельность простирается, когда дело идет помогать несчастным. Теперь концертами собрал он почти 6000, дом сторговал (для приюта для нищих. — *Л.К.*), сделал комитет, в котором самые низкого состояния люди членами, напр<имер>, мясник один из главнейших, он так доволен, что берется варить супы Румфорт для бедных, и брать контрибуции костей с других мясников. Здесь венерическая болезнь в самом сильном градусе в народе. Мойер выпросил себе престрашный сарай на шесть месяцев, куда собрал всех, которые приходят. Цокель (профессор анатомии, друг Мойера. — *Л.К.*) покупает лекарства, а Мойер вылечивает и отпускает. 36 человек, которые два месяца назад страдали, теперь отпущены здоровые совсем. Не весело ли думать, что моему мужу они этим обязаны» [Мойер 1904: 213].

праздник), das Schlachtfest und das Kohlfest (мясной и капустный праздники) и то, как весело копали выращенную самими картошку, как делали сосиски, шинковали капусту [Мойер 1904: 265]. На Марии лежали хозяйственные работы по дому, воспитание детей (кроме собственной дочери были приемыши), заботы о пансионерах. В одном из писем она резюмирует: «Я с раннего утра до поздней ночи так работаю, что некогда хандре бушевать сердце» [Мойер 1904: 272].

Причем для М.А. Мойер труд и подобные занятия — не минутный порыв, а нравственный выбор. Она видит в них преимущество местных нравов перед российскими. Так, она поддерживает перед родственниками желание своего сводного племянника и воспитанника Саши Петерсона давать уроки русского языка за деньги: «Уверяю вас, что то, что у нас в России *низко и подло*, то здесь делает честь молодому человеку» [Мойер 1904: 211]. Она вполне осознает, что новый образ жизни как бы переводит ее на иную социальную ступень. Ее дерптская жизнь, в определенном смысле, — вызов ее прежней жизни, и она этот вызов принимает: «Будьте за меня покойны, — уверяет она родных, — мое счастье верно. Анета Лёвенштерн называет его bürgerliches Glück <бюргерское счастье>; конечно, в нем мало идеального, огорожено забором огорода, но и в огороде хорошо» [Мойер 1904: 213].

Бюргерский трудовой мир Мойеров — это своего рода предвосхищение русского интеллигентского быта конца XIX — начала XX в., когда социальные грани между небогатым «трудящимся» дворянством и разночинцами стираются. То, что в 1810-е гг. еще не очень понятно дворянам в центре России, уже возможно в дерптской диаспоре.

И тем не менее Дерпт отнюдь не видится М. Мойер как идиллическое место. На ее восприятие Дерпта влияет и глубокая личная драма, начавшаяся еще на родине, но с особой остротой разыгравшаяся в Дерпте[182], и оторванность от дома, от близких по духу родных и друзей, способных разделить ее образ мысли и чувства. В горькие и более откровенные минуты она прямо определяет Лифляндию, Дерпт как «чужбину»: «Единственный человек на свете, который иногда contrebalance le passe, c'est Moier! Mais aussi que ne lui dois-je pas <[составляет] противовес прошлому, это Мойер! И не только этим я ему обязана>. Без него и кроме его все несносно. Какие радости на чужбине? Лифляндия

[182] Мать М.А. Протасовой, сводная сестра Жуковского, отказалась выдать свою дочь замуж за сводного брата, полагая, что такой брак противен законам божеским и человеческим. Мария и Жуковский очень любили друг друга, для обоих отказ был трагедией. Брак Марии с Мойером был для нее вынужденным выходом из домашних конфликтов (которые постоянно провоцировал муж ее сестры Воейков).

для меня хуже Сибири, потому что здесь нет ничего моего. Проси мне у Бога терпения, оно нужнее всех утешений и одно может быть действительно» [Мойер 1904: 226]. Сетуя на отсутствие писем от Елагиной, она с горечью замечает: «Вы, злые люди, не знаете, как тяжела expatria-ция; в чужой земле своих не разлюбишь, а дома, кажется, скоро забывают изгнанников» [Мойер 1904: 189]. Как мы видим, для обозначения своего статуса она выбирает термин *экспатриация*, внутренний смысл которого близок к современному «жить в диаспоре», хотя сама Мария сообщает ему более сильную эмоциональную нагрузку.

Итак, письма М.А. Мойер передают то двойственное отношение русских к Дерпту, которое включает в себя, с одной стороны, ощущение «другого», «нового» и привлекательного мира, а с другой — «чужбины» («чужого» с той или иной мерой негативной оценки).

То, что М.А. Мойер передает *ad hoc* с помощью непосредственных эмоций, Н.И. Пирогов анализирует в своих мемуарах, писавшихся почти через 40 лет после дерптского опыта (Пирогов жил в Дерпте в 1828–1840 гг., сначала учась в Профессорском институте при Дерптском университете, а затем сам будучи профессором). Его опыт — это опыт молодого человека, обязанного Дерпту своей карьерой ученого. Приехав из «столичного» Московского университета в «провинцию», Пирогов с полной для себя неожиданностью обнаружил несостоятельность своей подготовки, отсталость столичной медицинской науки и превосходство дерптской школы. Провинция и столица в мемуарах Пирогова как бы меняются местами. Дерптский университет, в отличие от косного Московского, — это европейский университет, открытый новым достижениям науки, не боящийся экспериментов, опровергающих старые представления и авторитеты. Дерпт — город и университет, где царствует дух академической свободы[183].

Пирогов, как и М.А. Мойер, чуток и к проявлению чуждых ему тенденций, в частности чванству остзейцев, чувствовавших себя хозяевами Лифляндии, а также к антирусским и антиэстонским настроениям прибалтийских немцев (о чем М.А. Мойер почти не упоминает). Вместе с

[183] Ср.: «Верно, нигде в России того времени не жилось так привольно, как в Дерпте» [Пирогов 1962: 246]. См. также: [Пирогов 1962: 236–239]. Ср. далее впечатления от Москвы, где Пирогов после приезда из Дерпта рассказывал о новшествах науки, «отставшей в Москве по крайней мере на четверть века»: «В Дерпте не водятся профессора, считающие астрономические наблюдения пустой забавой; хирургические операции, давно вошедшие в практику, невозможными; всех своих коллег — подлецами; нет дам, усматривающих в каждом студенте якобинца, а в своих супругах — европейские знаменитости!» [Пирогов 1962: 264 и 266].

тем по его воспоминаниям можно сделать вывод, что именно дерптская жизнь на пересечении нескольких культур приучила самого Пирогова к открытости, терпимости и излечила от ложного «русского» патриотизма. Он так пишет об этом:

> Чем более я оставался в Дерпте, чем более знакомился с немцами и духом германской науки, тем более учился уважать и ценить их. Я остался русским в душе, сохранив и хорошие, и худые свойства моей национальности, но с немцами и с культурным духом немецкой нации остался навсегда связанным узами уважения и благодарности <...> Неприязненный, нередко высокомерный, иногда презрительный, а иногда завистливый взгляд немца на Россию и русских и пристрастие ко всему своему немецкому мне не сделались приятнее, но я научился смотреть на этот взгляд равнодушнее и, нисколько не оправдывая его в целом, научился принимать к сведению, не сердясь и без всякого раздражения, справедливую сторону этого взгляда [Пирогов 1962: 253].

Любопытно проследить по воспоминаниям Пирогова, как провинциальная дерптская жизнь предохраняет столичного жителя от культурного провинциализма (от узости, косности мышления) и как благотворен для него оказывается отрицательный пример чужого — немецкого — провинциализма. Вместе с тем эти воспоминания рельефно рисуют особенность Дерпта — города провинциальных размеров, бытового уклада, привычек и одновременно города европейской науки и образованности. По сути, водораздел проходил по линии университета. Городское общество делилось на университетский и неуниверситетский круг. Второй (независимо от национальной принадлежности, социального статуса и уровня достатка), как правило, определялся наблюдателями словом «провинциальный». Характерно, как известный музыковед и дерптский студент 1820-х гг. Юрий Арнольд вспоминал о музыкально-театральных вечерах в доме своих родителей в Дерпте:

> В особенности любили нас посещать молодые люди обоего пола: студенты и дочери знакомых (преимущественно профессоров и отставных военных), потому что у нас не господствовала рутинно-ложная, мелочная чопорность уездных городков вообще, а немецких городков в особенности [Арнольд 1892: 112].

Конечно, сказанное отчасти (и даже в значительной мере) относится к разряду тех обобщений, которые легко превращаются в мифологемы, однако именно они во многом определили последующий статус Дерпта в русском культурном сознании. Закрепил мифологический образ Дерпта в русской поэзии еще один его обитатель 1820-х гг., поэт Н.М. Языков. В своих стихах Языков создал образ вольного студенческого города:

> Здесь нет ни скиптра, ни оков,
> Мы все равны, мы все свободны,
> Наш ум — не раб чужих умов,
> И чувства наши благородны [Языков 1964: 95].

Языковский Дерпт — это тоже чужбина, родина — это далекая Россия, и все же «любимой страной»[184] для Языкова оказывается Дерпт — город пиров, разгульной юности и юношеского братства. Не случайно популярность языковской поэзии у русского читателя основывалась главным образом на дерптских стихах, а «Песня», сконцентрировавшая в себе все эти мотивы, закономерно сделалась неофициальным гимном русского дерптско-юрьевского студенчества:

> Из страны, страны далекой,
> С Волги-матушки широкой,
> Ради сладкого труда
> Ради вольности высокой
> Собралися мы сюда.
> Помним холмы, помним долы,
> Наши храмы, наши села,
> И в краю, краю чужом
> Мы пируем пир веселый
> И за родину мы пьем [Языков 1964: 250].

Итак, уже в XIX в. Дерпт воспринимался людьми русской культуры как провинция особого рода — европейская провинция, университетский

[184] Так называет Языков Дерпт в одноименном стихотворении:

> Моя любимая страна,
> Где ожил я, где я впервые
> Узнал восторги удалые
> И музы песен и вина!
>
> Мы здесь *творим* свою судьбу,
> Здесь гений жаться не обязан
> И Христа ради не привязан
> К самодержавному столбу! [Языков 1964: 166].

город, где патриархальность, тишина, простота нравов сочетается с высокими культурными и научными запросами, где царит дух академической свободы, противостоящий душной российской атмосфере. Именно это привлекает в Дерпт людей русской культуры. Сюда в конце 1840-х гг. собирался переехать Жуковский, здесь подолгу жили Карамзины, Соллогубы[185] и др. Однако Дерпт всегда осознавался русскими как диаспора, поэтому для того, чтобы наслаждаться преимуществами этого города, нужно было проявить готовность выйти из моноязыкового и монокультурного пространства, проявить открытость, терпимость в столкновении с «чужим» миром, быть готовым к тому, что он никогда не станет до конца «своим», если сам носитель русской культуры не готов к ассимиляции, к утрате своей культурной идентичности и к полному растворению в чужой культуре (когда-то немецкой, теперь — эстонской). Для большинства русской интеллигенции XIX — начала XX в., в частности для русских эмигрантов первой волны, в силу их культурного опыта такого рода испытание не было непосильным, в постсоветские годы ситуация сложилась иначе.

Советская власть, с ее жесткой национальной и миграционной политикой, с установкой на единый Советский Союз и «единую историческую общность» — советский народ во главе со «старшим братом» — русским народом, пыталась вытравить из сознания русских, живших в национальных республиках, понимание того, что они живут в *чужом* культурном пространстве. Отсюда — полное отсутствие у большинства некоренных жителей установки на овладение местным языком, замкнутость в своем мире и отсутствие интереса к местной культуре и обычаям. Тот культурный шок, который пришлось пережить «советским русским» в Эстонии после 1991 г., когда они оказались в диаспоре, отделенной от родины настоящей государственной границей, оказался для них совершенной неожиданностью. Естественно, что поиски быстрого выхода из этого шока привели многих к решению ассимилироваться — если не самим, то в следующем поколении[186]. Русский культурный слой в Эстонии, и в частности в Тарту, сужается, что не может не привести к серьезной провинциализации русского культурного пространства в тартуской диаспоре. Но ситуация находится в развитии, так что с окончательными выводами спешить не стоит.

[185] Отдельная тема — это образ Дерпта в повестях графа В.А. Соллогуба (1813–1882), дерптского студента (1829–1834), запечатлевшего университетскую жизнь в прозе 1830–40-х гг.

[186] Кстати, то же самое имело место в XIX в. среди эстонцев, когда, получив образование, они всеми силами стремились сделаться немцами. Это с горечью подметил и Н.И. Пирогов [Пирогов 1962: 256].

3.4. Эстония и эстонцы XIX в. в зеркале путеводителей

Прежде чем обратиться к теме Эстонии и эстонцев в путеводителях, скажем несколько слов о специфике этого типа текстов. Путеводитель безусловно, является частью литературы путешествий, но очевидным образом отличается от травелогов — т.е. описаний путешествий, выполненных в основном писателями, или от романов-путешествий. Как жанр или тип текста он имеет сложную историю и прагматику[187]. Если суммировать, то можно сказать, что путеводитель — это недорогое массовое издание, призванное на ограниченном текстовом пространстве дать своему читателю наряду с необходимыми бытовыми достаточно обширные историко-культурные сведения[188]. Объем и соотношение практической и образовательной информации выступают и маркером аудитории конкретного вademекума[189].

В XIX в. был выработан тип издания, который был признан оптимальным и на который в той или иной мере ориентировались все ав-

[187] Путеводителю как самостоятельному жанру уделялось поразительно мало внимания в исследовательской литературе. Как правило, работы носят узкоприкладной характер. См.: [Давыдов 1993: 126–137; Александров Ю. 1985 и 1985а; Острой 1993: 481–491]. В последние годы, уже после осуществления тартуского проекта «Репрезентация Эстонии в иноязычных путеводителях XIX–XXI вв.: риторика и идеология» (2007–2008) и выхода в свет коллективной монографии «Путеводитель как семиотический объект» [Путеводитель 2008], наступило некоторое оживление, но все же акцент делается на изучении травелогов. См., например, новосибирский проект: аннотированный указатель «Русский травелог XVIII — начала XX века» и вышедший на его основе сборник трудов: [Русский травелог 2016].

[188] Как писал с некоторой обидой один из авторов: «Приходилось, например, слышать, будто наш «Путеводитель по Вильне» не вполне отвечает своему названию главным образом излишнею полнотою и объемом. Но мы и не задавались целью быть полезным только коммивояжерам и лицам исключительно приезжим. Вильна <…> не настолько, однако, велика, чтобы, в целях возможности быстро ориентироваться в ней, необходимо непременно пользоваться для этого путеводителем» [Виноградов 1907: I].

[189] От латинского *vade* — иди, *mecum* — со мной. На разных языках в соответствующих словах отражается примерно этот же смысл: русское «путеводитель» (ведущий по пути), англ. *guidebook* — «руководящая книга», итал. *guida* — «гид», нем. *Reiseführer*, эст. *reisijuht* — «руководитель путешествия». Недаром владелец «Издательства путеводителей», основанного в 1888 г., и автор многочисленных русских бедекеров Григорий Москвич писал, что путеводитель должен заменить путешественнику «опытного гида <…> интересного рассказчика, в живой и интересной форме передающего обо всем, что создала в крае природа и люди, история и жизнь, обычаи и нравы, опыт и практика» [Отзывы 1903: 15–16]. Поэтому не случайно слово «путеводитель» иногда заменяется в заглавии словами «собеседник» [Владыкин 1874] или «прогулка».

торы путеводителей в разных странах — это так называемый бедекер, названный по имени немецкого книгоиздателя Карла Бедекера (Karl Baedeker; 1801–1859). В 1827 г. он создал в Кобленце специальное издательство путеводителей, успешно функционирующее и поныне (хотя и под другим названием), а в 1829 г. выпустил свой первый путеводитель[190].

Аудитория бедекера — это достаточно образованный и, главное, заинтересованный читатель, ожидающий богатой и качественной информации, взвешенного подхода к фактам, их научной достоверности. Конечно, путеводитель — не историческое или искусствоведческое исследование, а издание популярное, поэтому чаще всего не имеет сносок и ссылок на научную литературу (хотя нередко имеет список литературы в конце). Однако бедекер пишется специалистом (или группой специалистов), которые проводят ясную грань между сведениями легендарными и достоверными, между фактами и гипотезами и т.д. Вместе с тем путеводитель по своей природе — это текст идеологический, призванный определенным образом моделировать реальность, формировать образ страны, региона (или города), их истории и культуры. Вычленение и анализ этого образа, а также средств его моделирования на примере Эстонии и будет задачей настоящего параграфа.

В самом общем виде способы организации авторской позиции и параметры, по которым происходит моделирование реальности в путеводителе бедекеровского типа, можно свести к следующему. Во-первых, иерархизация пространства, т.е. выделение пространства, достойного обозрения (так называемые туристические маршруты), а в нем — определенных объектов, которые также выстраиваются в иерархию (для этого в путеводителях приняты условные обозначения звездочками). Во-вторых, отбор сообщаемых фактов и, в-третьих, их определенная трактовка[191].

[190] С издательской фирмой «Бедекер» в Германии [Baedeker Guides 2003] конкурировала английская фирма Джон Мюррей [Murray Handbooks 2003], так что бедекер как тип издания сформировался в конкурентной борьбе. Широкое распространение он получил с началом эпохи массового туризма в Европе, примерно в середине XIX в.

[191] «Послушный» путешественник, следующий указаниям путеводителя и не располагающий иными источниками информации, попадает под серьезное идеологическое воздействие: он «видит», но видит то, что ему показывают, и под таким углом, под которым ему желают показать. Конечно, не все туристы «послушны» и ограничены в сведениях, и этого составители путеводителей не могут не учитывать. Отстраненный взгляд на «свой» объект неизбежен и у самого ангажированного автора.

Далее нас будет интересовать риторическая роль авторской точки зрения[192]. Нашим материалом будут путеводители XIX в., в которых описывается Эстония и эстонцы[193]. Это в основном немецкие и русские путеводители (по историческим причинам эстонских путеводителей в это время еще не было). Интересовать они будут нас именно с идеологической точки зрения, а именно то, какими эта земля и ее народ были представлены русскому и европейскому читателю в XIX в. Безусловно, предложенный ими образ повлиял на восприятие Эстонии и эстонцев значительным кругом пользователей[194].

Следует иметь в виду, что на ранней стадии формирования жанра, когда путеводителей было еще сравнительно мало, путевые очерки заменяли их и включали в себя не только описания достопримечательностей, красот природы и личные впечатления, но и полезную для путешественников информацию. Яркий пример — «Поездка в Ревель» А.А. Бестужева (1822)[195].

[192] Часто путеводители издавались анонимно, и даже если имя составителя обозначалось на титуле или в предисловии, оно не всегда принадлежало к числу известных и знаковых. Поэтому под «авторской» мы подразумеваем не столько личную позицию конкретного лица, сколько тот взгляд или социальный заказ, который выражен в данном тексте и который через него транслируется на достаточно большую аудиторию. Когда же речь идет о знаковых фигурах, то изучение составленных ими путеводителей может дать дополнительную информацию об их деятельности.

[193] В 1958 г. студентка Тартуского университета Тийу Вёэль составила картотеку путеводителей по Эстонии на разных языках, где было более 300 наименований, и с тех пор число таких изданий продолжает расти. К сожалению, эта картотека, являвшаяся приложением к курсовой работе [Vööl 1958], пропала, поэтому мы лишены возможности судить, по каким принципам отбирался материал. В составленном коллективными усилиями современном указателе (заведомо неполном, т.к. учитывались далеко не все языки) уже более 400 позиций: Общие путеводители по Эстонии и странам Балтии // Vademecum. URL: http://www.ruthenia.ru/vademecum/bibliografia.html (дата обращения 9 сентября 2018 г.). Сайт «Vademecum» представляет результаты проекта кафедры русской литературы Тартуского университета «Репрезентация Эстонии в иноязычных путеводителях XIX–XXI вв.: ритория и идеология»: http://www.ruthenia.ru/vademecum/eesti.html.

[194] Разумеется, мы не сможем исчерпать всех источников, но выделим основные, опираясь на которые можно будет сделать достоверные выводы. Проблема в том, что путеводитель принадлежит к так называемой обиходной литературе, а она плохо сохраняется, и это составляет следующее препятствие, особенно когда речь идет о конкретной теме — в нашем случае о репрезентации Эстонии и эстонцев в иноязычных путеводителях.

[195] Об этом тексте недавно писала Т.Н. Степанищева [Степанищева 2017], что избавляет нас от необходимости на нем останавливаться.

Продвигаясь хронологически, начнем с довольно необычного, даже экзотического текста — раннего *специализированного* русского путеводителя или, точнее, имитации вademекума — «Прогулки с детьми по России» журналиста и сотрудника «Северной пчелы» Владимира Бурнашева (1810–1888). Первое издание вышло в свет в 1837 г. Он написан как имитация поездки и, конечно, должен быть отнесен к квазипутеводителям, хотя стилизация под реальную поездку проведена довольно последовательно. Книга была популярна, поэтому ее имеет смысл учесть для пополнения картины того, что узнали об Эстонии и эстонцах юные русские читатели, а с ними их родители на раннем этапе формирования путеводительного текста, когда вообще текстов об Эстонии было не так много. Повторим, что в 1830-е гг. жанровый канон еще не был выработан, а границы между вademекумом и литературой путешествий были еще весьма зыбкими.

Как во всей литературе для детей того времени, назидательный элемент в книге весьма силен. Но любопытным образом «Прогулка с детьми по России» как бы «проявляет» те черты, которые будут присущи русским путеводителям вообще.

Для нас важно, что знакомство с «немецкими губерниями» (так автор называет Эстляндию, Лифляндию и Курляндию) строится в первую очередь как знакомство с эстонским крестьянином, его трудной жизнью и бедным бытом (недаром автор был агрономом-любителем). Конечно, Владимир Бурнашев следует здесь традиции бытописательного очерка и включает в свой квазипутеводитель элемент беллетризации — он рисует сцену в крестьянском доме с довольно подробным описанием деталей интерьера и одежды:

> Одежда его (эстонского крестьянина. — *Л.К.*) совершенно схожа с *финскою*, только борода обрита[196] <…> жена его в белой рубахе с искусно собранными рукавами, у которых обшивки красиво вышиты красною бумагою (т.е. хлопчатобумажными нитками. — *Л.К.*); длинная юбка подхвачена чистым передником, а на плечи накинута из пестреди[197] (sic!) сделанная душегрейка; распущенные по плечам белокурые волосы прикрыты маленькой по голове сшитой шапочкой, убранной серебряными, пестрыми и золотыми нитками, сзади по затылку висит множество разноцветных лент и снурков <…> дочь <…> в таком же точно наряде, как и мать, но с повязкою, которая спереди очень широка, а сзади стягивается и спускается множеством разноцветных лент по затылку [Бурнашев 1839: 474–475].

[196] Подчеркнем это новшество — до этого, как мы видели в предыдущем параграфе, эстонцев представляли бородатыми!

[197] Пестрядь — грубая домотканая разноцветная ткань.

Одежда — один из излюбленных предметов описания как в путевых очерках, так и в ранних путеводителях, однако здесь Бурнашев явно выдает себя: он описывает праздничный, а не каждодневный крестьянский костюм. Перед нами — не бытовая, а постановочная сценка, возможно сконструированная по картинкам или по книжным источникам. Ясно, что сидеть у очага перед котлом с кипящей едой в вышитой белой рубахе и в головном уборе с лентами и золотыми нитями крестьянка бы не стала[198]. Однако у Бурнашева картинка получилась выразительная и проникнутая явным сочувствием к угнетенному местному населению.

Бедность быта эстонского крестьянина неоднократно подчеркивается на малом пространстве текста:

> Взгляните на этот большой четвероугольный сарай, покрытый, вместо крыши, соломою, и с закоптелыми отверстиями вместо окон: там живет *эстонец* с своим семейством; вот тут за этой перегородкой, отделяющей его от жилища скоты, бедняк спит на твердом ложе, обедает репою, молоком, сельдями и картофелем [Бурнашев 1839: 473].

Эта зарисовка почти дословно совпадает с описанием дома эстонского крестьянина в «Прогулке по Ливонии» Булгарина, вновь переизданной незадолго до выхода «Прогулки…» Бурнашева. Ср.: «…огромное, четвероугольное, деревянное здание, прикрытое полусгнившею соломою, с закоптелыми отверстиями вместо окон <…> не дом, а сарай, где целое семейство помещается с лошадьми, коровами и мелким домашним скотом» [Булгарин 1836: 380] (ср. также описание пищи: [Там же: 381]; подробнее мы писали об этом в предыдущем параграфе). Однако контекст и общая тональность у Бурнашева — иные.

Знаменательно, что образ эстонца построен на контрасте убогой обстановки и высоких духовных интересов: по Бурнашеву, крестьянин-эстонец гораздо больше любит читать Священное Писание, чем работать в поле, однако традиционные (стереотипные для описания эстон-

[198] Гораздо точнее Степан Джунковский (о нем речь пойдет ниже), упомянувший об эстонском национальном костюме по ходу описания праздника Иванова дня в Ревеле в 1839 г. [Поездка 1839: 43].

ского характера) медлительность и упрямство также присутствуют в его описании. Позволим себе длинную цитату:

> Войдемте: изба или скорее сарай ничем не убран, дубовый стол и несколько простых скамей составляют всю его мебель; посреди этого бедного жилища стоит очаг, и над его пылающим огнем висит большой котел, где варится пища для семейства. На скамье у окна сидит хозяин сарая и читает какую-то книжку; уж верно что-нибудь церковное? Так точно, это их любимое чтение, и, видя книгу в руках *эстонца,* можно почти наверно сказать, что это что-нибудь священное <…> жена *эстонца* прядет лен, тачает (sic!) холст и по временам посматривает, не выкипела ли пища в котле; дочь ее, девушка лет осьмнадцати <…> с чрезвычайным вниманием слушает отца, и иногда заставляет молчать ребенка, который лежит у нее на коленях; досада видна на ее лице всякий раз, как малютка криком помешает ей слушать. <…> Хозяева принимают нас с радушием, и даже девушку увлекает врожденное гостеприимство до того, что она не сердится на помеху в чтении и ласково подносит нам вина, трубку, сельдей, молока. Нет, добрые люди, мы сыты, но дайте нам, пожалуйста, скорее хороших лошадей, чтобы погулять по *Эстляндии*. — *Эстонец* хозяин с природною молчаливостию и неповоротливостию[199] идет за перегородку, где собраны его и коровы и лошади, выводит последних, отправляется к повозке и начинает запрягать. Ах, как он медленно все делает, нам так бы хотелось поскорее увидеть *Ревель, Гапсаль*, съездить в *Балтийский порт*. «Эй, хозяин, пожалуйста, немного пото<ропись!>». Берегитесь его рассердить, мои милые, он очень добр, услужлив, только до поры до времени, но стоит лишь немного его побранить или стараться испугать угрозами, *эстонец* делается упрям до бесконечности[200], он не наговорит вам грубостей, нет, но будет уметь отплатить гораздо для вас чувствительнее, а именно замечая, что вы торопитесь, он нарочно поедет тише, и так лучше ободрите его ласковым словом; вы увидите, что не должны будете раскаиваться: он повезет вас так хорошо и скоро, что через два часа вы будете в *Ревеле* [Бурнашев 1839: 473–477].

[199] Ср. сентенцию Булгарина: «Правда, надобно иметь много терпения с эстонцами» [Булгарин 1836: 384].

[200] Ср. точку зрения Булгарина, утверждавшего, что эстонец груб, мстителен, упрям, неукротим, но «чувствителен к ласковому обхождению» [Там же].

Не будем спешить причислять Бурнашева к последовательным эстофилам: в других местах своей книги он противопоставляет грязных эстонцев аккуратным финнам [Там же: 165–175]; к латышам, подобно Булгарину, испытывает также больше симпатии. Он не только многое заимствует у своего патрона — редактора «Северной пчелы» — но и напоминает его непоследовательностью и очевидной компилятивностью. Характерно, что Фаддей Булгарин собственной персоной появляется на страницах «Прогулки с детьми по России»: в Дерпте «дети» посещают Карлово, где их приветствует знаменитый русский писатель.

При всех оговорках о несамостоятельности и непоследовательности обратим внимание на то, что у Бурнашева как раз немецкий элемент (Булгариным скорее идеализировавшийся) описан без восторга, а история немецкого завоевания дана в том же ключе (хотя и на другом уровне!), что затем у Мюррея (о чем будет сказано ниже):

> Здесь (в Ливонии. — *Л.К.*) вы увидите на каждом шагу остатки рыцарства, распространившегося с чрезвычайною силою и могуществом. Вооруженные мечом и крестом, эти ревностные, но жестокие защитники Христовой веры, несли с собою повсюду, где ни являлись, огонь, разорение, смерть![201] [Бурнашев 1839: 471–472].

Но далее Бурнашев для вящей убедительности и контраста несколько передергивает, представляя древних жителей Ливонии до немецкого завоевания «жившими в тишине и спокойствии, чуждавшимися споров и браней и не знавшими даже, что значит проливать кровь своих ближних» [Там же: 472]. Ему, разумеется, были известны источники, из которых явствовало иное (ср. у того же Меркеля о воинственности древних эстов, войнах между племенами и пр.), но такой поворот событий его не устраивает, поскольку противоречит его идеологическому конструкту. Заметим, что подобный прием «украшения», или мифологизации, достаточно активно использовался в «путеводительных» текстах XIX в. для создания нужного идеологического эффекта.

[201] В этих строках чувствуется знакомство с сочинениями Меркеля [Merkel 1798–1799], которыми пользовался и Булгарин (см. выше).

Не менее интересный пример представляет описание путешествия в Гельсингфорс и Ревель, включая пригороды эстляндской столицы и также Нарву, изданное в 1839 г. Его автором был Степан Степанович Джунковский (1820/1821–1870), тогда студент Петербургского университета, а в будущем ревностный иезуит и католический миссионер, затем вновь перешедший в православие. О позиции автора по отношению к эстонцам скажем чуть позже, а пока отметим, что в книге есть целая глава — «Примечания для посещающих города Ревель и Гельсингфорс» [Поездка 1839: 96–114] с подробнейшими практическими рекомендациями. Указаны расписания и цены билетов на пароход, включая советы, как вести себя во время качки; дан перечень удобных гостиниц и квартир с ценами за проживание и питание; адреса водолечебных заведений, магазинов, почтовой конторы с расписанием почтовых дней и пр. Далеко не все позднейшие путеводители так тщательны и подробны в заботе о быте и удобствах путешественников! Таким образом, хотя на первый взгляд перед нами — путевой очерк, но внимательное знакомство с книгой убеждает в том, что он может быть отнесен к путеводителям (или — предпутеводителям)[202]. Знакомя своего читателя с местным населением, Джунковский, пишет о любимой пище эстонцев (которых называет «эстонами»):

> В семь часов разбудил меня крик apopima, apopima (т.е. искаженное «hapupiima». — *Л.К.*) <…> вижу Эстона, погоняющаго лошаденку с телегою. На ней лежали две бочки с кислым молоком (!) (sic!), которое составляет любимую народную пищу эстонов [Поездка 1839: 26].

В другом месте он говорит о кильках [Там же: 76]. Характеристики эстонцев у Джунковского немногочисленны, кратки, но всегда сочувственны. Так, он пишет о каменистой почве вокруг Ревеля и замечает: «…но несмотря на то на ней желтеют колосья, заставляя удивляться трудолюбию эстонов» [Там же: 49].

В том же 1839 г., что и «Поездка в Ревель и Гельсингфорс» Джунковского, вышел первый русский путеводитель по Таллину — «Путеводитель по Ревелю и его окрестностям». Это был перевод с французского путеводителя Н. Рейтлингера, но содержал, по сравнению с оригиналом, изменения и дополнения, а также серьезное концептуальное предисловие переводчика и издателя — Николая Ивановича Розанова. На первых же страницах возникает любопытное противоречие: одной стороны, автор утверждает, что «Остзейский край был исстари русской отчиной» [Розанов 1839: III]. Уже этот тезис демонстрирует уровень идеологизированности текста. С другой стороны, Розанов без смущения переводит слово «остзейский» как «восточно-приморский» [Розанов 1839: I], не замечая того, что восток появляется здесь от *немецкого* названия Балтийского моря *Ostsee* и для «русской отчины» никак не подходит. И далее весь свой труд он посвящает описанию того, чем этот *немецкий* край отличается от России.

[202] Пользуемся возможностью выразить глубокую благодарность Л.И. Петиной, указавшей нам на это издание и неоднократно дававшей ценные консультации.

Остзейские земли представлены в предисловии как образец порядка и цивилизации, которым Петр I хотел обучить русских:

> Там (в Эстонии. — *Л.К.*) сельское хозяйство образцовое: производительные силы почвы доведены до полного развития, силы народа приведены в строжайший учет, пашня как огород, хотя усеяна крупными камнями, дороги — московские бульвары, леса — парки [Розанов 1839: I].

Но главное, по мнению автора, — это иной, по сравнению с русским, образ жизни, иные бытовые привычки, отражающие иной строй сознания. С глубоким уважением характеризует Розанов ревельскую рачительность на фоне распущенности русского помещичьего быта:

> Ревель — представитель трудолюбия рассчитанного, хозяйства соразмеренного, помещений только удобных и скромных, да кабинетных занятий. В Ревеле даже в лавочках не торгуются, не запрашивают. Он не для общественных парадов: обедов на три стола, вечеров до утра, гостей с пятиминутными визитами или с недельными гощениями <…> но кухней засоренных, спальней растворенных настежь, детских на антресолях стена об стену с девичьими [Розанов 1839: V–VI].

Немецкая опрятность восхищает автора — это не «видимость цивилизации» (так возмутившая в России маркиза Астольфа де Кюстина), а свидетельство внутреннего устроения души, основанного на просвещении и семейных добродетелях. На немногих страницах предисловия Розанов дважды подчеркивает, что женщины в Ревеле, в отличие от русских барынь, заняты домашним хозяйством и воспитанием детей, что дети с малолетства учатся, что «семилетний ребенок идет одинехонек за три версты в школу учиться» [Розанов 1839: XI].

В описании города автор не делает различий между бытом дворян и бюргеров, и это для него также является средством положительной характеристики и признаком *европейскости*. «Ревельские ремесленники образованы выше своего состояния, — подчеркивает он. — Нет малого, снаружи иногда вросшего в землю помещения, которое внутри не украшалось бы фортепианом и хорошей мебелью. Концерты, которые нередко бывают в Ревеле, посещаются во множестве ремесленницами» [Розанов 1839: II–III].

Изданием «Путеводителя по Ревелю и его окрестностям» на русском языке переводчик надеется распространить и на остальную Россию бюргерские нравы и привычки, которые считает признаком европейской, в первую очередь немецкой, цивилизации. Характерно при этом, что он отнюдь не задумывается над тем, какой ценой в остзейских губерниях достается это благополучие, в отличие от Кюстина, который сумел разглядеть под великолепием Петербурга «самое настоящее варварство» [Кюстин 2008: 138]. Для Кюстина грубость русских нравов есть следствие уродливой социальной структуры, рабства, угнетенного положения крестьян. Розанов, последовательно называющий Эстляндию Эстонией, тем не менее почти игнорирует ее коренное крестьянское население и его положение. Он простодушно описывает Ревель как чисто немецкий город, а Эстонию — как **немецкую** землю. Эстонцы («чухны») все же иногда появляются в его тексте, но как «неопрятные, нечесаные, растрепанные», хотя и грамотные простолюдины. Правда, и у них есть своя роль в истории края. Так, в исторической части путеводителя автор отмечает, что в 1347 г. «бунт чухонцев отнял у Вольдемара III средства для сопротивления тевтонцам ливонским» [Розанов 1839: 6], и это привело к падению датского владычества. Но вопрос, почему чухонцы взбунтовались, Розанова совершенно не волнует. К 1637 г. он относит издание первой «чухонской грамматики» [Розанов 1839: 9], к 1713 г. — «чухонского» «Евангелия от Синода», но из контекста понятно, что для него это лишь свидетельство цивилизаторских усилий власти — шведской и русской. Эстонский язык, по замечанию автора, непрестижен и для самих горожан-эстонцев: они «стыдятся говорить с иностранцами своим природным наречием» [Розанов 1839: 23][203].

Очевидно, что эта сторона жизни Эстонии, не вписывающаяся в европейские нормы, Розанова волнует мало. И причина здесь не в отсутствии у него аналитических способностей или, по меньше мере, не

[203] Появляются в тексте путеводителя и эстонские слова, но в весьма своеобразной огласовке. Например, слово «смотрительница» передается комбинацией одного эстонского и одного немецкого слова: *койя муттер*.

только в этом, а в прагматике текста. Его путеводитель в первую очередь должен выполнить свойственную жанру рекламную роль (привлечь на ревельские воды отдыхающих, о чем автор недвусмысленно пишет в конце своего предисловия), но одновременно и культуртрегерскую: дать русским пример для подражания, убедить их в возможности жить по-другому, т.е. на европейско-немецкий *опрятный* манер. А местные крестьяне, хоть и чухонцы, для него такие же как свои, русские: с ними можно так же не считаться, по крайней мере пока они не взбунтуются.

«Путеводитель по Ревелю…» довольно хорошо демонстрирует некоторые фундаментальные особенности интересующего нас жанра: его рекламную природу и одновременно идеологическую нагруженность, когда и идеологический конструкт, и прием противопоставления «своего» и «чужого» (часто в форме принижения «своего» и восхваления «чужого») используется с рекламной целью.

«Путеводитель по Ревелю…», рекламировавший ревельский курорт, можно отнести к числу ранних «дачных» путеводителей, которые стали в большом количестве появляться с развитием дачно-курортной индустрии во второй половине XIX в. (что было связано и с развитием железных дорог), которая захватила и Эстонию. Например, Н. Федотов, рекламируя отдых на северо-восточном побережье Финского залива, пишет: «Порядок в Мэррекюле образцовый частью потому, что вы живете среди эстонско-немецкого населения, столь привычного к порядку и чистоте» [Федотов Н. 1889: 186].

Обратим внимание на важное изменение: если в первой половине XIX в. носителями порядка и цивилизации считались немцы, то теперь население описано как эстонско-немецкое с акцентом на коренной нации, которая также приобретает европейские черты.

И здесь мы сталкиваемся еще с одним, если угодно, противоречием, на сей раз этнографическим. Пока Эстония и вообще остзейские провинции описывались только как *немецкие* земли, часть *немецкой* цивилизации, зачинателями и носителями которой на этих территориях являлись немецкие купцы и рыцари и их потомки — остзейские немцы, описание провинций как европейских выглядело логичным. Упоминания об эпохах датского и шведского владычества в Эстляндии и Лифляндии также этой логики не нарушали. Однако в середине и второй половине XIX в. в связи со сменой культурной парадигмы акцент все более перемещался на коренное население. Росло число этнографических исследований, информация из которых все чаще попадала в путеводители. В них же о финно-угорских народах рассказывалось совсем не как о европейцах, а как о пришедших с Алтая родственниках вогулов

(манси), остяков (ханты), зырян (коми), вотяков (удмуртов) и др. [Риттих 1875: 25].

Любопытно, что это противоречие довольно легко разрешалось авторами русских путеводителей. В полном соответствии с исторической истиной они называют финнов и родственных им эстов (чудь) «северными аборигенами Европы» [Кашин 1858: 31]. Таким образом, появляется беспрепятственная возможность рассказывать об особенностях коренных народов европейских провинций Российской империи, выдвигая на первый план экзотику их образа жизни и происхождения. Автор одного из замечательных путеводителей по острову Сааремаа, врач и писатель Александр Петрович Кашин (1819–1869), принявшийся, по собственному почину, рекламировать сааремааские (эзельские) курорты и минеральные воды, так увлекся историей и этнографией острова, что почти забыл о своем основном предмете. Он с энтузиазмом рассказывает о разбойничьих нравах древних эстонцев — жителей острова Эзель и об их склонности к грабежу. Кашин везде называет их эзельцами, рассматривая, вполне в соответствии с местной традицией, как самостоятельную ветвь эстов; излагает местное народное предание о великане Тёле (Suur Tõll) [Кашин 1858: 32–33]. С уважением повествует автор о долгом героическом сопротивлении эзельцев немцам и датчанам, подробно фиксируя все их походы. Хотя он утверждает, что «о языческих верованиях эзельцев известно очень немного» [Кашин 1858: 38], но приводит сведения о древних эстонских божествах (Тара, Ванемуйне) и о злых духах. Особенно подробно рассказывает он о стойких языческих верованиях современных островитян: например, об обычае набрасывать дубины на том месте, которое считается жилищем подземных духов («maa-alused»), для их устрашения и др. Любопытны предания о подземных духах, кующих корону змеиному королю, о змеях, русалках и упырях, о странствии по земле душ умерших, которых не взяли ни в рай, ни в ад, сведения о тотемных животных, о шабашах ведьм. Есть и вариант так называемого основного мифа:

> Потеряв нож, крестьянин тотчас втыкает вместо него <в ножны> палочку, и вот по какой причине: во время грозы Юмаль преследует громом и молнией диавола. Встретив на лету пустые ножны, диавол влезает туда и таким образом избавляется от дальнейшего преследования [Кашин 1858: 44–45].

Приводит Кашин и параллели с русскими заговорами от зубной боли, а также с другими приемами народной медицины [Там же: 46–47].

Далее без всякого перехода в путеводителе следует описание Аренсбурга (нынешнего Курессааре) — приятного *немецкого* городка[204] с чистыми и хорошо вымощенными улицами, каменными домами под черепичными крышами. Становится очевидно, что в расчеты автора совсем не входило создание последовательного и непротиворечивого текста со строго определенной идеологией. Его привлекает занимательность, экзотика, он, тоже вполне в духе жанра, явно хочет возбудить своим путеводителем любопытство читателей. Для этой цели он включает и вполне «готический» рассказ о страшных заседаниях средневекового «тайного судилища» в аренсбургском замке [Кашин 1858: 48–51].

И все же даже в таком, как будто бы наивно-эпическом, повествовании можно выделить определенную тенденцию: *европейское* в остзейских провинциях — это не только немецкое и не только чистота и порядок. Европа — разная, и эзельские эсты под пером Кашина оказываются вполне сродни каким-нибудь вальтескоттовским шотландцам и другим «романтическим» народам Европы.

Обратимся теперь к «классическим» путеводителям. Серийные путеводители бедекеровского типа появились в России в 1880-е гг., вслед за тем как Российская империя была охвачена европейскими путеводителями — после того как появились первый справочник Мюррея (1860-е гг.) и первый бедекер (1883), посвященные России: «Handbook for Travellers in Russia, Poland, and Finland including The Crimea, Caucusus, Siberia and Central Asia» [Murray 1875; 3-е изд.], «Russland: Handbuch für Reisende von K. Baedeker» [Baedeker: 1888]. Описания в бедекерах справедливо характеризуются как беспристрастные и обобщенные («dispassionate and generalized» [Guidebooks 2003: 521]). Поэтому и в их заглавиях идея руководства заменена идеей справочника: но нейтралитет здесь все равно оказывается мнимым.

Хотя о путеводителях фирмы «Джон Мюррей» говорится, что они избегают эмоциональных и субъективных формулировок [Murray Handbooks 2003: 830], однако это верно лишь в тенденции. Процитируем, например, что пишется о завоевании Эстонии меченосцами в XIII в.:

> В полном соответствии с духом своего имени эти воинственные искатели приключений быстро расширили территории ганзейских городов. Не зная языка и презирая обычаи местного населения, они прибегали к мечу как к главному средству распространения истинной веры, чем и обеспечи-

[204] Автор отмечает, что из 3,5 тыс. жителей почти все немцы [Кашин 1858: 51].

> ли себе господство на побережье восточного моря <…> Все авторы соревнуются между собой в самых отталкивающих и варварских описаниях жестокостей, примененных по отношению к неверующим жителям этими христианскими завоевателями [Murray1875: 190].

Или же: «Захват Эзеля, где на удаленных скалах, в последнем убежище, укрылись лучшие и храбрейшие из ливонцев <…> упрочило могущество братства» [Там же]. В том же духе чуть ниже сказано и о Тевтонском ордене:

> Присутствие этих суровых воинов (вызванных на помощь меченосцам. — *Л.К.*) восстановило преимущество христиан на поле брани, и скоро эти новые пришельцы превзошли рыцарей меча в жестокости, сжигая целые деревни, которые снова впали в идолопоклонство, превращая, по словам одного из их же епископов, «людей, рожденных свободными, в жалких рабов» [Там же].

Вряд ли можно рассчитывать, что читатель не заметит антипатии к рыцарям и сочувствия к местным жителям. Кстати, о русских вторжениях в Ливонию у Мюррея говорится гораздо менее подробно (тут вступает в силу принцип отбора) и более сдержанно, что вполне соответствует общему духу этого путеводителя, проникнутого симпатией к России как к европейской стране с богатой историей и культурой. Об этом свидетельствует и вводный экскурс в историю [Murray 1875: 1–37], содержащий сжатый, но очень информативный очерк развития русской литературы.

В России серийные путеводители возникают только в 1880-е гг. Выпуски «Путеводителя по России» под редакцией Рафаила Попова, где описывалась и Эстония, вышли в свет в 1886–1888 гг. [Попов 1886; Попов 1888][205]. Издание было анонсировано как первый русский путеводитель по России, призванный заменить соотечественникам иностранные справочники, которыми они до сих пор были вынуждены пользоваться. На деле, как мы увидим, вышло несколько иначе.

[205] Замысел авторов охватить всю империю осуществлен не был, а опубликованные части переизданий не имели. Было бы интересно выяснить, с чем это связано — с отсутствием коммерческого успеха или с иными факторами. Рафаил Степанович Попов (1849–1913), сын священника и старший брат одного из изобретателей радио, окончил Пермскую духовную семинарию, был учителем латинского языка. Затем учился на восточном факультете Петербургского университета и сотрудничал в разных журналах, составлял путеводители. Вернувшись в Пермь, он активно занимался краеведением и изучением народной жизни. Однако это произошло уже после того, как он издал «Путеводитель по России», где, как мы увидим далее, не проявил глубоких знаний прибалтийского края.

Путеводитель организован по бедекеровскому принципу — по железнодорожным маршрутам, в результате интересующие нас Эстляндская и Лифляндская губернии (и даже отдельные их части) оказались в разных выпусках. Однако заимствованием модели дело не ограничивается. Правда, в предисловии к первому выпуску книга Бедекера [Baedeker 1883] обозначена как один из источников, которыми составители пользовались при создании своего текста. Однако подобная отсылка все же не предполагает дословного перевода многих страниц, да еще с добавлением ошибок и неточностей![206]

Издание являет собой яркий пример компиляции (вообще свойственной путеводителям), причем разные части (видимо, писавшиеся разными авторами) не всегда приведены в соответствие друг другу. Редактура проведена некачественно, встречаются опечатки, небрежности, показывающие не очень внимательное отношение к изданию[207].

Нас, однако, будет интересовать то, что сказано об Эстонии и эстонцах. И тут мы обнаруживаем поразительные несоответствия между первым и вторым выпусками путеводителя. Например, в первом о внешности эстов сказано:

> Эстонское население этой страны производит весьма приятное впечатление. Мужчины, женщины и девушки по боль-

[206] Например, автор русского путеводителя перевирает имя основателя Тарту (Дерпта): «Дерпт был основан в 1030 году русским великим князем Юрием Ярославичем <sic!>; он дал своей крепости название Юрьев-Ливонский или Юрьев-город; в хрониках он называется “castrum Tarbatum”» [Попов 1886: 333]. И вот как то же сказано у Бедекера: «Der russische Großfürst Juri Jaroslaw soll 1030 Dorpat gegründet haben; er nannte seine Veste Jurjew-Liwonsky oder Jurjewgorod, in den Chroniken kommt sie als “castrum Tarbatum” vor» [Baedeker 1888: 77] — цитируем по второму изданию, т.к. в тартуской библиотеке первое отсутствует. Можно было бы посчитать ошибку русского автора результатом простой небрежности при передачи немецкого текста, однако подобное утверждение уже встречалось в «Материалах для географии и статистики России, собранных офицерами Генерального штаба» [Веймарн 1864: 686]. Видимо, русский автор, на свою беду, решил воспользоваться еще и отечественным источником.

[207] Например, утверждение, что река Эмбах «замерзает от начала сентября до середины марта» можно было бы счесть географическим курьезом, если бы тут же не утверждалось, что она «под льдом бывает 131 день в год» [Попов 1886: 336], т.е. около четырех месяцев. Источник этих сведений — Бедекер — сообщает, что река замерзает в ноябре [Baedeker 1888: 75].

шей части обладают поразительной красотою. Рост мужчин несколько выше среднего; встречаются даже мужчины очень высокого роста. Русые волосы и голубые глаза преобладают [Попов 1886: 340].

Ср. то же у Бедекера:

Die esthnische Bevölkerung dieser Gegend macht einen sehr angenehmen Eindruck. Männer, Frauen und Mädchen sind meist auffallend hübsch. Der Wuchs der ersteren ist etwas mehr als mittelgroß; man findet sogar sehr hochgewachsene Gestalten unter den Männern. Blondes Haar und blaue Augen sind vorherrschend [Baedeker 1888: 78].

Во втором же выпуске говорится: «По наружности они (эстонцы. — *Л.К.*) были небольшого роста» — и далее настойчиво повторяется тезис о распространении глазных болезней от пребывания в курных избах [Попов 1888: 57]. Очевидно, что такое противоречие связано с некритическим заимствованием из разных источников.

Первый выпуск вообще более благосклонен к эстонцам, чем второй. Например, фонетике эстонского языка вслед за Бедекером отдается преимущество перед русским и балтийскими языками:

Эстонский язык, отрасль финской семьи алтайскаго отдела языков, на котором говорят в Эстляндии и Лифляндии почти 600 000 человек, в общем, благозвучен; в нем нет ни суровых, плотных (должно быть: полных. — *Л.К.*), глубоких тонов, как в русском языке, ни лишенного звучности, визгливого и пискливого акцента, как в языке латышей и литовцев. Скорее эсты имеют сильный, звучный, но приятный и мягкий орган [Попов 1886: 340][208].

Подробное описание жилища эстонского крестьянина также полностью позаимствовано у Бедекера:

[208] Ср.: «Die *esthnische Sprache*, ein Zweig der finnischen Familie des altaischen Sprachstammes, in Livland und Esthland von etwa 600 000 Menschen gesprochen, ist im Ganzen wohltönend; sie hat weder den rauen, vollen, tiefen Ton in dem die Russen, noch den metallossen, weinerlichen und piependen Accent, in welchem die Letten und Litauer sprechen. Vielmehr haben die Esten ein kräftiges klangreiches, aber angenehmes und geschmeidiges Organ» [Baedeker 1888: 78].

Эсты располагают свои жилища одно подле другого, так что постройки образуют довольно обширные деревни; но один двор устраивается ими рядом с другим не по плану, как это делается у русских, а безо всякого порядка, как придется. Церкви располагаются не посреди поселений, но совершенно отдельно; вблизи их устраиваются деревянные помещения, которые служат убежищем для прибывших из отдаленных мест богомольцев в случае дурной погоды. Внутренность эстонского двора состоит из главного строения и из лежащих напротив этого строения двух или трех, имеющих форму комнат домиков, с одной стороны летней кухни или летнего дома, с другой стороны хлева или конюшни. Главное строение представляет собою состоящий из нескольких частей деревянный дом с высокою соломенною крышей. Вот эти части, которые можно различить и снаружи: передняя комната (тоа эдине <sic!>) с ткацким станком, первая комната с ручною мельницею (весккиви), вторая комната или спальня, главная комната (тубба), в которой летом не живут. Лежащие против главного строения комнаты (аит, аида) составляют помещения для платья и пищи, построенные более высоко. Летняя кухня (хода) представляет собою тесную, деревянную хижину, **служащую также для приготовления сыра**[209] [Попов 1886: 319–320].

Ср.:

Die Esthen leben **nicht wie die Letten** in einzelnen Gehöften gesondert, sondern sie legen ihre Wohnungen neben einander zu großen und weitläufigen Dörfern, doch nicht planmäßig, wie die Russen, vielmehr reiht sich ohne Ordnung und wie es der Zufall fügt ein Gehöft an das andere. Die Dorfkirchen stehen nicht in der Mitte der Ortschaften, sondern, **wie die Finnland**, ganz einsam; in der Nähe Holzbuden als Zufluchtsort der entfernteren Kirchenbesucher bei rauem Wetter. Das Innere eines esthlischen Gehöftes besteht aus dem Hauptgebäude, dem gegenüber zwei oder drei kammerartige Häuschen liegen; auf den einem Seite die Sommerküche oder das Sommerhaus, auf der anderen die Ställe. Das Hauptgebäude ist ein aus mehreren Teilen bestehendes

[209] Выделенное нами место отсутствует у Бедекера.

> hölzernes Haus mit hohem Strohdach. Die Teile, auch von außen unterscheidbar, sind: die Vorstube (toa edine) mit dem Weberstuhl **(teljed)**[210] die erste Kammer mit der Handmühle (vesk-kivi), die zweite Kammer oder das Schlafgemach, die eigentliche Stube (tubba), im Sommer nicht bewohnt. Die dem Hauptgebäude gegenüberliegenden Kammern (ait, aida) sind Kleider- und Speisekammern, höher gebaut. Die *Sommerküche* (hoda) ist eine enge, hölzerne Hütte [Baedeker 1888: 72].

Русский перевод достаточно адекватен, но там, где Бедекер неточен в передаче эстонских слов (например, toa *edine* вместо *esine*, *hoda* вместо *koda*), переводчик воспроизводит их без изменения.

По ходу маршрута из Дерпта к Чудскому озеру, опять же по Бедекеру, излагаются «эстонские саги» о Калевипоэге [Попов 1886: 342–344], упоминается и Ванемуйне, который, как и в финской мифологии, «означает то бога мудрости, волшебства, песни и т.д., то сына бога, то исполина, то человека-героя» [Там же: 343].

Однако во втором выпуске того же самого путеводителя имеется специальный раздел «Латыши и эсты» (см.: [Попов 1888: 54–59]), посвященный сравнению характеров двух соседних народов. Этому тексту мы не нашли точного соответствия у Бедекера[211], хотя сам принцип сопоставления двух или нескольких народов (эстонцы, латыши, финны, русские) проходит через весь немецкий путеводитель.

В разделе «Латыши и эсты» преимущество отдается латышам. Как это было традиционно для первой половины XIX в., добродушные и веселые латыши вызывают у русского автора бóльшую симпатию. При этом явно проглядывает тенденция сблизить латышей со славянами по языку («*По языку* латышское племя принадлежало к великому индославяно-германнскому семейству <…> Латыши ближе подходят к славянам, чем к германцам» [Попов 1888: 55]) и даже утверждать, хотя и гипотетически, со ссылкой на авторитет Ватсона и Бэра, что они происходят от славян [Там же]. Другими словами, симпатия подкреплена и национально-политической тенденцией. Но одновременно автор с явным удовлетворением констатирует:

> В настоящее время латышская литература сделала большие успехи благодаря сознанию в народе своей национальности.

[210] Выделенные нами места отсутствуют у Попова.

[211] Только часть раздела, посвященная национальной одежде эстонцев, почти целиком переведена из Бедекера, ср.: [Попов 1888: 57–58] и [Baedeker 1883: 63–64].

> Кроме издающихся ежегодно дельных сочинений и переводов существует уже несколько латышских периодических изданий [Там же: 57].

Далее упоминается сборник латышских народных песен, изданный Спрогисом в 1868 г. [Спрогис 1868]. Ничего подобного об эстонцах не сообщается.

Характеристика эстонцев начинается с прошлого: «*Эстов* древние летописцы изображают людьми воинственными, свирепыми, сильными, коварными, мстительными, но в то же время храбрыми, твердыми в своем слове и упорными в сопротивлении врагам» [Попов 1888: 57]. Затем следует краткая характеристика жилища — тесные курные избы, где в одной комнате помещалась вся семья, потом идет подробное описание одежды, заимствованное из Бедекера. Основной мотив в характеристике эстонцев — неизменность быта: «Значительная часть современных эстов, как и их предки 600 лет назад, живут в курных избах» [Там же: 58]; «привязанность эстов к старине и древнему обычаю жизни такова, что зажиточные крестьяне живут так же, как бедные» [Там же: 59].

Прямое сопоставление с латышами сначала ведется явно не в пользу эстонцев: «В домашнем быту эсты не так опрятны, как латыши и женщины не столь нравственны, как у последних» [Попов 1888: 58]. Однако далее впечатление несколько сглаживается. Если латыши, с точки зрения автора, несколько «испортились» под влиянием цивилизации [Там же: 56], то эстонцы, напротив, «исправляются»: «С развитием образования дурные качества эстов все более и более сглаживаются, а хорошие ярче выступают наружу» [Там же: 58].

И все же главное качество эстонцев, согласно русскому путеводителю, — «это ненависть к немцам», она «не смягчается ни временем, ни другими влияниями» [Там же]. В отличие от «добродушного» латыша, который может скорее забыть обиду, «мстительный же эстонец не забывает ее никогда» [Там же: 59]. Автор объясняет это разницей национальных характеров двух соседних народов, которая проявляется и в отношении к роскоши: бережливый эстонец, в отличие от латыша, «снесет лучше лишний рубль в кредитное общество» [Там же].

В конце XIX в. авторы «Путеводителя по России», используя характерную для вадемекумов риторику, остаются в отношении коренных народов на уровне представлений прошедшей эпохи, тиражируют уже устаревшие взгляды. Однако издатели путеводителей в

этом отношении не составляют исключения. Еще на более низком уровне написана официозная брошюра по истории Прибалтийского края [Прибалтийский край 1870][212], предварительно публиковавшаяся по частям в консервативном «народном журнале» «Мирской вестник» в 1869–1870 гг.[213] Здесь мы встречаем аналогичные только что приводившимся описания народного быта, одежды и национального характера. Но тут тенденция выражена неприкрыто: без цивилизаторского влияния немцев-землевладельцев и русского правительства эта бедная земля обезлюдела бы [Там же: 27]. Эстонцы, как и 40 лет назад под пером Булгарина, выведены ленивыми и склонными к пьянству [Там же: 26, 29], бедными и грязными [Там же: 30], но не способными к преступлениям [Там же: 29]. Последнее утверждение звучит как прямая цитата из первого русского путеводителя по Ревелю 1839 г. [Розанов 1839: II].

Несоответствие подобных описаний происходящим в крае в конце XIX в. событиям очевидно. Из бедного крестьянского сословия здесь уже выросла национальная интеллигенция, появились печать, литература, театр, начались певческие праздники. Характерно, что Бедекер, хотя и не склонный особенно распространяться об эстонцах, быстрее реагирует на вызовы времени [Степанищева 2008]. Хорошего русского бедекера по Эстонии в имперскую эпоху так и не было создано, хотя по отдельным городам и регионам качественные вадемекумы все же появились [Исаков 2008].

Возможно, то обстоятельство, что полный и оригинальный русский бедекер по интересующему нас региону долго не появлялся, связано со спецификой читательской аудитории. Образованные путешественники в XIX — начале XX в. удовлетворялись немецкими пособиями, а многочисленные русские отдыхающие на балтийских курортах довольствовались локальными путеводителями. О том, что к 1910-м гг. потребность в русском бедекере по Балтии назрела, свидетельствует анонс фирмы «Русский Бедекер» Григория Москвича, намеревавшейся издать «Путеводитель по Прибалтийскому краю», но исторические события вмешались в этот процесс: Первая мировая война, немецкая оккупация значительной части территории Лифляндии, а также революция не способствовали процветанию туристического бизнеса. Он возродился уже в независимых республиках, тогда были созданы и «свои» путеводители на своих национальных языках [Пильд 2008].

[212] Авторы, не смущаясь, отождествляют литовцев, латышей и ливов (ср.: «На юге Лифляндии поселились разные литовские народы, известные под общим именем ***ливи*** или ***латышей***» [Там же: 46]). Латышам вообще поразительно везет в этом «труде» — они возводятся к «племенам индийским», неизвестно когда переселившимся из Индии [Там же: 47].

[213] Обратим внимание, что Рафаил Попов был одно время помощником редактора журнала «Мирской вестник». Журнал предназначался для крестьян и вообще для народного чтения, наряду с официальной информацией, касающейся крестьян, содержал популярные статьи об истории России, исторических деятелях, религиозно-нравственные материалы.

Подведем некоторые итоги. Как мы стремились показать, путеводитель — это не просто справочник для путешественников и туристов, помогающий им ориентироваться на местности и получить необходимую практическую информацию. Это — идеологический текст, в котором со- и противопоставление «своего» и «чужого» составляет один из организующих принципов, причем идеологическая природа приходит в противоречие с установкой на беспристрастность и объективность, принятой в путеводительном дискурсе. Именно своей идеологической составляющей путеводители влияли на образ того или иного региона или народа, которые складывались в читательском сознании.

Следует признать, что русские путеводители гораздо более идеологичны, чем их иностранные аналоги, на которые они ориентируются. Говоря о западных национальных окраинах собственной страны (не только об остзейских провинциях, но и о Польше, Финляндии), российские авторы строят их описания на со- и противопоставлении с русскими нравами, и часто — не в пользу метрополии. Они видят свою цель не только в том, чтобы представить описываемые ими регионы, но и хотят вызвать в читателях стремление по-другому взглянуть на родные места и собственные нравы, пробудить желание брать пример со «своей заграницы» и тем изменить хотя бы личное поведение. Путеводитель, тем самым, начинает выполнять несвойственную ему воспитательную (даже учительную) роль.

Что касается Эстонии и эстонцев, то здесь авторы путеводителей исходили из уже сложившихся в первой половине XIX в. стереотипов и не отражали происходивших в местных национальных культурах бурных изменений.

Путеводители по университетскому Тарту, изданные в имперскую эпоху, оказались гораздо более динамичными. Они создавались тартускими студентами уже в начале XX в., были адресованы молодежной аудитории и рассказывали о городе как об интеллектуальном центре, что наложило отпечаток и на восприятие эстонской культуры.

3.5. Об особенностях тартуских путеводителей

Путеводитель по конкретному городу возникает тогда, когда складывается достаточно обширная аудитория его потенциальных потребителей. Тарту не принадлежит ни к числу курортов, ни к числу массовых туристических объектов. В XIX в. проезжавшие через город путешественники довольствовались историческими трудами, путевыми очерками своих предшественников, стихотворениями Языкова[214] или же объяснениями местных «чичероне». Вплоть до конца XIX в. в Дерптский университет поступали в основном прибалтийские немцы, местные уроженцы, в пособии вademекума не нуждавшиеся. Первый русский путеводитель по Тарту появился, когда университет стал Юрьевским, с русским языком преподавания, и когда резко увеличился приток студентов из других регионов Российской империи. Автором издания стал Дмитрий Константинович Зеленин (1878–1954), будущий великий этнограф, который уже в студенческие годы дебютировал научными работами, ныне отмеченными в энциклопедиях [Зеленин 1901; Зеленин 1903]. Зеленин составил этот путеводитель в год своего окончания Юрьевского университета [Зеленин 1904][215]; через год было выпущено «Дополнение» [Зеленин 1905][216], а через пять лет — второе издание [Зеленин 1909][217].

Уже в заглавии подчеркивалась и специфика книги, и специфика города, где центром жизни и основным объектом притяжения являлся университет. Адресат этого комбинированного справочника понятен — потенциальные студенты, приехавшие из разных губерний России (как когда-то сам автор, выпускник Вятской духовной семинарии), не знакомые ни с городом, ни с краем, ни с университетскими порядками. С этим связан и подробный экскурс в историю студенческой жизни немецкого Дерптского университета, объяснения таких понятий, как «коммилитон», «гарантировать коман», «бурш», «фукс», «ольдерман»,

[214] См. тексты о Тарту в антологии: [Антология 2001]. О созданном Языковым мифе мы писали в предыдущей главе.

[215] На титуле имя автора не указано. Мы не знаем, являлся ли сам Зеленин инициатором издания или это был заказ местного книгоиздателя Эдуарда Бергмана, в типографии которого книга была напечатана. Цензурное разрешение было получено 21 июля 1904 г., а несколькими месяцами ранее в той же типографии был выпущен еще один замечательный путеводитель того же автора: [Зеленин 1904а].

[216] В конце брошюры, наряду с обычной в такого рода изданиях рекламой магазинов и товаров, была помещена и реклама самого путеводителя — выдержка из хвалебного отзыва о нем в ежемесячном приложении к «Ниве» за октябрь 1904 г.

[217] Любопытно, что второе издание более компактно, в нем нет ни списка домовладельцев, ни городского адрес-календаря, есть сокращения и в исторической части.

Wilder, Farben, Farbendeckel, Commers, Fuchszucht, Kneipe, Mensuren и др. [Зеленин 1909: 13–14]. Но этот очерк «Студенчество старого университета» имеет и отчетливо идеологическую нагрузку. Зеленин демонстрирует, как формировались в студентах чувство чести, независимости, солидарности, а также инициативность, уважение к традициям и другие качества свободной личности, которые автор хочет видеть и в адресатах своей книги.

Стараясь в целом соблюдать бедекеровские принципы, Зеленин все же отказывается от композиции по «маршрутам», а исходит в первую очередь из того, что может пригодиться чужаку для ориентации в университете.

Казалось бы, автор путеводителя, университетский человек, заинтересован в том, чтобы всячески привлечь потенциальных студентов, поэтому должен сообщать и о городе, и об университете по возможности только хорошее. Меж тем книга весьма и весьма критична. Уже начало текста не обещает ничего радостного:

> Не весел край, где приютилась дерптская Alma Mater.
>
> «Через ливонские я проезжал поля;
> Вокруг меня все было так уныло:
> Бесцветный грунт небес, песчаная земля, —
> Все на душу раздумье наводило» —
>
> Вот как описывает этот край «поэт-мыслитель»[218].
> Еще более печальны прошлые судьбы края, служившего яблоком раздора между соседними державами. Целые столетия здесь беспрерывно тянулись войны; кровь лилась рекою; страна постоянно переходила из одних рук в другие, — от русских к немцам, от немцев к полякам, от них — к шведам… [Зеленин 1909: 1].

Замечателен и эпиграф, избранный автором к своему сочинению. Это — цитата из надписи на известном тартуском «памятнике народам»,

[218] Уже то, что Зеленин не находит нужным называть имени Тютчева, очерчивает аудиторию его книги. Автор рассчитывает на то, что будущие студенты безусловно знают, за кем в русской литературе закреплено наименование «поэт-мыслитель», как и на то, что они хорошо помнят весь контекст стихотворения «Через ливонские я проезжал поля…», где говорится о «кровавом» и «мрачном» прошлом «печальной сей земли», о владычестве рыцарей, о рабстве коренного народа.

установленном в начале XIX в. на месте перезахоронения останков, найденных при подготовке фундамента для будущего главного здания университета, которое воздвигли на месте срдневековой Мариинской церкви и окружающего ее кладбища: «Здесь покоятся кости многих народов… На гробах их воздвигнул Александр новое обиталище муз». В сочетании с первым пассажем текста он приобретает почти зловещий смысл и, в свою очередь, бросает соответствующий отсвет на весь текст.

Обязательной частью путеводителя является сообщение о географии и климате. Так вот, и о тартуском климате не говорится ничего утешительного. С научными выкладками и ссылками на новейшие исследования университетских профессоров (в частности, Карла Шмидта о качестве воды в Тарту) Зеленин сообщает о том, насколько нездоров здешний климат и какие болезни распространены в городе: «В гигиеническом отношении гор. Юрьев похвалить нельзя. <…> В городе нет водопровода, между тем вода местных колодцев, не говоря о реке Эмбахе <…> крайне загрязнена <…>. Канализация отчасти устроена плохо». Далее говорится о сточных водах, которые проникают в почву, загрязняя питьевую воду, а также о вони от нечистот и гниющего пруда. Венчает картину список болезней:

> Среди городского населения сильно распространен туберкулез и некоторые венерические болезни (гонорея и сифилис); очень много больных глазами; хронический насморк и хронический катар гортани — обычные болезни, особенно у лиц, родившихся в другом климате <…>. В уезде свирепствует проказа [Зеленин 1909: 23–24].

Не менее жесток автор и по отношению к состоянию университета. Описание главного здания — совсем не восторженное и выдает точку зрения человека, для которого классицистический портик ассоциируется с казенщиной: «Обширное здание типа правительственных построек времен Александра I, с высоким фронтоном, подпираемым шестью тяжелым колоннами» [Зеленин 1909: 34][219]. Однако далее разворачивается еще более удручающая картина:

> Аудитории и другие помещения Юрьевского университета не отличаются внешнею роскошью. Напротив, обстановка очень проста, даже бедна. Особых раздевален нет: студенты раздеваются в холодном корридоре или же в самых аудиториях. Давно некрашенные полы, падающая с потолка штукатурка и т.п., все давно нуждается в капитальном ремонте. Главное же зло в том, что все помещения слишком тесны; они построены 100 лет тому назад, рассчитаны на незначительный состав слушателей — 30–40 человек, и теперь, с наплывом в университет громадной массы жаждущих знания юношей, оказываются недостаточными. На лекциях аудитории переполнены; многим приходится, за неимением места, стоять; воздух спертый, нередко духота, от которой у слушателей случаются и обмороки [Зеленин 1909: 35–36].

[219] Характерно, что классическую ротонду Старого Анатомикума того же архитектора Краузе (имя которого не упоминается) Зеленин считает своеобразной и красивой [Зеленин 1909: 50].

Аттестация, данная знаменитому медицинскому факультету, — тоже не самая лестная:

> Медицинские клиники в Юрьеве обставлены очень бедно. <…> Трупов и больных мало. По словам проф. В.Ф. Чижа (знаменитого психиатра. — *Л.К.*), «юрьевский медицинский факультет обставлен г о р а з д о беднее других наших медицинских факультетов во всех отношениях» [Зеленин 1909: 41].

Надо учесть, что в 1902 г. Императорский Юрьевский университет праздновал свое столетие (об этом событии мы еще будем иметь случай говорить в одном из следующих параграфов). Казалось бы, к юбилейным торжествам (о них см.: [Зеленин 1909: 10–11]) должны были сделать основательный ремонт главного здания, но этого не произошло. Автор намекает на то, что средства были потрачены на устройство церковной колокольни «на южной части здания» [Там же: 34]. Подробнее об этом говорится в первом издании путеводителя, где имеется и несколько двусмысленный комментарий: «Таким образом, Юрьевский университет оказался первым в России и пока единственным университетом, на главном здании которого возвышается церковная колокольня» [Зеленин 1904: 18]. Понятно, что казенный патриотизм вызывает у автора негативное отношение.

Однако критика в адрес города и университета вовсе не свидетельствуют об «очернительской» позиции автора. Так, об Анатомическом институте Зеленин пишет почти восторженно. Указав на богатую и редкую коллекцию препаратов, слепков, моделей, он добавляет: «Все

устройство залы носит на себе отпечаток глубокой старины и вместе какой-то идейной, серьезной простоты»; «Studiensaal, открытый для всех, желающих изучать анатомию, представляет собою нечто единственное в России» [Зеленин 1909: 50]. Столь же высокий отзыв дан сейсмическому отделению обсерватории: «Сейсмические приборы самые точные в России, отмечают малейшие колебания земной коры и дают знать о землетрясениях задолго до телеграфа» [Зеленин 1909: 47].

Но нас особенно интересуют те характеристики, которые Зеленин дает местной эстонской культуре. Информация довольно скупая, но характерная. Так, путеводитель по Тарту фиксирует издание в городе на эстонском языке газет «Postimees», «Isamaa», «Elu», «Rahva Päevaleht», «Põllu- ja käsitööleht» и журналов «Noor-Eesti», «Põllumees» [Зеленин 1909: 28], причем названия приводятся по-эстонски с переводом, а про журнал «Noor-Eesti» сказано: «Изд<ание> круга эстонских писателей». Среди городских клубов и спортивных обществ перечисляются один русский, 13 немецких и 11 эстонских, в том числе: Литературное общество для развития эстонской литературы, Педагогическое общество, Эстонский женский союз для развития женского образования. О клубе «Ванемуйне» говорится подробнее:

> Цель существования клуба — дать осмысленный отдых в праздничные дни трудящемуся люду. И это достигается только самодеятельностью членов клуба. Почти каждое воскресенье членами клуба ставится какая-либо пьеса-комедия, драма, «драма с пением» или даже оперетка. Все роли исполняются или членами клуба, или любителями, принадлежащими к тому же классу населения [Зеленин 1909: 31].

Есть сведения и об эстонских банках (Eesti laenu-ühisus), студенческих корпорациях и обществах. При этом Зеленин ясно различает «эстляндские» (что означает на деле немецкие) и собственно эстонские организации. Так, он пишет, что в корпорации «Эстония» состоят не эстонцы, а «эстляндцы», относительно же «Саккала», братства «Эстика» и Общества эстонских студентов уточняет, что это — объединения эстонцев [Зеленин 1909: 65]. К путеводителю приложен и небольшой русско-эстонский словарик-разговорник; кроме практических целей он выполняет и еще одну функцию — лишний раз подчеркнуть эстонскую составляющую города и его культуры.

Это — важная тенденция, которая особенно существенна в эпоху русификации. Автор явно непричастен к той сложной идеологической

игре, в которой положение коренного населения делается разменной монетой в антинемецкой официальной риторике. Для него характерно искреннее сочувствие и интерес к эстонцам. Для Зеленина Эстония — это не просто «русская заграница», русская Европа, которая еще так недавно описывалась как немецкая земля. Это край с трагической историей, где и «штатные европейцы» — немцы, шведы, датчане, — и русские являлись угнетателями и притеснителями и где ныне развивается новая и вполне европейская эстонская культура.

Следующий путеводитель по Тарту — «Настольная справочная книга учащихся в высших учебных заведениях и путеводитель по г. Юрьеву» (Юрьев, 1915) Александра Тюрьморезова[220]. Весьма высокопарно обозначив в посвящении «товарищам — учащимся в высших учебных заведениях г. Юрьева» цели своей книги:

> …да послужит она Вам <…> путеводной звездой в Вашей учебной жизни, да поможет наиболее правильно ориентироваться в очень сложном лабиринте знаний и да будет вечным приятным воспоминанием о Вашей almae matris и золотых днях молодости, проведенных в г. Юрьеве, —

он дает в руки своему читателю буквально маленькую карманную энциклопедию[221].

Симптоматично, что Юрьев и Юрьевский университет помещаются в широкий контекст: приведены курсы валюты других стран, расписа-

[220] Александр Павлович Тюрьморезов (1881–1930) приехал в Юрьев в 1913 г. с Дона и стал студентом медицинского факультета Юрьевских частных университетских курсов. В 1916 г. он был мобилизован в армию, что помешало ему завершить учебу. В 1918 г. он вернулся на родину, где его ждали аресты, лагерь, но в середине 1920-х гг. Тюрьморезов был освобожден, даже смог вновь поступить в университет, женился, но в 1930 г. умер от воспаления легких. До приезда в Тарту, будучи учителем 1-го донского четырехклассного училища, он уже успел опубликовать научно-популярную брошюру по виноградорству с длинным названием «О том, какие бывают и есть в настоящее время на Дону виноградные болезни, как их узнавать, как лечить и предохранять виноградники от заболеваний и как составлять всевозможные растворы (лекарства) для обрызгивания» (Константиновская н/Д, 1910. 19 с.). Появление нашей статьи о тартуских путеводителях на сайте «Рутения» стимулировало внучку Тюрьморезова Н.Б. Сажикову написать его биографию [Сажикова 2013].

[221] Знакомство с шестистраничным оглавлением впечатляет: от перечня членов императорского дома, табельных дней, «вечного» календаря, сравнительных таблиц времени, мер и весов до законов о воинской повинности и правил льготного проезда учащихся и пр., не говоря о подробнейшем описании условий поступления и обучения в Юрьевском университете.

ние движения поездов по всей России с указанием расстояний и цен на билеты. Тюрьморезов все время сравнивает город на «немецкой» окраине империи с привычной для своих потенциальных читателей обстановкой, с их родиной:

> Центр города почти не отличается от наших благоустроенных уездных городов: те же каменные 3-, 4-этажные дома с магазинами в нижних этажах, такие же тротуары, так же мощены улицы; но если взглянете вверх, то заметите разницу: у нас под крышами (на чердаках) живут голуби, воробьи да кошки устраивают прогулки, а здесь живут люди, и люди эти, будущий цвет России — студенты. От центра во все стороны тянутся окраины города, застроенные однообразными деревянными 2-, 3-этажными домами балаганного типа и коридорной системы с своеобразными крышами, крытыми просмоленным картоном, или толем, со вставленными в них окнами, выходящими из чердачных помещений. Помещения эти, так называемые голубятни, имеют внутри вид больших гробов и наводят без привычки к ним тоску. У меня были два приятеля — студенты, которые жили в таком чердачном помещении и беспросыпно пили. Когда их спрашивали, почему они пьют, то отвечали: «Придешь домой и чувствуешь, что сидишь в гробу, нападает тоска, не хочется заниматься, — оденешься, уйдешь и напьешься» [Тюрьморезов 1915: 109].

О более чем скромном быте русских студентов пишет и Зеленин: «Вообще, русское студенчество города Юрьева живет не богато, точнее — прямо бедно. Найти в Юрьеве русскому студенту заработок крайне трудно» [Зеленин 1909: 72], т.к. местных языков, и в частности, эстонского, он не знает, и вообще предложение «интеллигентного» труда превышает спрос. Однако никаких пессимистических выводов из этого не следует. Далее автор подчеркивает разницу между русской и прибалтийской точками зрения на университетское образование: остзейцы считают, что «беднота» «не должна соваться в университет», русское общество «смотрит на дело иначе». В результате число русских студентов в университете растет, а различные организации и частные лица в России начинают жертвовать средства на стипендии и пособия юрьевским студентам [Там же].

Подчеркнем еще раз, что наши авторы тартуских путеводителей сообщают немало положительного, даже очень привлекательного и о

городе, и об университете[222]: видно, что они оба любят свою alma mater и благодарны ей. Но нам важно сейчас понять, откуда столько критики, почему авторы, казалось бы, рекламных изданий не боятся включать в таком объеме «негатив» в свой текст. Отчасти это — дань бедекеровской традиции, культивировавшей «объективную» точку зрения на описываемые объекты, но не только ей.

Думается, что в тартуских путеводителях подобная позиция связана, в первую очередь, с ориентацией на конкретную аудиторию. Авторы уверены, что «их» читатели — раз уж они решили преодолеть сотни километров и приехать в этот чужой, немецкий край, так и не ставший окончательно «своим» для империи, в состав которой входил к тому времени уже двести лет, критики не испугаются, она их как раз «закалит». Проявляется коммуникативная установка на разговор с коллегой — в читателе-«собеседнике» предполагается наличие самостоятельной (и критической) позиции, свойственной молодым и прогрессивно настроенным людям: студенты в начале XX в. были аудиторией оппозиционной по отношению к властям — как государственным, так и университетским. Путеводитель Зеленина особенно выделяется в этом отношении. Если Тюрьморезов, писавший в период Первой мировой войны, занимает официозную антинемецкую позицию, то Зеленин как раз не зачеркивает положительной роли немецкого периода ни в истории города, ни в истории университета. Его раздражает местный консерватизм, препятствующий движению вперед, и, напротив, радуют отступления от официальных предписаний. Достаточно сравнить отношение к матрикулу и к форменной одежде: «Матрикул — удостоверение университетского начальства <…> это маленькая и, в сущности, ни для чего не нужная бумажка, за которую надо уплатить шесть рублей. Во всех прочих университетах России матрикулы давно отменены» [Зеленин 1909: 39]. Ср.: «Пальто форменное, по существующему в Юрьеве usus'у (но не по правилам), для студентов не обязательно. Студенческие мундиры здесь крайне редки» [Там же: 40].

Читателю путеводителя выражается доверие: его не надо водить на помочах, агитировать и бояться, что он не поступит в университет, если ему сообщить, что аудитории в нем обшарпанные или бытовые условия не самые лучшие (он ведь сам это увидит!). Такой читатель, по мнению автора, будет ориентироваться в обстановке с наибольшей для себя пользой, а если поступит в другой университет — и что ж! — это его право, его выбор.

[222] Не случайно Зеленин приводит статистические данные о том, сколько выдающихся деятелей в самых разных сферах, в том числе 210 академиков и профессоров, дал России Дерптский университет в XIX в. [Зеленин 1909: 16–17].

Другая авторская установка — «изнутри» объекта. Она также не обязательно апологетична, но все же стремится представить объект с выгодной стороны, а критика (часто скрытая) направлена на другие стороны. Вообще, отметим, что установка на диалог, *внутренний* полемизм делает путеводитель особенно увлекательным чтением, но тут необходимо, чтобы читатель был более осведомлен в контексте.

Поэтому далее, «перепрыгнув» почти через столетие и через довольно стандартные советские издания[223], обратимся к современному эстонскому путеводителю по Тарту, переведенному на русский, немецкий и английский языки, — к книге известного филолога и историка Малле Салупере «Тысячелетний Тарту: Город молодости» [Salupere 2004][224]. Она возвращает нас к бедекеровской идее «прогулок» по городу.

М. Салупере не скрывает субъективной точки зрения: в предисловии она подчеркивает, что в своем рассказе о Тарту не пыталась объять необъятное, а хотела рассказать о том, что существенно для нее в этом городе и его судьбе. И адресат также обозначен: это не только туристы и приезжие, но и сами тартусцы, в которых, по мнению автора, новые знания о родном городе поддержат чувство идентичности и собственного достоинства[225]. В этом месте меняется грамматика: появляется «мы» («meie identiteet» — наша идентичность), т.е. автор объединяет себя и читателя в одно целое. Как будто бы наблюдается схождение с позицией Зеленина и Тюрьморезова (автор и читатель — коллеги и союзники), но это не совсем так: у Салупере и автор, и читатели-тартусцы как бы объединяются с объектом описания — с городом, частью которого они являются (житель = город, точнее — его своеобразная метонимия).

Если сравнить все путеводители по Тарту (не только упомянутые здесь), то легко убедиться, что корпус фактов в них будет повторяться, хотя отметим, что в книге Салупере много новаций и чисто фактографического характера, это оригинальный труд, несмотря на «популярную» форму, в которую он облечен. Но нас сейчас интересует угол зрения,

[223] Разумеется, и советские путеводители по Тарту требуют внимательного изучения с привлечением подробного исторического и культурного контекста, но это должно стать предметом специального исследования.

[224] Русское издание вышло в свет в 2005 г., немецкое — в 2006-м, английское — в 2007-м. Все версии неоднократно переиздавались.

[225] Такая установка весьма часто встречается в путеводителях. Она характерна и для старого «Путеводителя по городу Вильне и его окрестностям» [Виноградов 1907], и для современного московского путеводителя: «Нет ничего лучше, чем почувствовать себя восторженным туристом в родном городе, это <…> очень правильное и полезное чувство, потому что никто толком не знает город, в котором живет» [Москва 2006: 9].

интерпретация фактов. Так вот, в книге «Тысячелетний Тарту», где читатель призван почувствовать себя частью города и его истории, акцент сделан не на недостатках, а на трагичности судьбы, которую город с достоинством выдержал и продолжает идти вперед, несмотря на все выпавшие на его долю испытания. Салупере специально задерживает внимание читателя на том, что внешний архитектурный облик Тарту обманчив — бродя по центру, никак не скажешь, что это древний город. Его древность спрятана в недрах земли, только археологические раскопки способны подтвердить ее.

Основная концепция М. Салупере выражена в заглавии: Тарту — это город с тысячелетней историей и вместе с тем вечно молодой город студентов, науки, интеллектуальный и культурный центр Эстонии, центр ее национальной культуры, где зародились все основные начинания периода национального возрождения и дальнейшие инициативы по становлению независимой республики и ее культуры. Автор называет Тарту культурной столицей Эстонии, и это ясно показывает, что точкой отсчета, с которой постоянно соотносится Тарту, является Таллин (самый яркий пример — это рассказ о судьбе двух городских крепостей, их стен и башен). Важно отметить, что это корректное со- и противопоставление — не только выражение давней конфронтации двух городов (подобной борьбе Петербурга и Москвы), но и явный спор с современными эстонскими политиками и правителями, которые задвигают город «на задворки», пытаясь превратить конструктивную биполярность в таллинский моноцентризм.

Как и ее предшественники, Малле Салупере помещает Тарту в контекст европейской истории, текст путеводителя открывается таблицей, где приведены сравнительные данные о дате основания городов северо-восточной Европы. Однако основной акцент сделан на проблеме, так сказать, Запад — Восток: немецкая, польская, русская (от Древней Руси до Российской империи) и советская составляющие в истории *эстонского* города Тарту. И здесь автор в корректнейшей форме полемизирует с мифами романтической национальной историографии: о «золотом» шведском времени, об упадке, до которого довела город Россия, о разрушениях времен Второй мировой войны, которые якобы причинила только советская армия, и пр. «Отрезвляющий» эффект путеводителя очень значителен — для тех, кто способен читать и воспринимать то, что написано.

Полагаем, что книга Салупере — это первый подлинно *эстонский* путеводитель по Тарту, однако эстонская точка зрения не означает здесь конфронтации, узкой идеологической ангажированности. Есть

попытка спокойного, объективного анализа. Эта книга, как и всякий хороший путеводитель, «идеологична», но это идеология «открытого общества».

Как мы пытались показать, тартуские путеводители вполне вписываются в жанровую парадигму вademекумов — текстов с определенной прагматикой и коммуникативной стратегией, в которых сложно переплетаются научно-популярный, рекламный, идеологический дискурсы. Рассмотренные нами путеводители по Тарту, с одной стороны, отражают специфику города, для которого в какой-то (и относительно поздний) момент его истории центром жизни стал университет. С другой стороны, сами путеводители целенаправленно формируют у читателей образ Тарту как «ливонских / эстонских Афин», неизменно выполняющих эту роль, несмотря на трагические перипетии истории. Так путеводители, независимо от личных установок их авторов, участвуют в создании и развитии «тартуского мифа».

3.6. Эльва как пригород Тарту и дачный локус

Как уже было сказано выше, в конце XIX в. в Российской империи начался дачный бум. Собственно, это был уже второй бум, так называемый демократический, в отличие от первого — аристократического — который разразился в конце 1820-х — начале 1830-х гг. (особенно после эпидемии холеры 1830 г.). Он совпал с общеевропейским движением «ins Grüne» — когда с бурным развитием городов и железных дорог не только аристократы, но и буржуазная и демократическая публика (купцы, чиновники, интеллигенты и даже рабочие), уставшие от городской суеты и духоты, устремились в летний период на природу.

Проект чеховского Лопахина из «Вишневого сада»: «Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если <…> землю <…> разбить на дачные участки и отдавать в аренду под дачи, то будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода» [Чехов 1963: 616] — еще раньше, задолго до создания пьесы, был осуществлен в эстонском местечке недалеко от Тарту. В конце 1880-х гг. оно получило название Эльва. Местные помещики, прибалтийские немцы фон Зейдлиц и фон Фукс, оказались расчетливее владельцев вишневого сада и ответили на вызов времени не так, как Раневская Лопахину: «Дача и дачники — это так пошло, простите» [Чехов 1963: 629]. Когда была построена железная дорога из Тарту (Дерпта) в Ригу, Зейдлиц и Фукс разбили свои земли близ

живописных озер Арби и Вереви на дачные участки[226]. Их примеру вскоре последовали местные хуторяне, и постепенно дачник, как и предрекал Лопахин, «размножился». Справедливости ради заметим, что помещикам не пришлось тесниться — участки находились «на задворках» их имений Меэри и Удерна, зато Эльва из забытого Богом заболоченного угла (как назвал ее Яан Кярнер) превратилась сначала в поселок (1923), а затем в город (1938).

Сначала дачные участки отдавались в аренду; наиболее обеспеченные арендаторы строили на них собственные, так называемые владельческие дачи, а со временем выкупали и землю. Иногда дома строили сами землевладельцы и затем сдавали внаем либо весь дом, либо отдельные комнаты (так называемые наемные дачи). Как бы там ни было, уже к концу 1900-х гг. Эльва покрылась характерными «немецкими» дачными домиками в стиле модерн — с башенками, мезонинами, а также с верандами, террасами, где можно было пить чай или кофе на открытом воздухе. Украшались дома в зависимости от достатка владельца, вокруг иногда разбивался сад[227] (как вокруг дачи Шурупова[228]). Открывались и пансионы; один из первых располагался на центральной улице (теперь на этом месте — краеведческий музей Тартуского региона); возникли гостиницы, рестораны, кафе. В гостинице-ресторане «Elwa» долго снимала комнату эстонско-финская писательница Айно Каллас.

Разумеется, задолго до строительства железной дороги (эльвский вокзал был открыт в 1889 г.) эти места были в той или иной мере обитаемы. Как показали археологические раскопки, предпринятые в 1936 г. в Эльвском регионе профессором Харри Моора, в районе нынешних Пеэду — Вапрамяэ находилось городище древних эстов (примерно VI–XI вв. н.э.). В Средние века земли перешли в руки немцев. По со-

---

[226] Наиболее подробные сведения об истории и быте Эльвы см. в книге эстонского писателя и эльвского старожила Яана Кярнера [Kärner 1931]. См. также содержательный буклет: Elva kultuuriloolised rajad. Elva, [s. a.]. Информация об истории города имеется и на интернет-сайте: Elva vald. URL: http://www.elva.ee (дата обращения 9 августа 2018 г.).

[227] Я. Кярнер отмечает [Kärner 1931: 16], что для сада при даче Шурупова пришлось возить землю за десятки километров, так как участок был сплошь песчаным с редким сосняком. Теперь от этого сада не осталось и следа.

[228] Иван Захарьевич Шурупов (1870–1918) — выпускник тартуского Ветеринарного института, защитил в Тарту диссертацию на степень магистра ветеринарных наук (1900), был сверхштатным сотрудником бактериологической лаборатории. Основным местом его работы была Особая лаборатория по заготовлению противочумных препаратов при Императорском Институте экспериментальной медицины, которая располагалась в Кронштадте [Эйзен 1900].

хранившимся данным, в XV в. в округе нынешней Эльвы располагались поместья Конгута, Меэри, Удерна. В XVII в., в период шведского владычества, был проложен почтовый тракт между Дерптом и Ригой, и примерно в 1645 г. была построена почтовая станция Удерна (на месте современной эльвской гимназии).

Большая история в основном обходила Эльву стороной, но Северная война оставила здесь свои следы. Разрушенная почтовая станция была, согласно преданию, восстановлена по приказу Петра I. Эльвские легенды сохранили память об обоих героях Северной войны — о Карле XII и о Петре I. В районе озера Арби до сих пор существует сосна, якобы посаженная шведским королем, и другая, якобы посаженная русским царем. Так противники оказались уравнены в народной памяти.

И все же вплоть до конца XIX в. великие мира сего лишь проезжали сквозь будущую Эльву по почтовому тракту Петербург — Рига, а местная жизнь была сосредоточена вокруг комплекса почтовой станции Удерна, заново отстроенного в 1836 г. От тех времен до наших дней сохранились домик почтальонов и корчма. Во второй половине XIX в. неподалеку возник магазин и несколько домов на достаточном расстоянии друг от друга. Вот и все.

Рождение Эльвы как дачного локуса совпало, как уже было сказано, со вторым дачным бумом в России, который был связан с ростом городского населения и резким ухудшением экологической обстановки в городах. Дачная Эльва была тогда всецело связана с Тарту, от которого отстоит на 24 версты. Казалось бы, жители такого небольшого города, как Тарту, не должны были нуждаться в дачах. Но если вспомнить описание гигиенического состояния города в начале XX в. [Зеленин 1909: 23–24], которое мы цитировали в предыдущем параграфе, то нет ничего удивительного в том, что тартуские жители стремились вырваться из вони от нечистот и гниющего пруда и пр. в чистую зеленую Эльву, с ее прекрасными озерами и чистой водой [Зеленин 1909: 103].

Однако кроме гигиенических соображений не менее сильным двигателем дачного бума повсюду, в том числе и в Тарту — Эльве, был фактор социальный: соображения моды и престижа. Находиться летом в городе становилось знаком бедности, материального неблагополучия, дача — особенно владельческая — сделалась символом достатка, а для недворян — причастности к «господской жизни».

Первыми эльвскими дачниками стали те, кого эстонцы называли «võõrkeelsed saksad» — т.е. «иноязычные господа», другими словами немцы и русские. Но за ними тотчас потянулись в Эльву богатые или просто обеспеченные эстонцы: купцы, мещане, хуторяне. Одни из них

стремились вырваться из «низшего» сословия и сделаться «господами» хотя бы на лето. Характерно, что народ прозвал дачников «suvisaksad» [Kärner 1931: 9], т.е. «господа на лето». Тогдашний эстонский язык хорошо вскрывает семиотическую природу феномена дачника, его временный, недолговечный, в каком-то смысле хрупкий статус. Этот оттенок присутствует и в литературном эстонском слове «suvitaja», что в точном смысле означает «проводящий лето».

Другую группу эльвских поселенцев разных национальностей составили мелкие лавочники (мясники, пекари, зеленщики), ремесленники и крестьяне, которые арендовали или покупали землю, строили дома, чтобы сделать здесь свой бизнес — сдавая комнаты и обслуживая дачников. Они не принадлежали к категории дачников, хотя без них существование дачников было бы невозможно.

Однако классический тип дачника того времени, не озабоченного хозяйством и бизнесом, а занятого отдыхом или культурным досугом (другое дело, что под этим подразумевалось), составляли тартуские врачи, провизоры, юристы и, конечно, университетские профессора. Так в конце 1900-х гг. в районе Большого озера (Вереви) возник так называемый профессорский городок[229]. Первым обитателем стал Шурупов, затем по соседству выросли дачи профессора математики Виссариона Григорьевича Алексеева (1866–1943; в 1910–1913 гг. ректор Тартуского университета), профессора патологической анатомии Вячеслава Алексеевича Афанасьева (1859–1942) и знаменитого химика, профессора фармации Ивана Лаврентьевича Кондакова (1857–1931). В советское время эти дачи частично использовались под пионерский лагерь.

Судьбе было угодно, чтобы в 1920–30-е гг. для некоторых профессоров дачи в Эльве превратились в жилье и даже в источник дохода. Изобретатель синтетического каучука профессор И.Л. Кондаков с 1921 г. до своей смерти постоянно жил в Эльве и был в 1931 г. похоронен на эльвском кладбище у Тихого озера (кладбище было основано в 1924 г.). У Кондакова снимал комнату эстонский драматург Хуго Раудсепп (Viktor Paul Hugo Raudsepp; 1883–1952). Теперь дорожка, ведущая к бывшей даче Кондакова (дом сгорел в начале 2000-х гг.), названа улицей Раудсеппа, умершего в сибирском лагере[230]. Алексеевы, особенно сын профессора художник Виктор Алексеев (1902–1945), жили в Эльве не только в дачный сезон. У Шуруповых комнаты сдавались очень активно, и в основном доме, и в хозяйственных постройках. Там снима-

[229] См. об этом: Professorite linnaosa // Elva vald. URL: http://matkakeskus.elva.ee/turistile-infoks/professorite-linnaosa (дата обращения 9 августа 2018 г.).

[230] В Эльве установлен и бюст Х. Раудсеппа.

ла дачу и семья будущего тартуского поэта и корреспондента Бунина Веры Владимированы Шмидт (1915–2000). Эльва описана в ее стихах как обетованное место — царство солнца, сосен, диковинных птиц, как символ счастливого детства [Шмидт 2015].

Но вернемся еще ненадолго к начальному периоду Эльвы как дачного локуса. Ее природа и климат оказались благоприятны для отдыхающих, несмотря на то что низины, особенно около Малого озера (Арби), еще не были тогда осушены. В Эльве можно было предаваться традиционным дачным занятиям: прогулкам *ins Grüne*, собиранию грибов и ягод (или же покупкой того и другого у местного населения), лежанию в гамаке, катанию на лодке (купание входило в моду постепенно — характерно, что купальня с вышкой была построена только в 1930 г.), ловле рыбы. Рестораны с музыкой, променад на перроне при встрече прибывающих поездов, прогулки в привокзальном скверике и по центральной улице до почтовой станции предоставляли возможность для светского общения: людей посмотреть, показать себя и новые туалеты, раскланяться со знакомыми, при желании завязать новые знакомства. Однако на таких променадах происходила и встреча цивилизаций и культур. Как вспоминал о своем отрочестве Яан Кярнер, он и его сверстники, деревенские парнишки, не могли противостоять искушению каждый день отправляться на вокзал вместе с городской «господской» публикой, не отдавая себе отчета в том, что, собственно, их привлекало. Однако писатель Я. Кярнер, анализируя прошлое, писал о том, что это и было началом «контакта между городом и деревней», принесшего впоследствии как положительные, так порой и разрушительные, с его точки зрения, плоды для эстонской культуры. Обслуживание дачников сделалось источником дохода для окружных крестьян; многие из них стали также строить дачи на своих земельных участках. Именно дачи и дачники способствовали не только развитию инфраструктуры Эльвы, но и приобщению местных эстонских крестьян к городской цивилизации и культуре.

Конечно, Эльва возникла и долго продолжала оставаться дачным локусом местного значения. Здесь не было ни моря, ни лечебных грязей, как в Пярну, Хаапсалу, Курессааре. Местоположение Эльвы нельзя было сравнить с близким к Петербургу восточным побережьем Финского залива с его чудесными курортными поселками Гунгербург (Нарва-Йыэсуу), Меррекюль, Силомяки, где выстроили себе дачи многие петербургские высокие чиновники и деятели культуры [Исаков 2008].

Более поздняя статистика 1930-х гг., времени первой Эстонской Республики, дает нам следующие данные: если в Пярну, самом дорогом и престижном курорте Эстонии, за сезон отдыхало до 3 тыс. иностранцев,

в Нарва-Йыэсуу — 2,5 тыс., в Курессааре — 2 тыс., то в Эльве иностранцы исчислялись всего лишь сотней, хотя общее число дачников — эстонских граждан — приближалось к 1,5 тыс. Однако если использовать старую классификацию дач по принципу «комильфотности», которую приводит в своей книге классик дачной темы Вл. Михневич [Михневич 1887: 14], Эльва могла быть отнесена к категории «просто comme il faut»: до «вполне comme il faut» она не дотягивала, но и в класс «fi donc» не попадала.

Дачный локус как место встречи культур — городской и деревенской, немецкой, русской и эстонской — за несколько десятилетий сделал Эльву одним из видных центров эстонской литературы и культуры. Здесь выходили не только свои газеты (в 1930-е гг. это «Elva Elu», «Elva Sõna», «Elva Suvituselu», «Elva Noorsoolane»), поэтические сборники и книги, но и редактировался центральный эстонский литературный журнал «Лооминг» (1927–1929). Аннотированный указатель известных деятелей эстонской культуры, связанных с Эльвой, занимает целую книгу [Mälberg 1995][231]. Эльва стала и объектом изображения в эстонской литературе. Из наиболее значительных сочинений, в которых отразилась Эльва как дачный локус, назовем роман Яана Кярнера «Содомская хроника» («Soodoma kroonika», 1934) и комедию Хуго Раудсеппа «Розовые очки» («Roosad prillid», 1934).

Советский период был для эльвского дачного локуса временем расцвета, несмотря на препятствия, которые чинила советская власть дачному бизнесу. Феномен прибалтийского дачного бума в СССР 1950–80-х гг. захватил и Эльву. Она явно повысилась в статусе. В советских условиях иностранцев в ней, конечно, не было и быть не могло, но людей «из Советского Союза» (как по традиции называли местные русские всех приезжавших в Эстонию из-за пределов ее старой восточной границы) было более чем достаточно. В основном из Ленинграда[232] и Москвы, но и из самых экзотических мест, вплоть до Новосибирска. Транспортные возможности были достаточно благоприятны, особенно для неизбалованного советского человека. Из Ленинграда можно было добраться автобусом до Тарту, а далее на автобусах или поездах, которые ходили часто и исправно. Из Москвы в Тарту ежедневно прибывал поезд. Приезд на своей машине был случаем более редким, но в поздние советские годы расширились и эти возможности.

[231] См. русский путеводитель по Эльве, из которого столичные дачники черпали свои сведения о городе, его истории и достопримечательностях: [Суур 1971].

[232] Это отразилось в песне тартуского математика Я.А. Габовича: «По Питеру молва пошла, / Что есть такой курорт “Эльва́“».

Летом русский язык явно доминировал на улицах Эльвы. Среди дачников было много евреев, поэтому для части местных жителей понятия «juut» (еврей) и «дачник» надолго стали синонимами (хотя нередко определение «еврей» отнюдь не совпадало с реальной национальной принадлежностью дачника).

Советская власть не поощряла дачного бизнеса, но и поделать с ним ничего не могла. Официальных «здравниц» (санаториев, домов отдыха, пансионатов) явно не хватало. В Эльве существовал небольшой ведомственный пансионат для работников торговли, пионерский лагерь — и этим дело ограничивалось. Поэтому местные жители сдавали внаем под дачи все возможные помещения. Даже когда им не удавалось укрыться от налогов (соседи из зависти стучали друг на друга «куда следует»), то доходы все равно были таковы, что давали возможность безбедно существовать потом целый год до следующего сезона, а то и отложить копейку на черный день.

По сравнению с подмосковными и питерскими дачными поселками Эльва была менее перегружена и более цивилизована. Конечно, продовольственные трудности встречались и здесь — очереди «за колбасой» и скандалы в этой очереди ее не обошли. Число дачников летом приближалось к числу жителей города. Это обостряло и без того непростые проблемы с едой, т.к. квоты «на колбасу» (дивная реалия советского времени!) выделялись по числу жителей, без учета приезжих. Но спасали прекрасные молочные продукты, по которым потом целый год тосковали столичные жители. Возникали и столкновения темпераментов и бытовых традиций. Имевшая место в 1950-е гг. привычка столичных дачников разгуливать по городу в пижамах немало шокировала местных жителей, привыкших к иным дачным манерам. Важно отметить, что уже к 1960-м гг. дачники под влиянием местных традиций приобрели более благообразный вид. У озера также существовало своеобразное распределение времени: в первую половину дня купались отдыхающие, а во вторую — возвращающиеся с работы местные жители.

Что касается категорий дачников, то любое разделение будет, конечно, условным, и все же можно выделить две основные группы. Одну (пожалуй, наиболее многочисленную) составляли те, кто искал удобного и сравнительно дешевого места проведения летнего отпуска. Они проводили летний досуг, беспрерывно занимаясь добыванием, приготовлением, поглощением еды и обсуждением того, что было съедено и еще предстоит съесть. По воспоминаниям эльвской учительницы и краеведа С.Г. Ситниковой[233], местных жителей поражала такая сосредоточенность на еде, как и шум и крик, раздававшиеся из домов, где обитали дачники этой категории.

[233] Приношу Светлане Ситниковой свою глубокую признательность за помощь в подготовке настоящей работы.

Другую образовывали ученые и люди творческих профессий из столиц и из самых разных мест тогдашнего СССР. Их Эльва привлекала как «своя заграница», где можно было приобщиться к остаткам европейской цивилизации, в рамках которой вежливое обхождение, наличие кафе, хорошей библиотеки и привычка к культурному досугу (посещение музеев, выставок, концертов, певческих праздников и пр.) еще было нормой. Для них Эльва была местом спокойного творчества (поэтому сюда приезжали не только летом, но и во всякое время года), практики в разговорном немецком (на котором еще говорили многие старые хозяева дач), взаимного общения и неформального знакомства с эстонской историей и культурой.

Контакты между эстонскими и российскими учеными (особенно после открытия обсерватории в Тыравере) и писателями (дом творчества в Пеэду) также нередко основывались на дачном общении. Среди них были не только приезжие издалека, но и семьи местной интеллигенции — эстонской и русской. В архиве Ю.М. Лотмана сохранилось немало писем, открыток из Эльвы или по поводу Эльвы (просьбы помочь снять дачу и т.п.). Лотманы сами часто снимали здесь дачу. Перебывали в Эльве и многие представители Московско-Тартуской школы. Однако к концу 1970-х — началу 1980-х гг. Эльва утратила свою привлекательность для тартуских интеллигентов — она стала слишком шумной и беспокойной. Центр тяжести переместился в Валгеметса, где купили себе дачи (или снимали их) многие университетские сотрудники.

Близость к Тарту сделала из Эльвы 1960–70-х гг. своеобразный филиал университетского города. «Филиал» действовал не столько летом, сколько в течение учебного года. К дачной культуре в строгом смысле слова это отношения как будто не имеет, но является ее некоторым следствием.

В советские годы в Тарту был острый кризис жилья. Студентам общежитий не хватало, преподаватели тоже были вынуждены годами снимать жилье, из-за чего некоторые покидали университет, так и не дождавшись собственной квартиры. Снять комнату в Тарту было нелегко, и эльвские жители пользовались возможностью сдать освободившиеся дачные комнаты после окончания сезона. Жилье в Эльве было дешевле, а хорошо налаженный транспорт делал сообщение с Тарту вполне удобным.

К студентам и преподавателям, жившим в Эльве, приезжали гости. В домашних кружках филологов — эльвских обитателей — читались

стихи. Так, популярны были чтения у тогдашнего студента, а также поэта и переводчика с эстонского Светлана Семененко (1938–2007). Устраивались и научные доклады приезжих и своих ученых, обсуждения, дискуссии. Иногда гости снимали для себя отдельное жилье. Например, в конце 1960-х гг. в Эльве подолгу жил поэт Глеб Сергеевич Семенов (1918–1982), сын которого Никита Охотин учился в Тартуском университете. К Глебу Семенову, руководителю объединения молодых ленинградских поэтов, приезжали его ученики и друзья — поэты Александр Кушнер, Яков Гордин, Елена Кумпан, Елена Шварц и др. Помню поэтический вечер, устроенный в университете, где все они выступали с чтением стихов. Потом их подборка была опубликована в «Русской странице» (приложении к газете «Tartu Riikilik Ülikool»). Но самым большим событием стал приезд Иосифа Бродского в 1969 г. Был устроен его вечер в университете. Его облик, манера чтения запомнились навсегда. Одна из первых подцензурных публикаций лирики Бродского в СССР тоже была в «Русской странице».

Эльва помнится русским «дачникам» (в широком смысле) не только природой, лесом, озером, но и прекрасной библиотекой, где в дачный сезон выстраивались целые очереди на книжные и журнальные новинки. Поездки в Тарту, посещения музеев, выставок расширяли знакомство с местной историей и культурой, укрепляли эстофильство столичной интеллигенции. Дачный локус сыграл немалую роль в формировании ее политических симпатий к идее независимости Эстонии. Дачный опыт ясно показал, что Эстония — «другая», что она имеет право на свой путь.

После распада СССР, введения визового режима между Эстонией и Россией и резкого ухудшения транспортных возможностей приезд в Эльву российских дачников стал весьма затруднительным. Для европейцев Эльва — слишком «экзотическое» место, удаленное от основных транспортных магистралей и лишенное привычного комфорта и курортной индустрии. Состоятельные жители Эстонии стремятся теперь проводить отпуск за границей, а необеспеченные не всегда могут позволить себе даже приехать к озеру на выходные. Эльва заметно опустела. Однако и в постсоветские годы у многих бывших дачников сохранилось чувство ностальгии по Эльве, поэтому не исключено, что Эльву как дачный локус еще ожидает новый взлет. Залогом тому — ее удивительная природа, которая может привлечь и дачников из Европы, особенно с ростом спроса на экологически чистое курортно-дачное пространство.

3.7. О языковом равноправии и об академической солидарности (позиция профессора Тартуского университета И.А. Бодуэна де Куртене)

Героем этого параграфа будет всемирно известный лингвист Иван Александрович Бодуэн де Куртене (Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay; 1845–1929), который в 1883–1893 гг. был профессором Тартуского университета и который уже неоднократно появлялся на страницах этой книги. Речь пойдет о его программе языкового равноправия, которую он выдвигал в нескольких своих публицистических выступлениях. Первый эпизод непосредственно связан с историей Тартуского университета — с празднованием столетия императорского университета[234]. Однако на самом деле этот эпизод вновь выводит на разговор об очень чувствительной проблеме, в историческом смысле — это русификация, но шире — это вопрос о языковой политике в любом многонациональном государстве, который никогда нейтральным не бывает. Перед тем как обратиться к нему, сделаем несколько вводных замечаний.

Один из самых проницательных исследователей проблемы русификации в условиях Российской империи конца XIX — начала XX в. А.И. Миллер обратил внимание на то, что само это понятие редко подвергается анализу, поскольку в самом слове уже содержатся негативные коннотации и эмоциональный аспект перекрывает рациональный анализ. Историк сформулировал проблему в виде вопроса в заглавии одной из глав своей книги — «Русификация или русификации?» [Миллер 2008: 54–57] и показал, что эта правительственная политика (заметим от себя — неудачная и губительная для самого же правительства) была ответом на многообразные вызовы времени — как внутри Российской империи, так и за ее пределами. Говоря об Остзейском крае, А.И. Миллер, как и многие историки (в частности, эстонские историки [Казекамп 2014: 135–137]), справедливо подчеркнул антиостзейскую направленность этой политики. Еще С.Г. Исаков в своей книге показал, как русская печать и русское общественное мнение буквально давили на правительство, требуя решения остзейского вопроса — т.е. ликвидации особого остзейского порядка и защиты коренного населения — эстонцев и латышей — от прибалтийско-немецких дворян-землевладельцев [Исаков 1961].

[234] Другой эпизод, где Бодуэн де Куртене развивает свои идеи о языковом равноправии и ставит вопрос о мирном сосуществовании народов в многонациональной стране, мы рассмотрели в главе 2. Далее в этом разделе мы перейдем к более подробному рассмотрению позиции Бодуэна по национальному вопросу.

Не будем углубляться в этот аспект, укажем только, что реформы, направленные на интеграцию иноязычной окраины с имперским центром, называемые русификацией, имели целью ликвидировать господствующее положение остзейского дворянства в крае, т.е. были направлены на постепенную ликвидацию остзейского права. Однако результат оказался противоположным, поскольку проводились реформы неуклюже, бюрократически, поэтому недостаточно затронули реальную экономическую и правовую ситуацию и мало улучшили положение коренного населения — эстонцев и латышей [Казекамп 2014: 140–141, 144–145]. Наоборот, образовательная политика лишила коренные народы возможности получать хотя бы начальное образование на родном языке. Если посмотреть ретроспективно, то власть повредила себе, восстановив против себя и немецкое дворянство, и нарождающуюся эстонскую интеллигенцию. С одной стороны, как показали многие современные эстонские историки, переход школы на русский язык преподавания обеспечил доступ в гимназии и университеты и затем служебную карьеру целому поколению эстонских интеллигентов, создававших потом эстонскую государственность[235]. С другой — государственный язык, введенный в начальную школу для совершенно не подготовленных к нему детей, вызывал отторжение и потом с основанием воспринимался как насилие над национальной идентичностью.

В этих условиях в 1902 г. проходило торжественное празднование столетнего юбилея Тартуского (Дерптского / Юрьевского) университета. Напомним, что до начала 1890-х гг. это был единственный на территории Российской империи иноязычный университет с немецким языком преподавания. В результате реформ город из Дерпта был переименован в Юрьев, а университет стал в основном русскоязычным (хотя отдельные преподаватели продолжали читать лекции по-немецки). Юбилей был устроен с размахом[236]. Празднование продолжалось три дня, были приглашены многочисленные иностранные гости, а также представители других университетов России. Было объявлено о присуждении степени почетного доктора Юрьевского университета многим выдающимся ученым — и европейским, в том числе немецким, и русским. В делегацию от

[235] «Обучение на русском языке в гимназиях и других учебных заведениях некоторые эстонцы считали даже желательным, поскольку образованным эстонцам в балтийских землях чинились препятствия, так что знание русского языка обеспечило бóльшие возможности для работы и учебы на всем пространстве империи. Одновременно надеялись, что реформы положат предел господству прибалтийских немцев в школах и в общественной жизни» [Elango jt. 2010: 335]. Ср. об увеличении благодаря овладению русским языком численности эстонского офицерства, ставшего затем основой национальной армии в независимой Эстонии: [Таннберг 2010: 104–105].

[236] См. отчеты о праздновании: [Кречетов 1903: 71–97: Сумцов 1903].

Петербургского университета входил лингвист Бодуэн де Куртене, этнический поляк и потомок французского аристократического рода, ведущего свою историю от французского короля Людовика VI. Выпускник Варшавской главной школы, прообраза Варшавского университета, он учился потом в Праге, Вене, Берлине и Лейпциге. Степень доктора философии он получил в Лейпцигском, а магистра сравнительного языкознания — в Петербургском университете. Полиглот, он писал свои выдающиеся труды по фонетике, по сравнительному языкознанию на русском, польском, немецком, французском, итальянском, литовском, чешском языках[237]. Его университетская карьера развивалась в Казанском, Тартуском, Ягеллонском (Краковском), Петербургском и Варшавском университетах. Он создал свою школу, стал одним из крупнейших мировых лингвистов, чьи труды до сих пор не потеряли своей научной актуальности.

В 1883–1893 гг., в течение десяти лет, он был профессором немецкого Дерптского университета и уже из Юрьевского университета перешел в Ягеллонский (Краковский), и через пять лет в Петербургский университет. Считается, что его уход из Дерпта был вызван протестом против политики русификации. Видимо, ситуация была сложнее.

В 1892 г. в немецком журнале «Вестник высшей школы» («Hochschul-Nachrichten») была опубликована статья Бодуэна «К вопросу о русификации Дерптского университета» [Baudouin 1892][238]. Статья была направлена одновременно и против односторонней трактовки вопроса в немецкой печати, и против действий министра народного просвещения И.Д. Делянова.

Бодуэн, конечно, не мог одобрять русификаторской политики (от нее он сам пострадал еще в Варшаве[239]), но полагал, что в самом факте перевода Дерптского университета на общероссийский университетский устав 1884 г. и даже во введении русского языка в качестве основ-

[237] Библиографию его трудов см.: [Бодуэн 1960: 82–116]. Его автобиографию см.: [Бодуэн 1903]. Биографическая литература о Бодуэне обширна. См., в частности: [Леонтьев 1960: 5–25; Бодуэн 2000]. Исследования, напечатанные в издании [200 лет 2003], касаются его лингвистических трудов.

[238] Хочу поблагодарить профессора А.А. Долинина, который доставил мне копию этой статьи, в Эстонии и в России отсутствующей, из библиотеки Мичиганского университета, и Т.К. Шаховскую, которая помогла мне разобраться в тексте.

[239] Его жизнь протекала в период, когда поляки были народом гонимым и в Российской империи, где Бодуэн родился и прожил большую часть жизни, и в Австро-Венгрии (где он профессорствовал шесть лет), и в объединенной Германии, которой посвятил одну из самых страстных и резких своих работ — «Князь Бисмарк и гонения “славян”» (1898). Тогда, по выражению Бодуэна, «говорить по-польски преступление, родиться же поляком — позор» [Бодуэн 1898: 17]. Он на себе испытал языковой и национальный гнет, и весь свой темперамент бойца посвятил борьбе против этого позорного явления.

ного языка преподавания нет ничего катастрофического[240]. Он обвинял местных прибалтийско-немецких профессоров в близорукости, в нежелании считаться с тем, что они — русские подданные, обязанные подчиняться русским законам и знать русский язык, — в отличие от немецких профессоров, приглашенных из Германии, от которых этого никто не требует и из университета не изгоняет. Заметим, что Бодуэн совершенно прав. Например, великий анатом Август Раубер продолжал читать в Тарту лекции по-немецки до своего выхода в отставку в 1911 г. Таких профессоров осталось в университете немного, но они имелись [TÜ ajalugu 1982: 270]. Местные немцы, по замечанию Бодуэна, постоянно ссорились с иностранцами и пытались выдавить их из университета, неизменно предпочитая «своих» при замещении вакантных должностей. Он подчеркнул, что университету нужно суметь извлечь пользу из нового устава, который обещает лучшее финансирование, и в этом тоже был прав [Ibid: 263–266]. Однако способ назначения новым ректором Дерптского университета профессора и ректора Варшавского университета А.С. Будиловича вызвал резкое недовольство Бодуэна. Уже само назначение вместо выборов было наступлением на академические свободы, — но тут приходилось признать, что новый устав именно это и предусматривал. Однако министр нарушил тот пункт устава, который требовал назначения ректором одного из местных профессоров. Таким образом, министр нарушил российские законы, что, с точки зрения Бодуэна, свидетельствовало о печальной правовой ситуации в России. Что же до Будиловича, то, по мысли Бодуэна, он должен был отказаться от назначения, как это сделали четверо других кандидатов. Чувство справедливости всегда было у нашего автора на первом месте.

Эта заметка, за которую редакция «Hochschul-Nachrichten» назвала Бодуэна «борцом за славянизм», т.е. причислила к русификаторам, позволяет сделать однозначный вывод о неприятии им остзейского порядка и доминирования в университете немецкого языка. Это важно помнить при изложении тезисов его статьи «Юрьев — Дерпт (К вопросу о “равноправии”)» [Бодуэн 1916]. В ней Бодуэн вспоминает ситуацию, которая сложилась на юбилейных торжествах 1902 г. Его глубоко возмутила языковая сегрегация (это мое определение), господствовавшая на торжествах в отношении местных языков. В основном все происходило на государственном языке. Конечно, представители заграничных университетов свободно выбирали язык для своих приветствий. Их речи звучали по-латыни, по-французски, по-немецки,

[240] Его логика станет понятной в ходе нашего дальнейшего изложения.

по-итальянски, по-украински. Но прибалтийские немцы из местных общественных организаций читали свои приветствия по-русски, хотя испытывали при этом на языковые затруднения. Только один местный доклад был произнесен по-немецки — обзор деятельности богословского факультета профессора Керстена (поскольку за богословским факультетом было оставлено право преподавания на немецком языке). Как замечает Бодуэн, «языковою исключительностью отличались также вечерние банкеты <…> точно в предчувствии заповеди “просят не говорить по-немецки”, можно было слышать один русский язык» [Бодуэн 1916: 267]. Только профессор русской истории Тартуского университета Е.Ф. Шмурло «закончил свою речь короткою немецкой фразой», а делегат из Одессы профессор Блауберг процитировал немецкое стихотворение [Там же].

Именно в этой обстановке Бодуэн обратился к собравшимся по-немецки как «прежний дерптский <sic!> профессор», желавший напомнить о той роли, которую сыграл немецкий язык в истории университета. При этом он специально подчеркнул, что по-русски ему «было бы легче выражать свои мысли с полною точностью». Но он напомнил слушателям и об эстонском и латышском и выдвинул идею *равноправного* сосуществования трех местных языков наряду с государственным русским. Он особо подчеркнул, что имеет в виду «не немецкий язык гонителей и притеснителей, но немецкий язык ученых и художников», и русский — как язык «великих *русских* мыслителей и поэтов» [Бодуэн 1916: 269; 270].

Немецкая речь поляка и русского профессора не могла не вызвать чувства благодарности со стороны немецкой общины, и текст был сразу же опубликован в газете «Nordlivländische Zeitung», где печатались отчеты о юбилейных торжествах. В Петербурге русская либеральная газета, по словам Бодуэна, попросила у него русский перевод выступления, но опубликовать текст в столичной печати тогда оказалось невозможно. Он был напечатан на двух языках (немецком и русском) в Москве в 1916 г. в сборнике «Эсты и латыши, их история и быт»[241]:

> Милостивые государи!
>
> Вы, конечно, не станете с меня взыскивать, если я, как прежний дерптский профессор, позволю себе обратиться к вам с речью на *немецком* языке. Я делаю это не потому, что я как-

[241] Об издании «Эсты и латыши…» подробно говорилось во второй главе настоящей книги. Воспроизводим только русский текст.

то особенно хорошо владею этим языком. Нет, по-русски, например, мне было бы легче выражать свои мысли с полною точностью. Я не делаю тоже этого как особенный приверженец германизма. После новейших событий в Пруссии можно бы все немецкое чуть ли не ненавидеть и отворачиваться от него с омерзением, — само собою разумеется, если бы мы были фанатиками. К счастью, я не замечаю в себе ни следа фанатизма, и если я что-либо действительно ненавижу, если я к чему-либо чувствую действительное отвращение, так это именно к фанатизму: к религиозному фанатизму и вообще ко всякому фанатизму.

Бушующая теперь язва национализма минует — смею надеяться — точно так же, как и средневековые, и, увы! тоже более поздние гонения на веру; и будущие поколения поймут, несомненно, что раздроблять так свои силы и растрачивать их в столь бессмысленной сваре, — вместо того чтобы их собирать и взаимно друг друга поддерживать и помогать друг другу, — недостойно мыслящего существа и в высшей степени гибельно для культурного, этического и экономического прогресса.

Я не языковой фанатик. Когда я был в Дерпте профессором, я преподавал по-русски и по-немецки, и, однако ж, от этого не произошло никакого несчастья. Как в голове одного человека, точно так же в любой стране могло бы несколько языков уживаться рядом спокойно и дружно и относиться друг к другу с полною терпимостью. В здешнем крае, рядом с государственным языком, рядом с языком великого русского государства, рядом с языком великого русского народа, рядом с языком великих *русских* мыслителей и поэтов, должны бы, по историческим и этнографическим соображениям, пользоваться полною равноправностью еще три следующих языка: язык *немецкий*, не немецкий язык гонителей и притеснителей, но немецкий язык ученых и художников, да кроме того языки *эстонский* и *латышский*.

Во имя такой безусловной терпимости и равноправия я приветствую старинный город Дерпт-Юрьев и высказываю пожелание процветать ему культурно все более и более, в мирном единении и согласии с высшим научным учреждением этого края [Бодуэн 1916: 268–269].

Анализируя события более чем десятилетней давности, Бодуэн справедливо счел их характерными для имперского пространства: узкая, непродуктивная политика со стороны властей и угодливое поведение академической корпорации. Комментируя эффект, произведенный своим немецким выступлением, Бодуэн не без иронии замечает, что в ситуации банкета и высокое начальство «благосклонно улыбалось и оказалось снисходительным», и многие «приверженцы централизма и отрицатели национального равноправия» отзывались о речи «с признанием и даже с восторгом». Однако и признательная реакция бывших коллег не вызвала у Бодуэна удовольствия. Главная его идея — идея языкового равноправия — особого отклика не вызвала.

Бодуэн вспоминал годы своего преподавания в Тартуском университете в эпоху полного господства немецкого языка. Тогда никто из его коллег не хотел думать о том, что университет стоит на эстонской земле. Они относились с презрением и к коренному населению края, и к их языкам. О том, чтобы допустить преподавание на эстонском или на латышском, не могло быть и речи. В силу необходимости были введены должности лекторов этих языков, т.к. богословский факультет готовил пасторов, а те должны были знать местные языки. Но положение этих лекторов было очень незавидным.

Бодуэн с возмущением вспоминает, что среди лекторов были «привилегированные» (преподаватели французского и английского) — с жалованием в 600 рублей в год и *minorem gentium*, преподававшие итальянский, латышский и эстонский языки. Их жалованье в 400 рублей в год было меньше, чем у университетских педелей (надзирателей), поэтому лекторат итальянского языка оставался незанятым. Бодуэн специально отмечает, что местные языки преподавали тогда люди выдающиеся. Латышским лектором был поэт Яков Лаутенбах (Jacob-Heinrich Lautenbach / Jēkabs Lautenbahs; 1848–1928), исследователь латышского и литовского фольклора, защитивший диссертацию по сравнительной грамматике индоевропейских языков и ставший в конце концов профессором. Эстонским лектором был с 1874 по 1887 г. Михкель Веске (Mihkel Veske; 1843–1890), доктор Лейпцигского университета (защитил диссертацию в 1872 г.).

Чтобы оказаться в Лейпциге, эстонцу из бедной крестьянской семьи пришлось преодолеть немало трудностей. Первым шагом для него стала Лейпцигская миссионерская школа, куда его направил пастор прихода Пайсту Маарья и учитель Веске в приходской школе Вольдемар Хансен (Woldemar Adolf Hansen; 1823–1881). Однако через год Веске перешел в университет, где учился на деньги великой княгини Елены Павловны

(1807–1873)[242], одной из немногих действительно выдающихся представительниц русской императорской фамилии, участвовавшей в разработке крестьянской реформы 1861 г. (ее прозвище — Princesse La Liberte). Стипендию выхлопотал русский посол в Лейпциге. Именно смерть великой княгини и прекращение пособия в 1873 г. заставили Веске вернуться в Эстонию.

О том, насколько несладко в материальном плане приходилось лектору Веске в Тарту, свидетельствуют хранящиеся в университетском архиве долговые расписки и даже судебные дела, связанные с невозможностью вернуть долг [Akte 1875; Akte 1883a][243]. Не исключено, что часть своих и без того скудных средств Веске тратил на общественные эстонские нужды, в частности на издание газеты «Oma maa»[244], которую он издавал в 1884–1885 гг. К счастью для него, в его судьбе принял самое живое участие Бодуэн де Куртене, обучавшийся у Веске эстонскому языку[245].

Во-первых, Бодуэн попытался улучшить положение всех лекторов и договорился с попечителем Дерптского учебного округа Михаилом Николаевичем Капустиным, а тот обещал ходатайствовать перед министерством об уравнении всех лекторов и об увеличении им жалованья до 800 рублей. Однако университет отказался подавать такое прошение! По иронии эта реформа была проведена только в период русификации. Во-вторых, Бодуэн выхлопотал от министерства, уже персонально для Веске, научную командировку сначала в Финляндию, а затем в Венгрию — с хорошим денежным содержанием. В этих случаях университет поддержал ходатайства. Но самое главное — Бодуэн вместе с академиком В.В. Радловым (Friedrich Wilhelm Radloff; 1837–1918) добились перевода Веске в Казань на место экстраординарного профессора финно-угорских языков с жалованьем в 2000 рублей. Радлов с Бодуэном

[242] Эти факты кратко изложены в статье [Nirk, Põldmäe 1966: 307]. К сожалению, в статье отсутствуют ссылки на источники сведений, в частности о причинах выхода Веске из миссионерской школы, вызванного его недовольством царившими там порядками. Авторы не связывают возвращение Веске в Эстонию с прекращением финансирования, равно как не пишут и об участии Бодуэна де Куртене в его судьбе, о чем речь пойдет ниже.

[243] В последнем деле имеется расписка М. Веске: «Olen lainanud Jaan Tammanna käest 30 rubla hõbedat 15.augustil 1873» («Занял 30 рублей серебром у Яана Таммана 15 августа 1873 г.»). Через десять лет пришлось взыскивать деньги через суд.

[244] О трудностях с изданием газеты [Loosme 2007: 141–145; Issakov 1983: 103–111].

[245] См. пересказ письма Бодуэна к П.В. Штейну от 3 июня 1889: [Бодуэн 1960: 16].

были знакомы по Казани, где первый был инспектором мусульманских школ, а второй — профессором, так что эти два ученых смогли устроить на вакантную профессуру неимущего коллегу[246].

Видимо, Бодуэн ссужал Веске деньгами. Этот вывод мы можем сделать по письму Веске из Будапешта. Когда он получил известие о том, что его командировочные деньги для переезда в Казань переведены в правление Дерптского университета, то просил передать их профессору Бодуэну де Куртене [Weske: 22].

В своей статье, говоря о Веске, Бодуэн осторожно касается его антинемецких настроений и борьбы за права эстонского народа: «…принимал участие, правда не совсем удачно и несколько односторонне, в местной политической агитации и этим навлек на себя, может быть не совсем без основания, неудовольствие немецких патриотов Прибалтийского края» [Бодуэн 1916: 264–265][247].

В самом деле, в университетском архиве имеется анонимная жалоба 1883 г., посланная попечителю барону Штакельбергу, на то, что Веске избил истца в кабаке на Ратушной улице [Akte 1883a: 1][248]. Судя

[246] Отметим, что за трехлетний период пребывания в Казани М. Веске смог значительно продвинуть вперед свои изыскания о языках и фольклоре волжских финно-угорских народов (черемисов и мордвы), но как преподаватель испытывал трудности. Ему пришлось читать лекции по-русски, а русским языком он владел недостаточно. В результате, как отмечается в некрологе (см. ниже), у него был всего один слушатель, что, однако, не препятствовало продолжению его педагогической деятельности. Характерно, что в статье в «Биографическом словаре» Казанского университета, где имеется много интересных сведений о Веске, ничего не говорится об участии Бодуэна и Радлова в его судьбе. Перевод в Казань объясняется стремлением Дерптского университета найти «благовидный способ сбыть “агитатора”», т.е. избавиться от неудобного преподавателя — борца за «эстонское дело». См.: [Смирнов 1904: 56]. Благодарю Малле Салупере за указание на эту статью. О политической агитации Веске пишет и Бодуэн.

[247] Дополнительные сведения о диссидентской деятельности М. Веске мы находим в подробном и очень сочувственном некрологе И. Смирнова, напечатанном в № 114 «Волжского вестника» от 9 мая 1890 г. (на него ссылается и Бодуэн в своей статье). Мы пользовались рукописной копией, хранящейся в архиве: [Смирнов 1890: 98–99]. Как можно предполагать, эти сведения в свое время были получены И. Смирновым от самого Веске. Так, во время знаменитой ревизии сенатора Манасеина Веске, скрываясь от слежки, являлся на крестьянских сходах, писал жалобы от имени крестьян, ездил с их петициями в Петербург к Манасеину и к министру внутренних дел. И.Н. Смирнов был также автором упомянутой выше статьи о Веске [Смирнов 1903], содержащей подробную библиографию его научных трудов.

[248] Университетский суд начал дело по распоряжению попечителя Дерптского учебного округа сенатора барона А.Ф. Штакельберга 28 мая 1883 г, но тот же попечитель 20 июня 1883 повелел его закрыть.

по всему, это было некое «официальное лицо», поскольку в жалобе подчеркнуто, что Веске учинил эту драку вместе с людьми «недоброй репутации», которые участвовали в уличных беспорядках во время празднования коронации Александра III. Университетский суд постарался дело замять, но положительного отношения к Веске оно не прибавило.

Думается, что драка была каким-то образом связана с другим делом, хранящимся в архиве Тартуского полицейского управления. Оно связано с распространением в городе в марте 1881 г. листовок на эстонском языке. В деле они сохранились в двух вариантах. Содержание в них тождественно, но первый текст несколько пространнее. Воспроизводим оба текста с сохранением особенностей орфографии источника и в переводе, который не передает всех языковых и стилистических особенностей источника:

> Avalik teadaandmine keige Esti popolide kui ka linna üüri inimestele
>
> Nenda kudas juba igaüks teab et Teisipääw se on 10-mal selle kuus peame meie kes need keige waesemad oleme Wene Keisrile Truust wanduma.
> Aga mispeale wannume meie kel kedagi ei ole — kuhu meie omad pead wöiksime warjule panna ehk kuhu meie oma jalga wöiksime tösta mis meie maa on. — Sest köik kus meie oleme on wöera oma. Se pärast palun mina teid köiki kes seda kirja loewad et teie aru saksite et nüüd just see paras aeg on kus meie ühel meelel wöiksime Wene Keisrid paluda et tema meile nenda samma Maad annaks kui Wene rahwal on. Siis tahame meie öiged Wenemaa alamad olla ja ka röömuga Wene Keisrile truust wanduta surmani aga enne mitte [Tartu Politseivalitsus 1880: 2 pöörd.] [249].

[249] Перевод: «Открытое обращение ко всем эстонцам и жителям города. Как всем уже известно, во вторник, 10-го числа этого месяца должны мы, самые бедные, присягать русскому царю. Но почему должны присягать мы, у кого ничего нет — нет места, где приклонить голову, нет земли, куда бы могла ступить наша нога. Вся наша земля принадлежит чужим. Поэтому прошу всех вас, кто прочтет это письмо, чтобы вы поняли, что именно теперь наступил подходящий момент, чтобы мы все единодушно попросили русского царя дать нам столько же земли, сколько есть у русских крестьян. Тогда мы пожелаем стать верными подданными России и с радостью принесем русскому царю присягу в верности до смерти, но не ранее <чем будет исполнено условие>». Сердечно благодарю Т.К. Шор за помощь в поисках архивных материалов.

> Teada andmine
>
> Köige alama sugule kes nöuks on wötnud mitte enne Truust Wene Keisrile wanduta kui meile nenda samma sugune öigus ehk seadus ja hingemaa saab lubatud kui Wenemaa rahval on, siis meie wanume Truust Wene Keisrile surmani.
> Nönda jäge keik ühel meelel kindlaks. Aga oitke selle eest et mitte mässamine ei töuse
> [Tartu Politseivalitsus 1880: 3][250].

Итак, неизвестный автор (авторы?) призывали эстонцев не присягать на верность новому императору до тех пор, пока он не даст эстонцам столько же земли, как русским крестьянам. Это не был призыв к бунту, что специально подчеркивалось во втором варианте текста. Эстонский народ просил русского царя вмешаться в его горькую судьбу, дать землю, которая находится в «чужих» руках (чьих — не уточнялось, но это было и так понятно — у прибалтийских немцев).

Конечно, листовки такого рода были опасным знаком народного недовольства. Правда, нашли всего 12 копий, и власти города не хотели раздувать дела. Однако в эстонской патриотической газете «Сакала» в № 30 от 25 июля 1881 г. было опубликовано известие об этих листовках, как будто бы написанных на ломаном немецко-эстонском языке. К тому времени следствие еще не кончилось, и газета хотела отвести удар от эстонцев, ибо прокламация была написана на не очень грамотном, но вполне характерном для того периода южноэстонском языке. За экспертизой обратились к М. Веске, который дал явно тенденциозное заключение, подтверждающее сообщение «Сакала» [Tartu Politseivalitsus 1880: 19–19 pöörd]. Поскольку властям была известна связь Веске с газетой, то обратились за новой экспертизой к пастору В. Эйзеншмидту и доктору Ф.Р. Крейцвальду, и они подобное заключение опровергли [Tartu Politseivalitsus 1880: 16–16 pöörd].

Бодуэн, который был осведомлен о диссидентской деятельности Веске, видел в этом отчетливую вину хозяев края — прибалтийских немцев, не желавших считаться с коренным народом. Судьба Веске — талантливого эстонца, в котором прибалтийско-немецкие профессора

[250] Перевод: «Обращение к самому низшему роду, к тем, кто решил не приносить присягу русскому царю до того момента, пока нам не дано такое же право или такой закон, который дарует нам столько земли, сколько есть у русского народа. Тогда мы принесем русскому царю присягу верности до смерти. Будем же все единодушно тверды. Только воздержитесь от того, чтобы не начался бунт».

не пожелали признать ученого и который был вынужден уехать из Дерпта, была для Бодуэна наглядным свидетельством местного шовинизма. Однако в ситуации русификации положение самих немцев и немецкого языка в Юрьевском университете было вызвано государственным *русским* шовинизмом.

В 1906 г. в Основных государственных законах Российской империи был впервые законодательно определен статус русского языка как языка «общегосударственного», обязательного «в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях». Было оговорено также, что «употребление местных языков и наречий в государственных и общественных установлениях определяется особыми законами» (Раздел первый, ст. 3) [Полный свод: 1][251]. Однако ситуацию это мало изменило — в Тартуском университете преподавание на эстонском языке началось лишь в 1919 г. в независимой Эстонской Республике.

В Петербурге, как член партии кадетов и профессор столичного университета, Бодуэн де Куртене продолжал бороться за права национальных меньшинств, за языковое равноправие, в частности за культурную автономию поляков и уравнение польского языка с русским. Его труды в этой области редко достигали печати в момент их создания — порой проходило десять и более лет, прежде чем их удавалось напечатать (такая судьба постигла и [Бодуэн 1916]). Он даже прибегал к изданию за свой счет (упомянутый «Князь Бисмарк…» был издан таким образом через десять лет после первой попытки напечатать в русской периодике). За одно из таких сочинений — «Национальный и территориальный признак в автономии» (1913) — он был по решению петербургского суда посажен в «Кресты» и едва не поплатился двухлетним заключением в крепости. Только энергичный протест собратьев-академиков, заявленный по инициативе А.А. Шахматова, и заступничество президента Академии — великого князя Константина Константиновича — подвело 69-летнего знаменитого профессора, академика не только Российской, но и всех славянских академий, действительного статского советника и кавалера многих орденов под амнистию — Николай II сократил срок до трех месяцев, которые Бодуэн уже отсидел. Именно в связи с этим делом было написано письмо академика Радлова (см. далее).

Что же такое содержалось в брошюре, которая была запрещена, конфискована и признана «бунтовщической», оскорбительной для властей, а ее автор — подлежащим суровому уголовному наказанию?

[251] До этого такой вводный раздел отсутствовал, «Свод…» начинался сразу с раздела «О существе верховной самодержавной власти». См.: [Свод 1833: 3]. См. то же в издании 1892 г. (с. 1).

По сути, Бодуэн де Куртене не сказал в ней ничего принципиально нового по сравнению с тем, что ранее неоднократно выражал в печати, в частности в изданном в 1906 г. «Проекте основных положений для решения польского вопроса» [Бодуэн 1906а]. Однако то, что поневоле допускалось в условиях революции, отмены цензуры, введения свобод, то власти империи не готовы были терпеть в 1913 г. Бодуэн же не отступил от своего резкого и бескомпромиссного тона. В финале он так характеризует Россию:

> Гибель государства, в котором беззаконие и неумолимая жестокость совершают победное торжественное шествие по всей стране, государства, в котором хронические и возведенные в правило нарушения этических заповедей и просто преступления не только не осуждаются и не презираются, но, напротив того, превозносятся как подвиги и щедро награждаются, гибель такого государства ни в ком не вызовет сожаления [Бодуэн 1913].

Сам автор не без основания полагал, что не пытался «развалить» империю, а скорее наоборот — спасти ее от окончательного и кровавого развала, демонстрируя губительность имперской национальной политики. Трезво оценивая сложившуюся в стране ситуацию, Бодуэн видел единственный путь в федерализации — в даровании национальным областям культурной автономии на основании плебисцита и в постепенном превращении империи в федерацию самоуправляемых областей. «Децентрализации и областного самоуправления нечего бояться, — утверждал ученый. — Напротив того, они послужат к сплочению государственного единства и к развитию в населении чувства *общегосударственной солидарности»* [Бодуэн 1906а: 6].

Но власти считали любое уклонение от идеи унитарного, единого и неделимого государства преступлением и никаких доводов в пользу национально-культурной автономии слушать не желали. Наоборот, как наглядно показал А.И. Миллер в книге «Империя Романовых и национализм» [Миллер 2008], имперская власть видела как раз в русификации способ интеграции разнородного и разноязычного населения страны в единый государственный организм. Бодуэн же неуклонно доказывал, что отсутствие свободы выбора, неуважение к правам человека и нации возбуждает в них чувство национальной гиперестезии и желание мести, пагубное и для объекта мести, и для самих мстителей.

Бодуэн де Куртене не только резко критиковал власти всех уровней, но и выдвигал целую программу действий. При этом он сам осознавал утопичность предлагаемых мер, сердился на себя за то, что тратит силы

на бессмысленные проекты, отнимает время от научных занятий, и все же неуклонно продолжал дело. Рассмотрим более подробно его программу[252].

Бодуэн последовательно отрицает, говоря современными терминами, примордиальный подход к нации. Он относит нацию, как и религию, к «группировкам» людей, зависящим от человеческой воли[253], в отличие от объективных антропологических характеристик — пола, физических способностей, биологического родства (родители, дети и т.п.). Родной язык он причисляет к антропологическим свойствам, но полагает, что взрослый человек уже имеет право на выбор языка — одного или нескольких, которые он будет считать «своими».

Нация для Бодуэна не может быть связана ни с территорией, ни с так называемыми «историческими правами», о которых он пишет весьма выразительно: «Историческим правам отдельных национальностей место в архиве истории. <…> Ссылками на исторические права можно, если угодно, обосновывать восстановление людоедства, рабства, крепостничества, самодержавия и т.д.» [Бодуэн 1906: 5]. Бодуэн признает, что нация как этнографическая категория формировалась исторически, начиная с племенного строя. Однако полагает, что в Новое время — это уже фактор культуры: «…национальный элемент <…> становится потребностью культуры и находится в тесной связи с признанием человеческого достоинства. Поэтому принадлежность к национальности должна быть предоставлена свободному выбору, должна быть предоставлена самоопределению каждого индивида в отдельности» [Бодуэн 1913][254].

[252] Мы уже упоминали в главе 2, что многие идеи в области национализма, выдвинутые общественными деятелями в России в начале XX в., и в частности в программе Бодуэна (например, критика примордиального подхода к нации), предвосхитили современные нам теории. Таким образом, многие важные идеи возникли задолго до появления в 1983 г. книги Б. Андерсона «Воображаемые сообщества».

[253] «Свободною группировкою, группировкой в зависимости от собственной воли данного лица следует принципиально считать группировку по роду занятий, по вероисповеданию, по национальности и т.д.» [Бодуэн 1913].

[254] Ср. также: «Но все предусмотренное антропогеографией и археологией стоит ниже уровня понятия, связанного со словом “национальность” в новейшем смысле этого слова. В области национальности без субъективного сознательного самоопределения каждого лица в отдельности никто не имеет права причислять его туда или сюда. Здесь уже нельзя смотреть на людей как на овец или как на рабов. А даже и настоящего раба мы не могли бы причислить к известной национальности, если бы он сам себя туда не причислил. Мы могли бы внести его в инвентарь движимой собственности того или другого лица или той или другой общественной группы, но, ставя вопрос об его национальности, мы делаем его самоопределяющимся человеком, и, когда мы обращаемся к нему с подобным вопросом, он в эту минуту перестает быть рабом и становится свободным человеком» [Бодуэн 1913].

Главным тезисом всех работ Бодуэна де Куртене по национальному вопросу становятся идея равноправия всех наций и отказ от идеи господствующей нации (как и господствующего языка): «…признание всем национальностям и племенам одинаковых прав в пределах их культурного развития и национального самосознания. Численное преобладание той или другой национальности не дает ей права на господство и первенствующую роль» [Бодуэн 1906а: 11]. Он почти дословно повторяет в нескольких текстах тезис: «Долой лозунги “Россия для русских”, “Польша для поляков”. Россия для всех, кто в ней живет, Польша для всех, кто в ней живет» [Бодуэн 1906а: 7]. В другом месте он пишет то же о Литве, о балтийских провинциях. И тут же Бодуэн останавливается на имперском парадоксе, когда дискриминируемым порой оказывается «национальное большинство»: «До чего доводит отсутствие гарантий для большинства, мы видим хотя бы в Прибалтийском крае, где незначительный процент немецких баронов и рыцарей вместе с немецкою интеллигенцией властвовал исключительно и подавлял всякую политическую жизнь у фактических рабов, латышей и эстонцев» [Бодуэн 1906а: 7].

Вместе с тем для Бодуэна все сводится не к борьбе за права наций, а к праву выбора, и в этом смысле национальная принадлежность, с его точки зрения, не может считаться обязательной:

> При сознательном отношении к вопросу о национальности и о других культурных группировках можно свободно принадлежать не только к одной такой культурной группе, но даже к нескольким разнообразным культурным группам или же не принадлежать ни к одной из них. Другими словами: вполне возможна сознательная (или полусознательная и даже бессознательная, но могущая быть осознанною) принадлежность к двум и более национальностям или же полная безнациональность, точнее, вненациональность, наподобие безвероисповедности или вневероисповедности [Бодуэн 1913].

То же относится и к языку. Человек имеет право выбора языка (или языков), которые он считает родным (родными). И право каждого человека обучаться в школе на своем родном языке он декларировал неоднократно. Понятно, что это приходило в полное противоречие с имперской школьной практикой. Но не менее важным был для него и отказ от любого обязательного и навязываемого сверху языка. Эту мысль он вы-

двигает, в частности, в статье «Значение языка как предмета изучения», опубликованной в журнале «Русская школа» в 1906 г. Бодуэн пишет:

> По-моему, с точки зрения здравой педагогики в каждой школе должно быть признано обязательным, как средство развития ума, изучение одного только языка, т.е. того языка, который ученики приносят с собою в школу и который вместе с тем должен быть преподавательским языком. Ни один другой язык не должен быть обязательным. Но зато надо устроить так, чтобы всем ученикам дана была возможность усваивать практически, и затем делать предметом наблюдения и внутреннего опыта следующие категории языков [Бодуэн 1906б: 76].

Далее он перечисляет русский (с оговоркой — «при нынешних условиях»), «более распространенные языки европейско-американские: немецкий, французский, английский и, по мере возможности, итальянский», добавляя к ним эсперанто, а также местные языки — языки жителей данной области, а также латинский и греческий [Там же: 77]. Понятно, что, как филолог, Бодуэн не заботится о вопросах финансирования такой школы — вопрос о материальных средствах вообще явно принадлежит к числу утопических.

Выдвигая свою программу, Бодуэн де Куртене решительно отвергает идею «братства народов», взаимной любви как движущей силы общественных перемен. Со свойственной ему резкостью и иронией он пишет:

> Современные нам глашатаи «любви к ближнему» и других т.п. возвышенных чувств воплощают их в погромы, в карательные экспедиции, в военно-полевые просто и военные суды и во всяческие взаимоистребления! О практикуемой в наше время «любви к ближнему» поведают громогласно бомбы и виселицы [Бодуэн 1913][255].

[255] Ранее, в условиях жестокого подавления народных выступлений в прибалтийских землях в эпоху революции 1905 г., он писал: «Конечно, если карательные отряды доблестного христолюбивого воинства истребят всех латышей и эстонцев, т.е. всех носителей латышского и эстонского языка, то, само собою разумеется, перестанут существовать индивидуальные латышские и эстонские языки <…>. Однако ж, как бы ни усердствовали на пути к истреблению в душах человеческих разных социальных учреждений, мы никак не можем вытравить из них языка. Язык остается, несмотря на всякие гонения и противодействия, язык остается при любой форме правления, при любом устройстве общественной и хозяйственной жизни. Индивидуальный язык прекращает свое существование только со смертью индивида» [Бодуэн 1906б: 71].

Любая программа, по мысли Бодуэна, должна быть основана на чувстве справедливости и взаимного интереса — «альтруистическом утилитаризме», «утилитаризме с точки зрения блага родной страны, родной области, родной местности». Именно поэтому он не теряет надежды на то, что ради своего же блага как правительства, так и народы разных стран откажутся от самовозвышения (от любого «национального хвастовства», как он это называет) и от подавления других.

Как настоящий ученый, Бодуэн де Куртене ставит вопрос и о реалистичности своих предложений, выделяя в них программу-минимум. Ее осуществление (федерализация, безотлагательная реализация прав человека и прав наций на культурное самоопределение) он увязывает с «роковым» вопросом о существовании России. Самая ближайшая история показала, насколько он был прав в своих опасениях, но ни власть предержащими, ни широкой «общественностью» он не был услышан.

Как общественная фигура Бодуэн де Куртене был ни для кого не удобен и никому не «поваден». Лучше всего эту его особенность демонстрирует упомянутое выше письмо этнографа В.В. Радлова, большого друга и почитателя Бодуэна, академику А.А. Шахматову. Радлов начинает с казанского периода:

> Все его почитали как большого ученого, но его горячность и откровенность, высказывавшиеся часто в прениях Совета и в частной жизни <…> негодование на всякую незаконность скоро поставили его в Казани в неприязненные отношения к обществу казанских ученых, и он был рад, когда его выбрали профессором в Дерптский университет. Когда через год после этого я его встретил, он был в восторге от порядков тамошнего университета. В начале восьмидесятых годов <…> взгляды его на Дерпт совершенно изменились. Он жаловался на узкий немецкий шовинизм, на партикуляризм их взглядов и на непонимание ими своих обязанностей по отношению к России. <…> Он и немцы были рады, когда его <…> пригласили в Краковский университет. Впоследствии я <…> узнал, что он сначала был с энтузиазмом встречен в Кракове, но это чувство к нему скоро охладело. Здесь он в первый раз примкнул к политической и общественной деятельности. Шовинизм поляков казался ему отвратительным <…>. Тогда поляки считали его отступником от польских идеалов, а правительственные круги (Австро-Венгрии. — *Л.К.*)

от него отчудились, так как он публично высказывался против действий венгерского правительства [Бодуэн 1913].

В конце жизни, в независимой Польше, профессором наконец-то польского Варшавского университета, он продолжал отстаивать права меньшинств. Как когда-то поляки, латыши, эстонцы, евреи, украинцы, так теперь русские и те же евреи и украинцы, проживающие в Польше, были предметом его забот. Недаром в 1922 г. он стал кандидатом в президенты республики от национальных меньшинств.

17 апреля 1920 г. эстонский Тартуский университет присвоил Бодуэну де Куртене степень почетного доктора.

Глава 4
СТРАННЫЙ ОСТЗЕЕЦ

В этой главе пойдет речь об очень родовитом эстляндском дворянине бароне Розене (Karl Georg Woldemar Friedrich von Rosen; 1800–1860), до 19 лет не знавшем русского языка, в двадцатипятилетнем возрасте начавшем публиковать по-русски сочинения в ведущих русских журналах, пробовавшем свои силы в поэзии, драматургии, художественной прозе и критике. Главное же — в начале 1830-х гг. барон Розен претендовал на роль русского национального идеолога, был борцом за русскую народность в литературе, даже русифицировал свое имя. Однако одновременно он ощущал себя «европейцем» в русской литературе, занимался переводами из русской литературы и собственными сочинениями на немецком языке, стремился заслужить признание в прибалтийско-немецкой среде и стать известным в Германии. К сожалению, планы и проекты Розена опережали его творческие возможности. Многообещающее начало творчества, знакомство с Пушкиным, сотрудничество с лучшими русскими литераторами обернулись уже в конце 1830-х — в 1840-е гг. неудачами, маргинализацией и в конце жизни — драматическим финалом. Однако его неудачи связаны не только со скромными размерами литературного дарования, а и с избранной им литературной стратегией. Нас Розен, выходец из Эстонии, интересует в первую очередь как пример прибалтийского немца, сделавшего попытку сменить культурную идентичность. Однако в своих путевых очерках он пытается дистанцироваться от русской литературы и подчеркнуть свое «европейское» лицо, представить себя как ученика Гете и поклонника Горация.

Не менее интересен и его роман об остзейце, где переплетены разные литературные традиции и переосмыслен отрицательный образ средневекового немецкого рыцаря, закрепившийся в русской романтической повести 1820-х гг.

4.1. Эстляндец барон Е.Ф. Розен — борец за русскую народность

Барон Розен, остзеец с солиднейшей родословной, восходящей к X в. (в Лифляндии и Эстляндии Розены проживали с XIII в., см.: [Очерк 1876]; род матери — фон Таубе — имел не менее представительную ге-

неалогию), избрал для себя очень необычный жизненный путь[256]. Он родился в имении матери Рикхольц (современное Ригулди, недалеко от Хаапсалу) [Lexikon 1970: 645], родным языком его был немецкий, французский был для него также органичен. С детства Розен был увлечен античной культурой (греческий и латынь знал превосходно), поэзией, мечтал сам стать поэтом и первые свои стихи писал по-латыни. Вряд ли он тогда догадывался, что его будущая литературная карьера будет связана с языком, которого он тогда совсем не знал.

Русский язык, на котором была написана бóльшая часть его сочинений, Розен начал изучать, когда в 19 лет поступил на службу в Елизаветградский гусарский полк и оказался в русской провинции, в Саратовской губернии. В своей автобиографии он свидетельствовал:

> Известнейшие наши литераторы, с которыми я позже общался, выражали мне свое удивление, каким образом я, с трудом научившись русскому языку на службе, так глубоко мог вникнуть в дух русской народности, как о том свидетельствуют первые мои драмы. Ответ нетруден! Быв не только оторван, но и целиком отрезан от немецкого духа и от немецкой жизни, и в таком возрасте, когда сердце стремится в мир, я должен был довольствоваться русскою национальностью. Первые мои любовные излияния должны были выражаться на русском языке. Часто приходилось мне с гусарами стоять в степной деревне, в ста верстах от полкового штаба, идиллически принимать участие в играх деревенской молодежи, слушать старинные сказки и песни от краснобаев (Krasnobaen), участвовать во всех сторонах народной жизни, и я неприметным образом всею душою вжился в национальный дух. Могу сказать положительно — и мое суждение будет беспристрастно, — что в действительной жизни моей я ничего не встретил привлекательнее и поэтичнее русской народной жизни, как мы находим ее вдали от столбовой дороги, в природном состоянии [Rosen 1841: V–VI].

Первые сочинения на русском языке Розен напечатал уже в 1825 г., а в конце 1820-х гг. вошел в русскую литературу как поэт, переводчик,

[256] Сведений о его жизни сохранилось немного, т.к. после смерти брат уничтожил его архив. Основные данные черпаются из краткой автобиографии, написанной им в качестве предисловия к немецкому изданию своей пьесы «Дочь Иоанна III» [Rosen 1841].

критик и издатель. Как пишет самый проницательный исследователь его творчества, В.Э. Вацуро, «в литературных кругах отношение к Розену было поощрительным и отчасти снисходительным, как к даровитому, но все же чужеязычному поэту» [Вацуро 2004: 770]. Познакомившись с Пушкиным в 1829 г., Розен вошел в орбиту его интересов. Пушкин поощрял его литературные занятия, печатал его сочинения в своих изданиях, был вкладчиком розеновских альманахов «Царское Село» и «Альциона». Розен был известен как пропагандист русской литературы на немецком языке. Он печатал свои переводы и статьи о русской литературе в остзейских изданиях, в частности в ревельской «Эстоне» («Esthona») [Исаков 1971][257] и «Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Russlands» («Дерптские ежегодники литературы, статистики и искусства, особенно о России») и др. В Дерпте в 1833 г. барон опубликовал свою статью о «Борисе Годунове» Пушкина с переводом (по пушкинской рукописи!) опущенных в русской печати сцен из трагедии, которые таким образом оказались известны немецкому читателю ранее, чем русскому («Ограда монастырская»; «Замок воеводы Мнишка в Самборе»).

На середину 1830-х гг. приходится расцвет литературной карьеры Розена. Он становится известным драматургом, его исторические драмы «Россия и Баторий» (другое заглавие — «Осада Пскова», 1832–1833), «Петр Басманов», «Дочь Иоанна III» (1835) внесли свой вклад в становление русской национальной драмы [Вацуро 2004; Киселева 2013; Киселева 2015]. Самым известным его драматическим сочинением, бесспорно, является «Жизнь за царя», написанная в 1836 г. как либретто к опере М.И. Глинки. Самолюбивый и ранимый Розен очень обижался на то, что вся слава создания первой русской национальной оперы досталась композитору, но тем не менее именно это его сочинение дожило до наших дней и, восстановленное после советских переделок 1930-х гг. (когда опера получила заглавие «Иван Сусанин»), теперь ставится на лучших сценах мира именно по либретто Розена.

В середине 1830-х гг. Розен по собственному выбору русифицирует свое имя, став Егором Федоровичем, и этот жест был для него принципиален. В своих воспоминаниях о Пушкине он написал: «До юношеских лет не ведал ни русского языка, ни русского духа и только в идеальном возрасте благоприобрел и полюбил русскую *народность* и этим добился права гражданства в ней» [Розен 1974: 275]. Акцентированно «русская» (даже простонародная) форма имени Георг / Георгий,

[257] Здесь содержится полный перечень переводов Розена, напечатанных в «Эстоне». См. также: [Исаков 1960].

видимо, закрепляла в его глазах это право, поскольку он ощущал себя строителем русской национальной идеологии.

Взгляды Розена на драматургию проявились уже в его статье о «Борисе Годунове» Пушкина. Статья вообще показательна для литературной личности барона — это сочетание наивной критики и чисто схоластических рассуждений с интересными наблюдениями и общей высокой оценкой пьесы. Считая «Бориса Годунова» трагедией судьбы, а главной темой — «Божий суд над убийцею», не подлежащий «земному суду» [Розен 2003: 260], он упрекал Пушкина за отступления от этой главной якобы идеи — именно эту тему Розен будет вскоре развивать в своей пьесе «Россия и Баторий» («Осада Пскова»).

Исторические драмы Розена традиционно считают написанными в русле «официальной народности», и это верно в том смысле, что автор развивает в них все концепты знаменитой триады. Однако его первая пьеса, безусловно, была написана до опубликования циркуляра С.С. Уварова, содержавшего триаду «православие — самодержавие — народность»[258]. Следовательно, то, что писал Розен в своей первой драме и что продолжал развивать вплоть до последней пьесы «Князья Курбские» (1857), было не конъюнктурным подлаживанием под правительственный курс, а авторской позицией. Тем интереснее нам будет проследить, как остзейский барон вписывается в имперское идеологическое строительство 1830-х гг. (о путях этого строительства мы знаем на удивление мало).

«Россия и Баторий» написана на основе «Истории государства Российского», но в драматургической технике Розен многое заимствует из пушкинского «Бориса Годунова», хотя наполняет аналогичные сцены другой идеологией. Он явно стремится написать национальную драму в том смысле, как ее понимал Пушкин в наброске статьи «О народной драме и о “Марфе Посаднице” М.П. Погодина» (1830), т.е. показать образ нации в переломный момент истории — «судьбу народную», по выражению Пушкина. Об этом говорит уже заглавие «Россия и Баторий». Имя Батория сразу же актуализирует в сознании читателей историческую эпоху, о которой пойдет речь, а также вероятные эпизоды (в частности,

[258] Цензурное разрешение на отдельное издание «России и Батория» было подписано 15 июля 1833 г. Хотя циркуляр Уварова был разослан по учебным округам 21 марта 1833 г., но опубликован он был в начале 1834 г. в № 1 «Журнала Министерства народного просвещения». Нельзя не отметить, что и драма Н.В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла», ставшая эталоном «официальной народности», была также написана до появления уваровского циркуляра. Это еще раз убеждает нас в том, что вовсе не циркуляр Уварова сыграл решающую роль в становлении идеологической триады — он лишь удачно сформулировал то, что уже зрело в общественном сознании и что встретило ожидания императора Николая.

знаменитая осада Пскова). Первая же часть названия — Россия — призвана задать образ нации как коллективной личности (что потом и подтверждается по ходу чтения). И в этом смысле характерно, что в названии не появился ни Иван Грозный, исторический антагонист Батория, ни царевич Иван Иванович, ни Борис Годунов (чьи образы очень важны в пьесе). Героем пьесы с русской стороны оказывается «вся Русь».

Одновременно Розен стремится создать сложную пьесу, с драматическими, противоречивыми характерами, в традиции «Бориса Годунова»[259]. И не удивительно, что «Россия и Баторий» начинается — по пушкинским лекалам — с народной сцены. В неоконченной статье Пушкина (читать ее набросок Розен вряд ли мог, но с идеями был знаком — слышал суждения поэта, когда они обсуждали проблемы народной драмы в связи с «Борисом Годуновым»[260]) подчеркивается мысль: «Драма родилась на площади <…> Народ, как дети, требует занимательности, действия. Драма представляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ требует сильных ощущений, для него и казни — зрелище» [Пушкин 1977–1979: VII, 147]. Уже в первой сцене «России и Батория» Розен воплощает указание поэта, а в ремарке почти буквально повторяет его слова: «Площадь. В глубине театра жгут на костре доктора Елисея Бомелия; народ с удовольствием смотрит на сию казнь» [Розен 1833: 1]. Затем в той же первой сцене, как в «Борисе Годунове», к народу обращается думный дьяк. Он разъясняет причину казни: «Литвою к нам подослан был Бомелий: / Он извести хотел царя, но Бог / Нам все открыл — его схватить успели, / И царь его в потеху людям сжег!» [Там же: 2]. Здесь исполняется пожелание Пушкина, чтобы в народной драме были представлены «люди минувших дней, их умы, их предрассудки». Эта линия старательно выдержана на протяжении всей пьесы[261]. В частности, народ убежден, что жестокость Грозно-

[259] Аналогичные устремления мы видим и в «Марфе, Посаднице Новгородской» М.П. Погодина, поэтому Пушкин и находил достоинства в этих пьесах, прозревая, в частности, в драмах Розена замысел (намерение) и не сосредоточиваясь на несовершенстве воплощения.

[260] См. письмо Пушкина к Розену осени 1831 г. Печатная версия «Марфы, Посадницы…» Погодина (вышла в свет в конце 1831 г.) была для Розена, несомненно, актуальна.

[261] Среди персонажей также имеются трансформированные аналоги пушкинским: старец Дорофей → юродивый; старик, облагодетельствованный Адашевым и призванный Годуновым, чтобы раскрыть глаза царевичу Ивану → Пимен. Разумеется, это розеновские, а не пушкинские персонажи, как и Борис Годунов, который в «России и Батории» представлен скорее как положительный герой, не причастный ужасам опричнины. Некоторые черты *пушкинского* Годунова переданы Замойскому.

го по отношению к подданным объясняются «волхованьем», которое на него «навели» [Там же: 3].

Это не значит, что Розен во всем следовал пушкинским указаниям — от «предрассудка любимой мысли», т.е. от ангажированности, Розен избавиться не хотел и не пытался. Его целью было создание политической пьесы на исторический сюжет, точнее — национальной драмы или трагедии (что в значительной мере являлось тогда синонимами)[262]. Ее концепция развивала идеи Карамзина о самодержавии как органической для России и, более того, — единственно возможной форме правления. Для демонстрации этой мысли драматург избирает (тоже вслед за Карамзиным) самого ужасного монарха — Ивана Грозного. Он изображен у Розена как садист, презирающий людей и одновременно боящийся их, патологически недоверчивый, растерявший свое былое величие в разврате и бессмысленных жестокостях. Тем не менее даже после убийства сына-наследника, когда царь в ужасе сам отказывается от власти, подданные умоляют его не покидать престола. На реплику Грозного «…я весь в крови сыновней, / Как некое чудовище стою <…> Могу ли я под тяжким гневом Божьим / Державствовать? Не должен, не хочу! / Грехами смраден, паче мертвеца…» [Там же: 194] — за всех отвечает псковский воевода, победитель Батория И.П. Шуйский: «Чудовища не знаем, не видали; / Твоих грехов не ведаем, забыли; / Одни твои великие дела / Да царские твои благодеянья / Мы свято держим в памяти своей — / И не хотим себе царя иного, / Окроме Богом данного — тебя» [Там же: 195]. Измена царю-тирану, по Розену, не может быть оправдана, поэтому Курбский в «России и Батории», терзаемый муками совести, признается Замойскому, что хотел бы вернуть прошлое и с удовольствием лег бы «на плаху ту, где твердо умирали / Адашева блаженные друзья» [Там же: 100].

Точка зрения Розена на самодержавие даже радикальнее карамзинской. В девятом томе историограф, описывая жестокости Грозного и терпение подданных, восклицает:

[262] На рубеже 1820–30-х гг. возникло отчетливое стремление возродить в русском театре высокий жанр национальной трагедии. Трагедии В.А. Озерова явно устарели, были остро необходимы новые пьесы, и характерно, что А.С. Хомяков работал над своим «Ермаком» независимо от Пушкина. Но далее серьезным импульсом для драматургов явилось, конечно, появление «Бориса Годунова», первоначально в устном исполнении автора. «Смольяне в 1611 г.» А.А. Шаховского, «Марфа Посадница…» М.П. Погодина, «Димитрий Самозванец» А.С. Хомякова, пьесы Н.В. Кукольника, Розена — все это ответы на вызов времени и взаимодействие с пушкинской трагедией.

> Ему ли <царю>, им ли <подданным> должны мы наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении, ибо считали власть Государеву властию Божественною и всякое сопротивление беззаконием <…> гибли, но спасли для нас могущество России: ибо сила народного повиновения есть сила государственная [Карамзин 1989: 98].

Розен же ставит царский сан настолько высоко, что в восхвалении его балансирует на грани прямого кощунства. Шуйский в пьесе отговаривает Грозного от пострижения такими словами: «Монашество и честно и почтенно; / Чин ангела величествен и свят, — / Но царское величество святее! / Покуда Бог хранит царя в живых — / Народ царя и Богу не уступит!» [Розен 1833: 197].

Конечно, концепция самодержавия у Розена не однозначна. Драматург часто вкладывает идею о сверхъестественной природе самодержца (царь — «всевышний человек») в уста амбивалентных персонажей (Грозный, Годунов, Грязной). Для розеновской концепции гораздо важнее, что царская власть — это *народная* власть, символ и средоточие Святой Руси (царь постоянно именуется «надежа-государь», «батюшка»). Эту мысль автор «России и Батория» также доводит до логического предела: у него псковичи почитают себя обязанными царю за то, что тот в свое время не разгромил Пскова, как сделал это с Новгородом. Перед битвой защитники города говорят: «Мы все в долгу пред батюшкой-царем: / Помиловал он нас во время оно! / Вот срок настал уплачивать наш долг / Литовскими и польскими главами — / Да ведает великий государь, / Что милости такой до гроба помним!» [Там же: 82–83].

Именно такая трактовка самодержавия как народной власти, как нам представляется, вызвала благосклонное отношение к пьесе императора Николая I, вообще весьма настороженно относившегося к изображению негативных явлений русского прошлого и, следовательно, к нарочитому вниманию к личности Грозного. Н.В. Дризен приводит в высшей степени характерный эпизод с цензурной историей трагедии И.И. Лажечникова «Опричник», запрещенной даже к публикации (не говоря о постановке) на основании экспертного отзыва адъюнкта Академии наук и впоследствии академика, видного археографа Я.И. Бередникова. Главным доводом против трагедии явилось изображение царя в отрицательном свете, причем исторические аргументы во внимание

не принимались [Дризен 1917: 10–13][263]. Автор отзыва был категоричен:

> Негодование читателей возбуждается против законного царя русского, которого сан, в качестве помазанника Божия, мы привыкли почитать священным, здесь самым разительным образом высказывается злоупотребление монархической власти, здесь в уста царя влагаются речи, способные ослабить уважение, которое мы питаем к высокой особе наших венценосцев; одним словом, все <…> подрывает безотчетное чувство благоговения к монархам, которым мы исполняемся с самого детства [Там же: 12][264].

Конечно, такое суждение вполне согласовывалось с точкой зрения Николая Павловича[265]. Нельзя не заметить, однако, что «Россия и Баторий» изобилует сценами такого рода, где монархическое чувство читателя подвергается серьезному испытанию. И все же мнение императора оказалось благоприятным, поскольку у Розена жестокости и ужасы уравновешены народными сценами, исполненными безграничной преданности царю.

В трактовке русского национального характера Розен продолжает линию «Смольян…» А.А. Шаховского [Шаховской 2005], носителем национального начала у обоих драматургов вполне может быть и князь, и дворянин, и простой воин. И все же *простонародность,* по мнению барона, должна иногда отделяться от *народности*, например, когда речь идет о неприглядных особенностях русского быта: «Тогда уже сама собою выдается ее (народности. — *Л. К.*) квинтэссенция, ее идеальность, ее художественное содержание — именно то, что может и должно

[263] Я.И. Бередников находил, что соответствие изображения характера Грозного «Истории…» Карамзина оправданием для автора служить не может, заметив даже, что взгляд знаменитого историка на Ивана IV односторонен и опирается на «враждебные» ему документы. Пересмотр позиции официально «канонизированного» Карамзина сам по себе знаменателен. Однако замечание Я.И. Бередникова нельзя не признать проницательным. Как известно, важным источником для Карамзина служили послания Курбского, которые историограф впервые вводил в оборот.

[264] Трагедия Лажечникова «Опричник» появилась в печати лишь в 1859 г. и стала основой либретто одноименной оперы П.И. Чайковского (1873–1874), где роль царя была предусмотрительно исключена.

[265] Ср. его высказывание в связи с благонамереннейшей пьесой Н.В. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль»: «Лицо императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви, выводить оное на сцену было бы почти нарушением святыни» [Дризен 1917: 23].

быть предметом изящной литературы» [Розен 1974: 275]. Поэтому как Шеин, князья Горчаковы, князь Мезецкий у Шаховского, так и князья И.П. Шуйский, Ю. Прозоровский, Бахтеяров у Розена являются идеальными воплощениями русской «народности».

Перед боем Шуйский благословляет защитников: «Во имя русской доблести в бою, / Во имя русской верности царю, / Во имя русской веры в провиденье!» [Розен 1833: 60]. Однако простые граждане, защитники Пскова, не уступают вождям в благородстве. Псковичи отказываются от милостей Батория, и его попытка взять город без боя провалилась. Король восхищен доблестями русских: «Каков ответ сих брадачей! Дерутся / Как дьяволы; и честны, неподкупны, / Как римляне златого века Рима!» [Розен 1833: 102]. Античная параллель, конечно, не случайна, подобные лестные сопоставления культивировались в русском контексте еще с конца 1790-х гг. Для Розена она служит доказательством «идеальной» народности, права «брадачей» войти в высокую литературу. Псковичи у Розена, как и смоляне у Шаховского, представляют единую семью, хотя в обоих случаях в семье имеются «старшие» (воеводы) и «младшие» (граждане), и это прямо отражено в первом явлении 2-го действия, где князь Хворостинин обращается к боярам: «Иль на пиру победном попируем, / Как бы *одна* веселая семья! / Или в *одну* могилу дружно ляжем, / Как бы родные братья и друзья» [Там же: 57], и лишь потом к ним присоединяется народ, радостно приветствующий воевод и готовый идти вместе с ними на бой. То, что для Пушкина было бедой народа («…то ведают бояре, / Не нам чета»), для Розена является естественной основой миропорядка, который он утверждает своей пьесой. Его концепция нации — «Святая Русь»[266] — может быть раскрыта словами рецензии на пьесу «Россия и Баторий»: «любовь к отечеству, к царю и святыне»[267].

Народные сцены в «России и Батории», как и вся пьеса, тотчас же вызвали критику Н.А. Полевого. В остроумной и, разумеется, отрицательной рецензии Полевой немало потешался над народными сценами,

[266] В драме есть специальное рассуждение о том, что такое Святая Русь. Баторий беседует с русскими пленниками (д. 3, явл. 4). В ответ на их реплику «… мы изменить не можем / Святой Руси да русскому царю!» [Розен 1833: 110] король спрашивает: «Иное ли там солнце светит, что ли? / Святая Русь! Ну, чем она свята?» Ответ характерен и отсылает к мистическому пониманию Святой Руси, которое неизъяснимо и недоступно пониманию иностранца: «Ах, государь! Нам не растолковать, / Тебе ж во век и не понять, что значит: / Святая Русь!» [Там же: 111].

[267] Ср.: «Одна только любовь к отечеству, к царю и святыне составляет единственные, но зато богатые и роскошные сюжеты народной драмы» [Пушкин 2008: 34]. По предположению В.Э. Вацуро, автором рецензии был Н.В. Кукольник.

которые назвал «замазкой между явлениями», не видя в них «*русского* выражения, *русской* души» [МТ 1833: Ч. 52, № 16, 573; 575]. Более того, критик полагал, что «язык, каким говорят герои в его <Розена> драме, можете приписать тевтонским рыцарям, японцам, китайцам, индийцам, поставленным на подмостки ямба» [Там же: 575]. Конечно, с таким утверждением автор «России и Батория» никогда бы не согласился. Он обильно сдабривал свой текст «русскими выражениями», стремясь передать языковые особенности «народности» в собственном понимании (к этому вопросу мы еще вернемся ниже).

Хотя драма барона Розена укладывается в теорию официальной народности, но, как указал В.Э. Вацуро, все же отличается от официоза. Изображение польского лагеря в пьесе (тоже явная ориентация на «Бориса Годунова») — совсем не однозначно негативное. Хотя Полевой и назвал розеновских поляков «скучными хвастунами», но не все поляки в «России и Батории» одним миром мазаны (и это в пьесе, вышедшей в свет вскоре польского восстания!). Особенно выделяется Баторий — король-рыцарь, умеющий ценить рыцарские качества других. В частности, он отпускает Курбского из-под Пскова, понимая, что ему невозможно воевать против своих.

Однако «Россия и Баторий» не могла быть поставлена в театре, несмотря на одобрение Николая I. По законам театральной цензуры царские особы не должны были появляться на сцене. Правда, в отдельных случаях могло быть сделано исключение для монархов не из дома Романовых [Дризен 1917: 19–20], но в «России и Батории» был явный переизбыток царственных лиц: Иван Грозный, наследник — царевич Иван Иванович (которого при этом царь-отец убивал), будущий царь Борис Годунов, польский король Стефан Баторий. Переделка для сцены, осуществленная Розеном по совету Николая, — трагедия «Осада Пскова» — была поставлена в Петербурге 1 октября 1834 г. и вскоре вышла из печати уже с указанием имен актеров, занятых в спектакле (хотя цензурное разрешение датировано 12 марта). Автору пришлось изъять около половины текста и заполнить образовавшуюся лакуну совершенно новой линией — вымышленным сюжетом встречи под Псковом двух князей Курбских: Андрея Курбского и его сына Юрия, брошенного отцом в Дерпте, который носит фамилию Прозоровского, т.к. скрывает свое происхождение от изменника. Такой поворот темы включал новую пьесу «Осада Пскова» в ряд романтических трагедий об «ужасной судьбе отца и сына» (говоря лермонтовскими словами). Введена была и любовная линия (отсутствовавшая в «России и Батории»). Это нежная любовь Юрия Прозоровского к своей жене Евфросинии, которую он называет «горлица, голубушка моя», «душа моя», «ангел Божий»[268].

Именно жене сын Курбского признается в своих мучениях: он любит отца, не может забыть прощания с ним в Юрьеве перед его побегом, он читал его письма Грозному из Вольмера, в которых находит много правды. Теперь Юрий боится случайно стать отцеубийцей — в бою он не сможет узнать Курбского: «Когда б мне бросить отцеборный меч… (*Бросает меч*). <…> Но долг велит опять поднять сей меч… / Увы! Поднять — и высоко поднять / Над головою ковельского князя» [Розен 1834: 70–71]. В душе Юрия борются долг и чувство — побеждает, конечно же, долг. Он не может написать письмо отцу (как предлагает жена) — это было бы изменой: «Царь Иоанн не хочет, чтобы мы / С каким-либо врагом сносились дружно — / А менее всего с опальным Курбским» [Там же: 71]. В финале все подстраивается таким образом, что отец и сын встречаются на поле битвы: Курбский уезжает из-под Пскова по воле собственного сердца, но на дороге предатель Острамецкий указывает на его одинокую фигуру Прозоровскому, говоря, что это сам Баторий. Прозоровский гнушается мыслью взять в плен врага, воспользовавшись численным преимуществом своего отряда. Он вызывает мнимого короля на поединок, в ходе которого выясняется, кто есть кто. Трогательная сцена последнего свидания — раскаяние отца, любовь сына — все очень чувствительно, оба героя решают уйти в монастырь, «посхимиться», причем поменяться именами: отец будет Юрием, а сын Андреем. На прощание сын просит отца лишь об одном: чтобы он примирился с царем и молился за него. Курбский молится за Иоанна, и сын произносит финальную реплику: «Ты примирен и с совестью своею, / И со Святою Русью — *Мир с тобою*!..» [Там же: 136].

По тому, с каким тщанием Розен старался сохранить в новой версии все псковские сцены, имевшие идеологическую нагрузку, можно предположить, что ему совсем не хотелось расставаться с идеей национальной трагедии. «Осада Пскова» тоже начинается народной сценой, но тут (в отличие от первой пьесы) идеальный Прозоровский отправляет своих

[268] Юрий — сторонник более мягкого, чем принято на Руси, обращения с женами: этот обычай он вынес из Ливонии, где был воспитан. «Женский вопрос» был поднят и в «России и Батории» — в сцене, где псковитянки участвуют в обороне города и беседуют между собой: «Вот, наконец, и мы-то пригодились / На что другое, как мужьям / Прислуживать, детей рожать, кормить, / Сорочки шить, обед и ужин стряпать — / Мы сослужили службу государю!» — «Да, кажется! Мужьям теперь должно бы / Нас более, чем прежде, почитать, / В прямой любви, в большой чести держать, / Как держат немцы жен своих!» [Розен 1834: 79–80]. Эта линия была потом развита драматургом в пьесе «Дочь Иоанна III».

крестьян на битву за Псков, сжигает свой дом, чтобы он не достался врагу (аллюзия на события 1812 г.). Уже первая реплика Прозоровского «Ну, дети, вам доводится на время / Оставить ваше мирное житье / И сельские занятья!» [Розен 1834: 1][269] задает тон идиллического единения господина и крестьян. Никто не сомневается в победе над поляками. Прозоровский уверяет: «Царь-государь прислал к нам воевод! / Один другого лучше!» [Там же: 2], крестьяне ему вторят: «Да, свят и силен Псков / И Божеским, царским возлюбленьем! / Не суйся враг!» [Там же: 3].

Вообще, «народность» в «Осаде Пскова» цветет еще более пышным цветом, чем в «России и Батории»: готовящееся сражение называется «честный пир на весь крещеный мир», «разгульная, разбуйственная свадьба», «масленица». Лингвистическая фантазия Розена была неистощима на изобретение псевдонародных выражений, которые он сам, естественно, считал истинно народными; образность его весьма причудлива и иногда двусмысленна. В качестве характерного примера приведем обращение княгини Прозоровской к мужу: «И я ль одна супружница твоя? / Есть у тебя еще другие жены: / Война да служба царская — оне / Мне уделят от милого немного! / Держать ты будешь с ними опочив / На мураве-траве во чистом поле; / Оне с тобою будут говорить / Тяжелым словом пушек стенобитных / И беглой дробью ручниц боевых; / Кидать в тебя чугунными цветками / И поводить огнистыми глазами» [Там же: 9] и далее в таком же духе. Видимо, мы здесь имеем дело со своеобразным парафразом известной народной песни времен 1812 г. «Солдатушки, бравы ребятушки…» («Наши сестры — штыки сабли остры», «Наши жены — пушки заряжены», «Наши детки — пули наши метки», «Наша слава — Русская держава» и пр.), однако барон развивает эти ясные метафоры в сложные, почти сюжетные цепочки, переводя метафоры в аллегорический код. Результат не мог не вызвать улыбок и даже насмешек современников.

Рецензент печатного издания «Осады Пскова» В.М. Строев предложил составить специальный лексикон, чтобы можно было понимать «русицизмы» барона Розена; не меньше насмешек вызвали у него и «выражения, выкованные по германскому образцу» (точнее было бы сказать — неологизмы в духе «германоросса» А.С. Шишкова[270]): «с великою красой страстотерпенья», «победоторжествующие клики», «всеоружество», «всеотечественный нищий» [СП: 1834. 17 ноября. № 262. С. 1048]. К ним можно было бы прибавить еще немало перлов как из «Осады Пскова», так и из «России и Батория» («великодревний Псков», «отцеборный меч», «удалый куролес» — в значении «удалец»).

[269] В ответе на критику своей пьесы [СП: 1834. 14 окт. Прибавление. № 1. С. 3–4] автор прямо вскрыл и без того очевидную аллюзию на гр. Ростопчина [СП: 1834. 24 окт. № 241. С. 961].

[270] Согласно языковой утопии А.С. Шишкова признаком подлинно русского языка являются сложные церковнославянские слова с «прозрачной» структурой (т.е. кальки с греческого, подобно *победноторжествующие)* или простонародные слова вроде *супружница, куролес* и пр.

Но если отвлечься от этих лингвистических изысков, то в «Осаде Пскова» сохранена ведущая идея «России и Батория» — единение нации перед лицом опасности, национальный характер как главное достояние Святой Руси. Сам барон с непонятным упорством пытался доказать, что его пьеса основана на чувстве «страха встречи», который владеет отцом (Курбским) и сыном (Прозоровским), видимо надеясь таким образом перевести свою пьесу в ранг романтических драм и отбиться от критиков, язвивших его утверждением, что ни драмы, ни трагедии в пьесе нет вовсе. Однако гораздо важнее была для него мысль о создании «народной драмы», что почувствовал В.М. Строев, но отнюдь за это Розена не похвалил. Крестный ход и рассказ старца Дорофея о явлении Богородицы, которая указала, где следует установить пушку[271], его не умилили, а сама сцена с пушкой «трескотухой» была и вовсе найдена смешной и бесполезной [СП: 1834. 17 ноября. № 262. С. 1047]. Однако самое горестное ожидало барона Розена в конце рецензии, где его концепция «Святой Руси» была причислена к профанациям, а пьеса была недвусмысленно поставлена в один ряд с «Рукой Всевышнего…» Кукольника. Строев завершал рецензию словами:

> В заключение не можем удержаться от замечания, которое относится не к одной *Осаде Пскова*: мы хотим говорить о злоупотреблении слова святая Русь. Это священное для русских слово, символ нашей любви, надежд и жизни, которым мы выражаем любовь к царю, отчизне и вере, беспрестанно употребляется в наших народных трагедиях, и почему? — Потому, что оно, одно оно возбуждает уже громкие рукоплескания. Его-то употребляют беспрерывно. В *Осаде Пскова* его встречаешь 42 раза <…> За что такая *профанация* этому священному, дорогому, для русского сердца, бесценному слову? [СП: 1834. 17 ноября. № 262. С. 1048].

[271] В ответ на критику этой сцены рецензентами барон Розен трогательно ссылался на «Сказание об осаде Пскова» и на «Историю…» Карамзина, приводя и номер примечания к IX тому, где эта история изложена. Он полагал даже, что если бы подобных знамений не существовало в действительности, то он «долженствовал бы их *выдумать*, для точного изображения духа времени» [СП: 1834. 24 окт. № 241. С. 963].

Попытки уязвленного автора сострить в ответ и привести встречные подсчеты (мол, в рецензии его имя употребляется 18 раз [СП: 1834. 22 ноября. № 266. С. 1063]) поправить дела явно не могли.

Самодержавная линия также важна в «Осаде Пскова» и приобрела даже бóльшую «чистоту» по сравнению с «Россией и Баторием», где Иван Грозный — монарх совсем не идеальный. Он не только тиран и сыноубийца, но и суеверный трус. Царь ничего не сделал для спасения Пскова и собирался сдать его врагам: все успехи и подвиги совершались помимо него. Изъятие этого образа, как и всей придворной линии с интригами, лестью, угодничеством, только укрепило в «Осаде Пскова» самодержавную идею (русская верность царям как неотъемлемая черта национального характера, самодержавие как «палладиум» России). Конечно, и в «России и Батории» финал был благополучный: Псков устоял, перемирие с Польшей заключено, Ивана Грозного уговорили не отрекаться от власти, казак Кольцо[272] привез весть о завоевании Сибири и присоединении ее к русскому царству. Грозный на радости велит звонить в колокола — «Весть рассевать во весь народ: как любит, / Как жалует святую Русь Господь!» [Розен 1833: 203]. Финальная реплика царя предвозвещает более благополучное будущее: «Отныне людям милость и любовь!» [Там же: 204][273]. Но «России и Батория» зрители никогда на сцене не увидели, а «Осада Пскова» выдержала только три спектакля.

Меж тем буквально во всех рецензиях на премьеру подчеркивается, что автор был вызван публикой (что считалось большим признанием), причем по инициативе дам. Вот как повествует об этом анонимный рецензент «Сына отечества»:

> В этом представлении случилось нечто необыкновенное. По окончании пиесы любители драматического искусства с восторгом требовали автора, чтобы изъявить ему свою благодарность за его прекрасное произведение; другие — вероятно, не любители — не постыдились шикать… Талант барона Розена слишком самостоятелен, чтобы подобное неодобрение могло убить его, и стыд этого шиканья падает не на него. Дамы (мы не смеем назвать их, но можем сказать, что они принадлежат к самому высшему кругу), дамы, сидевшие в одной из самых заметных лож, встали с мест своих и приняли ревностное участие в рукоплесканиях. Пример их прекрасно подействовал, шиканье было заглушено в минуту и автор с восторгом вызван. Честь и благодарение ценительницам таланта! [СО 1834: 535][274].

Следовательно, реакция зрительного зала была неоднозначной и явно небезнадежной для последующей театральной судьбы пьесы. Однако на императорской сцене ее жизнь закончилась в том же октябре 1834 г., когда и началась, на что могли повлиять многие факторы, в частности конфликтный характер самого барона Розена и то обстоятельство, что при постановке текст пьесы был изменен.

Режиссерский экземпляр, который хранится в Отделе рукописей и редких книг Государственной театральной библиотеки Санкт-Петербурга и представляет собой печатное издание пьесы с многочисленными вычеркиваниями, показывает, что зрители увидели совсем не такую пьесу, какую написал Розен. В тексте были сделаны значительные купюры, которые затронули авторскую концепцию. Надо иметь в виду, что купюры делались при постановке практически всегда — драматические сочинения оказывались, как правило, длиннее, чем допускали временные возможности спектакля. Розен здесь совсем не исключение. Поражает не факт, а характер купюр — последовательно изымаются все идеологически нагруженные реплики. Приведем лишь некоторые примеры[275].

Изъяты следующие выражения: «над тобой / Благоволенье царское почило!», «И русский меч, как молния Господня, / Над бездною Литовскою возблещет!», а реплика воевод «Мы победим, мы с Богом победим! / Святую Русь мы грудью отстоим!» редуцируется до одной строки: «Мы победим, и Псков мы грудью отстоим!» [Розен 1834: 31]. Последовательно изымается формула «Святая Русь», рассказ о явлении Богородицы Дорофею и воспоминания о приезде Грозного в Псков тоже вычеркнуты. Кичливая реплика Бахтеярова «У русского и рана не болит, / Когда поляк в летучий пух разбит!» [Розен 1834: 44] удалена. Но пожалуй, еще более удивительно изъятие части монолога Батория, где

[272] Перефразируя Полевого, недоумевавшего по поводу Курбского в «России и Батории»: «И зачем он приезжал в драму?» [МТ: 1833. Ч. 52, № 16, 571], можно сказать, что казак Кольцо «заехал» к Розену не только из десятого тома «Истории государства Российского» Карамзина, но и из «Ермака» А.С. Хомякова, при всем различии этих образов у двух драматургов.

[273] Правда, просвещенные читатели помнили, что после заключения Ям-Запольского перемирия (15 января 1582 г.) историческому Грозному оставалось царствовать всего два года, а после присоединения Сибири — год, но царь в пьесе отрекался от своих злых привычек.

[274] Рецензент более хвалит пьесу, чем спектакль, хотя отмечает прекрасную игру Брянского (Курбский) и Каратыгина (Прозоровский).

[275] Подробнее об этом говорится в нашей статье [Киселева 2014].

он говорит о преимуществе самодержавия: «Чтобы блюсти спокойствие народа, / Чтоб свой народ прославить, возвеличить, / Так надо быть в венце — самодержавным — / Где власть слаба, там ненадежно все!» [Розен 1834: 93] и его сравнение характера поляков и русских (в пользу русских!) [Розен 1834: 95].

Итак, от сокращений пострадала главная концепция Розена — его трактовка Святой Руси, русской верности царю и провиденью. Героические эпизоды обороны Пскова остались, но ударные для драматурга (и, заметим, для официальной народности) реплики исчезли. По-видимому, болезненно самолюбивый, амбициозный барон настолько тяжело пережил такое обращение со своим сочинением, что снял пьесу с постановки и не отдал в театр следующих своих пьес — в частности свою любимую «Дочь Иоанна III», которую сам перевел на немецкий язык и сопроводил своей автобиографией [Rosen 1841]. На этот перевод Розен возлагал большие надежды — с его помощью он надеялся восстановить контакт с прибалтийско-немецкой аудиторией и выйти на европейский уровень, однако и этот жест отклика не нашел.

4.2. «Русский путешественник» барон Розен — европеец и космополит. Италия как его идеальная отчизна

После театральных неудач середины 1830-х гг. барону Розену внезапно улыбнулось счастье. Он смог осуществить свою давнюю мечту и совершить большое европейское путешествие. Однако и в этом случае все начиналось непросто.

В 1838 г. наследник русского престола великий князь Александр Николаевич отправился в европейское путешествие, которое должно было завершить его образование. Как личный секретарь великого князя Розен имел все основания рассчитывать, что его возьмут в свиту. Всю жизнь мечтавший об Италии[276], барон тщательно готовился к путешествию, но в свиту его не включили. У него явно отсутствовали нужные для этого качества — светская ловкость и обходительность, зато имелись отягчающие — гипертрофированное самолюбие и бедность. Вспомнили о нем, когда понадобилось оставить кого-то при заболевшем в Берлине во время путешествия товарище и соученике наследника графе Иосифе Виельгорском. Тут Розена срочно вызвали в Германию, и он по первому зову, даже

[276] Ср. в письме к находившемуся в Риме С.П. Шевыреву от 19 июля 1831 г.: «Как я желал бы — хоть на короткое время, подышать воздухом Италии! Бог весть, сбудется ли когда-нибудь это желание!» [Розен Письма: Л. 2].

не дождавшись официальных бумаг, бросился на пароход и отправился в Любек, чтобы отыскать своего заболевшего товарища по службе. Такую самоотверженность высоко оценили и Иосиф, и его родители, с возмущением писавшие о бесцеремонном отношении к Розену, которому долго не сообщали, в каком статусе он едет, и выделили самое минимальное содержание. Щепетильного барона, конечно, стесняла разница в денежных средствах, он старался сохранить свою материальную независимость от несравненно более обеспеченного Виельгорского. Деликатный Иосиф понимал это и ходатайствовал о товарище через Жуковского, давая попутно сочувственную характеристику Розену: «Он добрый малый, изучал недавно римские древности, знает отлично латинский язык, любит художества, поэзию — одним словом, лучше нельзя человека для Италии»[277]. И все же в Италию им не суждено было ехать вместе: вскоре после того, как к Иосифу приехал отец, Розен покинул их общество.

Итак, несчастье Виельгорского доставило барону Розену возможность совершить долгожданную поездку, которая оказалась очень интенсивной и плодотворной. Покинув Виельгорских, он объехал большую часть Германии, Швейцарии и Италии, уже в пути составляя путевые записки, которые обработал для публикации вскоре после возвращения в Россию и начал печатать в 1839 г. в «Литературных прибавлениях к Журналу Министерства народного просвещения»[278] и в «Северной пчеле». Однако это была сокращенная версия — «Отрывки из путевых записок барона Розена». Переписка Розена с редактором журнала Константином Сербиновичем, хранящаяся в РГИА [Розен Письма 2], показывает, насколько болезненно относился автор к изъятиям, которые были сделаны редакцией в его обширных тетрадях. Сначала барон даже хотел отказаться от публикации, потом слезно молил печатать тексты анонимно:

> Я пробежал выдержки из моих путевых записок — увы! чтò со мною сделала Программа Жур<нала> М<инистерства>: Просвещения! Она выщипала у меня все блистательныя пер-

[277] [Лямина, Самовер 1999: 358] (письмо И. Виельгорского к Жуковскому от 26 июля 1838 г. из Карлсбада).

[278] В.Э. Вацуро, видимо, остались неизвестными публикации в «Журнале Министерства народного просвещения», он перечислил то, что было напечатано в «Сыне отечества», в «Северной пчеле» и «Пантеоне», в основном в 1840-е гг., что оставляло впечатление хронологического разрыва между поездкой и очерками о ней. Однако, как явствует из переписки с К.С. Сербиновичем (см. ниже), Розен работал над текстом в 1839–1941 гг. Всего в «Литературных прибавлениях к Журналу Министерства народного просвещения» в 1839–1842 гг. было опубликовано семь очерков.

лы и в жалкой наготе пускает меня, как петуха Диогенова, по Академии Платона! Исключено все поэтическое, осталась одна ничтожная проза! Ни за миллион не решусь предстать перед публику <sic!> в столь жалком и бесцветном виде! [Розен Письма 2: Л. 3][279].

Однако денежные причины заставили согласиться на все условия.

Обстоятельства Розена в самом деле были трудными. Летом 1839 г. он просился в отпуск [Розен Письма 2: Л. 8 и 9], однако к концу года получил отставку[280], не выслужив при дворе ни чина, ни приличного содержания[281]. В 1839 и 1840 гг. Розен много болел[282], но отставка явно была связана не только с этим: он не пришелся ко двору, кроме того, в его жизни ожидались радикальные перемены. Видимо, в 1840 или в начале 1841 г. он женился на женщине простого звания[283]. Единственным источником дохода стал для него литературный труд. Печатался он много — его статьи, очерки, стихи буквально наполняли «Сын отечества», но писательским трудом было затруднительно заработать на жизнь не только разночинцу Белинскому или разорившемуся купцу Полевому, но и родовитому барону Розену.

Вернемся теперь к розеновским травелогам. Они столь объемны и многообразны, что мы не стремимся охватить их целиком. Постараемся выделить несколько знаковых сюжетов. Все они будут связаны с тем новым образом Европы, который Розен стремился дать русскому читателю, воспитанному на «Письмах русского путешественника» Карамзина и на отрывках из «Путешествия по Саксонской Швейцарии» Жуковского. Разумеется, к концу 1830-х гг. образованному читателю были доступны и «Итальянское путешествие» Гёте, и травелоги Стендаля (в частности, «Прогулки по Риму», которые вышли в 1829 г.), не говоря

[279] Ср. также: «Что́ Вам в имени моем? Журналисты залили его грязью; оно никого не интересует! Оно важно только для меня одного, и только по такой причине, которая, чтобы не быть смешною, должна сперва оправдаться перед судом потомства. Если хотите поместить переписанное, напечатайте без имени!» [Розен Письма 2: Л. 5].

[280] В «Придворном календаре» на 1840 г., где давались списки по состоянию на 9 января 1839 г., имени коллежского асессора барона Розена уже нет.

[281] Добрый Жуковский ходатайствовал перед великим князем об увеличении пенсиона, которого, как он писал, может хватить лишь на то, чтобы не умереть с голоду.

[282] См. жалобы в письмах к Сербиновичу [Розен Письма 2: Л. 10, 15, 17 об.].

[283] В письме к Сербиновичу от 4 мая 1841 г. есть глухой намек на это обстоятельство: «Я переменил свою квартиру» [Розен Письма 2: Л. 15]. Об этом браке речь пойдет ниже, в конце главы.

уже о многочисленных квалифицированных немецких и французских путеводителях, которые держали в руках все русские путешественники за границей. Но это был «европейский» взгляд на Европу. Из русских публикаций выделим журнальные очерки близкого друга Розена С.П. Шевырева об Италии[284]. Однако журнальные публикации, если они потом не собраны в отдельную книжку, имеют свойство быстро забываться. К началу 1840-х гг. далеко не все читатели помнили то, что было напечатано в «Московском вестнике», «Телескопе» десять лет назад. Кроме того, сама жанровая природа травелога предполагает выдвижение на первый план авторской точки зрения — личных впечатлений данной минуты («здесь и сейчас»), собственных, индивидуальных размышлений, связанных с увиденным, даже если это описания хорошо известных достопримечательностей и произведений искусства. Поэтому очередной свежий взгляд на Европу русского путешественника, да еще подчеркивающего связь европейской и русской истории, мог быть современникам интересен.

Другой аспект, тесно связанный с первым: автопрезентация русского в европейском контексте, иными словами — то, в каком облике новый «русский путешественник» стремится представить себя европейцам, мало знакомым с Россией и русскими.

Эти аспекты, как нам представляется, выводят путевые записки барона Розена в более широкий историко-культурный контекст, тем более что охватывают они год, когда большая часть русской литературы, так сказать, отправилась в путешествие. Одновременно с Розеном и во многом теми же маршрутами (а иногда и вместе с ним) ехали в Италию Жуковский и Шевырев. В Киссингене барон встретился с Вяземским, в Эмсе у Жуковского встречался с Кёнигом[285]. В Риме Гоголь, так сказать, перенял от Розена эстафету по уходу за умирающим Виельгорским, его знаменитый «Рим» написан на основании примерно тех же по времени впечатлений, что и римские очерки Розена, а напечатан в один год с розеновской «Первой прогулкой по Риму». По пути в Любек барон видел «бренные останки погибшего парохода» [Розен 1839: 34] — того самого «Николая I», на котором ехали молодой И.С. Тургенев, П.А. Вяземский и первая жена Ф.И. Тютчева. Розен ехал на следующем и отметил, что

[284] См. перепечатку в: [Шевырев 2006]. Книга содержит дневники 1829–1931 гг. и очерки начала 1830-х гг.

[285] Генрих Йозеф Кёниг (Heinrich Joseph Koenig; 1790–1869) — немецкий писатель, занимавшийся русской литературой. На основе бесед с Н. Мельгуновым и другими русскими писателями составил «Literarische Bilder aus Russland» («Очерки русской литературы», 1840).

«участь сего парохода, в воображении некоторых пассажиров, с самого Кронштадта сопутствовала нам, как грозный призрак» [Розен 1839: 34].

Эти точки пересечения делают из путевых записок Розена как бы дополнение или фон к писаниям его более именитых современников — к кратчайшим записям в европейском дневнике Жуковского 1838 г., к письмам Гоголя, а также к очеркам и дневниковым записям Шевырева (последние еще ждут своей публикации [Шевырев. Дневники 1838–1839]).

Розен строит свой отчет о Любеке как парный по отношению к очерку своего друга Шевырева «Сутки в Любеке», опубликованному в предыдущем номере того же журнала[286]. Об их тесном общении в Риме свидетельствует письмо барона к Шевыреву от 4 апреля 1841 г., следовательно, Розен был, во всяком случае, в курсе всех событий, происходивших в русской колонии в Риме. Такая осторожность в нашей формулировке вызвана тем, что в тексте путевых очерков мы не находим никаких упоминаний о русских в Риме[287]. Гоголя Розен терпеть не мог и, следовательно, лично общаться с ним не стремился. Однако имена русских современников вообще очень редко мелькают на страницах путевых записок барона, и это никак нельзя назвать случайностью.

«Путевые записки барона Розена», как все классические травелоги, сочетают черты документального и художественного повествований и имеют сложно выстроенный образ автора. Розен строит свою авторскую маску на пересечении черт русского патриота и космополита[288], европейца par excellence, «ученика и поклонника Гете» (как он себя называет [Розен 1848: 5]), знатока Античности и европейской истории, удивляющего своими познаниями аборигенов. Для выстраивания авторского образа он по традиции конструирует квазибытовые ситуации. Так, в «Путешествии по Швейцарии» его спутниками оказываются французы, с которыми он ведет сложную игру, то интригуя их скифской

[286] Ср.: [Шевырев 1839: 5–15]. Очерки Шевырева информативны, но по сравнению с розеновскими более сухие.

[287] О жизни в Риме круга Гоголя — Жуковского см.: [Джулиани 2009: 33–50].

[288] Это слово он обращает к себе и в своих воспоминаниях о Пушкине «Ссылка на мертвых»: «…напротив того, кто, подобно нашему брату — безродному космополиту, до юношеских лет не ведал ни русского языка, ни русского духа…» Это можно истолковать следующим образом: остзеец Розен не является этническим русским и не получил русского воспитания, и это лишает его возможности быть русским в полном смысле слова, т.е. лишает той родины, которую избрало его сердце. В путевых записках космополит — принадлежащий общеевропейской (мировой) культуре.

грубостью[289] (намеренно не уступает даме удобного места в дилижансе!) и аттестуя себя «потомком *Золотой Орды*, которому Леман, этот *маленький* бассейн воды, напоминает слегка его родную величественную Волгу» [Розен 1849: 36], то впечатляя изысканной любезностью и, главное, образованностью. Его беседа с лионским адвокатом становится настоящим экзаменом на эрудицию:

> Заметив, что он на своем веку мало видал северян и потому наблюдает меня с особенным вниманием, я уже должен был развертываться, да из патриотизма пускать в наш диалогический оборот порядочную часть своего невещественного капитала, в доказательство, что мы — гиперборейцы — и в деле чисто человеческой образованности поспорим с лионским адвокатом [Розен 1849: 38].

С удовлетворением он замечает, что «влачил» собеседника «по разным векам и словесностям» и наконец впечатлил его оригинальным и даже «странным» мнением о современной французской литературе и «о каждом из нынешних коноводов ее», — поскольку полагал, что оригинальность суждения более всего ценится французами.

Однако и безотносительно к конструируемому образу Розен проявляет действительно исключительную осведомленность и во всем старается сохранить самостоятельный взгляд[290]. Для него это потребовало неожиданной дистанции от русской литературы. На протяжении всего текста прослеживается явная установка: автор *сам*, без русских посредников, ведет своего читателя по европейской культуре. Например, описывая знаменитые развалины замка Габсбургов и замечая, что «они не представляют теперь другого интереса, кроме исторического и морального» [Розен 1849: 38], Розен подробно пересказывает сюжет соответствующей баллады Шиллера и дает исторические комментарии[291], но ни словом не упоминает о знаменитом «Графе Гапсбургском» Жуковского. Еще более показателен пример описания Шильонского замка.

[289] Слово «скифский» барон «переводит» как «первобытно-чистый» [Розен 1849: 36]. Взгляд на русских как на скифов и гиперборейцев (с ироническим оттенком) — это «чужая» точка зрения. С точки зрения Розена, если эти наименования и можно отнести к русским, то лишь в самом положительном смысле.

[290] Один из его девизов: «*Хараксон то номисма* (клади *свой* штемпель на монету)» — ответ дейльфийского бога Диогену [Розен 1849: 38].

[291] Пересказ предваряется словами: «Вероятно, здесь, в романтических окрестностях замка, случилось прекрасное, Шиллером воспетое, происшествие с графом Габсбургским» [Розен 1849: 3].

Понятно, что он связан с Байроном, явным поклонником которого был наш автор. Розен постоянно обращается к личности и сочинениям великого современника, а из всех литературных мест Швейцарии посещает лишь те, что связаны с Руссо и «Новой Элоизой» (Кларан и Мельери) и с Байроном, демонстративно игнорируя вольтеровский Ферней. Однако и по отношению к Байрону барон не избегает уколов: подробно описывая Шильонский замок, наш автор замечает, что английский поэт не видел всей тюрьмы (пьяница-смотритель не пустил его дальше подвала) и не имел терпения для исторических справок о Бониваре [Розен 1849: 69–70]. «Шильонский узник» Жуковского — родоначальник русской романтической поэмы — обойден молчанием[292]. Скорее всего, это не демарш против Жуковского (хотя отношение барона к своему благодетелю были достаточно сложными), а следствие выделенной нами установки. Как автор описания европейского путешествия назван лишь Карамзин, Жуковский и Вяземский названы в связи с совместным пребыванием в Берлине и беседой с Кенигом. Диалог ведется лишь с Пушкиным — в связи с разговором о Наполеоне.

Если говорить об объектах описания, то внимание автора распределяется между великими битвами (он посещает места Лейпцигской битвы, битвы при Нови и др.) и достопримечательностями, связанными с историей. В этом смысле его записки — это путеводитель по европейской истории от Античности до современности. Описания природы также занимают немалое место и создают необходимый колорит, обеспечивают переходы от одного сюжета к другому и дают поводы к философским размышлениям. И все же в центре — человек и все то, что им создано, — мир моральный, исторический и мир искусства. Присутствуют и наблюдения над встречающимися по пути народами (немцами, швейцарцами, итальянцами, французами, англичанами), их характером и обычаями.

Из огромного числа исторических деятелей, упомянутых в травелогах, выделяется фигура Наполеона, к которому автор постоянно возвращается на протяжении всего путешествия. Розен называет его «титаном», «страдальцем Св. Елены», беседует о «маленьком капрале в треугольной шляпе» (его слова) с итальянским ветераном, слушает восторженный рассказ другого итальянца о гении молодого Наполеона в итальянских походах; осматривая Миланский собор, автор напоминает, что именно император приказал его достроить, и т.п. Понимая, что в России такая панегирическая позиция все еще нуждается в объяснении, Розен находит удачный ход, да еще подкрепляет свою точку зрения мнением Пушкина. На поле Лейпцигского сражения автор рассуждает:

> Я был еще отрок во время этой битвы; я вспомнил свою детскую ненависть к Наполеону. Теперь же, сидя на месте, ознаменованном развязкою его судьбы, я судил иначе. <…> Ужели можно не благоговеть к памяти человека, столь великого, столь единственного, что биография его есть лучшая всемирная история? Мы, русские, как заметил Пушкин, всех менее должны бранить Наполеона: он стяжал огромнейшую славу будто бы только для того, чтобы проиграть ее в борьбе с гением России, и ознаменовать его всемирным первенством! [Розен 1839а: 256].

На примере Италии, «идеальной отчизны моей любви» [Розен 1842: 1], как называет ее автор, Розен развивает свою концепцию всемирной истории. Он выделяет в истории Италии три эпохи «всемирности», т.е. периоды, когда эта земля тем или иным образом объединяла все человечество (такое всечеловеческое единство является для автора идеалом[293]). Первая — Римская империя — это эпоха славы, вторая — Средневековье, когда христиане стремились к Риму как к оплоту веры, но властолюбие римских пап разрушило этот религиозный оплот и привело к Реформации. В XVIII в.

> …настало время *третьей* всемирности Рима: бедный германский ученый, Винкельман, поставил *искусство* вечным цесарем римским и отдал ему весь мир во владение: любовь к искусству составляет бессмертную державу нынешнего Рима! Любовь к искусству, высшая из чисто человеческих потребностей, есть последнее и достойнейшее очарование, которым манит нас за Альпы богиня юга [Розен 1849а: 25].

Таким образом, не политика и не великие битвы должны, с точки зрения автора, вести человечество вперед, а искусство и наука (подробнее он говорит о достижениях науки в связи с прокладкой Симплонской дороги).

Италия была избрана Розеном «идеальной отчизной» еще и потому, что она была для него землей поэтов, и в первую очередь родиной

[292] Еще один пример: в «Прогулке по Рейну» [Розен 1848] Розен пересказывает легенду о жестоком епископе, съеденном мышами, но опять-таки не упоминает баллады Жуковского «Суд Божий над епископом».

[293] Ср. комментарий к падению Римской империи: «Разрушился оплот мирового устройства, и мир распался в хаос» [Розен 1849а: 24].

Горация. Именно поэтому он, в юности начинавший писать стихи полатыни, более всего стремился в Рим. «С невыразимою горячностью я всегда любил Рим» [Розен 1842: 3], — пишет Розен, но Италия вся для него, знавшего итальянский, была интересна. И нас будет особенно интересовать итальянская часть его травелогов.

Розен прибыл в Италию через Швейцарию, по Симплонской дороге, далее его маршрут был следующим: Лаго-Маджоре, Изола Мадре, Комо, Милан, оттуда через Павию в Геную, оттуда на пароходе в Ливорно и затем Рим.

Как мы уже отмечали вслед за А. Шенле [Шенле 2004], в травелогах автор в значительной мере занят самоконструированием. Озабочен этим и Розен. В Риме он создает образ одинокого путешественника, который «один в умственной беспредельности Рима» беседует с «гением его» [Розен 1842: 1]. Меж тем в реальности у барона были собеседники, например Шевырев, об их тесном общении в Риме свидетельствуют письма Розена к Шевыреву, хранящиеся в рукописном отделе Публичной библиотеки. Как уже говорилось, мог он пересекаться и с Жуковским, Виельгорским, Гоголем и другими членами русской колонии в Риме, но в очерках предпочитает об этом не упоминать: в них автор «общается» со своими любимыми героями древности, а не с современниками. Другая сторона, как мы показали на примере розеновских описаний Швейцарии, — это стремление утвердить себя как *оригинального* автора, отличающегося независимостью суждений, способностью предложить *свой собственный* взгляд на европейскую историю, культуру и искусство. Это тем более важно для Розена, что он полагал себя несправедливо обойденным вниманием современной критики, писателем непонятым и неоцененным.

Оригинальность предполагает разрушение стереотипов — не важно, действительно существующих или мнимых, иногда творимых *ad hoc*. Для этой цели Розен использует не очень богатый арсенал риторических средств. Одним из наиболее частотных является прием обманутого ожидания. С его помощью автор создает контраст — например, между воображаемым и действительным, что якобы ведет к новому взгляду на описываемое явление. Розен активно пользуется им и при конструировании квазибытовых ситуаций, и при описании известнейших достопримечательностей.

Начнем с первых. Описывая свой въезд в Рим, Розен намеренно нагнетает чувство нетерпения и восторга, охвативших его: «Наконец доехали мы до небольшого возвышения, и веттурино приостановился и произнес восхитительное ecco Roma! <…> Это *Рим*! Боже мой, это *Рим*!.. Сердце мое взволновалось… я увидел любимую мечту моей жизни! Вся сила чувств вспыхнула живым пламенем!..» Это нагнетание необходимо для того, чтобы буквально в следующей фразе отделить себя от современной ему (т.е. им самим соответствующим образом выстраиваемой) традиции описания Вечного города:

> Я очень хорошо знаю, что давно уже не в моде восхищаться чем-либо, даже Римом: оставлена путевая сантиментальность! Новейшие путешественники прехладнокровно описывают Рим, и вообще не говорят о живых впечатлениях, внушенных видом его. Нелепая мода! Нет, я не намерен держаться ее и стыдиться юношеской живости моих восторгов [Розен 1849а: 52].

Однако следующий шаг — это ирония над собственными неумеренными восторгами. По контрасту автор описывает жестокую сцену убийства собаки, с которой на его глазах расправился владелец. Автор заключает: «Я убежал от этой ужасной сцены, жалкий крик бедной собаки меня преследовал. Этот разбойничий выстрел убил мою мечту о Риме… Я проклял итальянскую злобу» [Розен 1849а: 53]. К счастью, добавим мы, убил не окончательно, но такая эмоциональная «встряска», безусловно, призвана оживить восприятие читателей.

Другой пример касается искусства. Свой очерк «Ватиканский собор» Розен строит как опровержение общепринятого взгляда на этот храм как на чудо искусства. Ключом к авторской концепции является первая фраза: «Особенное достоинство собора Св. Петра есть *местность* его: здесь христианство не приведено к противоестественному состязанию с монументами и великими воспоминаниями язычества» [Розен 1844: 175]. Для Розена древний — языческий, античный Рим выше нового — христианского и с эстетической, и с религиозной, и с этической точек зрения. Как он пишет: «Бесчисленные дворцы и церкви, огромнейшие палацци, выстроенные из сумм папской индульгенции», — семя, брошенное римскими первосвященниками «на классические камни, не пускает корней <…> языческий камень навсегда останется языческим камнем» [Розен 1844: 76]. Собор Св. Петра, казалось бы, должен поражать величием религиозной идеи, но, напротив, — разочаровывает. «Главное впечатление нисколько не соответствует вашим ожиданиям, основанным на известной огромности собора» [Розен 1844: 176], — сообщает он читателю.

В основных чертах критика Розена совпадает с точкой зрения на собор Стендаля в «Прогулках по Риму», несомненно Розену извест-

ных. Однако французский автор часто прикрывает критику словами восхищения («прекраснейший храм христианской религии», «шедевр», «художественное совершенство»), русский автор не снисходит до таких риторических изысков. Лютеранин Розен прямо пишет, что соборный комплекс «являет в целом какую-то сценическую пышность или светскую нарядность (élégance), до крайности несогласованные с идеею о святолепном величии и важности митрополии, торжествующей всемирную над язычеством победу на *таком* святом месте» [Розен 1844: 176]. И далее — по нарастающей: «Древнеримский триумф, при всей языческой хвастливости, имел характер глубоко религиозный; а здесь, наоборот, торжество святейшей религиозности, т.е. новой веры, имеет выражение светской хвастливости. Это печальное сознание сказывается в душе тем живее, что чувство изящного безмолвствует при виде собора» [Розен 1844: 176–177]; и далее: «Если бы древние строили этот собор, они лучше сумели бы соединить свое тонкое чувство изящного с требованиями христианской веры» [Розен 1844: 178–179].

Главный художественный недостаток Розен видит в плане собора — в нем нет гармонии, «нет центрального пункта, в который могло бы слиться целое» [Розен 1844: 178]. В результате — грандиозный купол кажется вблизи обыкновенным, а «эстетическое чувство ничего не приобрело посреди столь многих драгоценностей, статуй, картин, мраморов, алмазов и золота: душа остается без впечатлений» [Розен 1844: 178]. Разумеется, отдельные произведения и части храма вызывают восхищение и у Розена: статуя Пия VI работы Кановы, «Пьета» Микеланджело (не без оговорок!), мозаика «La Navicella» и др., но целое его никак не удовлетворяет.

И тут Розен неожиданно возвращается к идее, с которой начал статью — к месту, на котором стоит собор. Оказывается, что в древности здесь было поле, которое «великий Цинциннат пахал, с запыленным лицом, даже без туники, подвязанный только поясом, по римскому правилу: Nudus ara! (Virg. Georg. I, 229)» [Розен 1844: 182]. Автору важен этот контраст: «Какие два резких противообраза: непомерно-великолепный *Ватикан* и обнаженный оратай-*Цинциннат*! В котором из них более ценности, более истинного великолепия?» Выбор Розена предрешен: «Разумеется, в светлейшем земледельце, осененном высшими добродетелями человеческими» [Розен 1844: 182]. Язычник являет собой пример смирения, тогда как христианство (в виде ватиканского собора как символа христианства) — пример гордыни, которая и приводит к эстетическому, религиозному и этическому поражению.

Розен воспринимает Античность не как археологический памятник, руины далекого прошлого, антикварную лавку древностей, а как вечно актуальное настоящее. Он похож на иностранца, которого смоделировал Гоголь в «Риме»: «…в памяти его восстают колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо...», — но наш автор не желал бы «в порыве благородного педантизма срыть весь новый город» [Гоголь 1966: 222]. Розен прямо признается, что на «новый Рим» у него просто не хватит времени, поэтому он с наслаждением читает древний Рим, как любимую книгу, оживающую для него по мере того, как перед его глазами предстают знакомые, но прежде не виданные им памятники. Он находит их без посторонней помощи, т.к., как он пишет, «топография семихолмого града была мне хорошо известна, от самых юных лет» [Розен 1842: 3]. Для него герои Античности живы, поэтому Капитолий, форум, Колизей, Cloaca Maxima, даже Тибр — все возбуждает в нем самые сильные чувства: «Каждый волосок на голове моей встрепенулся; я утонул в бездне героических воспоминаний!..» [Розен 1842: 4]. Ключ Ютурны, из которого он напился воды в конце первого своего дня в Риме, кажется ему символом *вечного* (в прямом смысле) города [Розен 1842: 16].

В таком контексте не удивительно, что Розен, будучи в Риме, отправляется туда, куда обычно путешественники не ездили, — в Сабинум, и дает русскому читателю едва ли не первое описание мест, связанных с жизнью Горация, своего любимого поэта. В очерке «Поездка на дачу Горация» [Розен 1847] он рассказывает об истории открытия и раскопках виллы Сабинум в Лацио, на склонах горы Лукретил (Monte Lucrete). Путешествие в эти места представляло тогда известные трудности, Розена отговаривали от поездки, но ничто не могло удержать его от посещения места, которым он грезил с юности:

> На берегах Волги, в саратовских степях, один с своею военною командою, в уединенной деревушке, обуреваемой степною вьюгою, в убогой хате поселянина, в длинные вечера я не скучал, углубляясь в Горация, и ничего не желал себе в будущем, кроме мирной жизни в тихом приюте, подобном сабинской даче, которая беспрестанно рисовалась моему воображению и иногда даже до страсти разгорячала неумолкавшее желание: посетить Бандузский ключ… [Розен 1847: 3].

Конечно, автор травелога использует поездку как предлог для довольно подробного рассказа биографии римского поэта, в частности

для опровержения мифов и клеветы, окружавших его имя[294], для литературных отступлений, для повествования о забавных и поучительных дорожных эпизодах. Но пожалуй, главное — для самоконструирования, рассказа о себе, своих жизненных установках, сформированных под воздействием его «неразлучного спутника» Горация. Он стремится перебросить для читающей публики мостик между далекой древностью и современностью, где школьников мучают той самой латинской словесностью, которая у него вызывает восхищение, а у других (тут Розен вспоминает байроновского Чайльд Гарольда!) отвращение. Лебедь Горация — символ поэтического бессмертия — соединяет для Розена древнюю Авзонию с родиной — Россией, «областью гипербореев», куда проникло творчество Горация. Но лебедь напоминает ему и о его малой родине (Эстонии), где в детстве он наблюдал у моря большие стаи лебедей. Автор подчеркивает, что они всегда напоминали ему о Горации и помогли усвоить горацианскую жизненную философию.

Один из патетических моментов очерка — рассказ о том, как, поднявшись на Лукретил, Розен декламировал оды Горация. «Что значит, — замечает он, — повторять оду к Бандузии на самом месте! Право, мне показалось, будто внизу, на каменной скамейке, сидит миловидный небольшого роста человек с прекрасными черными кудрями, с глубоким вдохновенным взглядом на игривые воды — произносящий эти сладкие звуки» [Розен 1847: 15].

Розен воображает виллу Сабинум как скромный приют незнатного[295] независимого поэта, который отверг дружбу сильных мира сего и стал

> …властитель, литературный цесарь, умственное средоточие, вокруг которого обращались все лучшие и замечательнейшие лица того времени. Нашего поэта окружают (<характерное употребление настоящего времени! — *Л.К.*) Август, господин мира; вельможные Меценат, Поллион, Мессала и другие; первоклассные поэты: Виргилий, Варий, Тибулл и проч.; друзья его юности и военные товарищи по лагере <sic!> Брута: Помпей Вар, Кассий Пармский, младший Цицерон; женщины <…> которых он любил и воспевал; даже тени Катона и Брута идут охотно к филиппийскому ратнику и дополняют блистательный круг около любимца муз и граций[296], в сабинской пустыне [Розен 1847: 16].

Новый взгляд на Горация как на интеллектуального лидера эпохи, как утверждает Розен, еще никогда не высказывался и ему самому «дался <…> только с Лукретиля, может быть, наитием духа этой местности» [Там же]. Таким образом, автор пропагандирует для читателей путешествие как стимул для расширения умственных горизонтов. Одновременно травелог дает ему возможность выразить свое понимание творчества, природы гения и места поэта в мире. Самоидентификация с Горацием — это, конечно, мечта Розена, но у него хватает такта воздержаться от прямого самоотождествления (ср. [Розен 1847: 19–20]) и представить римского поэта только как свой идеал и как вечного учителя всех поэтов[297].

Свое повествование о поездке в Сабинум Розен завершает на Эсквилине, на могиле Горация, рассуждением о его смерти как о завершающем акте его житейской философии: «Как гость, довольный угощением, он оставил пиршество жизни — и слег подле Мецената!» [Розен 1847: 46].

Дальнейшее развитие темы розеновских травелогов увело бы нас слишком далеко. О том, что нас интересовало, — проблема самоиденти-

[294] В трактовке мифа о трусости Горация Розен близок к Пушкину, который сделал для своей «Повести из римской жизни» вольный перевод из оды Горация «К Помпею Вару» (кн. II, ода VII) «Кто из богов мне возвратил…». Ср. комментарий Пушкина: «Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецената своею трусостию, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута» [Пушкин 1977–1979: VI, 414]. Гораций мог быть предметом разговоров Пушкина с Розеном как раз в период работы поэта над этими текстами. Розен полемизирует [Розен 1842: 35] с актуальным исследованием французского историка и археолога Дезобри [Dezobry 1835]. Эта книга многократно переиздавалась в XIX в., последнее переиздание вышло в Париже в 2011 г. «Союзниками» Розена оказываются Бентлей и Виланд, на мнения которых он ссылается.

[295] Незнатность (сын вольноотпущенного раба) компенсируется, однако, по Розену, «эллинским», т.е. «чисто человеческим» (как называет его автор) воспитанием [Розен 1847: 23–24].

[296] Возможно, что это невольная цитата из «Разговора книгопродавца с поэтом» Пушкина: «Стишки любимца муз и граций / Мы вмиг рублями заменим», хотя тема отношения поэта к «существенности» важна для Розена в этом очерке, так что обыгрывание пушкинского текста могло и входить в намерения автора. Не исключена и полемика с шестой главой «Евгения Онегина», где столь дорогой Розену горацианский идеал иронически адресован Зарецкому: «Под сень черемух и акаций / От бурь укрывшись наконец, / Живет, как истинный мудрец, / Капусту садит, как Гораций, / Разводит уток и гусей / И учит азбуке детей».

[297] Ср., однако, далее [Розен 1847: 21] рассуждение о Горации как необходимом учителе и «исправителе» духа литературы «гипербореев» — т.е. современной Розену русской литературы. Важна полемика со стихотворением Н.М. Языкова «Поэту» (1831), см. [Розен 1847: 37–38].

фикации, постоянное балансирование на грани русской и европейской идентичности и поиск идеального отечества, которым для него оказывается античный Рим, — было сказано достаточно. Добавим только, что очерки его европейских странствий достойны занять место в будущей истории русских травелогов, которая пока не написана.

Мы не знаем, как восприняли современники его путевые записки, хотя читатели у них явно имелись, и, следовательно, на образ Европы, и в особенности Италии, в их сознании эти очерки не могли не повлиять. Но к 1840-м гг. Розен уже выпал из «литературной обоймы», литературным событием его травелоги не сделались и на литературную судьбу автора не повлияли, что в очередной раз доставило ему немало горьких минут. Литературный канон и здесь продиктовал свои законы.

4.3. Роман об остзейце и его автор

Вернемся теперь к началу карьеры барона Розена как русского писателя, когда он был полон творческих планов, входил в лучший литературный круг и стремился внести в русскую литературу новую и оригинальную струю. Остановимся на его романе об остзейце.

В 1831 г. в альманахе «Альциона» был напечатан небольшой роман (или повесть) барона Розена «Константин Левен (Из моих записок)» [Розен 1831][298]. Меня он сейчас интересует с точки зрения оригинальной интерпретации «ливонской темы» (т.е. изображения остзейских провинций и их обитателей) в русской литературе. Роман выпал из поля зрения ученых, даже лучший исследователь этой темы С.Г. Исаков не учел его в своей классической работе [Исаков 1960].

Работа С. Исакова «О ливонской теме в русской литературе 1820–1830-х годов», где подробно перечислены сочинения на интересующую нас тему, избавляет меня от необходимости углубляться в детали. Собственно, тенденция вполне очевидна. Тот, кто когда-либо заглядывал в повести А.А. Бестужева 1820-х гг., помнит устрашающие описания остзейцев, владельцев средневековых замков, где творились страшные преступления. Напомним хотя бы образы жестокого магистра Винно фон Рорбаха из «Замка Венден», коварного Ромуальда фон Мея и членов тайного Аренсбургского суда из «Замка Нейгаузен», свирепого разбойника барона Бруно фон Эйзена из «Замка Эйзен», которых сам автор именует «извергами природы». Как и полагается романтическим

[298] Судя по дате цензурного разрешения (17 октября 1830 г.), время создания текста следует отнести к этому году.

злодеям, они отвратительны во всем: угнетают и мучают своих крепостных — эстонцев, проводят жизнь в бессмысленных забавах, предают друзей, похищают красавиц, чтобы надругаться над ними, развращают окружающих. Даже их антагонисты (если только это не русские!) — хоть и не злодеи, но либо легковерны и недалеки (как Эвальд фон Нордек из «Замка Нейгаузен»), либо, по определению Бестужева, поддаются духу «варварского времени» и совершают преступления из чувства мести (как Вигберт фон Серрат из «Замка Венден»[299] или Регинальд из «Замка Эйзен»).

Однако обратим внимание на то, что Бестужев и другие авторы повествуют о Средневековье, которое сами же именуют варварскими временами. Современной эпохи, когда прибалтийские губернии уже давно находились в составе Российской империи, романтические повести не касались. Об этом времени говорили немногочисленные путевые очерки и публицистика 1810–20-х гг. В этих текстах нелицеприятно описывалось угнетенное положение эстонских и латышских крестьян, что вписывалось в общий контекст осуждения рабства и дискуссий по крестьянскому вопросу в России. В то же время в этих же путевых очерках говорилось и о «темном» Средневековье, так что общий образ остзейских провинций и, следовательно, остзейских дворян в сознании русского читателя был окружен негативным ореолом. На этом фоне выбор барона Розена, который создал образ современного остзейского дворянина Константина Левена и сделал его положительным героем, можно считать новаторским.

Разумеется, для того, чтобы такой выбор оправдать, нужен был сильный ход. И тут нельзя отказать Розену в изобретательности: он сделал своего героя участником греческого восстания. Борьба греков за независимость была одной из горячих тем, которая обсуждалась тогда во всей Европе. В России конца 1810-х — 1820-х гг. о греческом вопросе писали все журналы — буквально не было номера, где бы ни присутствовали материалы на эту тему. Издавались и объемные книги об истории греческого дела [Soutzo 1829; Leake 1826; La Motte-Fouqué 1822; Pouqueville 1824], и сочувственные призывы к поддержке греков на всех языках [Chateaubriand 1825, Constant 1825; Марцелла 1826; Пуквиль 1824]. Во многих европейских странах существовали кружки филэллинов, члены которых собирали средства для повстанцев, а часто и сами отправлялись сражаться с турками в качестве добровольцев. Разумеется, у всех на устах был Байрон, «властитель дум» поколения

[299] Ср.: «Кровь Рорбаха оросила помост — преступление свершилось!» [Бестужев 1958: 45].

1810–20-х гг. (в том числе и Розена), пожертвовавший свое состояние для повстанческого движения и сам уехавший сражаться на Балканы. Смерть Байрона в Миссалонги от лихорадки воспринималась как гибель за свободу Греции.

В России ситуация, по обыкновению, оказалась запутанной. Одна из первых тайных организаций греков для подготовки восстания против Турции — «Филики Этерия» — была основана в Одессе в 1814 г. [Арш 1965; Малых и др. 1988]. Уже со второй половины XVIII в. Российская империя активно вмешивалась в балканские дела и даже стимулировала борьбу балканских народов против Турции. После неудачи «греческого проекта» Екатерины II Россия приняла большое число греческих беженцев, образовав на юге страны целые греческие колонии (так была основана современная Одесса в 1794 г.). Греческие купцы обосновались в Нежине, Таганроге, Москве, им были дарованы определенные привилегии. Греки были приняты на русскую службу — в армию и во флот. Назначив Иоанна Каподистрию министром иностранных дел России, каковым он оставался и после начала восстания [Арш 1976], Александр I, казалось, давал основания полагать, что Россия поддержит выступление греков. Но когда началось вооруженное восстание в Валахии (можно сказать, почти на территории империи), куда отправились сражаться многие греки — офицеры на русской службе (в частности, братья Ипсиланти) и румыны (Тудор Владимиреску), то император запретил не только участвовать в движении, но и принимать на русской территории раненых и беженцев. «Священный корпус» греков под предводительством Александра Ипсиланти был разбит в сражении при Драгашанах 6 июня 1821 г. Затем буквально на глазах русской армии, стоявшей на левом берегу Прута, но не смевшей оказать помощь, восставшие были разгромлены под Скулянами 19 июня 1821 г. в десять раз превосходившими их силами турок.

Барон Розен сделал своих вымышленных персонажей Константина Левена и его друга Леонида Кондориотти участниками этих событий (довольно подробно «захронометрированных» в романе). Если относительно грека Леонида автор вполне следовал исторической реальности, ибо в «Священном корпусе» воевали выходцы из Одессы, то относительно остзейца Левена он дал волю творческой фантазии. Согласно самым скрупулезным научным исследованиям, в «Филики Этерии» участвовали только греки [Арш 1970]. Но автору нужны были одновременно и греческое восстание, и герой-остзеец.

Обращение к греческой теме вписало роман «Константин Левен» в контекст самого актуального жанра эпохи — исторического романа: именно 1829–1930 гг. были временем его рождения в России. Однако в

отличие от «Юрия Милославского» Михаила Загоскина (1829) и «Дмитрия Самозванца» Фаддея Булгарина (1830), которые обратились к эпохе Смуты, Розен выбрал актуальный современный сюжет. Тем самым он обозначил свое новаторство на фоне сразу двух популярных жанров: романтической «ливонской» повести (его герой-остзеец — не злодей, а современный человек со сложным и причудливым внутренним миром, борец за свободу) и исторического романа.

Любопытно отметить, что критики, рецензируя роман Розена, даже не коснулись греческой темы. Более всего обсуждался слог и романтические перипетии. Николай Полевой, не раз доброжелательно отзывавшийся о сочинениях Розена, на этот раз был к нему суров: «Если бы под *Константином Левеном* не подписано было имени сочинителя, мы подумали бы, что это сочинение какого-нибудь немецкого студента, который без толку начитался Гофмана, Цшокке и Клаурена» [МТ: 1831. Ч. 37. № 2. 250]. Полевой порицал автора за «пошлый германизм» и искусственный русский язык [Там же].

«Северная пчела» отнеслась к «Константину Левену» более милостиво: «Эту пьесу мы смело рекомендовали бы всем нашим читательницам, если бы не были уверены, что пластические Фрины нашего времени заставят их покраснеть (о Фрине подробнее речь пойдет ниже. — *Л.К.*) — не от зависти. Интересу в этой повести довольно; характеры действующих в ней лиц выдержаны; жаль только, что слог ее несколько напыщен». Тут автор рецензии Михаил Яковлев не отказал себе в удовольствии привести несколько розенских перлов: «Елена пошла навстречу гостю — отверзла ему небо своих объятий, и поднесла ему чашу нектара, уста полные благовонным лобзанием»; «Слеза, остановившаяся на ланите, трогательным языком свидетельствовала о пламенной боли отверженного сердца. Милая, мучительная слезинка! Ты падешь в десницу Божию»; «Сердце, встрепенувшееся, как закланный голубь, утоплено <…> в свадебном вине» [СП: 1831. 5 января. С. 1]. Справедливости ради отметим, что не весь слог нашего автора таков, и для сравнения приведем подобные же цитаты из Бестужева. «Замок Венден»: «Ты произнес свой приговор, презрев суд божий благословенным оружием, — сказал Серрат, и последняя слеза до сих пор невинной совести канула на убийственное лезвие кинжала» [Бестужев 1958: 42]; «Замок Нейгаузен»: «…но, брат и друг, мне надо освежить свою душу рассказом... Братья <…> сели под иву, которая шатром развесилась над берегом, и, рука в руке, взоры в глазах друг друга, разговаривали они об родных и родине, и все чувства души и все страсти сердца мгновенно отсвечивались на прозрачном облике Всеслава <…>» [Бестужев 1958: 82].

Таким образом, в слоге «Константина Левена» мы имеем дело не только с неудачными «розенизмами», но и с типичными штампами ранней русской романтической прозы. Все же критики недаром удерживали Розена от гипербол и возвышенного метафорического слога: барон, не ощущая комизма подобных выражений на неродном для него русском языке, упрямо уснащал ими свои тексты, полагая их неотъемлемой принадлежностью романтизма.

Однако замалчивание критикой греческой темы не может не вызвать вопроса. Когда Розен работал над своим текстом, война греков против турецкого ига окончились победой, в феврале 1830 г. европейские страны и Россия признали независимость Греции. Все же имелись два обстоятельства, делавшие греческую тему деликатной: тогдашние читатели хорошо знали, что в решающий момент в начале восстания Россия предала греков, и вспоминать об этом явно не хотелось. Кроме того, в русской поэзии начала 1820-х гг. греческая тема трактовалась в тираноборческих тонах [Ильинская 2010], с явными аллюзиями на Россию и русское самодержавие. Видимо, отчасти поэтому в русской поэзии после 1825 г. греческая тема постепенно редуцируется, хотя и не исчезает.

В 1828 г. Пушкин собирается писать поэму о разбойнике Кирджали, участнике восстания Ипсиланти. Как известно, во время пребывания в Кишиневе поэт был непосредственным свидетелем многих событий, связанных с гетерией, и горячо откликнулся на дело греков. Он был знаком со многими участниками движения, и в частности с А. Ипсиланти, и вообще с кишиневской греческой колонией, горько пережил поражение греков и отступничество русского правительства, гибель участников восстания на глазах русских военных. Тогда же Пушкин начал собирать исторические свидетельства о греческом восстании («Note sur la révolution d'Ipsylanti» — [Пушкин 1977–1979: VIII, 88]). После переезда в Одессу он следил за событиями на Балканах (свод данных см.: [Свирин 1935]). Борьба греков продолжала занимать его и в дальнейшем — как яркий пример национального движения, с его романтическими иллюзиями и реальными противоречиями, конфликтами между его участниками (о чем также пишет и Розен в «Константине Левене»).

Замысел поэмы о Кирджали Пушкин не осуществил, но в 1834 г. написал одноименную повесть, напечатанную тогда же в «Библиотеке для чтения» [Пушкин 1977–1979: VI, 238–243]. В «Кирджали» Пушкин решает сложнейшую художественную задачу, важную для его прозы 1830-х гг. в целом. Романтический сюжет о разбойнике со всеми атрибутами разбойничьей темы (кровавые преступления, ужасы, плен, обман, побег из тюрьмы — своего рода новая вариация собственных «Братьев-

разбойников» и «Шильонского узника» Байрона), вполне вписывающийся и в традицию вальтерскоттовского романа, решается на современном материале и без использования любовной интриги. Перед нами почти документальное повествование, основанное на достоверном свидетельстве молодого чиновника, аттестованного в повести человеком «с умом и сердцем», а также на личных впечатлениях самого автора о жизни и быте Кишинева. Слог Пушкина резко отличен от цветистого многословия «шотландского чародея» и, конечно же, от слога русских романтических повестей 1820-х гг. — это воистину «нагая проза».

Знакомство Розена с Пушкиным состоялось как раз в то время, когда барон задумывал свой роман, и не исключено, что, готовясь к работе над текстом, он расспрашивал поэта о событиях и людях начала 1820-х гг., связанных с восстанием, а также о впечатлениях об Одессе, где происходит действие в романе. Розен никогда там не был, а Пушкин прожил более года.

«Константин Левен» был опубликован не только до пушкинского «Кирджали», но и до «Выстрела», в финале которого говорится о судьбе героя: «Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами» [Пушкин 1977–1979: VI, 69]. Разумеется, Розен никаким образом не мог дотянуться до уровня прозы Пушкина, хотя замысел его романа был явно амбициозен и импульсы от Пушкина к нему тянулись. Но не только от Пушкина.

Розен находился в русской литературе в двойственном положении. Как уже говорилось, с одной стороны, он, прибалтийский немец, поздно выучивший русский язык, сознательно выбрал для себя путь *русского* писателя. С другой — он параллельно продолжал писать по-немецки и стремился вписаться и в немецкий (в первую очередь прибалтийско-немецкий) литературный контекст. В русской литературе Розен все-таки ощущал себя европейцем[300], поэтому не только выбрал для романа мас-

[300] Розен был далеко не единственным писателем прибалтийско-немецкого происхождения в русской литературе имперского периода (эти случаи на большом фактическом материале проанализированы в прекрасной статье Кирилла Рогова [Rogov 1998]). Среди его современников достаточно назвать пушкинских одноклассников по Лицею барона Антона Дельвига (Anton v. Delwig), Вильгельма Кюхельбекера (Wilhelm Ludwig v. Küchelbecker). Сложность положения Розена заключалась не только в особенностях его русской речи (правильной, но несколько искусственной и стилизованной) и немецком акценте и даже не в стремлении сохранить двуязычное творчество. Проблема состояла в одновременных претензиях на роль ведущего национального драматурга, на участие в строительстве русской национальной идеологии и в несколько остраненном взгляде на Россию и русскую культуру.

штабную тему на пересечении русской и европейской истории, но и соответствующего героя, через которого продемонстрировал и культурное отличие европейской провинции империи, и свое восхищение русским простым народом и Россией. Это восхищение наш автор не раз выражал в других текстах от своего лица, но заметим, что такой взгляд обличал в нем скорее иностранца, смотрящего на все как бы со стороны. В романе подобная двойная оптика усилена позицией второго романного героя — грека Леонида, тоже, как и Левен — русского подданного и русского офицера, восхищающегося Россией, но думающего исключительно о Греции и именно ей посвятившего свою жизнь.

Действие романа начинается в Ревеле. Уже в первых главах Розен вводит греческую тему, издалека готовя читателей к развитию основного сюжета. Константин Левен — знаток классической древности и сторонник античной аристипповской гедонистической концепции — разумного наслаждения, сочетающегося с умением владеть своими страстями. Он устраивает в Ревеле аналог элевсинского праздника, точнее выбирает один из моментов элевсинских мистерий. Именно тот, когда, согласно описаниям, знаменитая гетера Фрина, натурщица Праксителя, обнаженной, с распущенными волосами, шла через толпу и входила в море, чтобы воздать честь богам. Константин выбрал в толпе гуляющих ревельских обывателей красивую девушку с символическим именем Гретхен, дочь хлебника, и в конце концов уговорил ее сыграть роль Фрины:

> Он успел втереться в дружбу ее <…> и наконец, для достижения своей странной цели <…> старался передавать ей свой образ мыслей, т.е. *греческое* понятие о свободе обхождения полов между собой. «Быть гетерою высшего рода, — говорил он ей, — не значит обижать природную грацию и врожденное чувство изящного! Вот тебе Виландов Аристип: в этой книге изображен идеал гетеры в лице Лаисы: признайся, что она милее всех наших пугливых красоточек!» [Розен 1831: 4–5].

Девушка, хотя и была «понятлива», очень смущалась и была скорее готова пойти на тайный грех, предаться Константину под покровом ночи, но он требовал от нее подлинной свободы и добился своего.

Для праздника было выбрано соответствующее место недалеко от развалин монастыря Св. Бригитты. По замыслу героя, он и его друзья должны были молча смотреть, как обнаженная красавица входит в море, и любоваться совершенством ее женских форм: «Созерцание чистой красоты да не породит никогда сладострастных мыслей! <…> это повредило бы наслаждению изящным!» [Розен 1831: 7]. «Чудесное зрелище», которое показал Константин Левен своим друзьям, заключалось в следующем:

> Вскоре мы увидели идущую к нам девушку, в которой тотчас узнали нашу красавицу <…> Взоры были потуплены; яркий румянец играл на щеках ее; она тихими, нерешительными шагами приближалась к нам. <…> Распустив длинную, богатую косу, она начала раздеваться: постепенное разоблачение очаровывало нас: вся душа наша была в глазах. Упал последний покров — в ослепительном блеске нагая богиня любви, под неверным покровом вокруг нее вьющихся власов, тихо шла в море — и Константин воскликнул: «Вот Фрина в Элевзине!» Набросим покрывало граций на эту сцену [Розен 1831: 6–7].

Недаром М. Яковлев в «Северной пчеле» отметил эту сцену как заставляющую краснеть. Перед нами действительно необычно смелая для русской литературы начала XIX в. сцена, которую трудно назвать «невинной»[301]. И в самом романе последствия этого эксперимента оказались для героини, недаром названной гетевским именем, печальными: эксперимент получил огласку, репутация Гретхен была испорчена. Сначала она отнеслась к этому легкомысленно и даже сделалась гетерой в полном смысле слова, «предаваясь только избранным ее любовию юношам» [Розен 1831: 100–101]. Потом раскаялась, но это не поправило ее репутации. Вернувшись в Ревель после участия в греческом восстании, Константин понял, что виноват перед ней, и решил загладить свою вину, даже предложив ей свою руку. Она отказалась «из уважения к людскому мнению и, более всего, к его больной матери» [Розен 1831: 102]. Тогда Левен наградил девушку богатым приданым и выдал замуж.

Романтические «жизненные» эксперименты Левена на этом не кончились. Вскоре он устроил другой праздник — из области рыцарского Средневековья, воспроизведя в своем имении французский

[301] Автор это чувствовал и попытался обезопасить сцену пространным комментарием. На слова Константина: «Вообразим, что мы видели творение Праксителево, открывающее духу нашему вход в светлый мир совершенных форм <…> вид красоты, без покрова, наполнив мой ум мыслями, внушает мне благоговейную любовь к наилучшему творению Бога!» — один из друзей отвечает: «Твоя речь что-то пахнет натуральной диалектикой <…> берегись дьявола в душе твоей!» [Розен 1831: 7–8].

деревенский праздник (или фестиваль) роз. В романе дается краткая историческая справка об этой традиции [Розен 1831:11], заложенной в VI в. в Саленси / Саланси (Salency) св. Медардом: «Этот милый, трогательный праздник, для прославления и коронования той девы, которая перед другими отличается женскими добродетелями» [Розен 1831: 9]. В конце праздника добродетельная девушка округи награждается венком из роз (еще и кошельком с деньгами, о чем барон не упоминает).

Праздник этот до сих пор отмечается во Франции, а о том, что он существовал в Митаве в период детства Розена, свидетельствует картина французского художника Жана-Шарля Тардьё (Jean-Charles Tardieu, 1765–1830) «Людовик XVIII коронует деву-розу в Митаве» (1817). Разумеется, картина постановочная, написанная уже в эпоху реставрации Бурбонов. Однако не исключено, что такие праздники в Митаве в пору пребывания там двора будущего Людовика XVIII действительно устраивались и слухи и даже рассказы о них доходили до Эстляндии и до юного Розена[302]. В романе Константин увенчивает венком из роз свою юную родственницу Лину. При этом автор подчеркивает, что Левен не испытывал ни к ней, ни к Гретхен любовных чувств — это поклонение красоте в чистом виде[303]. При этом автор недаром называет героя «классическим шалуном», сочетавшим нравственное вольнодумство с классической любовью к прекрасным формам. Очевидно, что мы имеем дело с изображением экспериментального, конструируемого поведения, имеющего книжные источники.

Один источник прямо называет сам Розен — это роман Виланда «Аристип и некоторые его современники» (1800–1802), где проповедуется идеал гедонизма — чувственного наслаждения, облагороженного разумом и эстетическим чувством. Однако слово «шалун» — одно из устойчивых определений либертена [Дмитриева 2013] — заставляет задуматься о том, нет ли здесь намека на еще одну традицию — традицию французского либертинского романа.

[302] Карамзин в «Письмах русского путешественника» также упоминает о *la fête de la Rosière*, но относит проведение праздника к другому месту — деревне Сюрень «в двух милях от Парижа на берегу Сены». Путешественник отправился туда, поскольку ему «сказали, что там с великою торжественностию будут короновать розами осьмнадцатилетнюю добродетельную девушку» [Карамзин 1984: 273]. Праздник, однако, на этот раз не состоялся. У Карамзина этот микросюжет призван продемонстрировать, с одной стороны, разрушение традиционного уклада в период революции, с другой — окружить легкой двусмысленностью описание французских великосветских нравов («Парижские дамы всегда любопытствовали видеть невинность так близко от Парижа, брали участие в веселии сюренских поселян») на фоне сельской простоты, доставившей удовольствие карамзинскому герою [Там же].

[303] К этому эпизоду Розен также возвращается в конце романа и описывает, как одинокие Лина и Константин с «тихим чувством некоего сиротства» предаются воспоминаниями о «незабвенном вечере» [Розен 1831: 104].

Е.Е. Дмитриева указала мне на текст XVIII в., где говорится о *fête de la Rosière* (празднике скромниц в Саланси). Это знаменитый либертинский роман Мирабо «Мое обращение». Там герой, благородный либертен, посещает этот сельский праздник:

> Трогательная простота этого зрелища, самого воплощения невинности и простодушия, рождает в душе таких либертенов, как я, умиление, которому невозможно сопротивляться… <…> Как только я увидел ту, которой на празднике досталась роза, у меня сразу возникло желание оборвать с нее лепестки. Это была крестьянка лет шестнадцати, наивная, чувствительная и очень хорошенькая. Я познал с нею все плоды любви [Мирабо 2013: 396].

Разумеется, «Константин Левен» барона Розена — не либертинский роман, хотя и имеется намек, что бедная Гретхен-Фрина все же оказалась в объятиях Константина, а чувственная любовь являлась предметом его постоянных размышлений. Возможно, что мы имеем дело с авторским колебанием или с не очень умелой игрой двумя традициями — немецкой и французской. В любом случае, перед нами характерная для эпохи романтизма ситуация, описанная Ю.М. Лотманом на примере пушкинской Татьяны, когда литература становится моделью поведения литературного героя [Лотман 1975а: 48]. Розен добавляет еще дополнительный ход: перед нами — театрализация литературной модели (Константин устраивает «спектакли», где сам является не просто участником, но и режиссером действа).

После Ревеля Розен предсказуемо отсылает своего героя в Дерпт, но университет не пришелся Левену по нраву: «Его свободный дух не уживался с педантством полуученых юношей: их детские ссоры, петушьи драки, непристойные шалости отвращали от них сего нежно-чувствительного любителя изящного» [Розен 1831: 14–15]. Хотя характеристика Константина — стремится сам творить свою судьбу — это почти цитата из стихотворения Н.М. Языкова «Дерпт», но остзеец Розен, в отличие от русского поэта, отрицательно отнесся к буршеским нравам и трактует Дерпт совсем не в духе языковских студенческих

песен (еще одно знаковое отличие нашего автора от литературного контекста).

Далее автор отправляет Константина в гусарский полк, и Розен пользуется его путешествием во внутренние губернии России, чтобы вложить в его уста две важные декларации. Первая касалась характера Константина — подлинно романтического героя: «Надеюсь, ничто в свете не возьмет унизительной власти над непреклонным духом моим: кто всегда верен себе самому, есть царь судьбы своей!» — пишет он отцу в Эстонию [Розен 1831: 16]. Другая связана с рассуждениями о русской народности, причем герой апеллирует к мнению «путешественника, хорошо знающего Россию» [Там же]. Поскольку путешественников, как иностранных, так и русских литераторов, начиная с Радищева, конструировавших русский национальный характер на примере ямщиков (названных здесь «цветом русского народа»), было множество, не будем гадать, имеет ли Розен в виду кого-то конкретно. Во всяком случае, он вкладывает в уста своего героя следующие слова:

> Что за чудесный народ, лихой, веселый, добродушный, даже в плутовстве, — красавцы, цветущие здоровьем и силою <…>. Сколько поэзии и живости в их молодецком быту: сядет на облучок, небрежно качаясь, свиснет, привычным криком ободряя коней, ударит кнутом: телега помчится стрелою; он протяжным голосом запоет заунывную песню, и за малую прибавку будет петь всю дорогу. Я с удовольствием прислушиваюсь к этим песням: они что-то трогают сердце [Розен 1831: 16–17].

Далее следует рассуждение о благочестии ямщиков, которые перед каждой церковью снимают «шляпы» (характерная оговорка, выдающая шероховатости в неродном языке). Затем Константин в письме к отцу рассказывает услышанный им анекдот о том, как некий ямщик выпрашивал у богатых седоков «гривенничек» на водку, уже получив от них сто рублей. Герой задал своему ямщику вопрос, возможно ли это: «“Очень быть может!” — отвечал он; ему жаль было разменять такую большую ассигнацию, а надо ж выпить!» [Розен 1831: 18]. При всей положительной интонации подобное «плутовство» явно ощущается героем-остзейцем (как и его автором) как русская экзотика, с которой они дома не сталкивались.

Основные события в романе разворачиваются после того, как воображением Левена овладевает его однополчанин, таинственный, загадочный грек Леонид, который сторонится гусарских пирушек и стремится указать легкомысленному Константину его истинное жизненное призвание: «Будь меченосцем, будь рыцарем Христа, иди сражаться за святую веру Спасителя» [Розен 1831: 32][304]. Леонид увлек друга за собой, открыв ему замыслы Александра Ипсиланти. В этом месте романа барон Розен не обходится без восторженных монархических деклараций. Леонид сравнивает судьбы несчастной Греции, страдающей под игом тиранов-пашей, и счастливую судьбу России, где владычествуют законы и царь,

> …могучими раменами, как Атлант, подпирающий огромные своды Святой Руси, может быть, и часы ночи проводит в царственных размышлениях и заботах о благе народа своего. Его народ — не одни христиане! И мусульманы его дети — и царственное солнце шлет равно на всех свои благотворительные лучи! О Левен! Если бы моя Греция имела прекрасную участь твоей Эстонии, если б была под охранительной сению русской державы, тогда моя Греция, как твоя Эстония, не знала бы вражьего огня и меча! [Розен 1831: 30–31].

Насколько подобные мысли и чувства были действительно присущи Розену, сказать трудно. Он прекрасно знал, какую неблаговидную роль сыграл восхваляемый здесь император Александр Благословенный в судьбе греков и греческого восстания[305], знал и то, что в остзейских провинциях далеко не все его соотечественники полагали «сень русской державы» столь благодетельной, но как идеолог он, безусловно, придерживался монархических и имперских позиций и развивал их в своем творчестве.

Далее сюжет в романе Розена развивается следующим образом. Герои выходят в отставку и едут в Одессу (город не назван, но легко вычисляем — именно там был центр «Филики Этерии»). Здесь, в доме

---

[304] Характерно, что конфессиональные различия (грек Леонид — православный, остзеец Константин по логике должен быть лютеранином) совершенно не волнуют ни героев, ни их автора.

[305] Не исключено, что именно этим обстоятельством и как бы в противовес ему вызвано восхваление императора, напоминание о его роли освободителя Европы, не случайно вложенные в уста героя-грека.

Кондориотти, Константин влюбляется в прекрасную сестру Леонида — Елену. И тут начинается последний жизненный эксперимент, который решает поставить над собой неугомонный романтический Левен. После гибели Леонида в сражении при Драгашанах и после своего ранения в Греции Константин возвращается в дом Кондориотти. Он — жених Елены, все предвещает счастливый брак. Но тут Константин неожиданно для всех добровольно отказывается от невесты, передает ее своему другу Евгению Вельяминскому, который в нее влюблен, и убеждает Елену, что она будет более счастлива с Евгением, нежели с ним. Как всегда, Константин сумел подчинить женщину (на этот раз горячо им любимую!) своей идее. В ответ на его пламенный монолог Елена отвечает: «Не понимаю тебя, но покоряюсь твоей воле, как воле лучшего меня существа, которому я готова жертвовать жизнию — и бóльшим, нежели жизнию! <…> И так невеста необыкновенного человека, в этом случае, не может поступать, как другие женщины!» [Розен 1831: 78]. Вскоре, однако, Константина настигает раскаяние: он понимает, что увлекся «восторгами сердца», «обманул свое сердце софизмами ума» [Розен 1831: 96] и не рассчитал своих возможностей. Когда он возвращается в семейный дом замужней Елены и берет на руки ее дочь, он в полной мере постигает, чего лишил себя [Розен 1831: 106]. Елена просит его удалиться, чтобы не возмутить ее спокойствия [Розен 1831: 110–111].

Выскажу предположение, что в этом сюжетном повороте могла, в трансформированном виде, отразиться история жизни В.А. Жуковского, вынужденного отказаться от горячо любимой им женщины — М.А. Протасовой, своей сводной племянницы, и согласиться на ее брак с профессором Дерптского университета, замечательным хирургом и музыкантом И.Ф. Моейром (об этом шла речь в параграфе 3.5). Розен был знаком с Жуковским, который устроил неимущего и неуживчивого барона, военная карьера которого не слишком удалась, на должность личного секретаря наследника престола, будущего императора Александра II, и не раз улаживал его литературные дела. Именно Жуковский предложил М.И. Глинке кандидатуру Розена на роль автора либретто «Жизни за царя». Конечно, об истории любви Маши и Жуковского говорить было не принято, но какие-то отголоски этой истории доходили не только до личных знакомых поэта, но даже до читателей. Розен вполне мог иметь ее в виду при создании образа своего романтического героя, выходца из Эстонии, где разворачивался финал жизненной драмы «первого русского романтика», как называли Жуковского.

В «Константине Левене» Розен, вполне в романтическом духе, отказывается от *happy end'a*: роман заканчивается тем, что герой возвращается в Ревель и живет в печальном одиночестве[306]. Любопытно, однако, что такой финал одновременно свидетельствует и о крахе романтических экспериментов, которым подвергал себя герой. Повествователь утешает Константина почти пушкинскими словами: «Необыкновенный человек не мог быть счастлив обыкновенным образом! Этот горький опыт убедил тебя в священной истине, что есть только единое для сердца счастие: то, которое обретается миллионами, на широкой стезе обыкновенной жизни[307] — ты для сего счастия созреваешь под зноем грусти!» [Розен 1831: 111–112]. Розен чутко уловил начавшееся в литературе переосмысление романтических моделей поведения.

Однако в собственной жизни Розен оказался неисправимым романтиком. Как уже упоминалось, в начале 1840-х гг. он женился на девушке простого звания. Такой страшный мезальянс настолько потряс родовитых родственников, что они не пожелали сохранить даже ее имени[308]. Остракизм со стороны родных совпал с изменением литературной ситуации в России, умер Пушкин, которого Розен боготворил и который его поддерживал; выдвинулись новые имена и новые авторитеты. Постепенно барон, ушедший с придворной службы, выпадает и из высокого литературного круга, становясь литературным поденщиком, вынужденным зарабатывать на жизнь в журналах, соглашаясь на любые

[306] В финале дано описание въезда Левена в Ревель, как можно понять, через Лаксберг (Ласнамяэ), явно основанное на личных впечатлениях самого автора: «Он приостановился на соседственной высоте и печально глядел на древний, отеческий город, где возвышались вековые стены и лес из мачт, украшенный многоцветными флагами и вымпелами. Бывало, три величавых колокольни главами достигали до небес! Одной — величайшей — нет! Он воображал страшно-великолепное среди пламени падение Св. Олая, зажженного грозою (при пожаре 1820 г. — *Л.К.*)! Ревель, лишенный своего главного украшения; его семейство, лишенное главы в лице недавно умершего отца — он тяжелою мыслию сближал эти два происшествия — и при въезде ему казалось, что родимый город болезненно стеснялся домами с крутыми, высокими кровлями» [Розен 1831: 99–100].

[307] В письме Н.Н. Кривцову от 10 февраля 1831 г. Пушкин, парафразируя Шатобриана, выразил важную для себя мысль, которую в разных вариантах повторял в последний период жизни — «счастье можно найти лишь на проторенных дорогах»: «Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться» [Пушкин 1977–1979: X, 264]. Роман Шатобриана «Рене», цитату из которого Пушкин парафразировал, Розен, конечно, читал.

[308] В «Deutschbaltisches biographisches Lexikon» она обозначена как «N.N. (s. Wirtschafterin)» [Lexikon 1970: 645].

заработки. Внутренний контакт с текущим литературным процессом он утратил и, например, творчество Гоголя счел последней степенью падения русской литературы. Жил он уединенно на окраине Петербурга в собственном домике на Выборгской стороне [Усов 1882: 122]. В последний год жизни барон Розен пытался устроиться на службу в цензурный комитет (был определен туда менее чем за месяц до смерти), но на писателя и цензора И.А. Гончарова произвел впечатление помешанного, так что своей рекомендации для принятия барона в штат он не дал [Дело о назначении Розена].

Финал жизни Розена был по-настоящему трагичен. О нем мы получили скупые сведения из найденного нами архивного документа — прошения родственницы барона, поданного после его смерти Александру II [Докладная записка 1860: Л. 1–1 об.]. Баронесса Надежда Розен просила императора заплатить долги умершего в размере 1200 рублей серебром и поместить его младшую дочь «в одно из женских учебных заведений». Попутно она сообщила некоторые сведения о семье покойного: жена Розена скончалась за семь лет до него, оставив вдовца с шестью детьми на руках, трое из них внезапно умерли за два дня до кончины отца. Трое других (Павел 18, Анна 16, Вера 9 лет) остались без средств к существованию и даже без крова, поскольку, как можно понять из прошения, своего дома барон лишился. На прошение была 10 марта 1860 г. наложена положительная резолюция, долг уплачен, и Вера Розен помещена в учебное заведение на «счет Кабинета», т.е. императора. Таким образом, можно вычислить, что Розен женился примерно в 1841 г. (из других документов следует, что именно в это время он «переменил квартиру»), что его жена (имя которой и в этом документе не упомянуто!) скончалась примерно в 1853 г., так что брак их длился около двенадцати лет. Мы не можем судить о том, был ли он счастливым, остается только на это надеяться; во всяком случае, барон показал себя не только человеком чести (не удовлетворившимся незаконным сожительством с женщиной «низкого происхождения», которую полюбил), но и человеком непреклонного духа, который, как и его герой Константин Левен, остался «всегда верен себе самому».

Глава 5
Ю.М. ЛОТМАН И ТАРТУ

Юрий Михайлович Лотман (1922–1993) — это огромное явление в мировой гуманитарной науке, значение которого еще только предстоит проанализировать и оценить. Хотя за последние четверть века, прошедшие со дня его безвременной кончины, на разных языках было издано и переиздано немало его трудов, снабженных содержательными предисловиями и послесловиями[309], написаны биографические исследования о нем (назовем только одно: [Егоров 1999]), постоянно выходят отдельные статьи и защищаются диссертации, посвященные его наследию, многое в этом направлении еще предстоит сделать. Лотман представлял собой тот выдающийся тип ученого, который не ограничивался лишь академическими исследованиями. 43 года своей жизни он отдал преподавательской деятельности на отделении русской и славянской филологии Тартуского университета. Его выдающийся педагогический талант был равен его научному дару, и сам он не мыслил своей исследовательской деятельности без преподавательской. Не менее важной сферой он считал популяризацию науки в самых разных изданиях, предназначенных для широкого читателя, а также выступления по радио и телеви-

[309] Перечислять все публикации нет ни возможности, ни необходимости. Назовем лишь девятитомное издание, выпущенное издательством «Искусство-СПБ» в 1994–2003 гг. Хотя оно не было заявлено как собрание сочинений, и каждый том имеет там собственное заглавие, и его состав подобран по тематическом принципу, по сути это наиболее полное к настоящему моменту собрание трудов Лотмана на русском языке. К сожалению, задуманное академическое (комментированное) собрание сочинений Лотмана, первый том которого «Русская литература и культура Просвещения» был издан в 1998 г., так и не имело продолжения. См. библиографию трудов Лотмана на разных языках (до 1998 г.), составленную Л. Киселевой: Список печатных трудов Ю.М. Лотмана // Lotmaniana Tartuensia. URL: http://www.ruthenia.ru/lotman/biblio.html (дата обращения 9 августа 2018 г.); и на английском языке, составленную К. Куллем: Juri Lotman in English: Bibliography // Tartu Ülikool. Filosoofia ja semiootika instituut. URL: http://www.flfi.ut.ee/sites/default/files/fl/kulllotmaneng.pdf (дата обращения 9 августа 2018 г.). В последние годы Таллинским университетом издано несколько томов последних работ ученого: «Непредсказуемые механизмы культуры», «Jalutuskäigud Lotmaniga»; «Juri Lotmani autoportreed. Автопортреты Ю.М. Лотмана. Juri Lotman's Self-Portaits» (2016), а также его переписка с Б.Ф. Егоровым (2014) и с Б.А. Успенским (2016).

дению. Его личное обаяние и влияние на людей было огромно. Все это вместе и образовало то культурное явление, которое мы связываем с именем Лотмана. Он создавал вокруг себя культурное пространство, отдавая много времени и сил на его созидание. Средоточием этого культурного пространства была для него кафедра русской литературы того университета, который он с полным правом называл своим, — та кафедра, где он проработал большую часть своей жизни и которую фактически создал (хотя сам всегда подчеркивал вклад своих коллег и друзей).

Нижеследующие заметки — не исследование, а скорее субъективный взгляд «изнутри» на те явления, свидетелем которых был их автор и которые во многом недоступны тем, кто не имел счастья находиться в этой счастливой роли. Это — дань памяти Учителю, определившему своим научным и человеческим обликом всю мою жизнь и жизнь той кафедры, которой мне выпала честь заведовать по его одобрению и выбору с 1992 г.

5.1. Академическая деятельность Ю.М. Лотмана в Тартуском университете

> Научные труды Лотмана написаны и известны. Они есть, пребывают и пребудут. Его человеческий облик, за которым стоит сама его суть, живет сейчас в памяти тех, кто хорошо знал Юрия Михайловича, и их долг <...> — свидетельствовать о нем [Памяти Лотмана 1994: 492].

Начало этим заметкам было положено при подготовке к одной из первых научных конференций, посвященных памяти Ю.М. Лотмана. Она была организована 3–5 ноября 1994 г. в Бергамском университете (Италия) по инициативе и трудами замечательного ученого и организатора науки проф. Нины Каухчишвили (1919–2010), которая глубоко почитала Лотмана и много сделала для кафедры русской литературы Тартуского университета в тот трудный период, когда кафедра потеряла своего фактического главу и лидера, когда один за другим ушли из жизни старшие коллеги и учителя — Зара Григорьевна Минц (1927–1990), Валерий Иванович Беззубов (1929–1991), когда в штате кафедры остались в основном молодые, еще не создавшие себе научного имени и авторитета преподаватели. Нина Каухчишвили верила, что у этой кафедры есть не только прошлое, но и будущее, что Тарту должен остаться на карте гуманитарной науки как один из значимых центров и дело Лотмана должно быть продолжено на высоком уровне. Конференция

памяти Ю.М. Лотмана, собранная через год после его кончины, должна была консолидировать силы тех, кто «верил в Тарту». Именно в этом контексте было уместно говорить о деятельности Лотмана по созданию в Тарту кафедры и научной школы и поставить вопрос о генезисе и характере Тартуской школы.

Тартуская школа уже давно (задолго до кончины Лотмана) стала мифологемой. Не уточняя сейчас терминов (Тартуская, или Тартуско-Московская, или Московско-Тартуская и т.д.), подчеркнем, что во всех вариантах тартуский субстрат будет очень важен, и о нем и пойдет речь. В Тарту и — шире — внутри школы наиболее мифогенным понятием, безусловно, является кафедра, т.е. кафедра русской литературы Тартуского университета, на которой Ю.М. Лотман работал с 1950 г. Несмотря на то что с 1980 г. он формально считался профессором кафедры зарубежной литературы, откуда в 1992 г. перешел на кафедру семиотики, сам он всегда отождествлял себя с кафедрой русской литературы. Когда в последние годы, после кончины горячо любимой жены З.Г. Минц и будучи уже сам очень болен, Лотман собирался в университет, он всегда говорил: «Пойдем на кафедру»[310]. До конца своих дней именно он оставался ее фактическим руководителем, т.е. его мнение, его авторитет были решающими в принятии всех сколь-либо серьезных решений. Недаром в своем завещании в феврале 1993 г. Лотман писал: «Самый дорогой для меня труд — кафедра, наш с Зарой Григорьевной совместный труд». Эти слова могут вызвать (и уже вызывали) недоумение и даже относились за счет минутного настроения, влияния обстоятельств и т.п. Однако в той или иной форме Ю.М. Лотман заявлял об этом и раньше, и позже, поэтому нельзя считать такое утверждение случайным.

Вопрос о том, что такое кафедра в системе Лотмана, тесно связан с другим: что значил для него Тарту, Тартуский университет и почему он не покинул Тарту ради какого-нибудь престижного западного университета, хотя имел для этого все возможности по крайней мере с конца 1960-х гг.

Тарту как «город Лотмана». «Я не хотел бы жить ни в каком другом городе. Побывать мне хотелось бы во многих других городах, но жить — только в Тарту» — так ответил профессор на вопрос корреспондента газеты «Noorte Hääl» 28 февраля 1982 г. и уточнил: «Мне кажется, что здесь самый воздух помогает работать и думать» [Лотман 2003: 81].

[310] Кафедра тогда находилась на третьем этаже так называемого старого здания языков, на ул. Юликооли, 18а, кабинет 302.

Через десять лет в интервью с Пеэтером Торопом он признавался: «То, что моя жизнь привела меня в Тарту и связала с Тарту не только как с городом, не только как с географическим пространством, но и как с культурно-человеческим пространством, это случайно, как всякая удача. Это случайно, как большое счастье» [Лотман 2003: 156–157]. Только следует иметь в виду, что создателем этой духовной атмосферы, этого «воздуха» науки в 1950-е — начале 1990-х гг. в значительной мере являлся сам Ю.М. Лотман. Обратимся, однако, к «началу», следуя за его «Не-мемуарами», но и уточняя некоторые факты.

Итак, почему Тарту. Уроженец Петрограда (он всегда подчеркивал именно это историческое наименование города, которое было утрачено лишь через два года после его рождения, в 1924 г.), Лотман окончил Ленинградский университет (тут уже официального названия обойти было нельзя) в 1950 г., в разгар сталинской антисемитской кампании. В «Не-мемуарах» он рассказывает, как безуспешно пытался устроиться на работу в Ленинграде[311]. Наконец одна знакомая сообщила ему, что в Тарту, в Учительском институте есть вакантное место преподавателя.

То, что в Тарту Ю.М. Лотмана смогли принять на работу, несмотря на неподходящий «пятый пункт» анкеты (знаменитая графа «национальность»!), можно объяснить несколькими факторами. До провинции столичная антисемитская кампания докатилась более слабыми волнами, и там, где, как в Тарту, не было встречного местного антисемитизма, все шло спокойнее. Кроме того, после местных «чисток» (не менее жестоких, но проходивших по иным принципам) в Тарту ощущалась острая нехватка преподавательских кадров. Те немногие выпускники отделения русской и славянской филологии Тартуского университета 1920–30-х гг., которые могли бы стать университетскими и институтскими преподавателями, либо эмигрировали, либо были высланы или сидели в тюрьмах и лагерях, либо не могли быть приняты на работу по более «актуальным» для местных условий параграфам все той же анкеты (например, «буржуазный национализм»). Предпочитались кадры из центра, как более «советские» [Егоров 1994: 78–85].

Ю.М. Лотман всегда с большой теплотой вспоминал Учительский институт, помещавшийся напротив Карловой мызы, принадлежавшей когда-то Фаддею Булгарину. В этом здании бывшей коммерческой гимназии на ул. Салме, построенном тартуским архитектором А. Маттеусом в 1938 г., он впоследствии мечтал основать Институт семиотики, о чем мне неоднократно с большим увлечением говорил.

[311] См. описание унизительной процедуры «распределения» в Ленинградском университете и последующих скитаний в поисках работы: [Лотман 1995: 35–36].

В Учительском институте Лотман проработал до 1956 г.: сначала в штате (первые два года старшим преподавателем, с 1 сентября 1952 г. по 1 сентября 1954 г. — доцентом, заведующим кафедрой русской литературы), затем — по совместительству (см. подробнее: [Пономарева 2014]). Звание доцента он также получил в Учительском институте в 1954 г. По программе институт был чем-то средним между средней школой и педагогическим училищем и конечно не мог удовлетворить научных запросов Лотмана. Однако, как он подчеркивал, студенты были в своем большинстве хотя не слишком интеллектуальными, зато любознательными и трудолюбивыми. Потом многие из них учились в Тартуском университете. Лотман любил встречаться с ними и вспоминать разные подробности быта Учительского института (нам, случайным слушателям таких бесед, они — увы! — не казались столь лирическими).

Сразу же по приезде в Тарту Ю.М. Лотман начал работать и в Тартуском университете, на кафедре русской литературы. Первое заявление в его университетском личном деле датируется 15 сентября 1950 г.: «Историко-филологический факультет Тартуского университета <...> Прошу предоставить мне работу, согласно договоренности с зав. кафедрой т<оварищем> Правдиным, по чтению лекций курса “Русская литература — начало XIX в.”». Как явствует из документов, Ю.М. Лотман читал лекции и вел семинар на III курсе, заменяя доцента Вальмара Адамса, затем читал лекции по истории критики и журналистики на V курсе, замещая старшего преподавателя А. Шаныгина. Первый приказ о почасовой оплате за № 229 от 30 декабря 1950 г. был подписан ректором Тартуского университета профессором А. Коортом: оплачивался 61 час занятий, по 15 рублей за час; всего причиталось получить 915 рублей. Таково было начало.

До 1 сентября 1954 г. Лотман читал на почасовых основаниях историю русской литературы начала XIX в., XVIII в. и даже введение в языкознание (в октябре 1951 г.). Одно время — весной 1953 г. — он был зачислен на 0,5 ставки старшего преподавателя по совместительству. Избрание на штатную должность — сразу доцента — состоялось летом 1954 г. (см. приказ ректора ТГУ от 24 августа 1954 г. № 650), так что Ю.М. Лотман являлся *штатным* преподавателем Тартуского университета с 1 сентября 1954 г. по 28 октября 1993 г. (с 1954 г. — доцентом, с 1963 г. — профессором).

Как говорил мне сам Лотман, он мог быть зачислен в штат и раньше. Ему предлагал постоянную должность заведующий кафедрой Б.Ф. Егоров[312]. Однако Лотман отказался, т.к. это была должность аре-

[312] Официально Б.Ф. Егоров стал заведовать кафедрой русской литературы в 1954 г., но до этого часто замещал своего предшественника Б.В. Правдина во время его болезни.

стованного в 1951 г. Вальмара Адамса, и он считал неэтичным занять это место.

Ю.М. Лотман всегда расценивал переезд в Тарту как счастливый поворот судьбы. Он любил город — город, имеющий историю, что было важно для Лотмана, с его историческим мышлением. Тарту тесно связан с эпохой, которая всегда была в центре его научных интересов. Первая его монография посвящена Андрею Кайсарову [Лотман 1958] не только потому, что и автор, и герой жили в Тарту и являлись профессорами по русской литературе одного университета, а потому, что это было продолжением штудий литературного процесса первого десятилетия XIX в., начатых Лотманом еще в студенческие годы.

Однако все-таки надо помнить, что в те годы, когда он приехал в Тарту, Тартуский университет отнюдь не переживал расцвета. Отделение русской филологии являло собой особенно разительный контраст с соответствующим отделением Ленинградского университета конца 1930-х и 1940-х гг., где Лотман учился и где тогда собрался цвет русистики и вообще отечественной филологии. Студенту Лотману там преподавали такие научные светила, как Б.В. Томашевский, В.М. Жирмунский, Б.М. Эйхенбаум, Г.А. Гуковский, В.Я. Пропп, М.К. Азадовский (таким образом преемственная связь с формальной школой в ее старшем и младшем поколениях была самая непосредственная). Его научным руководителем был Н.И. Мордовченко, которого Лотман глубоко уважал и высоко ценил. Он имел возможность слушать лекции древниста И.П. Еремина, античника И.М. Тронского, знатока западноевропейской литературы А.А. Смирнова. Всех не перечислишь! Словом, на тогдашнем филологическом факультете Ленинградского университета (накануне его разгрома в самом конце 1940-х гг. в ходе сталинской кампании «борьбы с космополитизмом») уровень был очень высоким.

В Тарту Лотман оказался перед выбором: либо занять выжидательную позицию, рассматривая пребывание здесь лишь как временное убежище, либо, начав с нуля, строить то, что сам хочешь построить. Трудность и специфика местных условий заключалась еще и в том, что начинать надо было даже не с нуля, а с величины отрицательной — с преодоления скрытой враждебности. Приехавшие из советской России молодые преподаватели, тем более русисты, воспринимались местной интеллигенцией и просто жителями маленького города, где все на виду, как оккупанты, ставленники власти и как потенциальная угроза эстонской культуре. Сам Лотман в «Не-мемуарах» признается, что далеко не сразу оценил трагизм обстановки, в которой он и вся кафедра оказались.

Таким образом, решив остаться в Тарту, нужно было не только создать кафедру, поставить преподавание русской литературы на должный уровень, не только начать научную и издательскую деятельность, но еще и преодолеть недоверие, предубеждение и против себя лично, и — что труднее — против своего предмета.

Конечно, облик Лотмана, его манера держаться, его эрудиция, свободное владение немецким и французским языками сразу отличали его от «советских русских» и расположили к нему многих эстонских интеллигентов (упомянем богослова и ориенталиста Уку Мазинга, доцентов Каллисту Канн, Рихарда Клейса, Олега Мутта, а также полиглота Виллема Эрнитса) и членов местной русской диаспоры. Многих, но далеко не всех[313]. Процесс завоевания и подтверждения этого доверия фактически никогда не прекращался. Так, чтобы отстоять лицо русской культуры и лицо кафедры русской литературы в период скрытой русификации Эстонии в 1970–80-е гг., Лотман создает учебник-хрестоматию по литературному чтению для IX класса эстонской школы [Лотман, Невердинова 1982], книгу для учителя [Лотман, Невердинова 1984], а также учебник по русской литературе на эстонском языке [Lotman 1982]. Он стремился к тому, чтобы в сознании эстонских учеников и вообще в сознании эстонцев русский язык ассоциировался с великой русской культурой, а не с советской идеологией, которую усиленно насаждали тогдашние учебники русского языка. И это лишь один пример неустанной целенаправленной деятельности по сближению эстонской и русской культур. Важнейшей, с точки зрения Лотмана, миссией кафедры было представлять в Эстонии русскую культуру. Сюда следует отнести и деятельность по популяризации русской художественной культуры в эстонской читательской аудитории, и создание учебников, и сотрудничество с эстонскими коллегами, и исследование русско-эстонских культурных контактов, и разрушение исторически обусловленных стереотипов в межнациональных отношениях и т.п.

В одиночку осуществить такие широкомасштабные задачи было невозможно, поэтому одной из первоочередных и стало создание кафедры.

Лотмановская концепция кафедры. Именно в сложных условиях в середине 1950-х гг. начинает формироваться понятие кафедры как содружества близких по духу, хотя и разных по характеру, по научным

[313] Ср. свидетельство Б.Ф. Егорова о распространявшемся в Тарту слухе, что знаменитые лотмановские усы — подражание Сталину [Егоров 1994: 87]. На самом деле Лотман носил усы в память своего отца, умершего от голода во время блокады Ленинграда.

и человеческим склонностям людей — своего рода академическая семья. В ее формировании большую роль сыграли личные качества Ю.М. Лотмана. Всем, знавшим его, памятен присущий Лотману культ Семьи, Дома, освещавший его домашнюю жизнь и нашедший отражение и в его научном творчестве. Однако важно и его умение объединять людей, которое так удачно подчеркнул Вяч.Вс. Иванов. Рассказывая о том, как создавались знаменитые «Тезисы к семиотическому изучению культур (в применении к славянским текстам)», он отметил, что Лотман «был единственным, кто все еще умел объединить эту разношерстную и противоречивую компанию[314]. Он никому не навязывал своей точки зрения, но старался добиться если не единства, то подобия гармонии и контрапункта в этой разноголосице» [Иванов В.В. 1994: 488]. Так было и в тартуской кафедральной жизни.

В наше время основной административной единицей в университете является отделение, в лотмановские времена это было не так. Базовой единицей была именно кафедра, и в его сознании кафедра была не просто местом работы, и уж конечно не административной единицей, а живым организмом, за само существование и за жизнедеятельность которого он был в ответе. Чувство единства, пронесенное кафедралами 1950-х гг. через всю жизнь[315], было результатом их целенаправленных усилий, вначале, надо полагать, интуитивных и импульсивных, но затем оформившихся у Лотмана во вполне осознанную культурную программу. Недаром в своем завещании он подытожил: «Кафедра принадлежит истории культуры».

Уже приводились и конечно будут приводиться примеры и свидетельства тартуского «кафедрального духа» (см., например: [Вышгород 1998]). Его приверженцами были большинство из тех, кто работал на кафедре начиная с 1950-х гг. Было выработано специальное понятие — «кафедральный человек», т.е. носитель «духа кафедры», ее системы ценностей и традиций (автором этого понятия была З.Г. Минц). Оно передавалось как эстафета и следующим поколениям работников кафедры. Затем оно несколько расширилось до понятия «тартуский человек», поскольку слово «кафедральный» могло относиться лишь к тому, кто работал на кафедре, а слово «тартуский» могло включать и тех, кто никогда не работал в Тартуском университете, но был с связан с кафедрой научными и дружескими узами.

[314] В создании «Тезисов…» принимали участие сам Вяч.Вс. Иванов, Ю.М. Лотман, А.М. Пятигорский, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский. См. первую публикацию: [Semiotyka i struktura tekstu 1973: 9–32], а также многочисленные переводы и переиздания.

[315] Например, Б.Ф. Егоров в комментариях к опубликованным им письмам Лотмана пишет: «Наша кафедра в 1960–70-е годы <...> в 1980-е годы <...>» а между тем Егоров уехал из Тарту в 1960 г., но чувство причастности к кафедре не исчезло у него до сих пор. Оно было общим и для Ю.М. Лотмана, З.Г. Минц, а также для П.С. Рейфмана, В.И. Беззубова, С.Г. Исакова.

Разумеется, эти понятия так же мифологичны и мифогенны, как и само слово «кафедра». В толковании этих понятий, как и в отношении к ним, возможны варианты, и они имеются среди носителей «кафедрального духа». Отсюда и бесконечные споры о том, когда был «золотой век» (равно как и был ли он вообще или только будет...), или о том, «погибла» ли кафедра после смены поколений в начале 1990-х гг. Как бы ни относиться к этим спорам и к самим понятиям, в жизни Лотмана они сыграли большую роль.

Ю.М. Лотман был и творцом, и участником этой жизни — этой кафедральной реальности и одновременно кафедрального мифа, — она вошла в его внутреннюю биографию ученого, сделавшись той «автобиографией», которая неотделима от научной позиции и составляет тот «субъективный фактор», который, как многократно подчеркивал сам Лотман, неустраним из исследований и может только рефлектироваться исследователем. Пребывание в инонациональной и инокультурной среде также наложило на него свой отпечаток. Жизнь в Тарту развивала особую чуткость к другому миру, а также быстрее излечивала от остатков «советскости».

Ю.М. Лотман — заведующий кафедрой. По глубокому убеждению самого Лотмана, кафедра может действовать только как единство всех ее членов. Он начал свое заведование не на пустом месте. Он высоко ценил своего предшественника Б.Ф. Егорова (переехавшего в Ленинград в 1960 г.), а также мыслил себя частью высокой традиции российского и европейского высшего образования, ориентируясь на своих учителей, — профессоров Ленинградского университета (преемников филологической школы старого Санкт-Петербургского университета), а также на историю Тартуского университета, которую знал, любил и ценил.

Когда мы говорим о Лотмане-заведующем, проблема организаторского дара приобретает актуальность. Напомню эпизод, о котором он любил рассказывать и которым гордился. Р.О. Якобсон, побывав в Тарту и Кяэрику в конце 1960-х гг., сказал, что Лотман — прекрасный организатор. При этом ЮрМих (так с легкой руки Б.Ф. Егорова называли Лотмана все знавшие его) всегда с лукавой усмешкой добавлял, что с этим отзывом никто из его друзей и близких, а тем паче из университетского начальства не согласится, но что, мол, Якобсон — единственный

человек, который его правильно понял. Воздержимся от выводов, пусть факты говорят сами за себя.

На посту заведующего кафедрой русской литературы Тартуского университета Лотман проработал немногим более шестнадцати с половиной лет (1960–1977), но эти годы составили эпоху в науке, эпоху в истории Тартуско-Московской школы, в истории Тартуского университета и, конечно же, отделения русской и славянской филологии.

Как свидетельствует справочник «Структура и личный состав Тартуского государственного университета», изданный в 1961 г. и содержащий данные на июнь того года (как раз первый год заведования Лотмана), кафедра русской литературы имела в своем штатном расписании шесть ставок (две с половиной — доцента и три с половиной — старшего преподавателя) и состояла из восьми человек. Доценты: Ю.М. Лотман, В.Т. Адамс, Б.Ф. Егоров (полставки); старшие преподаватели: кандидаты филологических наук З.Г. Минц и П.С. Рейфман (полставки) и преподаватели без степени: С.Г. Исаков, а также В.И. Беззубов и Й.А. Фельдбах (оба на полставки). Таким образом, в составе кафедры не было ни одного доктора наук и ни одного профессора. Уже очень скоро ситуация меняется. Сам Лотман защищает докторскую диссертацию, становится профессором. Кандидатскую диссертацию защищает С.Г. Исаков. Егоров окончательно покидает кафедру. Зато в 1963 г. приходит неожиданное пополнение: Лотман добился перевода с кафедры русского языка известного диалектолога Татьяны Филаретовны Мурниковой, которой грозило увольнение из университета по религиозным мотивам [Киселева 1998]. Это был типично лотмановский жест: он всегда был деятелен в отстаивании интересов своих коллег, часто в ущерб собственным. Результатом активной позиции заведующего, продуктивной работы всей кафедры и доброжелательности университетского руководства (в первую очередь ректора Федора Дмитриевича Клемента[316]) явился кадровый рост: в 1967 г. — уже девять ставок, а осенью 1976 г. — десять.

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. происходит резкое омоложение кафедры. В 1969 г. уходит на пенсию Йоханнес Фельдбах (1901–1972), присланный в сталинские времена (в 1951 г.) в университет для идеологического контроля и бывший на кафедре инородным телом [Пономарева 1998: 57]. В 1974 г. вышли на пенсию В.Т. Адамс (1899–1993) и Т.Ф. Мурникова (1913–1989). В конкурсе на освободившиеся места старших преподавателей Лотман призывает участвовать Анн Мальц (работавшую на кафедре с 1967 по 1999 г.; в 1967–1974 гг. — в должности

[316] О его роли прекрасно сказано в воспоминаниях Б.Ф. Егорова, Л.Н. Столовича и в рецензии М. Салупере на книгу профессора Столовича [Salupere 2006].

старшего лаборанта) и Л. Киселеву (с 1970 по 1974 г. занимавшую должность лаборанта). ЮрМих всегда рассматривал лаборантские места как «трудовые резервы», как этап для будущей преподавательской карьеры, поэтому из лаборантов «выросли» С.Г. Исаков (первый дипломант Лотмана, бывший лаборантом еще в долотмановские времена заведования), Любовь Киселева, Пеэтер Тороп (ныне заведующий Институтом философии и семиотики), Надежда Пустыгина (долго работавшая в Нарвском колледже), сотрудник отделения семиотики Сильви Салупере.

В конце 1960-х гг. открылся еще один «резерв»: кандидаты наук П.С. Рейфман, З.Г. Минц, С.Г. Исаков один за другим переходят на должности старших научных сотрудников (т.е. уходят в двухлетнюю докторантуру). Вместо них на временные ставки берут новых преподавателей, что дает возможность привлекать новые силы (с надеждой со временем добиться их перехода на постоянное место). Не все здесь получается гладко. В 1968 г. приехал в Тарту П.А. Руднев, которому удалось создать на кафедре свое направление исследований — стиховедческое, собрать вокруг себя активный студенческий стиховедческий семинар (его выпускниками являются, в частности, Михаил Лотман и ныне покойный Сергей Шахвердов). Однако в 1972 г. Рудневу пришлось покинуть Тарту, т.к. постоянных мест одновременно для него и его жены Л.П. Новинской добиться не удалось. Отъезд Руднева воспринимался всеми как большая потеря для кафедры.

Продолжалась полоса защит. В 1972 г. защитили докторские диссертации П.С. Рейфман и З.Г. Минц, в 1974 г. — С.Г. Исаков; кандидатские диссертации — В.И. Беззубов (1968), П.А. Руднев (1969), Е.В. Душечкина (1975), И.А. Чернов (1977).

На момент ухода Лотмана с поста заведующего кафедра имела двух профессоров (Лотман, Рейфман), трех доцентов (из них двое — Минц, Исаков были докторами наук[317]; один, Беззубов, — кандидатом) и пятерых старших преподавателей, из которых двое уже были кандидатами наук (Душечкина и Чернов) и трое (Мальц, Киселева, Тороп) — без степени (двое защитили свои диссертации позже). Никто из «кафедралов»

[317] Докторская степень З.Г. Минц еще не была утверждена ВАК, за что ее в шутку называли «бабушкой русского ВАКа». Это требует комментария: «бабушкой русской революции» называли Екатерину Брешко-Брешковскую (1844–1934), одну из основательниц партии эсеров, эмигрировавшую после октября 1917 г. (иначе так долго ей прожить не удалось бы!); ВАК (Высшая аттестационная комиссия в Москве) в советские времена утверждал все ученые степени и звания. Шутка была горькой: пять лет (с 1972 по 1977 г.) тянулась процедура утверждения ее блестящей, новаторской докторской диссертации.

даже не приближался к пенсионному возрасту: старшему Ю.М. Лотману в 1977 г. исполнялось 55 лет, младшим (Киселевой и Торопу) — 27.

Таким образом, две тенденции кадровой политики Лотмана-заведующего прослеживаются отчетливо: укрепление научного потенциала кафедры и омоложение состава, смена поколений. Это были принципиальные лотмановские установки, которые шли вразрез с общей ситуацией на факультете и вообще с кадровой политикой советских вузов.

Наука и преподавание в их неразрывном единстве. Ю.М. Лотман всегда очень много преподавал, тратил огромное количество времени и энергии на учебную работу. Его аудиторные нагрузки в Тартуском университете сейчас кажутся в Эстонии просто фантастическими. Вплоть до середины 1980-х гг. он преподавал по крайней мере по 10 часов в неделю, а в 1960–70-е гг. (время, когда он был заведующим кафедрой) — по 12–14 часов[318]. Добавим к тому спорадические, но довольные частые лекции школьникам и учителям тартуских школ, не говоря о руководстве курсовыми работами (в среднем по восемь в год), дипломными (в среднем четыре-пять в год), а также кандидатскими диссертациями[319].

[318] В начале работы в Тартуском университете Ю.М. Лотману приходилось вести самые разнообразные курсы: история русской литературы разных периодов, история русской журналистики и критики, методика преподавания литературы в школе, введение в литературоведение, теория литературы. В 1960-е — начале 1970-х гг. он постоянно вел: общий курс истории русской литературы до середины XIX в. (древнерусская литература, литература XVIII в., литература начала XIX в.), теорию литературы, анализ художественного текста. Кроме того, Лотман ежегодно руководил семинарами и читал спецкурсы. Как явствует из его университетского личного дела, до 1962 г. он прочитал спецкурсы: «Творчество Радищева»; «Типология творчества Пушкина: “Евгений Онегин”»; «Творчество Пушкина 1830-х гг.»; «Декабристская литература»; «Методика и методология литературоведческого анализа». С 1968 г. мы можем привести полный перечень его спецкурсов, прочитанных студентам отделения русской филологии (см. приложение в настоящем издании). Обратим внимание на то, что если названия спецкурсов иногда совпадали, то никогда не совпадало их содержание. Лотман менялся, и к своим излюбленным темам и текстам он подходил всегда по-новому.

[319] Список выпускных работ, написанных под руководством Ю.М. Лотмана, можно выделить в общем списке дипломных работ, защищенных при кафедре, составленном Г.М. Пономаревой: [Пономарева 1999], а также: Список дипломных работ, защищенных на кафедре русской литературы (1948–1998) // Кафедра русской литературы Тартуского университета. URL: http://www.ut.ee/FLVE/ruslit/dipold.html (дата обращения 9 августа 2108 г.); диссертации, защищенные под его руководством, см.: Список дисссертаций, защищенных на кафедре русской литературы (1968–1990) // Там же. URL: http://www.ut.ee/FLVE/ruslit/dissold.html (дата обращения 9 августа 2108 г.)

Все это не считая частных консультаций, устных и письменных отзывов о работах, руководимых коллегами. Ю.М. Лотман и З.Г. Минц никогда не отказывались быть оппонентами курсовых и дипломных сочинений, всегда являлись основными инициаторами проведения защит курсовых работ, а также студенческих научных конференций. Стоило большого труда уговорить Ю.М. Лотмана несколько уменьшить учебную нагрузку в середине 1980-х гг., и тогда она составила шесть-восемь аудиторных часов в неделю. Только в последние пару лет его нагрузки стали «профессорскими»: четыре, потом два часа в неделю.

Свою последнюю лекцию в Тартуском университете Ю.М. Лотман прочел 12 мая 1993 г. — это был его последний спецкурс по «Евгению Онегину». Но еще в сентябре 1993 г., в связи с началом учебного года, мы обсуждали с ним, какой спецкурс он будет читать в 1993/94 учебном году, когда / если сможет... Я предлагала что-нибудь «историософское», в контексте его последней книги «Культура и взрыв», зная, что Лотман постоянно мысленно возвращается к теме «смуты», взрывных и постепенных процессов в культуре. Он отнесся к идее скептически: ему хотелось прочесть что-то совсем новое и, главное, — новое по материалу. Последние три года (после тяжелого инсульта, поразившего зрение) он особенно страдал от того, что не мог сам добывать новых фактов — рыться в книгах, заниматься в архивах. Материал (литературный, исторический, историко-культурный, этнографический и пр.) всегда был главным генератором, а отнюдь не эффектной иллюстрацией его идей.

Можно ли объяснить такую «нерациональную» трату сил на преподавание лишь особенностями темперамента и даже способностью порождать концепции в процессе лекций?[320] Думается, что ответ лежит гораздо глубже.

Для самого Лотмана работа — преподавание и занятие наукой (обе составляющие были неразрывны и перетекали друг в друга) — была органической частью его жизни. От всех недугов он лечился работой. Так было всегда, особенно это стало очевидно в последние годы и месяцы жизни: смертельно больной, в весеннем семестре 1993 г. он читал лекции, за месяц до кончины диктовал статью и давал интервью. Но вот пример из другой эпохи. Приведу цитату из письма ко мне, написанного Лотманом 24 января 1981 г. из Москвы, где он был на конферен-

[320] Ср. его слова: «Работа со студентами доставляла огромное удовольствие <...> Четыре-шесть часов лекций в день не утомляли, а неожиданно сделанное открытие, что по ходу лекции я способен прийти к принципиально новым идеям и что к концу занятий у меня складывались интересные и неизвестные мне вначале концепции, буквально окрыляло» [Лотман 1995: 40].

ции. Письмо грустное: ЮрМих выражает недовольство конференцией, говорит об общем научном кризисе и потом дает автокомментарий к собственному настроению: «Занимался в этот раз мало. Это тоже не способствует».

О научной активности Лотмана красноречиво свидетельствует список его печатных трудов: с 1961 по 1976 г. им было опубликовано 322 работы (и мы все время должны помнить, что в 1960–70-е гг. возможностей для публикации было гораздо меньше, чем теперь). Конечно, с 1964 г. начинают появляться переводы трудов Лотмана на разные языки, но 202 из упомянутых 322 — это впервые напечатанные тексты, т.е. в среднем по 12 новых работ в год [Киселева 1993: 444–460]. Его монографии, изданные в этот период[321], отражают сферы его интересов: поэтика, история литературы, кино — могли бы мы сказать, вспоминая название сборника статей Ю.Н. Тынянова. Можно сказать и иначе: поэтика и семиотика культуры, методология науки. Большинство статей, изданных за интересующий нас период, стали классикой литературоведения и семиотики.

Жить в постоянной работе мысли было для Лотмана делом настолько естественным, что он не признавал иного *modusa vivendi* для любого, кто переступил порог учебного заведения: и для тех, кто учит, и для тех, кто учится. Я помню его «непедагогические» советы нам, студентам-первокурсникам: надо стараться урывать время от сна для того, чтобы читать — всегда, везде, все время читать. Он сам читал очень быстро и много, но всегда сетовал на то, как мало успевает прочесть. Одним из главных принципов педагогики Лотмана был синтез учебной и научной работы — не только в собственной деятельности, но и по отношению к коллегам — преподавателям и студентам. Он считал, что хороший студент сразу должен включиться в научную работу. Здесь бывали иногда странные накладки. Например, я лишь задним числом узнала о том, что Юрий Михайлович и Зара Григорьевна были удивлены, что на первом курсе ни я, ни мои однокурсники не посещали его спецкурса для четвертого курса. Им и в голову не приходило, что мы ни о каком таком

[321] Лекции по структуральной поэтике. Тарту, 1964; Структура художественного текста. М., 1970; Анализ поэтического текста. Л., 1972; Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970–1973. Вып. 1 и 2; Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973; Динамическая модель семиотической системы. М., 1974 (препринт); Роман в стихах «Евгений Онегин»: Спецкурс. Тарту, 1975. Кроме того, им были подготовлены научные (комментированные) издания: Поэты начала XIX века. Л., 1961; *Карамзин Н.М.* Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1966; Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971; Семиотика и искусствометрия: Современные зарубежные исследования: Сб. переводов. М., 1972.

спецкурсе и не подозревали, а тем более не знали, что нам можно туда ходить. На втором курсе мы уже были умнее и ошибку исправили. Вообще, нормой для каждого преподавателя кафедры было каждый год читать новый спецкурс, который бы соответствовал его исследовательской теме, а для студента слушать их все (получалось по четыре-пять спецкурсов в год в дополнение к основному расписанию).

Центром учебной деятельности студентов стали курсовые и дипломные работы. Отношение к ним было серьезным и ответственным. Уже упомянутый список дипломных работ, составленный Г.М. Пономаревой [Пономарева 1999: 332–371], ясно демонстрирует усилия преподавателей кафедры русской литературы превратить учебные сочинения в пусть небольшие, но научные исследования. Для их реализации фондов университетской библиотеки решительно не хватало. Постепенно занятия в архивах и библиотеках Москвы и Питера становились для студентов нормой. В результате страдали «количественные показатели» успеваемости, что вызывало недовольство деканата: почему студенты пропускают занятия или имеют задолженности по экзаменам и зачетам? Начальственные установки выражались неоднократно и недвусмысленно: надо давать такие темы, которые можно разработать, не выезжая из Тарту! Но Лотман и его коллеги не сдавались.

Был ли Лотман требовательным преподавателем? И нет, и да. Он был либеральным экзаменатором, но умел вызвать в студенте чувство неудовлетворенности своей подготовкой и стыда за незнание. В научной работе требовал полной отдачи, предельной добросовестности и ответственности. В результате дипломных работ, защищенных под его руководством, не так много, как можно было бы ожидать. За весь период работы Лотмана в Тартуском университете под его руководством защищены 84 дипломные работы (1953–1991); за период заведования (1961–1976) — 23 работы[322].

И все же главное в научной деятельности «кафедры Лотмана» — это научные семинары, конференции, а также кафедральные научные издания. Для Лотмана это был показатель научной работы и ее стимул, ее условие и способ ее осуществления. Лекции считались важным, но недостаточным способом самореализации, главным считалась общекафедральная научная продукция, которая (в виде изданий) представляла

[322] Перечислим и кандидатские диссертации, защищенные под руководством Лотмана до 1977 г.: Рафаэль Папаян. «Типологическая характеристика русской метрики (в сопоставлении с армянской)» (1973); Хелле Леэметс. «Метафора в русской романтической прозе 30-х годов XIX века (на материале произведений А.А. Бестужева-Марлинского, Н.А. Полевого и В.Ф. Одоевского)» (1974); Игорь Чернов. «Литературная культура русского барокко (пути и методы изучения)» (1975).

лицо кафедры. Уже в конце 1950-х гг. Б.Ф. Егоров и Ю.М. Лотман добились восстановления собственной серии Ученых записок Тартуского университета — «Трудов по русской и славянской филологии». В 1964 г. были созданы новые, сразу ставшие знаменитыми серии — «Труды по знаковым системам» (или «Семиотика») и «Блоковский сборник», который объединил исследования по культуре русского модернизма (его инициатором и редактором была З.Г. Минц). С 1963 г. стал выходить сборник студенческих научных работ «Русская филология»[323], постоянно печатались сборники тезисов по вторичным моделирующим системам, а также материалы студенческих научных конференций. Важным начинанием стали и сборники «Литературоведение и школа» (1969 и 1976)[324].

Конечно, издания возникали не на пустом месте. Во многом они являлись результатом научных семинаров и конференций. Для проведения больших научных встреч (таких, как Летние школы по вторичным моделирующим системам) нужны были официальные разрешения и деньги. В те времена они добывались долгими «хождениями по начальству». До поры до времени такие ходатайства имели результат, и проведение знаменитых Летних школ стало целой эпохой в истории науки[325].

Если ходатайства оказывались безуспешными и конференцию невозможно было провести, то устраивались заседания кафедры, философского семинара или кафедральные научные сессии с участием гостей[326]. Научные студенческие конференции, проводившиеся уже в 1950-е гг., с начала 1960-х гг. стали регулярными и собирали лучших студентов и аспирантов со всего Советского Союза. Именно они становились школой для будущих филологов, ныне составляющих цвет мировой славистики. Все члены кафедры присутствовали на заседаниях,

[323] Все эти серии продолжаются и поныне («Семиотику» выпускает с 1998 г. отделение семиотики и культурологии). В 1989 г. к ним прибавилась еще одна — «Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia» (совместно с Хельсинкским университетом).

[324] Красноречивее всего об издательской деятельности свидетельствует книга: [Труды по русской литературе и семиотике 1991].

[325] Их истории и вкладу в развитие науки уже посвящена большая литература (воспоминания участников см.: [Тартуско-Московская семиотическая школа 1994]).

[326] Например, такими были — фактически — конференции, посвященные юбилеям Л. Толстого, Т. Шевченко, В. Белинского, М. Ломоносова, Н. Карамзина, Н. Новикова, М. Лермонтова, М. Горького, Сервантеса и Шекспира, годовщине войны 1812 г. Регулярно устраивались заседания кафедры с научными докладами (самым активным докладчиком был сам Ю.М. Лотман). См.: Хроника научной жизни кафедры русской литературы Тартуского университета (начиная с 1949 г.) // Кафедра русской литературы Тартуского университета. URL: http://www.ut.ee/FLVE/ruslit/history/hronika.php (дата обращения 9 августа 2018 г.).

Ю.М. Лотман и З.Г. Минц активно выступали в дискуссиях. Их отзыва, их указаний ждали с трепетом, но предельная доброжелательность старших коллег помогала начинающим ученым преодолеть смущение и выйти на новый уровень. До сих пор тартуские конференции (включившие с начала 1990-х гг. и студентов из европейских университетов) ценятся и считаются в кругу русистов своего рода экзаменом на зрелость.

Однако результаты научной деятельности, при всей их важности для Лотмана, никогда не заслоняли для него, как заведующего, осознанной и выраженной этической позиции, критерия личной порядочности. Этот критерий прилагался им в первую очередь к самому себе, но и к каждому из членов кафедры. «Мы учим этике», — именно так сформулировал ЮрМих свое педагогическое кредо на одном из заседаний кафедры, где обсуждался некорректный поступок коллеги, использовавшего в своей статье разыскания студентки без соответствующей ссылки (см. книгу протоколов за 1956 г., хранящуюся в кафедральном архиве). Этическая составляющая, по мнению Лотмана, является важнейшей в личности педагога — как университетского, так и школьного. В одной из своих многочисленных статей на педагогические темы он пишет: «Я не считаю, что можно разделять обучение и воспитание, видя в них две различные педагогические задачи» [Лотман 2003: 158].

Итак, по мысли Лотмана, кафедра должна была стать той средой, в которой могли бы существовать и воспроизводиться (биологический термин здесь вполне уместен, он присутствует и в слове «среда») интеллигентные, порядочные, образованные люди. Эти люди (молодые преподаватели, студенты), в свою очередь, должны были, по его замыслу, со временем создавать вокруг себя свою среду, передавая культурную эстафету дальше. Такое толкование понятия «кафедра», с моей точки зрения, является одной из составляющих понятия «школа», по Лотману. В каком-то смысле это был утопический проект, сродни идеям педагогов-просветителей XVIII в. (например, И.И. Бецкого в России), стремившихся создать «новую породу людей» в закрытых учебных заведениях, изолировав своих воспитанников от жестоких и низких нравов современной им действительности и противопоставив им возвышенные устремления, почерпнутые из искусства и философии. Лотман всегда с энтузиазмом относился к самой идее созидания мира усилиями отдельных людей (Н.И. Новиков недаром был одним из любимых его героев). По своим установкам он был просветителем (в смысле XVIII в.). Созвучность лотмановских культурологических концепций (культура как память, семиосфера) и жизненных установок очевидна. Он хотел иметь возможность делать то дело, которое считал делом своей жизни.

И в этой связи неизбежен вопрос о том, как он уживался с начальством советского вуза и с советским строем.

Атмосфера Тарту в период хрущевской «оттепели» и даже в последующие советские годы была более свободной, чем в столичных городах, однако это не значит, что Лотман не испытывал политического и идеологического давления и не подвергался преследованиям[327]. Его университетское личное дело может с полным правом быть названо «невыездным», хотя там представлена лишь малая часть приглашений, полученных Лотманом от разных европейских и американских университетов, научных обществ и организаций[328]. Первое приглашение пришло в начале 1959 г. И хотя поездка должна была состояться на Шиллеровскую конференцию в «дружественную» ГДР, а ходатайство было подано в январе, 6 июня 1959 г. последовал отказ от министерства, мотивированный поздним (всего за полгода!) представлением документов.

Тем не менее надо подчеркнуть, что преследования, запреты обычно исходили от «руководящих» органов (КГБ, ЦК КПЭ, министерств). Университетскому начальству приходилось играть роль исполнителей неприятных распоряжений и указаний. Конечно, жизнь любого советского университета, в том числе и Тартуского, была подчинена особой — «зазеркальной» — логике. Например, в личном деле Лотмана соседствуют два документа. Один — копия письма Альгирдаса Греймаса от 28 сентября 1966 г. с приглашением прибыть в Париж на заседание редколлегии бюллетеня Международной ассоциации семиотики, вице-президентом которой Лотман был избран. А рядом — протокол о сдаче на «отлично» экзамена по охране труда (15 апреля 1966 г.), который всемирно известный ученый был вынужден сдавать, будучи заведующим кафедрой.

Об эволюции своих политических взглядов Лотман пишет в «Не-мемуарах». Сам он считал 1968 г. и чешские события (ввод советских танков в Прагу) моментом окончательного перелома и моментом полной утраты иллюзий насчет советской власти. Упоминает он (бегло, скромно и затушевывая свою роль) и о своем участии в диссидентском движении, хотя то, что Наталья Горбаневская и сын Юлия Даниэля Александр жили какое-то время у Лотманов, было известно не только друзьям и знакомым, но и «компетентным органам». Среди диссидентов были и непосредственные ученики Лотмана Габриэль Суперфин и Арсений Рогинский (см.: [Kuzovkina 2013]). Результаты не замедлили сказаться: в 1970 г.

[327] См. в «Не-мемуарах» описание слежки за Лотманом и обыска в его доме в январе 1970 г.: [Лотман 1995: 45–46].

[328] На основании других материалов об этом говорила в одном из своих пока не опубликованных докладов Т.Д. Кузовкина.

состоялся многочасовой обыск в квартире Лотманов, затем последовали вызовы в КГБ, в конечном счете — свертывание Летних школ по вторичным моделирующим системам и вынужденный уход с заведования кафедрой. Ясно, что выбор был неизбежен: или уезжать на Запад, или садиться в тюрьму, или, оставаясь университетским профессором, не участвовать прямо и демонстративно в диссидентской деятельности. Политическая (диссидентская) деятельность входила в противоречие с академической. Выбор был сделан в пользу академической, и хотя ЮрМих продолжал помогать диссидентам много и разнообразно, но сделанный выбор был непростым и не раз подвергался Лотманом мучительной рефлексии.

Уход с заведования явился для ЮрМиха тяжелым испытанием (со временем это как-то подзабылось, но в письмах ко мне эта тема ясно прослеживается). 6 января 1977 г. он был вынужден подать заявление об освобождении его от должности заведующего — «в связи с ухудшившимся здоровьем». Здоровье действительно было не в лучшем состоянии, но подлинные причины заключаюсь в усилившемся административном давлении, которое, в свою очередь, было вызвано указаниями компетентных органов. «Добровольное» заявление помогало избежать дополнительных неприятностей и унижений. Вскоре вердикт был вынесен, и 16 февраля 1977 г. Лотман был перемещен с поста заведующего на место профессора, а с 1 сентября 1980 г. и вовсе переведен на кафедру зарубежной литературы. Он невесело шутил, что высылка Солженицына на Запад может объяснить, почему профессор по русской литературе работает на зарубежной кафедре.

С одной стороны, заведование отнимало много времени и душевных сил и дорого ему стоило (его жена и верная соратница З.Г. Минц признавалась, что была рада, когда заведование кончилось). Заседания ученых советов (университетского и факультетского) он терпеть не мог, всякого рода бюрократические документы — тоже, хотя и управлялся с ответами на них виртуозно, но, как правило, с опозданием, иногда значительным — это вызывало недовольство начальства. Однако, с другой стороны, заведование давало возможность хоть в какой-то мере влиять на ситуацию (в «руководящей» сфере чины и регалии помогали добиваться нужных решений, ограждали от вмешательства в кафедральные дела). Кроме того — и это самое главное — кафедру он ощущал как свое детище, и отставка, пусть и вынужденная и с точки зрения внутрикафедрального отношения к ситуации — условная, этого детища лишала (своего рода лишение отцовских прав!). Можно сказать, что Лотман пережил серьезный душевный кризис, который долго давал о

себе знать. Но потом он был преодолен. Я хочу закончить цитатами из его писем из Мюнхена 1989 г.:

> Душой я все время в Тарту <...>. Как продвигается подготовка семинара (имеется в виду совместный хельсинкско-тартуский семинар в июне 1989 г. — *Л.К.*)? Вообще, в голове тысяча «как» (23 февраля 1989 г.);
>
> Что-то делается в Тарту на родной кафедре? (28 февраля 1989 г.).

Подводя итог краткому обзору деятельности Ю.М. Лотмана в Тартуском университете, подчеркну его умение принимать вызов обстоятельств, способность и желание самому строить свое культурное и этическое пространство, умение находить единомышленников среди учеников и коллег, заражать их энтузиазмом и чувством миссии. При этом он неизменно возлагал на себя ответственность за созданное им научное и человеческое сообщество — кафедру, студенческое содружество, научную школу[329]. Если бы он не отдавал столько сил университетской деятельности — преподавательской, организаторской, издательской, административной, — наверное, он смог бы написать еще больше, чем написал. Но это были бы другие работы, и не было бы Тартуской школы. Думаю, что влияние тартуского субстрата на научное творчество Ю.М. Лотмана предстоит еще внимательно изучать, а то, что Тартуская школа — это школа Лотмана, давно очевидно.

5.2. Ю.М. Лотман как собеседник: общение как воспитание

> И гений, парадоксов друг…
>
> А.*С. Пушкин*

Мы постараемся говорить о поставленной проблеме не на основе собственного опыта общения с Ю.М. Лотманом, которое длилось четверть века, но на основе его трудов, в первую очередь публицистических, где его позиция выражена непосредственно. Нельзя не обратить

[329] М. Салупере приводит выразительное свидетельство Л.Н. Столовича, который зафиксировал ответ Ю.М. Лотмана на вопрос, почему он не эмигрирует: «Я занимаюсь русской культурой, и мое место здесь. Место санитарного врача в бараке. Может быть, там, на цветущих лугах, лучше, но мое место в бараке» [Salupere 2006]. Эта мужественная фраза дает одновременно представление и о тех условиях, в которых Лотману приходилось работать.

внимания на тот факт, что тексты, обращенные к широкой аудитории, составляют не менее пятой части из всего им написанного[330]. Такого рода тексты создавались им на протяжении всей научной деятельности — с начала 1950-х гг. до 1993 г. Думается, что такой высокий процент популяризаторских работ сам по себе интересен и способен многое объяснить и в его личности, и в научных трудах. На наш взгляд, эти работы отражают не только его нравственную и гражданскую позицию, но и человеческое и научное *credo*. Разумеется, опосредованно оно выражено во всех, в том числе и сугубо специальных, трудах ученого. Так, уже неоднократно писалось о том, что Пушкин или Карамзин, описанные Лотманом, это его Пушкин и Карамзин. Сам автор осознавал подобный «автобиографизм» как дискурсивную проблему и сформулировал ее как одну из закономерностей научного творчества:

> Чтобы изучать творчество писателя, даже при сознательном стремлении к предельной объективности, ученый должен найти в нем нечто созвучное себе, некое зеркальное пространство, в котором он сможет сам отразиться [Лотман 2003: 55–56].
>
> Существует глубокая и вполне закономерная связь между трудами автора и его личным, человеческим обликом. Вдумчивый историк по трудам ученого восстановит его лицо с такой же точностью, с какой реконструируется тип эпохи по дневникам или письмам [Лотман 2003: 73][331].

Однако заметим, что если в специальных трудах *credo* нуждается в читательской реконструкции, то в публицистике оно формулируется прямо, что уменьшает долю погрешности при систематизации.

[330] Количество первопубликаций трудов Лотмана составляет примерно 520, из них около 100 составляют публицистические выступления, интервью, газетные заметки, в том числе юбилейные или некрологические, статьи в научно-популярных журналах (не считая научно-методических статей, школьных учебников и энциклопедических статей). Такого рода работы были собраны нами в [Лотман 2003].

[331] Этот принципиальный для него вывод Лотман сделал в статье, посвященной своему учителю Н.И. Мордовченко, где высказал целый ряд важных идей о методологии науки. Подзаголовок статьи характерен: «Заметки о творческой индивидуальности ученого». Эту блестящую работу можно было бы назвать манифестом историко-литературного метода самого Ю.М. Лотмана, хотя форма реализации этого метода в его собственных трудах была совершенно иной и от «теоретических деклараций» он, в отличие от Мордовченко, не отказывался.

На наш взгляд, для Лотмана такого рода деятельность была возможностью общения с самыми разными потенциальными читателями и расширением круга тех, кто причастен к строительству культуры. Культуру он воспринимал как общее дело, в которое должны быть включены не только профессионалы. Лотман широко воспользовался этой возможностью, когда она представилась, и его позиция нашла самый широкий отклик у тех, к кому он обращался.

Долгие годы в силу обстоятельств его активность проявлялась лишь в сравнительно узкой специальной сфере, а популярные статьи печатались в основном на эстонском языке. В 1970-е — в начале 1980-х гг. возможность выступать в широкой печати была для него вообще резко ограничена. Вот один из многих примеров: после обыска, произведенного сотрудниками КГБ в его квартире в 1970 г., его статья «Семиотика и сегодняшний мир», посланная в редакцию газеты «Rahva Hääl», была отклонена явно по указанию «сверху». Доступ к телевизионному экрану был и вовсе закрыт[332]. Однако с середины 1980-х гг. ситуация изменилась, и в конце 1980-х — начале 1990-х от желающих взять интервью, заручиться статьей Лотмана для своей газеты или журнала буквально не было отбоя.

Он не боялся быть моралистом, не боялся показаться банальным. Он говорил тривиальные истины[333] о добре и зле, о жизни и смерти, о страдании, о совести и ответственности, о честности, интеллигентности, порядочности как человеческой норме, о высокой цене таланта. Он принял на себя роль учителя жизни, понимая всю неблагодарность и опасность такой роли. «Моралисты оказались осмеянными», — прямо говорил он в интервью после кончины академика Андрея Дмитриевича Сахарова [Лотман 2003: 143] и тут же подробно обосновывал свое понимание его заслуг:

> …главное, что я вижу в личности Сахарова <…> это реабилитация совести как основного принципа жизни. И это очень важно потому, что традиционно наука как бы отделилась от морали. И даже предполагалось <…> что мораль — это для священников, а у науки — объективные законы. <…> С того момента, как <…> мы отделились от религиозного обоснования в нашей деятельности и оценках <…> мы отнесли этические ценности или же к области лицемерия, или же к области наивности [Лотман 2003: 142–143].

[332] См. свидетельство Евгении Хапонен, которая была автором и исполнителем проекта телевизионных «Бесед о русской культуре» [Лотман 2003: 348–349].

[333] Ср.: «“Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...” — говорила Ахматова. И главное, когда мы цитируем, мы “сор” понимаем, а тут ведь есть глубокая мысль — бесстыдность истины. Она не стыдится быть тривиальной, не стыдится быть банальной. Такой сложный механизм, который все время меняет позиции...» [Лотман 2003: 154].

Хотя Лотман не прилагал к собственной деятельности религиозных обоснований, но вера в непреложность нравственных законов человеческого бытия была ему свойственна. Он был вдумчивым исследователем механизмов стыда, страха и чести в истории культуры, и слова «совесть» и «честь» недаром принадлежат к числу наиболее частотных в его публицистике.

К концу жизни он стал одним из «властителей дум» огромной телевизионной аудитории, когда записанные на ЭТВ «Беседы о русской культуре» стали транслироваться по всесоюзным каналам. Т.Д. Кузовкина, занимаясь архивом ученого, хранящимся в Библиотеке Тартуского университета, проанализировала отклики зрителей на эти телевизионные «Беседы…», присланные автору в форме личных писем. Учителя и инженеры, школьники и студенты, пенсионеры из столичных городов и из самых разных уголков тогдашнего Советского Союза трогательно благодарили Лотмана за то, что он стал для них нравственной опорой в трудное время общественных перемен. Однако не только массовый читатель и зритель нуждался в Лотмане как учителе жизни. Участники международного конгресса в Тарту в 2002 г., посвященного восьмидесятилетию со дня рождения Лотмана, крупные ученые-филологи и семиотики, не сговариваясь, повторяли в интервью эстонской тележурналистке Евгении Хапонен одну и ту же мысль: нравственное воздействие Лотмана оказалось решающим фактором в их становлении как ученых, именно оно составляет главный секрет лотмановской школы[334].

Общение Лотмана с широкой аудиторией органично выросло из его педагогической деятельности. Мы уже писали выше о том, что он сложился как педагог в стенах Тартуского университета. Его лекции

[334] Ссылаемся на передачи из серии «В профиль и анфас»: «Лотман — 80» и «Лотман и его школа», показанные по ЭТВ 17 марта и 14 апреля 2002 г.

на отделении русской филологии были «устными монографиями» по творчеству Пушкина, Гоголя, Карамзина, Лермонтова, Баратынского, Тютчева и других авторов, по отдельным произведениям (например, по «Евгению Онегину», «Письмам русского путешественника»), по истории кружков и салонов в Европе и России XVIII–XIX вв. или же теоретическими разработками основ структуральной поэтики, теории кино, теории прозы, поэтики бытового поведения и многого другого. По лекциям Лотмана всегда можно было безошибочно судить о том, что волнует его как ученого и над чем он сейчас работает. Он щедро делился со студентами своими разысканиями, делал слушателей не просто свидетелями, но и соучастниками своего творческого процесса. Пристально следя за тем, как студенты его слушают, он умел овладеть аудиторией, добиться ощущения полета — того волшебного состояния «отключения от реальности», когда лектор и аудитория полностью углублены в тему и составляют как бы единое целое. Недаром лекции Лотмана вызывали у слушателей ощущение праздника.

То, что образовательный уровень студенческой аудитории не всегда был (и даже, как правило, не был) высок, не мешало ЮрМиху относиться к сидящим перед ним молодым людям как к будущему науки. Формулы «как вы, конечно, помните», «всем известно, что» не были для него только риторическими фигурами, привычными в устах опытного лектора. Он стремился незаметно, не обидным для слушателей образом, раздвинуть границы их скромных сведений, указать на должный уровень знания, стимулировать самостоятельный поиск. Можно сказать, что «популяризаторская» деятельность Лотмана являлась экстраполяцией того, что происходило в университетской аудитории, на широкий круг читателей и телезрителей. Он моделировал их как «свою» аудиторию — тех самых студентов-коллег[335], т.е. учеников и одновременно партнеров, соучастников одного процесса строительства культуры как памяти, а в осмысленности и реальности этого процесса он был абсолютно убежден.

Это была та «вера в культуру», которая сродни религиозному чувству. Наверное, один из главных секретов огромного воздействия Лотмана на любую аудиторию — это его уважение и доверие к собеседнику, что предполагало отсутствие и привкуса халтуры, которую чуткая аудитория всегда ощущает, даже если не может уличить в ней лектора. Лотман требовал «бескомпромиссного знания», как он однажды выразился. В одном из интервью он выразил свою мысль следующим образом:

[335] Слово «коллеги» служило постоянным обращением Лотмана к своим студентам.

> Популяризация — трудный жанр. Очень сложно упростить тип разговора, не упрощая содержания. Ломоносов однажды заметил: ясно говорят, когда ясно понимают. С массовым читателем может говорить только очень квалифицированный автор. Я долго считал себя не готовым к такой работе. И пришел к ней во многом через исследования специального характера, предназначенные для малотиражных изданий [Лотман 2003: 249].

Высокие требования, которые предъявлял Лотман к науке и к ученым, он считал залогом существования самой науки, культуры в целом и — в конечном итоге — человеческого общества:

> Когда существует ядро ученых высшего класса, бескорыстной преданности науке, широкой эрудиции, глубокой внутренней интеллигентности (а я убежден, что есть такая высота науки, которая достигается только при чистоте помыслов и душевном благородстве и, напротив, даже малый привкус карьеризма, корысти, «шариковщины» пресекает научный путь даже способному человеку), то вокруг него складывается самовоспроизводящийся механизм науки. Но уберите этих несколько человек и посадите на их место бюрократов с учеными степенями — и пройдет немного времени, как наука исчезнет, заменившись ведомственной возней и склоками карьеристов, облеченных в одежды «научных» проблем. Серость плодит серость не по злому умыслу, а по самой своей природе. Поэтому серость в творческой сфере отнюдь не безобидна. Она агрессивна [Лотман 2003: 124].

Именно поэтому Лотман так много писал и говорил о проблемах школы, образования, придавал такое огромное значение воспитанию, точнее обучению как форме воспитания. Процесс обучения являлся для него «воздухом культуры», залогом и условием ее существования, естественной формой духовной жизни. Недаром для обозначения научных встреч ученых, разрабатывавших новые методы и подходы к языку, тексту, культуре, другими словами — отечественную семиотику, а также для обозначения самого научного сообщества было избрано именно слово «школа». Ученые, которые составили ставшую затем всемирно известной Тартуско-Московскую школу семиотики, собирались по инициативе Ю.М. Лотмана в 1960-е гг. в Кяэрику на Летние школы по вторичным моделирующим системам. Это была Школа в высоком смысле слова —

содружество единомышленников и форма их общения между собой, где все участники (крупные лингвисты, литературоведы, фольклористы, искусствоведы, философы) являлись одновременно и учениками, и учителями. Поэтому, когда Лотман пишет или говорит о школе, сквозь слово, обозначающее среднее учебное заведение, всегда просвечивает Школа — идеальное место общения, где осуществляется встреча поколений, обеспечивается преемственность культурного делания.

Итак, обучение-воспитание для Лотмана — это в первую очередь форма общения:

> Всякое общение есть воспитание, т.к. те, кто хотят общаться, должны настроиться на общую волну, стремиться к взаимопониманию и, следовательно, в чем-то уподобиться друг другу. Для того чтобы я мог тебя обучить, т.е. передать тебе знания, мало того, чтобы я хотел передать, нужно еще, чтобы ты хотел принять. Обучение подразумевает, что один хочет учить, а другой хочет учиться. То есть любому акту обучения обязательно сопутствует настройка учителя (самовоспитание) и настройка ученика (воспитание) [Лотман 2003: 158].

В данном высказывании в свернутом виде присутствует мысль, которая очень важна для Лотмана-педагога и одновременно теоретика культуры: общение — это всегда диалог, взаимодействие (работа «вместе» — как сказано в статье «Чему же учатся люди?» [Лотман 2003: 165]), — основанное на понимании и доверии[336], на терпимости и любви. Педагог более всего воспитывает своей личностью, он призван к тому, чтобы создать вокруг себя «атмосферу культуры» [Лотман 2003: 179].

И еще: общение как динамический процесс естественным образом подразумевает для Лотмана творчество. Именно поэтому он придает такое большое значение творческой свободе педагога (как и творческой свободе писателя, свободе человека). То, что он пишет о роли литературы как учебного предмета в школе, можно соотнести с его рассуждениями о роли искусства в жизни человека[337]. Уроки литературы, по мысли Лотмана, должны дать ученику «привычку искать в сочинениях писателей ответы на серьезные жизненные вопросы» [Лотман 2003: 162].

[336] В статье «Воспитание души» Лотман пишет: «Взаимопонимание между людьми <…> — всегда чудо. И чтобы это чудо произошло, необходимо доверие учеников учителю. Часто одно фальшивое слово, нарушенное обещание, некрасивый, недобросовестный поступок убивают доверие и воздвигают стену между учителем и классом. Ученики оценивают не только то, что говорит учитель, а всю его личность, и именно своей личностью, человеческим обликом как в классе, так и за его пределами, учитель оказывает основное воспитательное воздействие на учеников» [Лотман 2003: 159].

В достаточно многочисленных критических высказываниях Лотмана в адрес школьного и университетского образования никогда нет отстраненности, в них — боль человека, чувствующего свою причастность к делу образования и свою ответственность за него. Он с горечью писал:

> Школа — это особый механизм, который отбрасывает тех, кто пытается работать не по стандарту, кто пытается внести в процесс обучения что-то творческое. <…> Педагогический труд имеет свои профессиональные болезни, свои специфические травмы. С одной стороны, педагог бесконтрольно командует детьми, с другой — им бесконтрольно командует начальство. Он угнетатель и угнетенный в одном лице. Не случайно в нем развиваются различные комплексы и вместе с тем — чрезвычайное самомнение. Последнее — компенсация за ложное положение... [Лотман 2003: 184].

Противоядием от профессиональной болезни педагогов Лотман считал, в первую очередь, творчество, но также и уважение к личности учителя, к его труду со стороны общества и, с другой стороны, критическое отношение педагога к себе, его постоянное стремление к профессиональному (и, следовательно, человеческому) самосовершенствованию. Характерно, что Лотман обращал критический взгляд и на современную ему «высокую» науку», от которой требовал постоянного расширения горизонта знаний, и на свою собственную деятельность:

> Наука — дело живое и устойчивое. Она сама отсеивает мякину, оставляет зерна. Совершенно очевидно, я не строю никаких иллюзий, и в моей работе есть мякина. Хочется надеяться, что время, отсеяв мякину, что-то оставит. А пока что каждый должен делать свое дело так хорошо, как он умеет [Лотман 2003: 240].

В одном из последних интервью он говорил корреспонденту, своей бывшей студентке: «Не знаю, оставите вы эти слова или нет — но если

[337] В концентрированной форме идеи Лотмана изложены им в телевизионных лекциях «Беседы о русской культуре» (особенно см. цикл четвертый [Лотман 2003: 515–545]), а также в статье «Как говорит искусство?» [Лотман 2003: 101–104].

бы вы знали, какой я невежда»; «…с грустью должен сказать, что моя компетенция гораздо уже, чем мои интересы» [Лотман 2003: 294].

В последние годы, в процессе работы над своими итоговыми книгами «Внутри мыслящих миров», «Культура и взрыв», Лотман много размышлял о феномене культуры и выделял его конструктивные особенности: сложность, изменчивость, непредсказуемость и одновременно устойчивость, наличие адаптационных возможностей, способности к самоорганизации. Противоречивость видится в этом контексте не как порок системы, а как условие ее существования.

Принцип противоречий (когда-то исследованный им на материале «Евгения Онегина»), как и тезис о сложности мира, обращен автором на поведение человека, на проблему выбора, необходимости выработки самостоятельной жизненной позиции, на сочетание в личном поведении свободы и ответственности. Лотман постоянно указывает на необходимость меняться, не теряя при этом внутренней цельности, принимать вызов обстоятельств. Недаром он так любил статую Вольтера работы Гудона и так часто возвращался к ней в своих рассуждениях. Среди любимых цитат ЮрМиха были строки из позднего стихотворения Пушкина «Была пора: наш праздник молодой…»:

Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?

Свойственные массовому сознанию догматизм мышления, неспособность к открытому, непредвзятому восприятию действительности, мифологизацию истории Лотман считал результатом невежества, невоспитанности и внутренней несвободы. В процессе познания он видел способ обретения свободы[338]. Поэтому критическое мышление, присущее науке, как и игру, множественность точек зрения, свойственные искусству, Лотман считал важным условием формирования творческой личности, или же — в его понимании — человеческой личности как таковой.

Вот еще одна из любимых лотмановских цитат:

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,

[338] При разговоре с аудиторией, особенно когда речь шла о моральных темах, Лотмана волновала проблема выбора интонации, заботила сама возможность нарушить чужую свободу мнений и выбора. Но здесь, как и в университете перед студенческой аудиторией, ему помогала органическая привычка ученого — делать основной акцент на самом процессе поиска истины, видеть главный смысл в постановке вопросов, а не в их однозначном решении.

И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

Внимание к внутренне противоречивым явлениям культуры, как и парадоксальность мышления, были в высшей мере характерны для Лотмана-ученого и человека. Так, требуя от науки результатов, достижений, он вместе с тем подчеркивал и то, что в области науки и культуры победа — самое опасное, потому что создает возможность и искушение подавить чужую точку зрения. Опасность видится ему в застое, самоуспокоенности, в той агрессивной пошлости и серости, в которую легко вырождается всякая удовлетворенность достигнутым. Постоянное движение, отсутствие готовых решений, право на ошибку — вот, по Лотману, условия динамики — в жизни отдельного человека и в культуре в целом.

Уже упоминалось, что диалог — еще один конструктивный принцип культуры, по Лотману, — является вместе с тем и основой любой формы общения. Подлинный диалог всегда основан на внимании к другому, на терпимости к чужой точке зрения. Идее толерантности посвящена его статья о Вольтере «Groteski ja filosoofia maailmas» («В мире гротеска и философии»), впервые опубликованная в 1979 г. на эстонском языке [Lotman 1979]. Об этом же — уже от своего лица — он говорит в статье «Мы живем, потому что мы разные»: «Общество человеческое держится на различии между людьми, на том, что никто сам по себе не составляет даже части истины, а все мы вместе составляем путь к ней. <…> Надо научиться ценить в другом человеке другого человека и надо обеспечить ему это право — быть другим» [Лотман 2003: 283].

Самому Лотману — ученому и человеку — был в высшей степени свойствен интерес к другому. Он умел восхищаться теми писателями и деятелями культуры (а в жизни — теми людьми), которые отличались от него самого характером, темпераментом, порой даже взглядами. Это также составляет особенность его личности и его *credo*. Так, весьма знаменательно, что два постоянных полюса притяжения составляли для него Пушкин и Карамзин. Еще задолго до выхода в свет лотмановской биографии Пушкина тем, кто знал Лотмана, была очевидна внутренняя перекличка между его личностью и личностью Пушкина[339] (воспринятой

[339] Так, он неустанно подчеркивал в Пушкине способность к «принятию жизни и в ее трагических проявлениях», «сопричастность здоровью» [Лотман 2003: 227], поскольку сам был человеком активным и ответственным. Лотман не выносил жалоб на обстоятельства, на «трудное время», пессимизм — это он считал духовным иждивенчеством.

в тех пределах, в каких «независимая» реконструкция характера и личности доступна читателю через полтора столетия после смерти поэта). Обращение Лотмана к Пушкину в этой связи казалось вполне закономерным. Однако не менее привлекал его сдержанный, внешне холодный и «размеренный» Карамзин. Конечно, и в Карамзине Лотман выделял в первую очередь то, что было близко ему самому (т.е. одновременно то самое, что роднило и с Пушкиным). С одной стороны, игровое поведение, творческая свобода, а с другой — независимость и честь, преданность своему делу, следование долгу, уважение к человеку. И все же ЮрМих умел восхищаться тем, что было весьма далеко от его собственного характера и стиля жизни: неукоснительное соблюдение Карамзиным режима дня, неизменная чашка вареного риса за обедом — об этих деталях карамзинского быта Лотман говорил с нескрываемым энтузиазмом.

Не менее характерен и эпизод из собственной биографии Лотмана, описанный им в «Не-мемуарах», — выбор научного руководителя в студенческие годы. Ожидалось, что им станет блестящий и популярный профессор Г.А. Гуковский, но студент предпочел сдержанного и неброского Н.И. Мордовченко. Тогда это могло быть воспринято как стремление к «самостоятельности» (так, собственно, Лотман и описывает свой поступок). Однако нам кажется, что в этом выборе проявилась и способность восхищаться другим, и, что еще важнее, этому другому учиться.

В том, как описывал Лотман в «Не-мемуарах» и в «Двойном портрете» [Лотман 2003: 57–59] лекторскую манеру Гуковского, легко было усмотреть сходство с его собственным лекторским стилем. В лучшие минуты это была блестящая вдохновенная импровизация (конечно, как любая импровизация, она была хорошо подготовлена всем предшествующим исследовательским и педагогическим опытом). Про Мордовченко же Лотман рассказывал с неподдельным восхищением, что тот всегда читал только по написанному тексту, а когда однажды забыл дома конспект, то отменил лекцию. Ясно, что ничего более отдаленного от опыта самого Лотмана, у которого никаких конспектов лекций, к сожалению для истории науки, не бывало, представить себе невозможно. Но когда в 1973 г. Лотман публикует статью о своем учителе, он выделяет в творческой манере Мордовченко его метод, «теоретическую доктрину», т.е. как раз то, что не очевидно невнимательному читателю, склонному считать этого ученого чистым эмпириком. Лотман видит метод Мордовченко в опоре «на тщательно организованный материал», в идее «перекрестного допроса документа, поисков необходимого контекста, который раскрыл бы его глубинный смысл», в умении «обнаруживать значение цитаты», расставлять нужные акценты через организацию повествования [Лотман 2003: 70 и 69]. Статья лишний раз демонстрирует, как Лотман умел привлекать внимание к неочевидному и не только видеть «свое» в «другом», но и уважать в «другом» его своеобразие. Именно в этом, по Лотману, таилась одна из возможностей коррекции субъективизма исследователя, о котором говорилось в начале этого параграфа.

Последние годы жизни Лотмана совпали с радикальными переменами в общественной жизни: сначала перестройка и либерализация жизни в Советском Союзе, затем развал СССР и обретение Эстонией независимости. Надо ли говорить о том, как радовался Лотман этим благодетельным переменам? Наконец-то начиналась эпоха свободы, наступление которой так долго ожидалось! Однако эти перемены сопровождались серьезными конфликтами, и были моменты, когда казалось, что общество стоит на пороге катастрофы, гражданской войны, которую надо предотвратить всеми доступными средствами. В июне 1991 г. Лотман решительно осудил события в Карабахе (однозначно выразив свою симпатию Армении), как и кровопролитие в Вильнюсе. В статье «Мир соскальзывает в безумие» он с болью писал о «клиническом безумии ненависти», охватившем целые народы, но одновременно предупреждал об опасности и недопустимости насилия, называя сторонников насилия трусами, которые «мстят за свою трусость и за свои унижения» [Лотман 2003: 283]. Солдат Второй мировой войны, остро чувствовавший свою сопричастность истории, Лотман предостерегал равнодушных к чужой беде интеллигентов, равно как и деятелей, стремящихся к политической выгоде за чужой счет:

> Колокол никогда не звонит по кому-нибудь другому, как бы нам этого ни хотелось, — он всегда звонит по мне. <…> Нет, никто не поможет тому, кто сам себе не помогает. Мюнхенская капитуляция не спасла Запад от Второй мировой войны. Договор Молотова — Риббентропа не спас Россию от самой страшной войны в ее истории [Там же].

Не только чувство личной ответственности за происходящее, но и важнейшая для Лотмана-ученого идея культуры как памяти приобретают в контексте этих рассуждений новый смысл.

Прошло четверть века с того момента, когда Лотман прочитал последний в своей жизни спецкурс в Тартуском университете, продиктовал свою последнюю статью и дал последнее интервью. Изменилась полити-

ческая карта планеты, мир «вкруг человека» продолжает вращаться, да и сам человек не остается недвижим. Однако не только ученые-гуманитарии разных стран продолжают обращаться к научным трудам Лотмана, продолжают диалог с его идеями в области семиотики культуры, истории и теории литературы, кино, театра, но и они, и люди разных возрастов и профессий продолжают нуждаться в Лотмане как в нравственном ориентире. Веря в силу слова, в силу культуры, ЮрМих не уставал видеть в науке, искусстве и других проявлениях человеческого духа ответ на жизненные (не «житейские»!) вопросы. Такого рода вопросы актуальны всегда, хотя и по-разному, с разными акцентами. Не на все из них можно найти ответы, и Лотман — «парадоксов друг» — смело и открыто ставит свою аудиторию перед неразрешимыми проблемами и требует размышления над ними. Хочется закончить его словами, обратив их к его собственному научному и человеческому наследию: «Особенность глубоких вещей <…> в том, что каждый берет от них столько, сколько может вместить. Так было и будет всегда» [Лотман 2003: 227].

5.3. О лотмановской семиосфере

На протяжении всей своей научной деятельности Ю.М. Лотман никогда не оставлял той области, по которой специализировался еще во время учебы в Ленинградском университете, — истории русской литературы. Недаром многие из тех, кто писал о Лотмане (Умберто Эко, Вяч. Вс. Иванов, М.Л. Гаспаров и др.), подчеркивали, что среди широкого диапазона его научных занятий история литературы (и в частности, русской литературы) занимает ведущее место. Дело, конечно, не в количестве работ, посвященных той или иной области, а в той роли, которую эта область сыграла в формировании системы Лотмана, и в частности его теории культуры. Прежде чем перейти к анализу причин, обусловивших эту особенность, нам необходимо будет изложить свое видение системы Лотмана в целом.

Сам Лотман, работая со своими учениками, всегда требовал от них в первую очередь квалификации историка литературы, полагая, что ученому в равной мере необходим как интерес к эмпирическому материалу, эвристические способности, умение видеть явление культуры в контексте эпохи, так и владение техникой анализа текста. Только при наличии этих качеств, по мнению Лотмана, рождается способность к обобщению, к постановке новых проблем — уже не только историко-культурных, но и теоретических. Он не разрешал студентам начинать

путь в науке с теоретических построений, прямо предупреждая, что это приводит к бесплодным спекуляциям, жонглированию терминами и к «провинциализации» науки. Говоря о своем собственном научном пути, Лотман лишь в середине 1980-х гг., уже после статьи «О семиосфере», работая над книгой «Внутри мыслящих миров»[340] и задумывая «Культуру и взрыв», позволил себе высказывания, что «созрел до чего-то итогового» в области теории, хотя его первая семиотическая книга «Лекции по структуральной поэтике» появилась еще в 1964 г.

Хотя теоретические построения в области культурной типологии (М.Л. Гаспаров называет их анализом «безличных механизмов культуры» [Лотман 1996: 424]) являются общепризнанным вкладом Лотмана в семиотику, для самого ученого, по нашим наблюдениям, они были важны как предельное обобщение опыта анализа конкретных явлений культуры. Как нам кажется, эти построения служили одновременно двум целям: 1) чисто научной задаче раскрытия сущности человеческой культуры (отсюда характерное для Лотмана требование описывать феномен культуры как процесс во всем его многообразии и сложности, не жертвуя фактами ради красоты теории) и 2) продолжению самого дела культуры.

Структурализм начала 1960-х, как когда-то русский формализм, рождался как оппозиция методологической аморфности традиционного литературоведения. Пафос новаций был направлен в область метода. Новый метаязык, точные методы, казалось, навсегда отграничат структуральную поэтику от эссеизма, проведут резкую границу между наукой и объектом ее описания — искусством. Лотман достаточно рано понял, что стремление к формализации всех сфер гуманитарного знания, к их описанию с помощью точного, приближенного к математическому метаязыка оказалось одной из иллюзий раннего структурализма. Однако требование точности анализа материала, даже при рефлектируемой невозможности полного ее достижения, оставалось для Лотмана презумпцией труда ученого. Безусловно прав М.Л. Гаспаров, когда настаивает на том, что ценность лотмановского дискурса — в его научности, т.е. в принадлежности сфере науки, а не искусства. Исследователь верно пишет о том, что в XX в. вера в объективную и разумно постигаемую истину — «не аксиома, а жизненная позиция» [Лотман 1996: 425].

---

[340] Эта книга сначала появилась в английском переводе: *Lotman Y.* Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. L.; N. Y., 1990 и только через шесть лет в оригинале: [Лотман 1996] — с предисловием Вяч.Вс. Иванова «Семиосфера и история» и с приложением статьи М.Л. Гаспарова «Лотман и марксизм» и перевода предисловия У. Эко к английскому изданию.

Вместе с тем теперь, когда научный путь Ю.М. Лотмана завершен и мы имеем возможность рассматривать его как целое, выявляется одна яркая и по-своему парадоксальная особенность его наследия. Оставаясь в пределах научного дискурса, оно типологически сближается с искусством — не по методу, не по языку, а по функции в культуре.

В отличие от Ю.Н. Тынянова, Лотман никогда не считал себя писателем, хотя был принят в союзы писателей СССР и Эстонии. Его книги о Пушкине, Карамзине и др. обладают несомненными литературными достоинствами, которых и сам он, при всей присущей ему скромности, не мог отрицать; но умение писать увлекательно Лотман не считал первостепенным. Эта была органическая часть его педагогического дара, артистизма его натуры. Ни в одной из своих работ он не переходит грани между изложением научной гипотезы и вымышленным повествованием, между наукой и искусством.

И все же наследие Лотмана не может быть охарактеризовано словами типа «выдающаяся научная теория» и т.п. Пеэтер Тороп справедливо отметил отсутствие у Лотмана единого метаязыка [Тороп 1995: 232]. М.Б. Плюханова даже полемически заключила, что «вопросы методологии были ему (Лотману. — *Л.К.*) достаточно безразличны» [Плюханова 1995: 180]. Однако интуиция каждого, кто более или менее глубоко знаком с его наследием, подсказывает, что перед нами — живая, не лишенная противоречий, но в чем-то главном единая система. Тот же Тороп подчеркивает, что Лотман «может об одном и том же мыслить бесконечно долго и разнообразно. В этом мыслительном процессе он един, продуктивен и заразителен» [Тороп 1995: 232]. Можно ли подобрать определение системе, о которой идет речь? Вопрос этот пока не получил ответа, хотя ставился неоднократно[341].

Мы полагаем, что наиболее адекватно эту область можно определить как «семиосферу Лотмана». Перефразируя лотмановское определение семиосферы, мы можем сказать, что его наследие — это саморазвивающееся с помощью индивидуальных творческих усилий культурное пространство.

Думается, что перенос термина «семиосфера» на деятельность автора этой концепции — не просто эффектная метафора. Наше предложение основано не только на наших наблюдениях, но и на размышлениях большого числа исследователей, определивших то, что было сделано Лотманом, как культурное строительство[342].

[341] В частности, М.Б. Плюхановой, которая пишет: «Вклад Ю.М. Лотмана в науку можно будет описать лишь тогда, когда получит определение та область умственной деятельности, в которой он работал и которую он в значительной мере создал» [Плюханова 1995: 180].

Конечно, любая творческая деятельность человека по своей природе включена в семиосферу и изоморфна ей. Речь сейчас не об этом. Семиосфера Лотмана во многом определила контекст современной теории культуры. Когда Лотман писал о том, что исследователь-семиотик «преобразует окружающий его мир, высвечивая в нем семиотические структуры» [Лотман 1996: 6], он лишь имел в виду привлечь внимание к методологической трудности, вызываемой влиянием описывающего на объект описания. Но именно преобразующее воздействие системы Лотмана на современное гуманитарное сознание и, главное, — характер этого воздействия оказались наиболее «востребованными» современной наукой (об этом на другом материале мы писали в предыдущем параграфе). Вычленяя и изучая культурные механизмы, лотмановская семиосфера сама становится процессом порождения культуры и вовлекает в этот процесс других.

В концепции семиосферы, и в лотмановской семиосфере в частности, современных читателей привлекает их гуманистическая природа. В основу концепции семиосферы положено убеждение в разумном и творческом характере деятельности человека, его свободном выборе в акте семиозиса. Свобода, многообразие, динамизм — черты, которые Лотман считает фундаментальными характеристиками семиосферы, условиями ее существования. Они же присущи и семиосфере Лотмана, которая не является ни идеологической, ни философской доктриной, ни утопическим или мифологическим учением (хотя, как любая развитая и масштабная концепция, она содержит в себе все названные черты), ни единой методологией (о чем говорилось выше).

Фундаментальным понятием в концепции семиосферы является, как известно, и понятие границы. По Лотману, семиосфера не может охватывать всего бытия, граница — непременное условие ее существования, обеспечивающее ей динамический резерв [Лотман 1996: 175–192; глава «Понятие границы»]. Семиосфера Лотмана здесь не исключение. В последних своих работах Лотман часто вспоминал автокаталитические реакции, где «необходимо, чтобы конечный результат уже присут-

[342] Б.М. Гаспаров отмечал, что «семиотические исследования представляют собой культурный текст» [Гаспаров Б. 1994: 279]. Исследователи из разных стран с редким единодушием пишут о том, что дело Лотмана — дело культуры, противостоящее «нарциссической филологии» деконструктивизма [Гаспаров М. 1995: 191]. Ср. утверждение Ренаты Лахман: «Семиолог <...> берет на себя функции организации и структурирования превалирующего культурного контекста» [Лахман 1995: 209].

ствовал в каком-то количестве в начале реакции» [Лотман 1996: 4]. Это положение можно считать своеобразным критерием того естественного отбора, который осуществляется семиосферой Лотмана. Она притягивает тех исследователей, которые воспринимают ее как мыслящую семиотическую структуру, а не как доктрину (доктрины рано или поздно обречены на догматизацию). Она дает исследователю, если он находится с ней в творческом диалоге, модель бытия в науке, а не конкретные указания, как обращаться с тем или иным материалом. Недаром Лотман так любил приводить слова полководца А.В. Суворова, который отвечал на требование дать инструкции ведения боя: «Вы локальны». Попытки стимулировать популярность лотмановской семиосферы и тем более превратить ее в «единственно верное учение» не смогут быть реализованы, т.к. противоречили бы ее природе.

Итак, семиосфера Лотмана остается в рамках научного дискурса, но преображает мир гуманитарного знания, функционально уподобляясь в этом искусству. Эти особенности лотмановской семиосферы обусловлены, конечно, многими причинами, и одна из главных, на наш взгляд, заключается в том, что она сформировалась на исследовании художественных (в первую очередь — литературных) текстов[343]. Лотман пишет: «Художественный текст есть акт создания мира, такого мира, в котором заложены механизмы непредсказуемого саморазвития» [Лотман 1996: 330]. На заре семиотического этапа в «Лекциях по структуральной поэтике» Лотман подчеркивал, что текст — это структура, в последний период особую актуальность приобрел для него момент того, что это структура открытого типа.

И вот здесь мы хотим вернуться к тому, с чего мы начали свои рассуждения: к историко-литературным штудиям Лотмана.

Умберто Эко в предисловии к английскому изданию «Внутри мыслящих миров» дал резюме итальянской статьи Лотмана 1967 г. «О точных методах в русском литературоведении». Второй тезис резюме гласит: «Чисто историческое изучение литературы неизбежно сводится к изучению истории общественного движения» [Лотман 1996: 409]. Можно было бы добавить, что это — обобщение научного опыта самого Лотмана 1950-х гг. Недаром его первые труды посвящены мировоззрению, общественной позиции писателей, изучению литературной борьбы[344].

[343] Несмотря на внимание к театру, кино, живописи, поэтике бытового поведения, большая часть материала для реконструкции общих закономерностей развития культуры или иллюстрирующих их примеров черпалась все же из художественной литературы. Культурология Лотмана лого- и текстоцентрична, и нам важно подчеркнуть, что его концепция текста исходит из опыта анализа литературных произведений.

Первым крупным художественным феноменом, которому Лотман посвятил большую статью, стал роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Статья была написана в 1957 г., называлась «К эволюции построения характеров в романе “Евгений Онегин”» и была опубликована в 1960 г. [Лотман 1960]. Этому роману Лотман посвятил потом ряд работ и свой знаменитый комментарий (1980) [Лотман 1995а], возвращался к нему и во «Внутри мыслящих миров», и в «Культуре и взрыве» и о «Евгении Онегине» прочитал свой последний спецкурс в Тартуском университете. Полагаем, что именно исследование этого текста в значительной мере определило лотмановскую концепцию художественного текста.

Нам кажется продуктивным обратиться к сопоставлению двух работ Лотмана о пушкинском романе: к уже упомянутой [Лотман 1960] и к «Художественной структуре “Евгения Онегина”» [Лотман 1966], написанной после «Лекций по структуральной поэтике». Последняя статья составила основу изданного в Тарту в 1975 г. спецкурса «Роман в стихах Пушкина “Евгений Онегин”»[345] и позже переизданного под названием «Своеобразие художественного построения “Евгения Онегина”» [Лотман 1988: 30–107] (перекличка заглавия со статьей 1966 г. очевидна). Промежуточным этапом между [Лотман 1960] и [Лотман 1966] будет статья «Идейная структура “Капитанской дочки”» (1962) [Лотман 1995а: 212–227], посвященная другому излюбленному Лотманом пушкинскому тексту; некоторые положения этой статьи заявлены уже в [Лотман 1960]. Предложенное сопоставление поможет, на наш взгляд, наглядно проследить динамику методологического развития Лотмана и одновременно роль историко-литературных изысканий в становлении семиотического подхода к тексту и к культуре в целом.

Сопоставление интересно еще в одном аспекте. Во второй «онегинской» статье Лотман пересматривает концепцию первой и полемизирует с собой, рефлектируя происшедшие методологические сдвиги. Однако

[344] Показательны заглавия его ранних работ: «Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII века: А.Н. Радищев и А.М. Кутузов»; «Был ли *А.Н. Радищев* дворянским революционером?»; «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803)»; «А.С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени» и др. (см.: [Киселева 1993: 441–442].

[345] Книга, изданная в 1975 г. тиражом в 500 экземпляров, переиздана в фундаментальном томе: [Лотман 1995а], куда, к сожалению, не вошли обе анализируемые нами «онегинские» статьи.

заключительная часть второй статьи представляет собой своеобразный перевод важных для автора выводов первой работы на новый метаязык и переключение их в новую систему, что также позволяет проследить характер и существо достигнутых новаций.

[Лотман 1960] — это дебют Лотмана в области пушкинистики. Он воспринимал ее создание как важную веху своего научного пути. Вспоминая, как он пришел за отзывом о рукописи статьи к ведущему пушкинисту Б.В. Томашевскому, Лотман пишет:

> В обширной пушкинистике тех лет практически не было новых синтезирующих работ о «Евгении Онегине». Попытка начинающего автора, зарекомендовавшего себя в печати только несколькими статьями <...> могла восприниматься как дерзость. <...> Томашевский сказал мне, что прочел статью и что ее надо печатать <...> «А когда напечатаем, можно будет и подискутировать». Это было одобрение, хотя и в свойственной ему сдержанной форме, и я вышел совершенно счастливый [Лотман 1995: 57].

Вскоре Томашевский скончался, и дискуссия не состоялась. Лотман заключает: «Когда я много лет спустя вернулся уже под другим углом к той же теме, я многократно пытался представить себе полемические замечания Томашевского» [Там же].

Первая «онегинская» статья продолжает лучшие традиции пушкинистики и одновременно представляет собой полемику со многими авторитетными ее положениями. Не углубляясь в этот аспект, заметим, что полемика разворачивается по одному из наиболее чувствительных вопросов советского литературоведения — проблеме влияния среды на человека как краеугольном камне становления реалистического метода в искусстве. Спорить пришлось с Г.А. Гуковским, что было трудно вдвойне: с одной стороны, речь шла об одном из самых блистательных профессоров Ленинградского филфака времен студенческой юности Лотмана, а с другой — о репрессированном ученом, чье имя стало возможным упоминать в печати лишь в год написания первой «онегинской» статьи. Полемика деликатно обрамляется комплиментами, но проводится последовательно: «…в основе образа в первой главе романа лежит не социальная характеристика среды, а интеллектуально-политическая <...> оценка героя» [Лотман 1960: 140]. Говоря о пятой главе, в противовес идее Гуковского, что «Татьяна сформирована средой, только эта среда — не семья Лариных, а русская деревня, народная поэзия, няня <...> романтические книжки», Лотман резонно замечает: «Совершенно ясно, что ни народная поэзия, ни романтическая литература не подходят под понятие социальной среды». Вывод Лотмана иной: «Представление об общественной среде как об определяющем характер героя факторе в эти годы Пушкину еще чуждо. В основе конфликта лежит не социальное, а психологическое противопоставление образов» [Лотман 1960: 150]. Вопрос о «влиянии среды» Лотман воспринимал очень лично и впоследствии еще неоднократно оспаривал мнение, что человека (равно как и литературного героя) «среда заедает». Учитывая исторический контекст, в котором создавалась статья, полемику придется признать совсем не безобидной. Ведь не далее как в 1961 г. в № 1 журнала «Вопросы литературы» была напечатана дискуссия вокруг романа «Евгений Онегин», прошедшая в ИМЛИ им. А.М. Горького, где почтенные литературоведы всерьез обсуждали, был ли Онегин лишним человеком и верно ли оценивал Белинский Татьяну Ларину.

Основной упор в статье Лотмана делается на исследовании изменений в замысле романа, происходивших от черновиков к окончательной редакции и от первой главы к финалу, в связи с этапами эволюции мировоззрения Пушкина (по принципу: меняется Пушкин — меняются его герои). По сути, перед нами очерк интеллектуальной истории России конца 1810 — начала 1830-х гг., написанный на обширном фактическом материале, богатству которого можно только поражаться. И все же тот вопрос, который Лотман задал самому себе во второй «онегинской» статье: «…почему же в читательском сознании, при столь явном изменении эстетических позиций автора, роман существует как целое?» [Лотман 1966: 6], почти не находит ответа в [Лотман 1960] (нельзя сказать, что он не ставится[346]). Другими словами, углубленно изучая отдельные элементы текста в их развитии и помещая их в большой и разнообразный контекст, Лотман пока еще не рассматривает текст как систему и, соответственно, не анализирует функций элементов внутри этой системы. Установка первой «онегинской» статьи: чтобы понять текст, надо выйти за его пределы, во внеположенные ему системы.

[346] Говоря о формировании историзма и об эволюции Пушкина в период работы над последними главами романа в стихах, Лотман пишет: «Именно на этом этапе “собранье пестрых глав” связалось в единую картину эпохи (вплоть до бытовых описаний первой главы) и порожденного ею героя; роман получил единство» [Лотман 1960: 169]. Таким образом, проблема единства возникает, но получается, что оно достигается Пушкиным лишь в конце романа, когда финал как бы «задним числом» объединяет собой текст в синтетическую «картину эпохи». Во второй «онегинской» статье Лотман уже не был удовлетворен подобным объяснением.

Следующий этап — «Идейная структура “Капитанской дочки”». Заглавие статьи наглядно демонстрирует изменения, происшедшие в подходе Лотмана к тексту и в его историко-литературных изысканиях. В названии присутствуют как бы два начала. Одно связано со словом «идейная» и отсылает к лотмановским исследованиям мировоззрения, общественной позиции писателей, к интеллектуальной истории. Слово «структура» сигнализирует о новом этапе.

Если говорить о существе идей, то в этой статье Лотман реконструировал утопию позднего Пушкина. В интерпретации Лотмана, в середине 1830-х гг. Пушкин пришел к осознанию неизбежности и непримиримости социальных конфликтов в жизни общества, к пониманию трагизма конфронтации между людьми разных социальных групп. Социальной и политической ангажированности Пушкин противопоставил человечность — непоследовательность человеческого сердца, способного к милосердию вопреки доводам разума и классовым интересам.

Выводы, к которым пришел Лотман в этой статье, оказались столь важными, что легли в основу его концепции творчества позднего Пушкина, а также в основу последующих сопоставлений русской и западной моделей мира, религиозного и магического сознаний и т.д., вплоть до размышлений о перспективах развития России после перестройки в «Культуре и взрыве» [Лотман 1992: 258–259]. Отметим, что речь идет и о дорогих для самого Лотмана убеждениях, о краеугольных камнях его семиосферы.

Вместе с тем для нас важно, что идеология позднего Пушкина реконструируется в «Идейной структуре…» из анализа композиции «Капитанской дочки», поэтому и появление в заглавии статьи слова «структура» вполне закономерно и оправдано.

Во второй «онегинской» статье подход к тексту выходит уже на совершенно новую стадию. Анализ «Евгения Онегина» начинается с вычленения структуры романа в стихах, выделения ее конструктивных принципов (в частности, «принципа противоречий»). Поэтому сразу появляется и стиховедческий анализ, совершенно отсутствовавший в первой статье. Во второй работе «Евгений Онегин» рассматривается как система открытого типа, сконструированная Пушкиным так, чтобы имитировать отсутствие структуры. Лотман делает при этом основополагающее наблюдение: для создания у читателя иллюзии простоты автору необходимо максимальное усложнение структуры на всех уровнях.

Во второй «онегинской» статье основным понятием для описания художественной структуры «Евгения Онегина» становится понятие точки зрения. Само это выражение встречается и в первой (см. «авторская точка зрения» — [Лотман 1960: 162]), но там это был лишь описательный оборот, а не термин. Ссылки на труды М.М. Бахтина — Волошинова в [Лотман 1966] еще отсутствуют, они появились при последующих переизданиях. «Структура с рассеянным субъектом», для которой характерна «множественность точек зрения» [Лотман 1966: 8–9], — так теперь описывается поэтика пушкинского романа.

Аналогичную трансформацию претерпевают и имевшиеся в первой статье рассуждения о роли иронии (см. [Лотман 1960: 136, 139], быта [Там же: 168 и др.]), цитации (проблема «чужого слова»). Можно сказать, что в первой статье Лотман местами вплотную подходит к проблеме функции этих структурных элементов в романе, но все же исследование функции появляется лишь во второй статье[347].

Ю.М. Лотман не отказался от своих наблюдений над эволюцией характеров в «Евгении Онегине», сделанных в первой статье, отослав к ней читателей. Более того, он кратко прореферировал их в [Лотман 1966], и при переводе на новую систему объем текста сократился в 10 раз. Однако изложение, выиграв в экономии средств, все-таки проиграло в глубине охвата контекстуального материала. Сам Лотман это чувствовал и со временем нашел этому материалу место в «Комментарии» к роману в стихах [Лотман 1995а: 472–762].

В науке неизбежно распределение аспектов между различными жанрами исследовательских работ. И все-таки опыт пушкиноведческих трудов Лотмана в эпоху раннего структурализма приводит к более существенным выводам. Он наглядно продемонстрировал, что в исследовательском процессе историко-культурные штудии и изучение поэтики неразрывны. В противном случае историко-литературные труды будут сводиться к истории общественного движения, а исследования поэтики не смогут объяснить текста как явления культуры. Как кажется, этот опыт не потерял актуальности и поныне.

«Евгений Онегин» в научной биографии Лотмана стал тем же, чем был в творческой биографии Пушкина. Автор менялся, менял и свой взгляд на произведение Пушкина, но роман остался для Лотмана постоянным полем притяжения. Историко-литературные штудии Лотмана

[347] Показательно, что когда через 30 лет после первой «онегинской» статьи была написана в соавторстве с сыном М.Ю. Лотманом статья «Вокруг X главы “Евгения Онегина”» [Лотман Ю., Лотман М. 1986: 124–151], то многие положения первой статьи, относящиеся к проблематике X главы, были сохранены; имеются и текстуальные совпадения (особенно важен анализ воспоминаний М.В. Юзефовича: [Лотман 1960: 157–158]). Но в новом контексте они трансформируются, как и в случае с перекличкой идей между [Лотман 1960] и [Лотман 1966].

трансформировались, синтезировав историко-литературный и семиотический подходы. Можно сказать, что историко-литературные работы Лотмана начиная с середины 1960-х гг. составляют семиотическую историю литературы, которая перерастает в историю культуры. Однако и концепция семиосферы, и сама семиосфера Лотмана наверняка получили бы иной облик, если бы в начале пути не стояло исследование пушкинского романа в стихах. В перспективе дальнейшего исследования наследия Лотмана будет интересно более точно проследить, в чем именно организация его семиосферы сближается с конструктивными принципами «Евгения Онегина» — во всяком случае, того «Онегина», которого мы знаем по интерпретации Лотмана.

Приложение

Спецкурсы, прочитанные Ю.М. Лотманом в Тартуском университете с 1968 г.

1968/69 и 1969/70 уч. гг.: Творчество Гоголя;

1970/71 уч. г.: Творчество Карамзина;

1971/72 уч. г.: Культура и быт александровской эпохи;

1972/73 уч. г.: Структура сюжета;

1973/74 и 1974/75 уч. гг.: Декабристы и русская литература и культура;

1973/74 уч. г., для IV курса: Творчество Пушкина;

1975/76 уч. г.: «Евгений Онегин». Роман в стихах;

1976/77 уч. г.: Проблема творческой личности и самосознания (Пушкин);

1977/78 уч. г.: Быт и культура в России пушкинской эпохи (облик каждодневной жизни);

1978/79 уч. г.: Модели русской культуры;

1979/80 уч. г.: Творчество Карамзина. Для III курса: Анализ текста (творчество Лермонтова);

1980/81 уч. г.: Русская философская лирика (Творчество Баратынского; творчество Тютчева);

1981/82 уч. г.: Литературная жизнь XVIII — начала XIX в. (реальное функционирование литературы);

1982/83 уч. г.: Теория прозы;

1983/84 уч. г.: «Письма русского путешественника» Карамзина;

1984/85 уч. г.: Творчество Гоголя;

1985/86 уч. г.: Русская литература в контексте мировой культуры (XVIII — первая половина XIX в.): проблема «Россия и Запад»;

1986/87 уч. г.: Поэмы Пушкина;

1987/88 уч. г.: Введение в семиотику культуры;

1988/89 уч. г., 1-й семестр: Эпоха декабристов (1814–1826);

1989/90 уч. г., 2-й семестр: Творчество Пушкина 1830-х гг.;

1991/92 уч. г., осень: [Взрывные процессы в культуре]; весна: Незавершенные замыслы Пушкина;

1992/93 уч. г.: «Евгений Онегин».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Завершая книгу об эстонско-русском культурном пространстве, самое время задаться вопросом: в каком смысле можно говорить о его реальности или следует считать это словосочетание всего лишь эффектной метафорой? Ответ будет двойственным. Как и всякое культурное пространство, оно существует в особой, метафизической реальности. Если географическое пространство можно очертить на карте, объехать на каком-нибудь транспортном средстве или даже обойти пешком, то для культурного пространства такой «буквальный», материальный критерий не подходит. К нему можно с успехом применить определение «воображаемое сообщество», которое Б. Андерсон дал нации, — оно конструируется коллективным культурным сознанием и является продуктом культурного строительства. Процесс конструирования осуществляется в текстах, главным образом — вербальных, как устных, так и письменных, и к самому пространству в целом можно применить семиотическое понятие текста. Таким образом, эстонско-русское культурное пространство существует по законам текста, имеет свою поэтику и может исследоваться законами риторики, а его реконструкция и описание осуществляется учеными, изучающими этот феномен. Границы этого текста не совпадают с географическими, государственными, национальными и языковыми границами Эстонии, хотя наиболее отчетливая географически-пространственная прикрепленность связана именно с ней, но процесс конструирования может осуществляться и из-за ее пределов, и даже людьми, биографически с ней не связанными. Поэтому это пространство реально, как реальны нации или, например, фольклор; оно имеет своих носителей, но принадлежность к нему является актом культурного выбора. Оно имеет свою историю, его границы подвижны; в этом коллективном создании можно выделить индивидуальные голоса, более или менее значимые. Ведущая роль, как мы полагаем, принадлежит здесь литераторам, традиционным лидерам нации, особенно в период национального строительства.

В этой книге мы анализировали эстонско-русское культурное пространство на материале текстов самых разных жанров — романов, драм, стихотворений, журнальной и газетной публицистики, научных и

научно-популярных сочинений, травелогов, путеводителей, писем, мемуаров. Их авторами являлись люди разных национальностей — эстонцы, русские, прибалтийские немцы, латыши, поляки, евреи, жившие в XIX и в XX вв. и говорившие на разных языках. Этот разнородный материал объединяет общая тема — эстонская, т.е. связанная с Эстонией, ее историей и культурой в тот период, когда она входила в Российскую империю (отчасти мы коснулись и советского, и постсоветского времени). Основная проблема — взаимодействие культур, главным образом, эстонской и русской, но затронута и прибалтийско-немецкая составляющая.

Методологической основой книги являются труды школы Лотмана — семиотическая концепция текста, культурного пространства, категории «границы», «своего» и «чужого», лотмановская концепция семиотики бытового поведения. Кроме того, в исследовании использован современный инструментарий имперских штудий, «идеологической географии», ментальной картографии и национального дискурса, не говоря уже о методе историко-контекстуального анализа текста.

Затронутые нами аспекты и конкретные сюжеты разнообразны. Мы выбирали малоизвестные, а иногда и совсем не исследовавшиеся эпизоды либо давали известным эпизодам и текстам новую интерпретацию. Во-первых, речь шла об истории «эстонского дела» — борьбы за становление эстонской нации — и его связи с политикой властей Российской империи, с позицией русских общественных деятелей. Анализировались проекты, направленные на решение национального вопроса в Российской империи, авторами которых были как эстонские, латышские, так и российские деятели. Во-вторых, реконструировался образ Эстонии и эстонцев и эволюция этого образа по путевым запискам русских путешественников, русским и иностранным путеводителям XIX — начала XX в., по русским мемуарам и художественным текстам. Тем самым мы проследили процесс складывания культурных стереотипов (как положительных, так и отрицательных), формировавшихся в российских общественных и литературных кругах. В-третьих, мы обратились к эстонской литературе и рассмотрели, как в ряде произведений эстонских писателей XIX и XX вв. отражаются Россия, ее история и культура, а также образы самих эстонцев и прибалтийских немцев. В-четвертых, на примере прибалтийского немца, ставшего русским писателем и национальным идеологом, мы остановились на случае сознательной смены культурной идентичности. Здесь нас интересовала также попытка сломать культурный стереотип и ввести в русскую литературу положительный образ остзейца, наперекор тогдашней лите-

ратурной традиции. В-пятых, мы рассмотрели научную и жизненную позицию двух выдающихся профессоров Тартуского университета по вопросам межъязыковых и межкультурных контактов. Их пример позволил подчеркнуть то, сколь важна роль харизматической личности, способной идти вопреки обстоятельствам и воздействовать на окружающую жизнь.

В заключение я считаю нужным суммировать и те исследовательские трудности, с которыми столкнулась, обратившись к изучению эстонско-русского культурного пространства. Они требуют осмысления, поскольку связаны со специфической природой того двух-, а точнее многостороннего комплексного объекта, каковым является это пространство. Если говорить об изучения всего объекта в его целостности, то главная трудность заключается в практической неисчерпаемости фактов и явлений, которые требуют выявления и учета. Сколько бы ни было собрано материала, он всегда будет неполон, и нужно отдавать себе отчет в том, что обобщения неизбежно делаются на основе недостаточной информации, неполного охвата фактов, и слишком широкие выводы будут явно страдать упрощением. Задача создания целостной и непротиворечивой картины соблазнительна, но на данном этапе развития этой сравнительно молодой интердисциплинарной научной области малопродуктивна. Необходимо пройти еще большой путь по сбору фактического материала, но главное — перейти от его регистрации к интерпретации, привлекать новые методы для контекстуального осмысления прагматики и поэтики тех или иных текстов. Отчасти движение в этом направлении сделано в этой книге. На данном этапе, с нашей точки зрения, следует идти по пути изучения отдельных составляющих эстонско-русского культурного пространства в их исторической динамике. С этим связана проблема исследовательского выбора, который всегда обусловлен и научными интересами, и личными предпочтениями ученого. Поэтому я четко очертила границы своего исследования и отказались от широких обобщений.

Вторая трудность заключается в политизированности темы. Какой бы ее аспект мы ни затронули, он будет таить в себе конфликт интересов. Проблема межкультурных контактов неразрывно связана с проблемами межнациональных отношений, национальных стереотипов и исторических травм. Русские как титульная нация Российской империи ассоциировались другими народами с имперской, а потом с советской политикой, и политический и социальный конфликты перерастали в национальный и культурный. Прибалтийские немцы в течение столетий являлись фактическими хозяевами Остзейского края, угнетавшими коренные народы и свысока относившимися и к ним, и к русским, которых считали менее культурными и недостаточно «европейскими»; взаимоотношения эстонцев и латышей всегда осложнялись традиционным соперничеством между соседями. Легче начать перечислять эти конфликтные зоны, чем завершить этот перечень. Ученый должен вооружиться стереоскопическим исследовательским зрением и тщательно рефлектировать собственную позицию, чтобы избежать «партийного» подхода. Насколько это удалось автору данной книги — судить читателям. Я не скрывала своей принадлежности к эстонско-русскому культурному пространству и даже высказала в начале книги убеждение, что нахождение внутри такого объекта дает некоторой приоритет для его понимания. Преимущество объясняется тем, что эта принадлежность, как уже было сказано, не предопределяется автоматически, а является актом сознательного выбора и предполагает выстраивание двойной языковой и культурной идентичности. Это и дает как минимум двойную оптику при взгляде и на историю, и на культуру, и на окружающую жизнь.

Думается, что у изучения эстонско-русского культурного пространства имеются как серьезные научные перспективы, так и важное общественное значение. Сейчас его исследованием серьезно занимаются ученые разных специальностей в Эстонии, России и в других странах Европы и Америки. Это само по себе хороший показатель, и при условии использования научного дискурса и отказа от политической ангажированности является свидетельством перехода на новую фазу общественного развития.

Литература

Адресная книга 1867–68: Всеобщая адресная книга С.-Петербурга. СПб., 1867–68.

Александров Н. 1894: *Александров Н.* И.П. Келер-Вилианди // Всемирная иллюстрация. 1894. Т. LI. № 1325.

Александров Ю. 1985: *Александров Ю.Н.* Москва: Диалог путеводителей. М., 1985.

Александров Ю. 1985а: *Александров Ю.Н.* Справочная литература как исторический источник (на примере г. Москвы 1917–1936): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1985.

Андерсон 2002: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2002.

Андреева 2002: *Андреева Н.С.* «Остзейский вопрос» и Первая мировая война // Россия и Балтия: эпоха перемен (1914–1924). М., 2002.

Антология 2001: Эстония в произведениях русских писателей XVIII — начала XX века: Антология / сост., ред., автор предисл. и коммент. С.Г. Исаков. Таллин, 2001.

Армянский 1916: Сборник армянской литературы / под ред. В. Брюсова, М. Горького. Пг., 1916.

Арнольд 1892: Воспоминания Юрия Арнольда. М., 1892. Вып. 1.

Арш 1965: *Арш Г.Л.* Тайное общество «Филики Этерия»: Из истории борьбы Греции за свержение османского ига. М., 1965.

Арш 1970: *Арш Г.Л.* Этеристское движение в России: Освободительная борьба греческого народа в начале XIX в. и русско-греческие связи. М., 1970.

Арш 1976: *Арш Г.Л.* И. Каподистрия и греческое национально-освободительное движение 1809–1822 гг. М., 1976.

Ауст 2010: *Ауст М.* Россия и Великобритания: внешняя политика и образы империи от Крымской войны до Первой мировой войны // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). М., 2010. С. 244–265.

Бестужев 1958: *Бестужев А.А.* Сочинения: в 2 т. М., 1958. Т. 1.

Биография Арх.: Биография профессора г. Келлера // РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 417–491 об.

Биография 2012: Биография профессора г. Келера / публ. и коммент. Л. Киселевой // Acta Slavica Estonica II. Works on Russian and Slavic Philology. Literary Criticism, VIII. Jaan Kross and Russian Culture. Tartu, 2012. P. 180–227.

Б.К. 1819: [Б.К.] О древних эстонцах: Из записок молодого путешественника // Сын отечества. 1819. Ч. 53. № 15 и 17.

Бодуэн 1898: *Бодуэн де Куртене И.* Цензурные мелочи. I. Князь Бисмарк и гонения «Славян». Краков: [Издание автора], 1898.

Бодуэн 1903: *Бодуэн де Куртене И.* Автобиография // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802–1902) / под ред. Г.В. Левицкого. Юрьев, 1903. Т. 2.

Бодуэн 1906а: *Бодуэн де Куртене И.* Проект основных положений для решения польского вопроса. СПб., 1906.

Бодуэн 1906б: *Бодуэн де Куртене И.А.* Значение языка как предмета изучения // Русская школа. 1906. № 7/8. Июль-август. С. 69–79.

Бодуэн 1913: *Бодуэн де Куртене И.А.* Национальный и территориальный признак в автономии. СПб., 1913.

Бодуэн 1916: *Бодуэн де Куртене И.* Дерпт — Юрьев: (К вопросу о равноправии) // Эсты и латыши, их история и быт: Сб. статей / под ред. проф. М.А. Рейснера. М., 1916.

Бодуэн 1969: И.А. Бодуэн де Куртене: (к 30-летию со дня смерти). М., 1960.

Бодуэн 2000: И.А. Бодуэн де Куртене: Ученый. Учитель. Личность. Красноярск, 2000.

Бок 1951: Записка Т.Е. Бока / публ. А.В. Предтеченского // Декабристы и их время: Мат-лы и сообщения. М.; Л., 1951.

Бородкин 1904: *Бородкин М.М.* Война 1854–1855 гг. на финском побережье: Исторический очерк. СПб., 1904.

Брокгауз — Ефрон 1904: Энциклопедический словарь. СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1904. Т. XLI.

Брюггеманн 2002: *Брюггеманн К.* От сословного общества к национальной независимости (1820–1920) // Страны Балтии и Россия: общества и государства. М., 2002.

Брюггеманн 2006: *Брюггеманн К.* Эстонцы в русских этнографических описаниях конца XIX века // Acta et commentationes collegii Narvoensis VI. Narva, 2006.

Булгарин 1833: *Булгарин Ф.В.* Несколько слов в защиту чуди белоглазой // Северная пчела. 1833. 22 авг. № 188. С. 749–751.

Булгарин 1836: *Булгарин Ф.В.* Прогулка по Ливонии // Сочинения Фаддея Булгарина. СПб., 1836. Ч. 3.

Булгарин 1839: *Булгарин Ф.В.* Летняя прогулка по Финляндии и Швеции, в 1838 году. СПб., 1839. Ч. 1.

Бурнашев 1839: <*Бурнашев В.П.*> Прогулка с детьми по России / Соч. В. Бурьянова. 2-е изд. СПб., 1839. Ч. 2.

Вацуро 2004: *Вацуро В.Э.* Розен Егор Федорович // Вацуро В.Э. Избранные труды. М., 2004.

Веймарн 1864: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Лифляндская губерния / сост. Ф. Веймарн. СПб., 1864.

Вираб 1916: *Вираб Г.И.* Прибалтийские немцы. Их отношение к русской государственности и к коренному населению края в прошлом и настоящем. Юрьев, 1916.

Видок 1998: Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение / изд. подгот. А.И. Рейтблат. М., 1998.

Виноградов 1907: *Виноградов А.А.* Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям. Вильна, 1907.

Вишленкова 2011: *Вишленкова Е.* Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011.

Владыкин 1874: *Владыкин М.* Путеводитель и собеседник по Кавказу. М., 1874.

Вульпиус 2010: *Вульпиус Р.* Вестернизация России и формирование российской цивилизаторской миссии в XVIII веке // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). М., 2010. С. 14–41.

Вышгород 1998: Вышгород (Таллин). 1998. № 3.

Гаспаров Б. 1994: *Гаспаров Б.М.* Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен // Ю.М. Лотман и Тартуско-Московская семиотическая школа. М., 1994.

Гаспаров М. 1995: *Гаспаров М.Л.* «Анализ поэтического теста» Ю.М. Лотмана: 1960–1970-е годы // Лотмановский сборник [Вып. 1]. М., 1995.

Гоголь 1966: *Гоголь Н.В.* Рим // Собр. соч.: в 7 т. М., 1966. Т. 3.

Голубева 1966: *Голубева О.Д.* Книгоиздательство «Парус» (1915–1918) // Книга: Исследования и материалы. М., 1966. Сб. 12.

Давыдов 1993: *Давыдов А.Ю.* О путеводителях как источнике по истории культурной жизни Ленинграда // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 1993. Вып. 24.

200 лет 2003: 200 лет русско-славянской филологии в Тарту // Slavica Tartuensia, V. Tartu, 2003.

Дело Руссова: Дело о службе хранителя Ф.К. Руссова // Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 12. Д. 57.

Дело о назначении Розена: Дело о назначении на должность цензора Петербургского цензурного комитета барона Е.Ф. Розена // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 4878.

Джулиани 2009: *Джулиани Р.* «Прогулки по Риму» Гоголя и Жуковского // Джулиани Р. Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай: Мат-лы и исследования. М., 2009.

Докладная записка 1860: Докладная записка от вдовы ротмистра баронессы Надежды Розен 4 марта 1860 года // РГИА. Ф. 472. Оп. 32. Ед. хр. 1587.

Дмитриева 2013: *Дмитриева Е.Е.* Французский либертинаж и его русские отголоски // Мишель Д. Искусство жить либертена: Французская либертинская проза XVIII века. М., 2013.

Дризен 1917: *Дризен Н.В., барон.* Драматическая цензура двух эпох: 1825–1881. Пг., 1917.

Дьяков 1967: *Дьяков В.А.* Деятели русского и польского освободительного движения в царской армии 1856–1865 гг.: (Биобиблиографический словарь). М., 1967.

Егоров 1994: *Егоров Б.Ф.* У истоков Тартуской школы: воспоминания о 1950-х годах // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 78–85.

Егоров 1999: *Егоров Б.Ф.* Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. М., 1999.

Живописная 1881–1901: Живописная Россия — отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: в 19 кн. СПб., 1881–1901.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.

Западные окраины 2006: Западные окраины Российской империи. М., 2006.

Зеленин 1901: *Зеленин Д.К.* Новые веяния в народной поэзии. М., 1901.

Зеленин 1903: *Зеленин Д.К.* Песни деревенской молодежи. Вятка, 1903.

Зеленин 1904: *Зеленин Д.К.* Путеводитель и справочная книжка по Юрьеву (Дерпту) и Юрьевскому университету: С 10 иллюстрациями, планом города и картой окрестностей Юрьева. Юрьев, 1904.

Зеленин 1904а: *Зеленин Д.К.* Кама и Вятка: Путеводитель и этнографическое описание Прикамского края. Юрьев, 1904.

Зеленин 1905: *Зеленин Д.К.* Дополнение к Путеводителю и справочной книжке по Юрьеву и Юрьевскому университету (Юрьев 1904). Юрьев, 1905.

Зеленин 1909: [*Зеленин Д.*] Путеводитель и справочная книжка по г. Юрьеву и Юрьевскому университету. 2-е изд. Юрьев, 1909.

Иванов В.В. 1994: *Иванов Вяч.Вс.* Из следующего века // Ю.М. Лотман и Тартуско-Московская семиотическая школа. М., 1994.

Иванова 2007: *Иванова Л.А.* Материалы к биографии Федора Карловича Руссова — первого ученого хранителя Музея антропологии и этнографии // Сборник Музея антропологии и этнографии (МАЭ). СПб., 2007. Т. LIII. С. 11–33.

Ильинская 2010: *Ильинская С.Б.* Русские поэты о греческой революции 1821 года // Эллада — Россия. URL: http://www.ellada-russia.ru/magazine/45/article/157 (дата обращения 15 сентября 2018 г.).

Исаков 1960: *Исаков С.Г.* О ливонской теме в русской литературе 1820–1830-х годов // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 98. Тарту, 1960. (Тр. по рус. и славян. филолог., III).

Исаков 1961: *Исаков С.Г.* Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1961. Вып. 107.

Исаков 1968: *Исаков С.Г.* О попытке М. Горького и В. Брюсова издать в 1916–1917 гг. сборник эстонской литературы // Труды по русской и славянской филологии. XIII: Горьковский сборник: К столетию со дня рождения (1868–1968). Тарту, 1968. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 217).

Исаков 1971: *Исаков С.Г.* Журналы «Esthona» (1828–1830) и «Der Refraktor» (1836–1837) как пропагандисты русской литературы // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 266. Тарту, 1971. (Тр. по рус. и славян. филолог., XVIII).

Исаков 2008: *Исаков С.Г.* Заметки о путеводителях по Эстонии XIX — начала XX в. // Путеводитель как семиотический объект. Тарту, 2008.

Казекамп 2014: *Казекамп А.* История Балтийских государств. Тарту, 2014.

Карамзин 1984: *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л., 1984.

Карамзин 1989: *Карамзин Н.М.* История государства Российского. М., 1989. Кн. 3. (Т. IX, гл. III).

Карамзин 1991: *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991.

Карьяхярм 2002: *Карьяхярм Т.* Попытки реформ местного строя в Прибалтике в 1914–1916 гг. // Россия и Балтия: эпоха перемен (1914–1924). М., 2002.

Кашин 1858: *Кашин А.* Остров Эзель и аренсбургские морские купания. СПб., 1858.

Киверик 2007: *Киверик И.* Стереотипы и представления остзейских немцев о русских и России в период государственных реформ: от Александра II до Первой мировой войны // Studia Humaniora et Paedagogica Collegii Narvoensis, II. Narva, 2007. (Ethnic Images and Stereotypes — Where is the Border? Russian-Baltic Cross-Cultural Relations).

Ким Су Кван 2003: *Ким Су Кван.* Основные аспекты творческой эволюции Ю.М. Лотмана: Иконичность — пространственность — мифологичность — личностность. М., 2003.

Киселева 1993: *Киселева Л.Н.* Список трудов Ю.М. Лотмана // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Таллин, 1993. Т. 3. С. 441–482.

Киселева 1997: *Киселева Л.Н.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997.

Киселева 1998: *Киселева Л.Н.* Парадоксы одной биографии. О Татьяне Филаретовне Мурниковой // Вышгород. 1998. № 3. С. 115–117.

Киселева 2006: *Киселева Л.Н.* История Ливонии под пером Ф.В. Булгарина // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи. Тарту, 2006. Ч. 1. С. 114–127. (Humaniora: Litterae Russicae.)

Киселева 2014: Язык сцены и язык драмы в имперском идеологичском строительстве 1830-х гг. // Лотмановский сборник, Вып. 4. М., 2014. С. 279–297.

Киселева, Степанищева 2003: *Киселева Л.Н., Степанищева Т.Н.* В.А. Жуковский — почетный доктор Тартуского университета // Вышгород. 2003. № 3. С. 48–56.

Колоницкий 2010: *Колоницкий Б.* «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010.

Крейцвальд 1953: Ф.Р. Крейцвальд в портретах и иллюстрациях. Таллин, 1953.

Кречетов 1903: *Кречетов М.* Столетие Дерптско-Юрьевского университета // Русская мысль. 903. Кн. 3.

Кросс 1987: *Кросс Яан*. Императорский безумец: Роман. Таллин, 1987. 2-е изд.

Кучерская 2005: *Кучерская М.* Константин Павлович. М., 2005.

Кукушкина 2002: *Кукушкина И.А.* Небольшевистская Россия и проблема независимости прибалтийских государств (1918–1920 гг.) // Россия и Балтия: эпоха перемен (1914–1924). М., 2002. С. 159–185.

Кюстин 2008: *Кюстин Астольф, де.* Россия в 1839 году. СПб., 2008. 3-е изд., испр. и доп.

Латышский 1916: Сборник латышской литературы / под ред. В. Брюсова, М. Горького. Пг., 1916.

Лахман 1995: *Лахман Р.* Ценностные аспекты семиотики культуры / семиотики текста Юрия Лотмана // Лотмановский сборник [Вып. 1]. М., 1995.

Лескинен 2004: *Лескинен М.В.* Образ финна в российских популярных этнографических очерках последней трети XIX в. // Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Новгород, 2004.

ЛН 1953: Литературное наследство. М., 1953. Т. 61.

Лотман 1958: *Лотман Ю.М.* Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1958. Вып. 63.

Лотман 1960: *Лотман Ю.М.* К эволюции построения характеров в романе «Евгений Онегин» // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 131–173.

Лотман 1962: *Лотман Ю.М.* Идейная структура «Капитанской дочки» // Пушкинский сборник. Псков, 1962.

Лотман 1966: *Лотман Ю.М.* Художественная структура «Евгения Онегина» // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1966. Вып. 184.

Лотман 1975: *Лотман Ю.М.* Декабрист в повседневной жизни: (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 25–75.

Лотман 1975а: *Лотман Ю.М.* Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс: Вводные лекции в изучение текста. Тарту, 1975.

Лотман 1987: *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1987.

Лотман 1988: *Лотман Ю.М.* В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.

Лотман 1992: *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М., 1992.

Лотман 1996: *Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996.

Лотман 1997: *Лотман Ю.М.* Письма: 1940–1993 / сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Б.Ф. Егорова. М., 1997.

Лотман 2003: *Лотман Ю.М.* Воспитание души: Воспоминания. Беседы. Интервью; В мире пушкинской поэзии (сценарий); Беседы о русской культуре: телевизионные лекции. СПб., 2003.

Лотман Ю., Лотман М. 1986: *Лотман Ю.М., Лотман М.Ю.* Вокруг X главы «Евгения Онегина» // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986. Т. 12.

Лотман, Невердинова 1982: *Лотман Ю.М.*, *Невердинова В.Н.* Учебник-хрестоматия по литературному чтению для IX класса. Таллин, 1982.

Лотман, Невердинова 1984: *Лотман Ю.М., Невердинова В.Н.* Книга для учителя: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии по литературному чтению для IX класса. Таллин, 1984.

Лотман, Успенский 2008: *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Переписка. М., 2008.

Леонтьев 1960: *Леонтьев А.А.* Творческий путь и основные черты лингвистической концепции И.А. Бодуэна де Куртене // И.А. Бодуэн де Куртене: (к 30-летию со дня смерти). М., 1960.

Лямина, Самовер 1999: *Лямина Е.Э., Самовер Н.В.* «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского: Опыт биографии человека 1830-х годов. М., 1999.

Лыжин 1859: *Лыжин Н.* Знакомство Жуковского со взглядами романтической школы // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым. М., 1859. Т. 1. Отд. 1.

Малых и др. 1988: *Малых А., Король Т., Нирша А.* Музей «Филики Этерия»: Путеводитель. Одесса, 1988.

Марцелла 1826: *Марцелла С.Я.* Оправдание греков … в пользу сирот и вдов греков… СПб., 1826.

Меркель 1870: Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия. Дополнение к народоведению и человекознанию. Сочинение Г. Меркеля / пер. А.Н. Шемякина. Изд. Имп. Об-ва истории и Древн. росс. при Моск. ун-те. М., 1870.

Миллер 2008: *Миллер А.* Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2008.

Миллер 2010: *Миллер А.* Приобретение необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия *нация* в Россию (начало XVIII — середина XIX в.) // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). М., 2010. С. 42–66.

Мирабо 2013: *Рикети Оноре Габриель, граф де Мирабо*. Мое обращение [Благородный либертен] // Делон М. Искусство жить либертена: Французская либертинская проза XVIII века. М., 2013.

Михайлова 2008: *Михайлова Ю.Л.* Крестьянский вопрос в Прибалтийском крае на страницах российской прессы и публицистики в 40–70-е годы XIX века: Автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 2008.

Михневич 1887: *Михневич Вл.* Петербургское лето. Очерки летнего сезона. Летние сказки. Дачный роман. СПб., 1887. С. 14.

Мойер 1904: Письма М.А. Мойер // Уткинский сборник. I: Письма В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой / под ред. А.Е. Грузинского. Изд. М.В. Беэр. М., 1904.

Москва 2006: От Пречистенских до Арбатских ворот: Москва, которой нет: Путеводитель. М., 2006.

Московское 1909: Московское эстонское общество. Устав Московского эстонского общества. М., 1909.

МТ — Московский телеграф.

Некрасов 1981: *Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. Л., 1981. Т. 2.

Острой 1993: *Острой О.С.* С чего начиналась петербургиана: Описание путеводителей по городу с момента их возникновения до середины XIX столетия // Невский архив: Историко-краеведч. сб. СПб., 1993. Вып. 3.

Отечество 1916: Отечество. Пути и достижения национальных литератур России. Национальный вопрос / под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртене, проф. Н.А. Гредескула, Б.А. Гуревича, кн. П.Д. Долгорукова, проф. В.Н. Сперанского. СПб., 1916. Т. 1.

Отзывы 1903: Путеводители Григория Москвича: Отзывы печати. Одесса, 1903.

Очерк 1876: Очерк фамильной истории баронов фон Розен из родовых домов Рооп, Гохрозен, Шёнангрен или Розенгоф, Райскум, Моян и пр.: 992–1876 / сост. барон Андрей Евг. Розен. СПб., 1876.

Памяти Лотмана 1994: Памяти Юрия Михайловича Лотмана // Ю.М. Лотман и Тартуско-Московская семиотическая школа. М., 1994.

Петри 1910: *Петри Е.Л.* Федор Карлович Руссов*:* Первый ученый хранитель Музея антропологии и этнографии при Императорской Академии наук. СПб., 1911. = Сборник Музея антропологии и этнографии (МАЭ). СПб., 1910. [Т. 1]. Вып. 10.

Пиксанов 1946: *Пиксанов Н.К.* Горький и национальные литературы. М., 1946.

Пильд 2008: *Пильд Л.Л.* Путеводители по Эстонии на русском и эстонском языках (1940–1970-е гг.): композиция и принципы отбора материала // Путеводитель как семиотический объект. Тарту, 2008.

Пильд, Тоомель 2010: *Пильд Л., Тоомель К.* Эссе А.Х. Таммсааре о Достоевском в контексте публицистики писателя 1910–1920-х годов // Блоковский сборник XVIII: Эстония и Россия в XX веке: диалог культур. Тарту, 2010.

Пирогов 1962: *Пирогов Н.И.* Вопросы жизни: Дневник старого врача // Пирогов Н.И. Собр. соч.: в 8 т. М., 1962. Т. 8.

Письма 1972: Kiri Pariisist, kaks — Roomast: J. Köleri õpiaastaist / publ. M. Lepik // Tartu Riikliku Ülikooli Kunstimuuseumi almanahh, III. Tartu, 1972. Lk. 25–35.

Плюханова 1995: *Плюханова М.Б.* Исследования Ю.М. Лотмана по древнерусской литературе и XVIII веку // Лотмановский сборник. [Вып. 1]. М., 1995.

Поездка 1839: [*Джунковский С.С.*] Поездка в Ревель и Гельсингфорс в 1839 году: С примеч. для посещающих эти города и с ист. обозрением древностей Ревеля. СПб., 1840.

Полный свод 1911: Полный свод законов Российской империи: в 2 кн. СПб., 1911. Кн. 1: Свод основных государственных законов.

Пономарева 1998: *Пономарева Г.М.* Перед оттепелью: История кафедры русской литературы конца 1940-х — начала 1950-х годов // Вышгород. 1998. № 3.

Пономарева 1999: Список дипломных работ по кафедре русской литературы: 1949–1998 / сост. Г. Пономарева // Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение III: К 40-летию «тартуских изданий». Тарту, 1999.

Пономарева 2014: *Пономарева Г.М.* Ю.М. Лотман как заведующий кафедрой и преподаватель Тартуского учительского института // New Studies in Modern Russian Literature and Culture: Essays in Honor of S.J. Rabinovitz. Stanford, 2014. P. 180–195. (Stanford Slavic Studies, 40).

Попов 1886: Путеводитель по России. Север: С.-Петербург — С.-Петербургская губ. — Эстляндская губ. — Финляндия. — Олонецкая губ. — Архангельская губ. / под ред. Р.С. Попова. СПб., 1886. [Вып. 1].

Попов 1888: Путеводитель по России / под ред. Р. С. Попова. СПб., 1888. Вып. 2: Запад. Прибалтийские губернии. — Северо-западные губернии. — Привислинские губернии (царство Польское): С планами Варшавы, Вильны и Риги.

Поэты 1898: Поэты Финляндии и Эстляндии / под ред. Н. Новича [Бахтин Н.Н]. СПб., 1898. Серия: Маленькая антология. № 13.

Предтеченкий 1953: *Предтеченский А.В.* Современник декабристов — Т.Г. Бок. Таллин, 1953.

Пресняков 1990: *Пресняков А.Е.* Российские самодержцы. М., 1990.

Прибалтийский край 1870: Прибалтийский край: Исторический очерк и описание губерний Эстляндской, Лифляндской и Курляндской. СПб., 1870.

Пуквиль 1824: Падение Хиоса: (Из Пукевиля). СПб., 1824. [Перепечатка из «Сына отечества»].

Пуллат, Тарвел 1980: *Пуллат Р., Тарвел Э.* История города Тарту. Таллин, 1980.

Путеводитель 2008: Путеводитель как семиотический объект. Тарту, 2008.

Путеводители Григория Москвича 1903: Путеводители Григория Москвича: Отзывы печати. Одесса, 1903.

Пушкин 1977–1979: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1977–1979.

Пушкин 2008: Пушкин в прижизненной критике: 1834–1837. СПб., 2008.

Риттих 1875: *Риттих А.Ф.* Материалы для этнографии России: Прибалтийский край. СПб., 1875.

Розанов 1839: [*Розанов Н.И.*] От издателя // Рейтлингер Н. Путеводитель по Ревелю и его окрестностям / изд. с франц. с доп. и изменен. Н. Р[озанов]. СПб., 1839.

Розен 1831: *Розен Е.Ф., барон*. Константин Левен (Из моих записок) // Альциона: Альманах. На 1831 год / издан бароном Розеном. СПб., 1831.

Розен 1974: *Розен Е.Ф.* Из статьи «Ссылка на мертвых» // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1974. Т. 2.

Розен Письма: *Розен Е.Ф.* Письма к Шевыреву // РО РНБ. Ф. 850 Шевырев С.П. Ед. хр. 474.

Розен Письма 2: Письма Е.Ф. Розена к К.С. Сербиновичу // РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Ед. хр. 1434.

Розен 1833: Розен Е.Ф. Россия и Баторий, историческая драма в пяти действиях. СПб., 1833.

Розен 1834: Осада Пскова: Трагедия в пяти действиях. СПб., 1834.

Розен 1839: Отрывки из путевых записок барона Розена // Литературные прибавления к Журналу Министерства народного просвещения. 1839. № 2.

Розен 1839а: Лейпциг: Из путевых записок барона Розена // Северная пчела. 1839. 21 марта. № 64.

Розен 1842: *Розен Е.Ф.* Первая прогулка по Риму // Сын отечества. 1842. № 7.

Розен 1844: *Розен Е.Ф.* Ватиканский собор // Сын отечества. 1844. № 6.

Розен 1847: *Розен Е.Ф.* Поездка на дачу Горация // Сын отечества. 1847. № 1. Отд. 5.

Розен 1848: *Розен Е.Ф.* Прогулки по Рейну // Сын отечества. 1848. № 2. Отд. 3.

Розен 1849: *Розен Е.Ф.* Путешествие по Швейцарии // Сын отечества. 1849. № 9.

Розен 1849а: *Розен Е.Ф.* Римский пилигрим // Сын отечества. 1849. № 10.

Розен 1974: *Розен Е.Ф.* Из статьи «Ссылка на мертвых» // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1974. Т. 2.

Розен 2003: Мнение барона Е.Ф. Розена о драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» // Пушкин в прижизненной критике: 1831–1833. СПб., 2003. С. 260.

Рукопись: *Розен Е.Ф.* Осада Пскова // Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека. I VII 1 56 Инв. № 4443.

Русская старина 1882–1886: Иван Петрович Кёлер, профессор живописи. 1826–1882 // Русская старина.1882. № 6. С. 743–754; 1886. № 11. С. 333–378.

Руссов 1900: *Руссов Ф.К.* Материалы для истории этнографических и антропологических коллекций Императорской Академии наук. СПб., 1900 = Сборник Музея антропологии и этнографии (МАЭ). [Т. 1]. Вып. 1.

Русский травелог 2016: Русский травелог XVIII–XIX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы. Новосибирск, 2016.

Сажикова 2013: *Сажикова Н.Б.* Александр Тюрьморезов — жизнь, судьба, книги. Кисловодск; Пятигорск, 2013.

Салупере 1995: *Салупере М.* К биографии «императорского безумца» // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Таллин, 1995. С. 57–79.

Салупере 1998 — *Салупере М.* Центр на периферии // Вышгород. 1998. № 3. С. 14–15.

Салупере 2000 — *Салупере М.* Ф.В. Булгарин в Лифляндии и Эстляндии // Русские в Эстонии на пороге XXI века: прошлое, настоящее, будущее: сб. статей. Таллин, 2000.

Сборник 1866: Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской академии художеств за сто лет ее существования / под ред. П.Н. Петрова. СПб., 1866. Ч. 3.

Свирин 1935: *Свирин Н.* Пушкин и греческое восстание // Знамя. 1935. № 11.

Свод 1833: Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный: Свод учреждений государственных и губернских. Ч. 1: Основные законы и учреждения государственные. 2-е изд. СПб., 1833.

Семенов 1916: *Семенов П.* Эсты: (культурно-исторический очерк) // Эсты и латыши, их история и быт: сб. статей / под ред. проф. М.А. Рейснера. М., 1916. С. 145–174.

Смирнов А. 1959: *Смирнов А.Ф.* С. Сераковский. М., 1959.

Смирнов А. 1990: *Смирнов А.Ф.* Разгадка смерти императора // Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М., 1990.

Смирнов И. 1890: Михаил Петрович Веске // Эстонский исторический архив. Ф. 402. Оп. 3. Ед. хр. 290.

Смирнов И. 1904: *Смирнов И.Н.* Веске Михаил Петрович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета (1804–1904): в 2 ч. Казань, 1904. Ч. 1.

СО 1818: О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян // Сын отечества. 1818. Ч. 48. № 38.

СО 1834: Сын отечества и Северный архив. 1834. № 43.

Соловьев 1993: *Соловьев С.М.* Сочинения: в 18 кн. М., 1993. Кн. XI: История России с древнейших времен. Т. 21–22.

СП — Северная пчела.

Спрогис 1868: Памятники латышского народного творчества / собр. и изд. И. Спрогисом. Вильна, 1868.

Степанищева 2008: *Степанищева Т.* Эстония в путеводителях Бедекера // Путеводитель как семиотический объект. Тарту, 2008.

Степанищева 2017: *Степанищева Т.Н.* Определение границ: творческая история и поэтика «Поездки в Ревель» Александра Бестужева // Идеологические конт-

тексты русской культуры XIX–XX вв. и поэтика перевода / Wiener Slawistische Almanach, 93. 2017.

Сумцов 1903: *Сумцов Н.Ф.* Столетие Юрьевского, бывшего Дерптского, университета. Харьков, 1903.

Суур 1971: *Суур А.* Эльва. Таллин, 1971.

Тартуско-Московская семиотическая школа 1994: Тартуско-Московская семиотическая школа глазами ее участников // Ю.М. Лотман и Тартуско-Московская семиотическая школа. М., 1994. С. 265–351.

Тороп 1995: *Тороп П.Х.* Тартуская школа как школа // Лотмановский сборник. [Вып. 1]. М., 1995.

Труды по русской литературе и семиотике 1991: Труды по русской литературе и семиотике кафедры русской литературы Тартуского университета: 1958–1990: Указатели содержания. Тарту, 1991.

Таннберг 2006: *Таннберг Т.-А.* Офицеры-эстонцы в Российской армии: полковник Яак Розенбаум (1871–1925) // Россия и Балтия. Вып. 4: Человек в истории. М., 2006.

Таннберг 2010: *Таннберг Т.* Эстонцы в российской армии в последний период существования империи (1900–1917) // Блоковский сборник XVIII: Эстония и Россия в XX веке: диалог культур. Тарту, 2010.

Три письма 1886: Три письма императора Александра Павловича к маркизу Паулуччи // Русский архив. 1886. № 5.

Тургенев 2001: *Тургенев Н.* Россия и русские. М., 2001.

Тынянов 1968: *Тынянов Ю.Н.* Сюжет «Горя от ума» // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 347–379.

Тюрьморезов 1915: *Тюрьморезов А.П.* Настольная справочная книга учащихся в высших учебных заведениях и путеводитель по г. Юрьеву. Юрьев, 1915.

Усов 1882: *Усов П.С.* Из моих воспоминаний // Исторический вестник. 1882. № 1.

Устав 1900: Устав Московского эстонского благотворительного общества. М., 1900.

Федотов Г. 1992: *Федотов Г.П.* Певец империи и свободы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России: Избранные труды по философии русской истории и культуры. СПб., 1992. Т. 2. С. 141–162.

Федотов Н. 1889: Путеводитель по дачным местностям, водолечебным заведениям и морским купаньям в окрестностях Санкт-Петербурга и железным дорогам: Финляндской и Балтийской.... / сост. и издал Н. Федотов. СПб., 1889.

Финляндский 1917: Сборник финляндской литературы / под ред. В. Брюсова, М. Горького. Пг., 1917.

Формулярный список Руссов: Формулярный список о службе. Хранителя Императорского Эрмитажа. Статского советника Руссова // Архив Академии наук, Санкт-Петербургский филиал. Ф. 4. Оп. 4. Ед. хр. 504. Л. 14 об.

Фуллер 2009: *Фуллер У.* Внутренний враг: Шпиономания и закат императорской России. М., 2009.

Художники 2002: Художники народов СССР XI–XX вв.: биобиблиографический словарь: в 5 т., в 6 кн. / изд. Ю.А. Быстров. СПб., 2002.

Чехов 1963: *Чехов А.П.* Собр. соч.: в 12 т. М., 1963. Т. 9.

Шафрановская 1980: *Шафрановская Т.К.* Первый хранитель МАЭ Ф.Л. Руссов // Сборник Музея антропологии и этнографии (МАЭ). Л., 1980. Т. 35. С. 224–229.

Шаховской 2005: Смольяне в 1611 году. Сочинение князя А.А. Шаховского / вступ. ст., подгот. текста и коммент. Л. Киселевой // Театральное наследие. СПб., 2005. Вып. I (4). С. 15–174.

Шевырев. Дневники 1838–1839: Дневники Шевырева 1838–39 гг. // РО РНБ. Ф. 850. Шевырев С.П. Ед. хр. 18.

Шевырев 1839: *Шевырев С.П.* Сутки в Любеке: (Из дорожных записок 1838 года) // Литературные прибавления к Журналу Министерства народного просвещения. 1839. № 1.

Шевырев 2006: *Шевырев С.П.* Итальянские впечатления. СПб., 2006.

Шенле 2004: *Шенле А.* Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий, 1790–1840. СПб., 2004.

Шмидт 2015: *Шмидт В.* В пути: Стихотворения. Тарту, 2015. 2-е изд.

Эйзен 1900: *Эйзен И.М.* Борьба с чумой: Лаборатория для заготовления противочумных препаратов на форте «Александр I», Кронштадт // Проблемы местного самоуправления. URL: http://www.samoupravlenie.ru/37-10.php (дата обращения 15 сентября 2018 г.).

Эсты 1916: Эсты и латыши, их история и быт: сб. статей под ред. проф. М.А. Рейснера. М., 1916.

Языков 1964: *Языков Н.М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964.

Aarma 2012: *Aarma L.* Friedrich Nikolai Russowi ja Wilhelm Friedrich Tuglase osalus «Põllumehhe nõuandja» väljaandmisel // Tuna. 2012. Nr 2. Lk. 32–49.

Akte 1875: Akte in Klagesachen des Wulf Friedländer wider den Lektor Dr. M. Weske wegen rückständiger Wechselschuld (1875) // EAA. F. 402. Nim. 8. S. 1119.

Akte 1883a: Akte in Untersuchungssachen des Lektor der estnischen Sprache Dr. Michaels Weske wegen eines Konfliktes mit unbekannten Personen // EAA. F. 402. Nim 8. S. 1153.

Akte 1883b: Akte in Klagesachen des Hofgerichtsadvokaten Ed. Lehbert wider den Lektor der Estnischen Sprache Dr. Michael Weske wegen Schuldangelegenheit (1883) // F. 402. Nim. 8. S. 2071.

Alttoa 1973: *Alttoa V.* Eduard Vilde sõnameistrina. Tallinn, 1973.

Ariste 1954: *Ariste P.* Eesti keele ja soome-ugri keelte õpetamisest ja uurimisest Tartu ülikoolis (1802–1952) // Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Tallinn, 1954. Vihik 35 (Ajaloo-Keeleteaduskonna töid).

Baedeker 1883: West- und Mittel-Russland: Handbuch für Reisende von K. Baedeker. Leipzig: Baedeker, 1883.

Baedeker 1888: Russland: Handbuch für Reisende / hrsg. K. Baedeker. 2 Aufl. Leipzig, 1888.

Baedeker Guides 2003: *Hayes K.J.* Baedeker Guides // Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia / ed. J. Speake. N. Y.; L., 2003. Vol. 1.

Baudouin1892: *Baudouin de Courtenay I.* Zur Frage der Russificirung der Universität Dorpat // Hochschul-Nachrichten. München, 1892. № 22; 27.

Brüggemann 2007: *Brüggemann K.* An Enemy's «Outpost» or «Our West»?: Some Remarks about the Discourse of Russian *Pribaltika* in the Russian Empire and the Soviet Union // Studia Humaniora et Paedagogica Collegii Narvoensis, II. Narva, 2007. P. 81–98.

Chateaubriand 1825: [*Chateaubriand F.-R., vicomte de*]. Note sur la Grèce par Chateaubriand. P., 1825.

Constant 1825: *Constant B.* Appel aux nations chrétiennes en faveur des Grecs. P., 1825.

De Bray 1817: [*De Bray F.-G., le comte*]. Essai critique sur l'histoire de la Livonie suivi d'un tableau de l'état actuel de cette province / par L.C.D.B. Dorpat, 1817. T. 1–3.

Dezobry 1835: *Dezobry L.Ch.* Rome au siècle d'Auguste, ou Voyage d'un Gaulois à Rome à l'époque du règne d'Auguste et pendant une partie du règne de Tibère. P., 1835.

Eesti 1915: Eesti tutvustamine // Postimees. 1915. 17. dets. Nr 291. Lk 2.

Elango jt. 2010: *Elango A., Laul E., Liim A., Sirk V.* Eesti kooli ajalugu. Tallinn, 2010. Kd 2.

Eliaser 1911: *Eliaser, R.* Baltimaa mõisnikkude maapäevad (Landtag'id) // Aasta — 1912. Tallinn, 1911. Lk 1–32.

Eliaser 1914: *Eliaser R.* Baltimaa omavalitsuse korralduse katsest XIX. aastasaja esimesel poolel // Vaba sõna. 1914. Nr 7/8. Lk 229–233.

Eliaser-50 1935: 50 a. sünnipäeva ja 25 a. ametijuubelit // Postimees. 1935. 27. mai. Nr 143. Lk 7.

Enst 1980: *Enst B.* Johann Köler. 1826–1899 / Энст Б. Иохан Келер. Tallinn: Kunst, 1980.

Enst 1983: *Enst B.* Johann Köleri biograafia Rjazani lehekülgi // Eesti maalikunstniku Johann Köleri looming probleeme. Tallinn, 1983.

Gribojedov 1964: *Gribojedov A.S.* Häda mõistuse pärast: Komöödia neljas vaatuses värssides / tõlkinud J. Kross. Tallinn, 1964.

Guidebooks 2003: *Grushow I.* Guidebooks // Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia / ed. J. Speake. N. Y.; L., 2003. Vol. 2.

Hupel 1774–1782: Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland <sic!> gesammelt und herausgegeben durch August Wilhelm Hupel. Riga, 1774–1782. Bd. 1–3.

Hupel 1781: *Hupel A. W.* Über den Nationalkarakter der Russen nebst andern kürzern Aufsätzen // Nordische Miscellanen. Erstes Stück. Riga, 1781.

Issakov 1983: *Issakov S.* M. Veske teostamata ja teostatud kavatsustest // Issakov S. Arhiivide peidikust. Tallinn, 1983.

Hüsken 2005: *Hüsken R.* Ella Adaïewsky (1846–1926). Pianistin — komponistin — Musikwissenschastlevin. Köln, 2005.

Jansen 2005: *Jansen E.* Jaan Krossi ajalookangelaste dilemmast // Metamorfiline Kross. Sissevaateid Jaan Krossi loomingusse / Koostanud Eneken Laanes. Tallinn, 2005.

Kaelas 1915: *Kaelas A.* Eesti tutvustamise asjus // Postimees. 1915. 29. dets. Nr 299. Lk 3.

Kalda 1966: *Kalda M.* Friedrich Nikolai Russow // Eesti kirjanduse ajalugu. Tallinn, 1966. Kd 2. Lk. 158–163.

Karjahärm, Sirk 1997: *Karjahärm T., Sirk V.* Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed: 1850–1917. Tallinn, 1997.

Karjahärm 1998: *Karjahärm T.* Ida ja Lääne vahel: Eesti-Vene suhted 1850–1917. Tallinn, 1998.

Karjahärm 2007: *Karjahärm T.* The Image of Russia According to Estonian National Movement Leaders (until 1917) // Studia Humaniora et Paedagogica Collegii Narvoensis, II. Narva, 2007.

Kisseljova 2010: *Kisseljova L.* Vene ajalugu ja kultuur Jaan Krossi romaanis «Keisri hull» // Keel ja Kirjandus. 2010. Nr 5.

Kisseljova 2014: *Kisseljova L.* War Discourse as a Means of Constructing a National Myth: (The Crimean War in Pre-Revolutionary Schoolbooks and Popular Literature) // Russian National Myth in Transition / Acta Slavica Estonica, 6: Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, XIV. Tartu, 2014. P. 143–162.

Kreutzwald 1854: Söda. Wiru wana Lauliku kenam Kandle-lugu. Eesti sõbradele. Tartus, 1854.

Kreutzwald 1953: *Kreutzwald Fr. R.* Teosed: Laulud. Tallinn, 1953.

Kreutzwald — kirjad 1953: Fr.R. Kreutzwaldi ja A. Schiefneri kirjavahetus: 1853–1879. Tallinn, 1953.

Kross 1978: *Kross J.* Keisri hull. Tallinn, 1978.

Kross 1982: *Kross J.* Olga Samma juubeliks // Looming. 1982. Nr 6. Lk 853–854.

Kross 2003: *Kross J.* Omaeluloolisus ja alltekst. Tallinn, 2003.

Kross 2005: *Kross J.* Kogutud teosed. Kd. 18: Draama. Tallinn, 2005. Lk 239–293.

Kruus 1976: *Kruus O.* Uitmõtteid «Kolmandate mägede» ainevalla ja probleemide ümber // Keel ja Kirjandus. 1976. Nr 5.

Kuzovkina 2013: *Kuzovkina T.* Juri Lotman ja inimõiguslik liikumine 1960. ja 1970. aastatel (J. Lotmani arhiivi materjalide põhjal) // Tartu — vabaduse saar? = Тарту — остров свободы? Ettekandepäev Tartu Linnamuuseumis 30.–31. Oktoobril 2013. Tartu Linnamuuseum. Lk 16–17.

Kärner 1931: *Kärner J.* Elva minevikus ja olevikus. Ajalooline, maadeteaduslik ja tulunduslik kirjeldus. Elva, 1931.

Kõvamees 2005: *Kõvamees A.* Baltisakslased Jaan Krossi proosas // Keel ja Kirjandus. 2005. № 2.

Laaman 1916: *Laaman Ed.* Kogutöö Balti pärisrahvastest // Tallinna Teataja. 1916. 24. mai. Nr 115. Lk 2.

Laaman 1920: *Laaman Ed.* Eesti lahkumine Vene riigist. 1917–1920. Tallinn, 1920.

Laanes 2004: *Laanes E.* Jakob Mättik Jaan Krossi «Keisri hullus»: jutustajast tegelaseks // Kultuuri maailmad. Cultural Worlds. Tallinn, 2004. Lk 201–219. (Acta Collegii Humaniorum Estoniensis. Eesti Humanitaarinstituudi toimetised, 4.)

La Motte-Fouqué 1822: *La Motte-Fouqué, baron de*. Betrachtungen über Türken, Griechen und Türkenkrieg. Berlin, 1822.

Laigna 1974: *Laigna K.* «Revalsche Zeitungi» esimeste aastakäikude suunast // Keel ja Kirjandus. 1974. Nr 3. Lk. 156.

Laur 2000: *Laur M.* Ärkamisaja algus // Eesti ajalugu. Tartu, 2000. Kd V: Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani.

Leake 1826: *Leake W.M.* A Historical Outline of the Greek Revolution. L., 1826.

Lexikon 1970: Deutschbaltisches biographisches Lexikon: 1710–1960. Köln; Wien, 1970.

Lipp 1932: *Lipp M*. Karellide suguvõsa: haridus- ja perekonnaloolised uurimused / Toim. Aadu Lüüs. Tartu, 1932.

Loosme 2007: *Loosme I.* «Oma Maa» kirjastamise raske tee // Tartu Ülikooli Raamatukogu Aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007.

Lotman 1979: *Lotman J.* Groteski ja filosoofia maailmas // Voltaire. Filosoofilised jutustused. Tallinn, 1979. Lk 260–289.

Lotman 1982: *Lotman J*. Vene kirjandus: Õpik IX kl. Tallinn, 1982.

Lotman 2005: *Lotman J.* Väga ühiskondlik, väga vajalik raamat // Metamorfiline Kross: Sissevaateid Jaan Krossi loomingusse. Tallinn, 2005. Lk 66–71.

Lüüs 1926: *Lüüs, Aadu.* Philipp Karelli elu ja tegevus // Eesti Kirjandus. 1926. Nr. 11.

Merkel 1797: *Merkel G.* Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts. Leipzig, 1797.

Merkel 1798–1799: *Merkel G*. Die Vorzeit Lieflands. Ein Denkmahl des Pfaffen- und Rittergeistes. Berlin, 1798–1799. Bd. 1–2.

Merkel 1909: Liiwimaa esiaeg. Mälestusesammas papi- ja rüütliwaimule. Kirjutanud G. Merkel / eesti keelest tõlkinud A.F. Tombach. Sankt-Peterburg, 1909.

Moskva 1915: Moskva Eesti Selts // Päevaleht. 1915. 22. dets. Nr 295. Lk 2.

Murray 1875: Handbook for Travellers <sic!> in Russia, Poland, and Finland including The Crimea, Caucasus, Siberia and Central Asia. 3d ed. L., 1875.

Murray Handbooks 2003: *Demata M.* Murray Handbooks // Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia / ed. J. Speake. N. Y.; L., 2003. Vol. 2.

Mälberg 1995: *Mälberg A.* Näpuotsastäis Elvast. Elva, 1995.

Nirk 1966: *Nirk E.* Friedrich Reinhold Kreutzwald // Eesti kirjanduse ajalugu. Tallinn, 1966. Kd 2. Lk 60–127.

Nirk, Põldmäe 1966: *Nirk E., Põldmäe R.* Mihkel Veske // Eesti kirjanduse ajalugu. Tallinn, 1966. Kd 2.

Olesk 2010: *Olesk P.* Asjadest ajalooliselt // Meie maa. Saare maakonna ajaleht. 2010. 5. juuli.

Peegel 1966: *Peegel J.* Eesti Ajakirjanduse algus (1766–1857). Tallinn, 1966. Lk. 114–130.

Petenberg 1854: [*Petenberg J.D.*]. Laul Eestima-meestele. Tallinn, 1854.

Petenberg 1854a: [*Petenberg J.D.*]. Neekruti laul 1854. Tallinnas, 1854.

Petenberg 1854b: [*Petenberg J.D.*]. Trost söa-aial. Wälja-andjast sest «Laulust Eestima-meestele». Tallinnas, 1854.

Pouqueville 1824: *Pouqueville F.-Ch.-H.-L.* Histoire de la Régénération de la Grèce … (1740–1824). P., 1824. T. 1–4.

Pullat 1981: *Pullat R.* Peterburi eestlased. Ajaloolis-demograafiline käsitlus XVIII sajandi algusest kuni 1917.a. Tallinn, 1981.

Pullat 2004: *Pullat R.* Lootuse linn Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine kuni 1917. Tallinn, 2004.

Pärnik 2006: *Pärnik Y. M.* Dr. Georg Julius von Schultz (Dr. Bertram). Läbilõige ühe Balti idealisti maailmavaatest Eesti kultuuriloo üldpildist. Tartu, 2006.

Reidna 1983: *Reidna R.* Johann Köleri tegevus freskomaalijana // Eesti maalikunstniku Johann Köleri looming probleeme. Tallinn, 1983.

Rets. 1916: Эсты и Латыши… [retsensioon] // Pealinna Teataja (Petrograd). 1916. 1. mai. Nr 99.

Rogov 1998: *Rogov K.* Russische Patrioten deutscher Abstammung // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. Reihe B. Bd. 3: 19. Jahrhundert: Von der Jahrhundertwende bis zu den Reformen Alexanders II. München, 1998. S. 551–604.

Rosen 1841: *Rosen G.F.V., baron.* Vorwort // Die Tochter Joann's III: Trauerspiel in fünf Aufzügen von Baron Georg Rosen / aus dem Russischen übersetzt von dem Verfasser. St. Petersburg, 1841.

Rosenberg 2000: *Rosenberg T.* Krimmi soda // Eesti ajalugu. Tartu, 2000. Kd. V: Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani.

Russow 1854: Söalaul Eestima tüttarlastele Wanna wisi järrel. Tallinnas, 1854.

Russow 1854–1857: Tallinna koddaniku ramat omma söbbradele male. Tallinn, 1854–1857. Vihik 1–12.

Ruubel 1914: *Ruubel P.* Intelligentlikust liikumisest meil // Vaba sõna. 1914. Nr 1–12.

Ruubel 1918: *Ruubel P.* Noor-Eesti ja poliitika // Kümme aastat. Noor-Eesti 1905–1915. Tartu, 1918.

Ruubel 1920: *Ruubel P.* Poliitilised ja ühiskondlikud voolud Eestis (Talupojaline väikekodanlik ajajärk 1860–1905). Tallinn, 1920.

Ruubel-50 1935: Peeter Ruubel 50-aastane // Postimees. 1935. 12. okt. Nr 278. Lk 6.

Salokannel 2009: *Salokannel J.* Jaan Kross / Soome keelest tõlk. Piret Saliri. Eesti Keele Sihtasutus, 2009.

Salupere 1990: *Salupere M.* Mõnda mõistatusliku inimese elukäigust: Lisandusi Timotheus Eberhard Von Bocki tundmiseks // Looming. 1990. Nr 7. Lk 983–993.

Salupere 1998: *Salupere M.* Tõed ja tõdemused: Sakste ja matside jalajäljed nelja sajandi arhiivitolmus. Tartu, 1998.

Salupere 2004: *Salupere M.* Tuhandeaastane Tartu. Nooruse ja heade mõtete linn. Tartu, 2004.

Salupere 2006: *Salupere M.* Eestimaalasena Eestimaal // Keel ja Kirjandus. 2006. Nr 12.

Semiotyka i struktura tekstu 1973: Studia poświęcone VII Międzynarodowemu kongresowi slawistów. Warszawa, 1973; Wrocław, 1973.

Soonpää 1978: *Soonpää L.* «Kolmandate mägede» jalamil // Kirjandus kriitiku pilguga. Artikleid, arvutusi ja aastaülevaateid 1975–1976 / Koostanud Kalju Kääri. Tallinn, 1978.

Soosaar 2008: *Soosaar A.* Jaan Kross arstieetikast // Andres Soosaar. URL: http://andressoosaar.planet.ee/Jaan%20Kross%20arstieetikast.pdf (дата обращения 15 сентября 2018 г.).

Soutzo 1829: *Soutzo A.* Histoire de la révolution grecque. P., 1829.

Stella-Sawicki 1921: *Stella-Sawicki J.* Moje Wspomnienia: 1831–1910: Rosja — Polska — Francja / z rękopisów autora wyd., wstopem i przypisami opatrzyt Eugenjusz Barwiński. Lwów, [1921].

Suits 1934: *Suits G.* Kreutzwald ja rahvuslik esiärkamine // Looming. 1934. Nr 7. Lk 827–830.

Suits 1934a: *Suits G.* Kreutzwald ja esimene rahvuslik etapp // Looming. 1934. Nr 10. Lk 1184–1188.

Tannberg 1991: *Tannberg T.* Krimmi sõda ja Eesti // Akadeemia. 1991. Nr 9. Lk 1927–1948.

Tartu Politseivalitsus 1880: EAA. F. 1880. Tartu Politseivalitsus. Nim. 1. S. 370.

Tveiev 1972: *Tveiev E.* Kassavi saave saladus // kultuuv ja Elu. 1972. Nr 6. Lk 18–20.

TÜ ajalugu 1982: Tartu Ülikooli ajalugu. Tallinn, 1982. Kd. II: 1798–1918.

Umblia 1854: [*Umblia A.*]. Üks laul, kui waenlane 1854 meie male tulli söddima. Tartus, 1854.

Veidemann 1996: *Veidemann R.* Eesti müüt ja Jaan Kross // Veidemann R. Ajavahe: mälestusi, pihtimusi, esseid. Tallinn, 1996.

Väike Köleri sõnastik 2000: Väike Köleri sõnastik / Koost. Anu Allas ja Tiina Abel. Tallinn, 2000.

Vööl 1958: *Vööl T.* Turismijuhid ja teatmikud Eesti kohta: Kursusetöö. Tartu, 1958.

Weske: Weske M. Acta des Directorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat // F. 402 Tartu Ülikool. Nim. 3. S. 291.

Wilde 1854: Waenlane Tallinna all. Söa-Laul Ma-rahwale wäljaandnud *Heinrich Leopold Wilde*. Tartus, 1854.

Указатель имен

Ааренс Э. (Ahrens E.) 105
Аарма Л. (Aarma L.) 97, 102, 315
Абель Т. (Abel T.) 319
Август (Октавиан Август) 240, 241
Адаевская, псевд. — см. Шульц Е.Г.
Адамс В. 261, 262, 266
Адамсон А. 113
Адашев А.Ф. 217
Азадовский М.К. 262
Акинфов Н. 31
Акуратерс Я. 92
Александр I Павлович, российский император 24, 25, 27, 29, 33, 34, 61, 102, 135, 178, 244, 253, 314
Александр II, российский император 38, 46, 48–51, 61, 102, 228, 254, 256, 307, 318
Александр III, российский император 55, 61, 146, 204
Александр Невский, вел. кн. 141
Александр Николаевич, вел. кн. — см. Александр II
Александров Н. 45, 304
Александров Ю.Н. 155, 304
Алексеев В.В. 189
Алексеев В.Г. 189
Аллмерс Г. (Алмерс, Allmers H.) 123, 124
Альттоа В. (Alttoa V.) 100, 315
Андерсон Б. 53, 81, 84, 86, 208, 300, 304
Андреас К.Г. 97
Андреева Н.С. 58, 304
Арвелиус Ф.Г. (Arvelius F.G.) 97
Аристипп 248
Аристэ П. (Ariste P.) 93, 315
Арнольд Ю. 152, 304
Арш Г.Л. 244, 304
Аттила 64
Ауст М. 52
Афанасьев В.А. 189
Ахматова А.А. 278

Байрон Дж. Г. 30, 234, 243, 244, 247
Балашов Д.П. 6
Бальмонт К.Д. 71
Баратынский Е.А. 280, 299
Баторий Стефан 217, 218
Бах И.С. 51
Бахтин М.М. 297
Бахтин Н.Н. (псевд. Н. Нович) 311
Бедекер К. (Baedeker K., von) 156, 167, 169, 170, 172–174, 313, 315
Беззубов В.И. 258, 264, 266, 267
Белинский В.Г. 230, 272, 295
Бенкендорф А.Х., гр. 33
Бентли Р. 240
Берг Ф. (Ф.Ф.) 27
Берг Ю.Е., фон (Berg J.C., von) 25
Бергман Э. 176
Бередников Я.И. 219, 220
Бестужев А.А. (псевд. Марлинский) 8, 139, 140, 157, 242, 243, 245, 271, 304, 313
Бестужева-Рюмина А.Г. 31
Бетховен Л., ван 148
Бехтерев В.М. 77, 79, 82, 83
Бецкой И.И. 273
Бисмарк О., фон 197, 206, 304
Блауберг М.Б. 199
Блок А.А. 71, 90
Блок А.Л. 62
Бодуэн де Куртене И.А. (Baudouin de Courtenay J.N.I.) 8, 17, 18, 20, 63, 67, 69, 76–79, 82–86, 88, 129, 195, 197–203, 205–212, 304, 305, 309, 310, 315

Бок А.Р., фон (Bock A., von) 113, 115, 116
Бок Е. (Э.), фон (Е. Петрова) 24, 25, 33
Бок К., фон 25
Бок Т.Э. (Тимотеус-Эбергард, Тимофей Георгиевич), фон 14, 24–33, 45, 305, 311
Бок А.Р., фон 115, 121,
Бомелиус Э. (Е. Бомелий) 217
Бородкин М.М. 100, 305
Брешко-Брешковская Е.К. 267
Бродский И.А. 194
Брут Марк Юний 240, 241
Брэ Ф.Г., де (Bray F.G., de) 17, 136, 139–142
Брюггеманн К. (Brüggemann K.) 55, 58, 59, 305, 315
Брюсов В.Я. 89, 90, 92, 304, 307, 308
Брянский Я.Г. 28, 227
Будилович А.С. 198
Булгаков М.А. 149
Булгарин Ф.В. (Bułgarin J.T.K.) 7, 8, 17, 129, 132, 134–140, 142, 144–145, 159–161, 174, 245, 260, 305, 308, 313, 320
Буллан К. (псевд. Фалий, Фаллийс) 92
Бунин И.А. 89, 190
Бурбоны, династия 250
Бурнашев В.П. (псевд. В. Бурьянов) 158, 159, 161, 305
Бурьянов В., псевд. — см. Бурнашев В.П.
Бэр К.Э., фон 172

Вальдемар (Вольдемар) III 164
Варий (Луций Варий Руф) 241
Ватсон Э.К. 172
Вацуро В.Э. 6, 215, 221, 222, 229, 305
Вейдеманн Р. (Veidemann R.) 34, 319
Веймарн Ф.П. 169
Вейценберг А. 113
Вергилий (Виргилий) 241
Верлен П. 71
Верховский Ю.Н. 90
Веске М.П. (Veske M., Weske M.) 18, 201–205, 313, 316, 318, 319
Ветемаа Э. 6
Вёэль Т. (Vööl T.) 157, 319
Виграб Г.И. 58, 64, 305
Видок — см. Булгарин Ф.В.
Виельгорский И.М. 228, 229, 231, 236, 309
Виельгорские, семья 229
Виланд К.М. 240, 248, 250
Виллем — см. Тамм В.
Вильде Э. (Vilde E.) 40, 94, 100, 104, 315
Винкельман И.И. 235
Виноградов А.А. 155, 184, 305
Вирза Э. 93
Вишленкова Е.А. 55, 306
Владимиреску Т. 244
Владыкин М.Н. 155, 306
Воейков А.Ф. 150
Воейкова (урожд. Протасова) А.А. 148
Волошинов В.Н. 297
Вольтер (псевд., наст. имя и фам. Франсуа Мари Аруэ) 284, 285
Вольтер Э.А. 91–93, 95
Воронцов А.Р., гр. 133
Вульпиус Р. 52, 306
Вяземский П.А., кн. 231, 234

Габович Я.А. 191
Гартман К.К. 113, 125
Гаспаров Б.М. 291, 306
Гаспаров М.Л. 288, 289, 306
Геккель Э.Г.Ф.А. (Haeckel E.H.P.F.) 123
Георги И.Г. 54
Гердер И.Г. 131
Гернет Р.Э.А. (А.Ф.) фон 39, 40
Гернет Ф.Р.Г., фон 37
Герцен А.И. 49, 84
Гете (Гёте) И.В. 19, 213, 230, 232
Гиппиус О.Г. (Hippius O.P.) 37
Глинка М.И. 41, 215, 254
Гоголь Н.В. 87, 231, 232, 236, 256, 280, 299, 306
Голубева О.Д. 89, 90, 92, 306, 309
Гомер 53
Гончаров И.А. 256
Гораций 213, 236, 239–241

Горбаневская Н.Е. 274
Гордин Я.А. 6, 194
Горчаков А.М., кн. 127
Горчаковы, князья 221
Горький М. 89–91, 272, 304, 307, 308, 310
Гофман Э.Т.А. 245
Гредескул Н.А. 77, 78, 86, 87, 310
Греймас А.Ж. 274
Греч Н.И. 139, 140
Грибоедов А.С. (Gribojedov) 23, 30, 316
Грот (урожд. Семенова) Н.П. 43–45, 111, 115, 125
Грот Я.К. 43, 113
Гроты, семейство 44, 115
Гудон Ж.-А. 284
Гуковский Г.А. 262, 286, 294
Гумилев Н.С. 78
Гуревич Б.А. 77, 78, 80–82, 84, 310

Давыдов А.Ю. 155, 306
Давыдов Ю.В. 6
Даниэль А.Ю. 274
Даниэль Ю.М. 274
Дезобри Л.Ш. (Dezobry L.C.) 240, 315
Делон М. 310
Дельвиг А.А. (Delvig A., von), барон 247
Делянов И.Д. 197
Державин Г.Р. 28
Державин Н.С. 91
Джулиани Р. 232, 306
Джунковский С.С. 159, 162, 311
Дзержинский Ф.Э. 79
Диоген 230, 233
Дмитриева Е.Е. 251, 306
Добролюбов Н.А. 49
Долгорукая (Долгорукова) Е.М., княжна — см. Юрьевская Е.М.
Долгоруков П.Д., кн. 78, 310
Долинин А.А. 197
Достоевский Ф.М. (Dostojevski F.) 311
Драйшок (Дрейшок) А. 42
Дризен Н.В., барон 219, 220, 222, 306
Дубоссарский Э.А. 62
Душечкина Е.В. 267
Дьяков В.А. 49, 306

Егоров А.Е.28
Егоров Б.Ф. 257, 260, 261, 263–266, 272, 306, 309
Екатерина II, российская императрица 45, 54, 74, 129, 244
Елагина А.П. (в первом браке — Киреевская) 148, 151
Елена Павловна, вел. кн. 201
Елизавета Петровна, российская императрица 31
Еремин И.П. 262

Жирмунский В.М. 262
Жуковский В.А. 7, 25–28, 32, 129, 148, 150, 154, 229–234, 236, 254, 306, 308–310

Загоскин М.Н. 245
Заремба Н.И. 42
Засулич В.И. 36
Зауэрвайн (Зауэрвейн) Г. 84
Зейдлиц Э.К.М., фон 186
Зеленин Д.К. 7, 176–184, 188, 307
Зенфф (Зенф) К.А. 148
Золотарев С.А. 62, 68, 73, 74
Зыбин А. 31

Ибсен Х. 92
Иван IV Васильевич Грозный, царь 64, 217–220, 222, 223, 226, 227
Иван Иванович, царевич 217, 222
Иванов А.А. 39
Иванов В.В. 264, 288, 289, 307
Иванов В.И. 90
Иванова Л.А. 97, 307
Ильинская С.Б. 246, 307
Иордан Ф.И. 113, 127
Ипсиланти А.К., кн. 244, 246, 247, 253
Ипсиланти, братья 244
Исаков С.Г. (Issakov S.) 21, 58, 90, 136, 139, 174, 190, 195, 202, 215, 242, 264, 266, 267, 304, 307, 316

Йыгевер Я. (Иван Егевер; Jõgever J.) 91, 93–95
Йыги М. 21

Казекамп А.А. (Kasekamp A.) 195, 196, 307
Кайсаров А.С. 27, 262, 293, 308
Калда М. (Kalda M.) 97, 98, 100–102, 316
Каллас А. 40, 187
Каллас О. 40
Канн К. 263
Канова А. 238
Каподистриа И., гр. 244
Капустин М.Н. 202
Карамзин Н.М. 7, 16, 28, 49, 80, 129, 131–133, 218–220, 225, 226, 230, 234, 250, 270, 272, 277, 280, 285, 286, 290, 293, 299, 307, 309
Карамзины, семья 154
Каратыгин П.А. 227
Карелль М.Ф. 48
Карелль Ф.Я. (Karell P.J.) 35, 37–39, 43, 45–51, 97, 113, 317
Карл XII, король Швеции 188
Карьяхярм Т. (Karjahärm) 26, 35, 58, 59, 64, 75, 307, 316
Кассий Лонгин Г. 240, 241
Катон (Марк Порций Катон Младший) 241
Каухчишвили Н.М. 258
Кашин А.П. 166, 167, 307
Каэлас А. (Kaelas A.) 56, 61, 67, 316
Келер Й. (Köler J., Кёлер Иван Петрович, псевд. Вилианди) 7, 14, 16, 22, 35–47, 51, 52, 97, 109–122, 124–127, 304, 312, 316, 318
Керстен И.Г. 199
Кёниг Г.Й. (Koenig H.J.) 231
Киверик И. 58, 64, 307
Кипшидзе И. 91
Кирджали 246
Киселева Л.Н. (Kisseljova L.) 5–8, 33, 99, 142, 227, 257, 266–268, 270, 293, 304, 308, 314, 316
Кицберг А. 94
Клаузнер И.Л. 91
Клаурен Г. 245
Клейс Р. 263
Клемент Ф.Д. 266
Клодт П.К. (Клодт фон Юргенсбург, барон) 113
Кнюпфер Р.О., фон (Knüpfer R.O.) 37
Койдула Л. 53, 94
Колоницкий Б.И. 52, 76, 308
Колычов Степан 31
Кондаков И.Л. 189
Констан Б. (Constant de Rebecque H.B.) 243, 315
Константин Константинович, вел. кн. 206
Константин Павлович, вел. кн. 32, 308
Коорт А. 261
Корнелиус П.Й., фон (Cornelius P.J.) 114, 117, 118, 126
Корнилов В.А. 101
Король Т.А. 309
Коцебу А., фон 97
Краузе И.В., фон 178
Крейцвальд Ф.Р. (Kreutzwald F.R.) 8, 15, 16, 41, 52–54, 94, 96, 102, 104–108, 205, 308, 316, 318
Кречетов М. 196, 308
Кривцов Н.И. 255
Кросс Я. (Kross J.) 6–8, 13, 14, 23–27, 30–36, 38–51, 308, 316, 317, 319
Круус О. (Kruus O.) 40, 41, 317
Крюденер А., фон 29
Ксеркс, персидский царь 83
Кузовкина Т.Д. (Kuzovkina T.) 274, 279, 317
Кукольник Н.В. 216, 218, 220, 221, 225
Кукушкина И.А. 75, 308
Кулль К.Л. 257
Кумпан Е.А. 194
Курбский А.М., кн. 220, 222, 223, 226, 227
Кутузов А.М. 293
Кучерская М.А. 32, 308
Кушнер А.С. 194
Кывамеэс А. (Kõvamees A.) 40, 41, 317
Кюн С. (Софи) 25
Кюстин А., де, маркиз 129, 130, 163, 164, 308
Кюхельбекер В.К. (Küchelbecker W., von) 139, 247
Кярнер Я. (Kärner J.) 187, 190, 191, 317

Ла Мот-Фуке Ф., де (La Motte-Fouqué F., de) 243, 317
Лааман Э. (Laaman E.) 58, 63–65, 67–70, 317
Лаанес Э. (Laanes E.) 317
Лажечников И.И. 219, 220
Ландер К.И. 62, 68–71
Лапиньш Я. (Лапин И., Lapiņš J.E.) 63, 68, 70–73
Лаутенбах Я.Г. (Лаутенбахс Е., псевд. Юсминьш) 201
Лахман Р. (Lachmann R.) 291, 308
Лёвенштерн А. 150
Леонтьев А.А. 197, 309
Лепик М. (Lepik M.) 111, 311
Лермонтов М.Ю. 272, 280, 299, 309
Лескинен М.В. 55, 308
Леэметс Х.Д. 271
Лийв Ю. 94
Лилиенфельд К.Г. 27
Лилиенфельд С.В. 31
Линде Б. 90
Липп М. (Lipp M.) 39, 47, 48, 51, 317
Ломоносов М.В. 272, 281
Лопухины, семья 31
Лотман М.Ю. 133, 267, 297, 309
Лотман Ю.М. (Lotman J.) 6–8, 12, 13, 16, 20, 21, 30, 145, 193, 251, 257–298, 301, 306–311, 313, 317
Лотманы, семья 193, 274, 275
Лутсепп А. 35
Лыжин Н.П. 25, 309
Львов Ф.Ф. 124
Людвиг I, король Баварии 117
Людовик VI, король Франции 197
Людовик XVIII, король Франции 250
Лююс А. (Lüüs A.) 39, 47, 48, 317
Лямина Е.Э. 229, 309

Мазинг О.В. 27
Мазинг У. 263
Малых А.Н. 244, 309
Мальц А. 266, 267
Мамин-Сибиряк Д.Н. 16, 128, 130, 131
Манасеин Н.А. 203
Мандельштам О.Э. 79
Мандт М. 48, 49
Мария Александровна, вел. княжна 45
Мария Николаевна, вел. княгиня 113, 117, 125, 126
Мария Федоровна, российская императрица 26
Марцелла С.Я. 243, 309
Матевосян Г. 6
Маттеус А. 260
Медард Нуайонский, св. 250
Меркель Г. (Merkel G.) 17, 71, 138, 139, 141–145, 161, 309, 317, 318
Мессала (Марк Валерий Мессала Корвин) 241
Меценат Гай Цельний 240, 241
Микеланджело (Буонарроти) 238
Микивер М. 35
Миллер А.И. 52, 58, 66, 80, 195, 207, 310
Минц З.Г. 13, 258, 259, 264, 266, 267, 269, 270, 272, 273, 275
Мирабо О.Г.Р., де 251, 310
Михайлова Ю.Л. 58, 310
Михельсон И.И., фон 45, 140
Михневич В.О. 191, 310
Мишель Д. 306
Мойер И.Ф. (Й.К.) (Moier J.C.) 26, 148–150, 254
Мойер М.А. (урожд. Протасова) 7, 8, 17, 25, 129, 148–151, 254, 310
Мойеры, семья 149, 150
Моора Х. 187
Мордовченко Н.И. 262, 277, 286
Москвич Г.Г. 155, 174, 310, 311
Мошков И.П. 31
Муравьев-Виленский М.Н., гр. 84
Мурникова Т.Ф. 266, 308
Мурре А. 22
Мутт О. 263
Мюррей Д. 161, 167, 168

Наполеон I Бонапарт, император Франции 234, 235
Наполеон III Бонапарт, император Франции 102

Невердинова В.Н. 263, 309
Незор К.М. 98
Некрасов Н.А. 89, 105, 107, 108, 310
Немзер А.С. 5–8, 21
Николай I Павлович, российский император 33, 34, 45–48, 51, 99, 102, 113, 217, 219, 220, 222, 313
Николай II, российский император 55, 146, 206
Николай Николаевич, вел. кн. 82
Нирк Э. (Nirk E.) 107, 202, 318
Нирша А.М. 309
Новалис 25
Новиков Н.И. 272, 273
Новинская Л.П. 267

Овербек И.Ф. (Overbeck J.F.) 114, 117, 118
Одоевский В.Ф., кн. 271
Озеров В.А. 28, 218
Окуджава Б.Ш. 6
Олеск П. (Olesk P.) 95, 318
Оллендорф Г.Г. 115
Острой О.С. 155, 310
Охотин Н.Г. 194

Павел I, российский император 29, 32, 46
Пален П.П., гр. (Павел Петрович фондер Пален) 73
Папаян Р.А. 271
Паррот Г.Ф. 26
Паулуччи Ф.О., маркиз 33, 314
Перетц В.Н. 91
Петенберг Й.Д. (Petenberg J.D.) 98, 104, 105, 318
Петерсон А.П. 150
Петина Л.И. 21, 162
Петр I Великий, российский император 61, 65, 102, 128–131, 145, 163, 188, 220
Петри Е.Л. 97, 98, 310
Петрова Е. (Э.) — см. Бок Е. (Э.)
Пеэгель Ю. (Peegel J.) 98, 99, 318
Пиксанов Н.К. 89, 310
Пильд Л.Л. 21, 41, 175, 310, 311
Пирогов Н.И. 7, 17, 138, 148, 149, 151, 152, 154, 311
Платон (Левшин), митрополит Московский 29
Платон, епископ Ревельский, св. новомученик 67
Платон 230
Плюханова М.Б. 290, 311
Победоносцев К.П. 84
Погодин М.П. 216–218
Полевой Н.А. 221, 226, 230, 245, 271
Поллион Гай Азиний 241
Помпей Вар 241
Пономарева Г.М. 261, 266, 268, 271, 311
Попов Р.С. 168–174
Поржезинский В.К. (Porzeziński Jan Wiktor) 63
Порук Я.Е. 93
Правдин Б.В. 261
Пракситель 248
Предтеченский А.В. 25, 27, 31, 305, 311
Пресняков А.Е. 48, 311, 313
Пропп В.Я. 262
Протасова Е.А. 310
Протасова М.А. — см. Мойер М.А.
Пуквиль Ф.Ш.Ю.Л. (Pouqueville F.-Ch.-H.-L.) 243, 311, 318
Пуллат Р. (Pullat R.) 35, 311, 318
Пустыгина Н.Г. 267
Путятин И.Т., кн. 31
Пушкин А.С. 29, 87, 88, 213, 215–218, 221, 232, 234, 235, 240, 241, 246, 247, 255, 268, 276, 277, 280, 284–286, 290, 293, 296, 297, 299, 308, 309, 311–314
Пятигорский А.М. 264

Равдин Б.А. 21, 63
Радищев А.Н. 133, 252, 268, 293
Радлов В.В. (Radloff F.W.) 202, 203, 207, 211
Райнис Я. 92, 93
Раубер А. 198
Раудсепп В.П.Х. (Raudsepp V.P.H.) 189, 191

Рейснер Л.М. 90
Рейснер М.А. 62, 64, 65, 67, 68, 305
Рейтблат А.И. 305
Рейтлингер Н. 162, 312
Рейфман П.С. 264, 266, 267
Ржевский Н. 31
Риттих А.Ф. 130, 166, 312
Рогинский А.Б. 274
Рогов К.Ю. (Rogov K.) 247, 318
Розанов Н.И. 162–164, 174, 312
Розен А. 256
Розен А.Е., барон 310
Розен В. 256
Розен К.Г.В.Ф. (Егор Федорович), фон, барон (Rosen K.G.W.F. von, paron) 7, 8, 18, 19, 213–256, 305, 306, 310, 312, 318
Розен Н., фон, баронесса 256, 306
Розен П. 256
Розен Ф.Г., фон, барон 97
Розены, семья 97
Розенбаум Я. 314
Романовы, династия 32, 55, 207, 222, 310
Ростопчин Ф.В., граф 224
Рубинштейн А.Г. 41–43
Руднев П.А. 267
Руссо Ж.Ж. 234
Руссов А. 97
Руссов К.Г.А. 97–98
Руссов Фридрих Николай (Федор Карлович; Russow F.N.) 8, 15, 16, 52, 96–105, 107, 108, 306, 307, 310, 312, 314, 315, 316, 318
Руубель П.Й. (Ruubel P.J.) 61, 62, 68, 90, 318, 319

Савицкий Я. (И., Stella-Sawicki, псевд. Стелла) 49, 319
Сажикова Н.Б. 181, 312
Салупере М.Г. (Salupere M.) 21, 25, 27, 136, 147, 184, 185, 203, 266, 276, 312, 313, 319
Салупере С. 267
Самма О.А. (урожд. Левина; Samma O.) 24, 35, 317
Самма Отто 24
Самовер Н.В. 229, 309
Сахаров А.Д. 278
Свирин Н.Г. 246, 313
Семевский М.И. 112
Семененко С.А. 194
Семенов Г.С. 194
Семенов Н.П. 43, 44
Семенов П.Н. 44, 63, 66, 313
Семенова Е.С. 28
Семенова (урожд. Шишкина) Н.П. 43, 44
Семенова М.Н. 44
Семеновы, семейство 42, 44, 45
Семенов-Тян-Шанский П.П. 55
Сераковский С.И. 49, 313
Сербинович К.С. 229, 230, 312
Сервантес Сааведра М., де 272
Сеэт К.Э. 94
Сигизмунд III Ваза, польский король 64–65
Сирк В. (Sirk V.) 316
Ситникова С.Г. 192
Скотт В. 167, 247
Скуениекс М. (Скуенек) 60, 62, 70
Смирнов А.А. 262
Смирнов А.Ф. 48–50, 313
Смирнов В.М. 90
Смирнов И.Н. 203, 313
Солженицын А.И. 275
Соллогуб В.А., граф 80, 154
Соллогубы 154
Соловьев В.С. 83, 84
Соловьев С.М. 31, 313
Соонпяэ Л. (Soonpää L.) 43, 319
Соосаар А. (Soosaar A.) 46, 319
Софи — см. Кюн С.
Сперанский В.Н. 78, 79, 310
Спроге Л.В. 21, 63
Спрогис Я. (И.Я.) 173, 313
Сталин И.В. 79, 263
Стендаль (псевд., наст. имя и фам. Анри Мари Бейль) 230, 237
Степанищева Т.Н. (Stepaništševa T.) 33, 157, 174, 308, 313

Столович Л.Н. 266, 276
Строев В.М. 224, 225
Струве П.Б. 87
Суворов А.В. 292
Суйтс Г. (Suits G.) 90, 94, 96, 319
Сумцов Н.Ф. 196, 313
Суперфин Г.Г. 274
Суур А. 191, 313

Тамм А. 43
Тамм В. (Виллем) 39, 40
Тамм Х. 40
Тамманн Я. 202
Таммсааре А.Х. 41, 94, 311
Таннберг Т.-А. (Tannberg) 66, 100, 196, 314, 319
Тарвел Э. 311
Тардьё Ж.-Ш. 250
Теннер К.И. 27
Тиандер К.Ф. 91, 95
Тибулл Альбий 241
Тимо, Тимотеус — см. Бок Т.Э. (Т.Е.), фон
Тихонравов Н.С. 309
Тишлер Н. 47
Толстой Д.А., гр. 84
Толстой Л.Н., гр. 79, 84, 272
Толстой Ф.П., гр. 28, 114
Томашевский Б.В. 262, 294
Тоомель К. 41, 311
Топоров В.Н. 264
Тороп П.Х. 260, 267, 268, 290, 313
Тотлебен Э.И., гр. 101
Трейер Э. (Treier E.) 40, 319
Трепов Ф.Ф. 36
Трифонов Ю.В. 6
Тронский И.М. 262
Трумм А. 48
Туглас Ф. (Tuglas F.) 90, 315
Тургенев И.С. 84, 231
Тургенев Н.И. 32, 314
Тыниссон Я. 59
Тынянов Ю.Н. 30, 270, 290, 314
Тюрьморезов А.П. 181–184, 312, 314
Тютчев Ф.И. 177, 231, 280, 299

Уваров С.С., гр. 19, 216
Упит А.М. 92
Усов П.С. 256, 314
Успенский Б.А. 257, 264, 309
Уткин Н.И. 28

Фалий (Фаллийс) псевд. — см. Буллан К.
Фальк Х.Х. (Falck H.H.) 37
Фаминцын А.С. 42
Федотов Г.П. 87, 88, 314
Федотов Н.П. 165, 314
Фельдбах Й. (И.А.) 266
Фельман Ф.Р. 27, 53, 94, 96
Франциск Ассизский 71
Фрике Г.В. 148
Фрина 245, 248, 249
Фуко М. 30
Фукс О.М., фон 186
Фуллер У. 52, 76, 314

Хаава А. 94
Хансен В.А. (Hansen W.A.) 201
Хапонен Е.М. 278, 279
Ходасевич В.Ф. 90
Хомяков А.С. 218, 226
Хупель А.В. (Hupel A.W.) 17, 138, 140, 316

Цинциннат Луций Квинций 238
Цицерон Марк Туллий 241
Цокель, профессор анатомии 149
Цшокке (Zschokke) Г. 245

Чаадаев П.Я. 30, 84
Чайковский П.И. 42, 220
Чернов И.А. 267, 271
Чернышевский Н.Г. 49
Чехов А.П. 186, 314
Чиладзе О. 6
Чиж В.Ф. 179

Шаныгин А.М. 261
Шатобриан Ф.Р., де (Chateaubriand F.R., de) 243, 255, 315
Шафрановская Т.К. 97, 314
Шахвердов С.А. 267

Шахматов А.А. 206, 211
Шаховская Т.К. 21, 197
Шаховской А.А., кн. 218, 220, 221, 314
Шварц Е.А. 194
Шевченко Т.Г. 87, 272
Шевырев С.П. 228, 231, 232, 236, 312, 314
Шекспир У. 272
Шенле А. 236, 314
Шервинский С.В. 90
Шиллер Ф. 24, 30, 233
Шифнер А.А. (Schiefner Franz Anton) 105, 107
Шишков А.С. 224
Шмидт В.В. 190, 315
Шмидт К.Э.Г. 178
Шмурло Е.Ф. 199
Шор Т.К. 21, 204
Штакельберг А., фон 203
Штакельберги, семейство 39, 40
Шуйский И.П., кн. 218, 219
Шульц Г.Ю., фон (Schultz G.J., псевд. Др. Бертрам) 41, 318
Шульц Е.Г. (Элизабет, Елизавета Георгиевна, псевд. Адаевская) 41, 42
Шурупов И.З. 187, 189
Шуруповы 189

Эверс И.Ф.Г. фон 26
Эглитис (Эглитс) В. (Eglītis Viktors) 92, 93
Эйдельман Н.Я. 6
Эйзен И.М. 187, 315
Эйзеншмидт В.Г. 205
Эйхенбаум Б.М. 262
Эко У. 288, 289, 292
Элиазер (Элиасер) Р.Р. (Eliaser R.R.) 62, 68, 316
Эльяшев И.З. 91
Энст Б.В. (Enst B.) 42, 44, 316
Эриксон И.М. (Erikson I.) 140
Эрнитс В. 263
Эткинд Е.Г. 24

Юзефович М.В. 297
Юргенс М. 98
Юрий Ярославич, вел. кн. 169
Юрьев А. 42, 97
Юрьевская Е.М., светлейшая княгиня — см. Долгорукова Е.М. 38
Юрьевская О.А., княжна 38
Юрьевская Е.А., княжна 38
Юрьевский Б.А., кн. 38
Юрьевский Г.А., кн. 38

Языков Н.М. 17, 129, 153, 176, 241, 251, 315
Якобсон К.Р. 38, 45, 46, 53, 97
Якобсон Р.О. 265
Яковлев М.Л. 245, 249
Яннсен Й.В. 53
Янсен Э. (Jansen E.) 36, 45, 316
Янсонс-Браун Я. 92, 93
Ярослав Всеволодович, вел. кн. 141
Ярослав Мудрый, вел. кн. 145

Aarma L. — см. Аарма Л.
Abel T. — см. Абель Т.
Adaïewsky E. — см. Шульц Е.Г.
Alexander II — см. Александр II, российский император
Allas A. 319
Allmers H. — см. Аллмерс Г.
Alttoa V. — см. Альттоа В.
Ariste P. — см. Аристэ П.
Arvelius F.G. — см. Арвелиус Ф.Г.

Baedeker K., von — см. Бедекер К.
Barwiński E. 319
Baudouin de Courtenay J.N.I. — см. Бодуэн де Куртенэ И.А.
Berg J.C., von — см. Берг Ю.К., фон
Bock A., von — см. Бок А.Р., фон
Bray F.G., de — см. Брэ Ф. Г., де
Brüggemann K. — см. Брюггеманн К.
Bułgarin J.T.K. — см. Булгарин Ф.В.

Chateaubriand F.R., de — см. Шатобриан Ф.Р., де
Constant de Rebecque B. — см. Констан Б.
Cornelius P.J. — см. Корнелиус П.Й., фон

Delvig A., von — см. Дельвиг А.А.
Demata M. 318
Dezobry L.C. — см. Дезобри Л.Ш.
Dostojevski F. — см. Достоевский Ф.М.

Elango A. 316
Eliaser R.R. — см. Элиазер Р.Р.
Enst B. — см. Энст Б.В.
Erikson I. — см. Эриксон И.М.

Falck H.H. — см. Фальк Х.Х.

Gribojedov — см. Грибоедов А.С.
Grushow I. 316

Haeckel E.H.P.F. — см. Геккель Э.Г.Ф.А.
Hansen W.A. — см. Хансен В.А.
Hayes K.J. 315
Hippius O.P. — см. Гиппиус О.
Hupel A.W. — см. Хупель А.В.
Hüsken R. 41, 316

Issakov S. — см. Исаков С.Г.

Jansen E. — см. Янсен Э.
Jõgever J. — см. Йыгевер Я.

Kaelas A. — см. Каэлас А.
Kalda M. — см. Калда М.
Karell P.J. — см. Карелль Ф.Я.
Karjahärm — см. Карьяхярм Т.
Kärner J. — см. Кярнер Я.
Kasekamp A. — см. Казекамп А.А.
Kisseljova L. — см. Киселева Л.Н.
Knüpfer R.O. — см. Кнюпфер Р.
Koenig H.J. — см. Кёниг Г.Й.
Köler J. — см. Келер Й.
Kõvamees A. — см. Кывамеэс А.
Kreutzwald F.R. — см. Крейцвальд Ф.Р.
Kross J. — см. Кросс Я.
Kruus O. — см. Круус О.
Kuzovkina T. — см. Кузовкина Т.Д.
Küchelbecker W., von — см. Кюхельбекер В.К.
La Motte-Fouqué F., de — см. Ла Мот-Фуке Ф., де
Laaman E. — см. Лааман Э.
Laanes E. — см. Лаанес Э.
Lachmann R. — см. Лахман Р.
Laigna K. 317
Lapiņš J.E. — см. Лапиньш Я.
Laul E. 316
Laur M. 96, 317
Leake W.M. 317
Lepik M. — см. Лепик М.
Liim A. 316
Lipp M. — см. Липп М.
Loosme I. 202, 317
Lotman J. — см. Лотман Ю.М.
Lüüs — см. Лююс А.

Mälberg A. 318
Merkel G. — см. Меркель Г.
Moier J.C. — см. Мойер И.Ф.
Murray — см. Мюррей Д.

Nirk E. — см. Нирк Э.

Olesk P. — см. Олеск П.
Overbeck J.F. — см. Овербек И.Ф.

Pärnik Y.M. 41, 318
Peegel J. — см. Пеэгель Ю.
Petenberg J.D. — см. Петенберг Й.Д.
Pouqueville F.-Ch.-H.-L. — см.: Пуквиль Ф.Ш.Ю.Л.
Põldmäe R. 202, 318
Pullat R. — см. Пуллат Р.

Rabinovitz S.J. 311
Radloff F.W. — см. Радлов В.В.
Raudsepp V.P.H. — см. Раудсепп В.П.Х.
Reidna R. 40, 318
Rogov K. — см. Рогов К.
Rosen K.G.W.F. von, paron — см. Розен К.Г.В.Ф.
Rosenberg T. 100, 318
Russow F.N. — см. Руссов Ф.Н.
Ruubel P.J. — см. Руубель П.Й.

Salokannel J. 39, 319
Salupere M. — см. Салупере М.Г.
Samma O. — см. Самма О.А.
Schiefner F.A. — см. Шифнер А.А.
Schultz G.J., von (Bertram) — см. Шульц Г.Ю., фон
Senex, псевд., народный учитель 63, 74
Sirk V. — см. Сирк В.
Soonpää L. — см. Соонпяэ Л.
Soosaar A. — см. Соосаар А.
Soutzo A. 243, 319
Speake J. 315, 316
Stella-Sawicki J. — см. Савицкий Я.
Stepaništševa T. — см. Степанищева Т.Н.
Suits G. — см. Суйтс Г.

Tannberg T.-A. — см. Таннберг Т.-А.
Tardieu J.-C. — см. Тардьё Ж.-Ш.
Tischler N. — см. Тишлер Н.
Treier E. — см. Трейер Э.
Tuglas F. — см. Туглас Ф.

Umblia A. 104, 319

Veidemann R. — см. Вейдеманн Р.
Veske M. — см. Веске М.
Vilde E. — см. Вильде Э.
Vööl T. — см. Вёэль Т.

Weske M. — см. Веске М.
Wilde H.L. 104

Список иллюстраций

Вклейка между страницами 96 и 97:

1. Я. Кросс. *Таллинн. 1987. — Kross J.* Kogutud teosed. Kd. 7. Tallinn, 2002.
2. *Й. Келер.* Автопортрет. *1859. Масло.* — Эстонский художественный музей.
3. *Й. Келер.* Портрет доктора Ф. Карелля. *1886. Масло.* — Эстонский художественный музей.
4. *Й. Келер.* Портрет Э. Щульц-Адаевской. *1868. Масло.* — Эстонский художественный музей.
5. *Й. Келер.* Портрет Ф.Р. Крейцвальда (Ф.Р. Крейцвальд читает рукопись «Калевипоэга»). *1864. Масло.* — Johann Köler 1826–1899: 14 reproduktsiooni 150. sünniaastapäevaks / Koostanud ja kujundanud T. Allikvee. Tallinn: Kunst, 1976. № 7.
6. *Й. Келер.* Геракл укрощает Цербера. *1855. Масло.* — Эстонский художественный музей.
7. *Й. Келер.* Христос на кресте (Распятие). *1857–1859. Масло.* — Эстонский художественный музей.
8. *Й. Келер.* Фреска в апсиде Карловской церкви в Таллинне «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные…». *1879.* — Kunstniku käepuudutus: Johann Köleri freskomaal «Tulge minu juurde kõik...» Tallinn: EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus, 2014.

Вклейка между страницами 192 и 193:

1. Нарва. *Гравюра на стали В. Штавенхагена (W.S. Stavenhagen). 1860-е.* — Album Ehstländischer Ansichten / gezeichnet und herausgegeben von Wilhelm Siegfried Stavenhagen; in Stahl gestochen und gedruckt von G. G. Lange; mit erläuterndem Text von verschiedenen Verfassern. Mitau: im Selbstverlag des Herausgebers, 1867.
2. Н.М. Карамзин. *Неизвестный художник. 1790-е. Миниатюра.* — Русские портреты XVIII–XIX столетий / издал вел. кн. Николай Михайлович. СПб., 1909. Т. 5. № 95.
3. Ф.В. Булгарин. *Неизвестный художник. 1841. Гравюра на стали.* — Сто русских литераторов / изд. А. Смирдина. СПб., 1841. Т. 2.

4. Развалины Домского собора. Дерпт. *Художник и литограф Луи Хёфлингер (Georg Ludwig Friedrich Höflinger). 1860. Цветная литография.* — Album von Dorpat und Umgebungen. Dorpat: Verlag d. Lith. Anst. v. L. Höflinger in Dorpat, 1860.
5. Главное здание университета. Дерпт. *Художник и литограф Луи Хёфлингер (Georg Ludwig Friedrich Höflinger). 1860. Цветная литография.* — Там же.
6. Рыночная (Ратушная) площадь и ратуша. Дерпт. *Художник и литограф Луи Хёфлингер (Georg Ludwig Friedrich Höflinger). 1860. Цветная литография.* — Там же.
7. Каменный мост. Дерпт. *Художник и литограф Луи Хёфлингер (Georg Ludwig Friedrich Höflinger). 1860. Цветная литография.* — Там же.
8. М.А. Протасова-Мойер. *Фототипия с живописного портрета К.А. Зенфа. Дерпт. Конец 1810-х.* — Там же.
9. В.А. Жуковский. *Фототипия с миниатюрного портрета К.А. Зенфа. Дерпт. 1815.* — «Жизнь и Поэзия одно…». В.А. Жуковский: Изобразительные и документальные материалы из собрания Пушкинского Дома: Альбом. СПб., 2013.
10. Н.М. Языков. *Литография с акварельного портрета Е.И. (Отто Германа) Эстеррейха (Oesterreich). 1822.* — Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829) / под ред. и с объясн. примеч. Е.В. Петухова. СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесности Акад. наук, 1913. (Языковский архив; Вып. 1).
11. Н.И. Пирогов. *Художник А.Д. Хрипков. Дерпт. Конец 1820-х — начало 1830-х. Масло.* — Отдел рукописей и редких книг Тартуского университета.
12. Гарлиб Меркель. *Предположительно 1820–30-е. — Merkel G.* Die Letten vorzüglich in Liefland am Ende das philosophischen Jahrhunderts. Riga, 1924.
13. Одежда крестьян и крестьянок Эстляндской губернии. *Художник В.Ф. Тимм, литограф А.Э. Мюнстер. 1853. Тонированная литография.* — Русский художественный листок: [альбом]. СПб., 1853. Лист № 30.
14. Празднование столетнего юбилея Императорского Юрьевского (Дерптского) университета в актовом зале. *Фотография Р. Захнера. Юрьев. 1902.*— Виды зданий Императорского Юрьевского университета. Библиотека Тартуского университета. Fo Alb 1.
15. Главное здание Юрьевского университета [с церковью]. *Фото Р. Захнера. Юрьев. 1902.* — Там же.
16. И.А. Бодуэн де Куртенэ. *1910-е.* — Полвека для книги: 1866–1916. Литературно-художественный сборник, посвященный пятидесятилетию издательской деятельности И.Д. Сытина. М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1916. С. 305.
17. Михкель Веске. *Фотография из личного дела. Дерпт. 1880-е.* — Эстонский исторический архив. Ф. 402. Оп. 3. Ед. хр. 290.
18. Памятник народам (установлен в Дерпте в 1811 г.). *Фотография Р. Захнера. 1902.* — Виды зданий Императорского Юрьевского университета. Библиотека Тартуского университета. Fo Alb 1.

19. Панорамный вид Ревеля. *Художник П.П. Свиньин, гравюра на меди И.В. Ческого. 1820-е.* — Отечественные записки. СПб., 1828. Ч. 33. № 93.
20. Большой рынок / Торговая площадь в Ревеле (Ратушная площадь). *Литографы Л.Ж. Жакотте и А.Ж.-Б. Байо, по оригиналу Ж.Б. Арну. 1830-е. Литография. (Louis Julienn Jacottet, Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Jean-Batiste Arnout).* — *Филимонов В.С.* Живописная Россия, или Историко-статистическая панорама государства Российского. СПб., 1837.

Вклейка между страницами 256 и 257:

1. Ю.М. Лотман. *Тарту. Начало 1960-х.* — Фотография из личного архива Л.Н. Киселевой.
2. Ю.М. Лотман. *Тарту. Начало 1970-х.* — Фотография из личного архива Л.Н. Киселевой.
3. Кафедра русской литературы Тартуского университета. *Тарту. 1970.* — Фотография из личного архива Л.Н. Киселевой.
4. Ю.М. Лотман. *Тарту. 1976.* — Фотография из личного архива Л.Н. Киселевой.
5. Ю.М. Лотман. *Тарту. 1985.* — Фотография из личного архива Л.Н. Киселевой.
6. З.Г. Минц. *Мюнхен. 1989.* — Фотография из личного архива Л.Н. Киселевой.
7. Кафедра русской литературы Тартуского университета. *Тарту. 1982.* — Фотография из личного архива Л.Н. Киселевой.

ESTONIAN-RUSSIAN CULTURAL SPACE

Summary

This book's title is conceptual: in the tradition of the school of Lotman, cultural space is interpreted semiotically as a text with its own poetics, and studied according to the rules of rhetoric. This "text" results from the construction of a collective cultural consciousness through oral and written compositions, and the task of researchers is to reconstruct and describe it. This book analyzes Estonian-Russian cultural space as found in a variety of genres: novels, dramas, poetry, journalism, scientific and popular scientific essays, travelogues, travel guides, letters, and memoirs. The authors of these 19th and 20th century works are of various nationalities (Estonian, Russian, Baltic German, Latvian, Polish, Jewish) and speak different languages. The overarching theme of *Estonia* unites these disparate materials; they are all related to the history and culture of Estonia in the period during which it was a part of the Russian Empire (touching on both the Soviet and post-Soviet eras). This book touches on multiple facets and specific stories related to the fundamental subject of the interaction of cultures, mainly Estonian and Russian, but also Baltic German constituents. The texts I have chosen include little known and sometimes completely unstudied episodes; I have given famous events and texts a new interpretation.

In chapter one, "Jaan Kross' view on Russian history," I refer to the historical works of Jaan Kross, one of the classic writers of 20th century Estonian literature, including his novel *The Czar's Madman*, his novella *The Third Mountains*, and his play *Dr. Karell's Difficult Night*. I analyze them from three perspectives: through Kross' view on Russian history, through the poetics of his narration, and through the poetics of historical fiction (especially by studying the relationship between reality and fantasy and between the hero and his historical prototype). I demonstrate the pragmatics of the author's use of the methods of the historical novelist, including the mythologizing of history and the transformation of historical documents and facts. Writing during the Soviet era, Kross used these pragmatics in an effort to strengthen in Estonians — and in all readers living in the USSR — a belief in the spiritual strength and the enormous potential of the oppressed nations (*The Czar's Madman* and other works were immediately translated into Russian and were enormously popular across the Soviet Union).

Chapter two, "The Russian Empire and the Estonian national movement," uses the interaction between the Russian imperial space and the late 19th and early 20th century Estonian national movement to raise issues relevant to modern historical knowledge and widely discussed in academia around the world.

These issues include the nature of empire; the many ways to interpret loyalty; the idea of the equal rights of nations and nation building; and the evolution of the national movement from one fighting to gain the protection of imperial powers to one seeking cultural autonomy and, in the end, national independence. This chapter focuses on the internal contradictions between the idea of the empire as a multinational state and the policies of the Russian authorities in the late 19th and early 20th centuries, who strove to turn the Russian Empire into a homogenous Russian state. These issues are studied through Estonian texts and materials. In the first part of the chapter, I explore these themes through literary works, including the collection *Estes and Latvians: Their history and life*, published in Moscow in 1916 on the initiative of the Estonian diaspora; the collection *Fatherland*, published that same year by Russian public figures, the members of a party of cadets, seeking a way out of dead-end imperial nationalist politics; and the project put forth by the publishing house *Sail* of M. Gorky. Each of these, in one way or another, relates to the "Estonian matter." The authors of *Estes and Latvians* use anti-German rhetoric and rhetoric of success both to construct an image of the enemy and to depict the oppressed nations favorably. They are also used as a method of mobilizing Russian public opinion in favor of Latvians and Estonians. Analyzing these uses of rhetoric, I attempt to demonstrate the ways in which national leaders laid the groundwork for the establishment of Estonian national statehood in the dying days of the empire.

In the second part of this chapter, I compare this material to the history of the earliest phase of Estonian national reawakening, which distinctly demonstrates the dynamic development of the national idea and the skillful shift in strategies and tactics used by national leaders. As examples, I use the positions of Friedrich Nikolai Russow and Friedrich Reinhold Kreutzwald during the Crimean War, as well as the autobiography of J. Köler, father of Estonian painting (to which I found a supplement in an archive in Petersburg). The leaders of the first phase were oriented toward Russia, and "Russian" patriotism was a part of the Estonian national project. They are not to blame that tsarist authorities were unable to understand or value this pro-Russian orientation, which led to a change in course during the next phase of the national movement. I investigate Köler's autobiography using Y.M. Lotman's methodology of studying the semiotics of everyday behavior and his idea of the significance of behavior to understanding social life and historical processes — in this case, the Estonian national movement.

In chapter three, "Livonia through Russian eyes," I turn my attention to the semiotic understanding of borders, of "one's own" and "alien." I trace the ways in which the notions of the Baltic "frontier / borderlands" were reflected and what was understood as a "European province," etc., manifested among Russian subjects in the internal provinces of the Russian Empire, and how Russians perceived the local features and the peoples populating the Baltic region. The foundational texts for this study, therefore, are travel notes, journey novels, other

texts belonging to the complex genre of "travelogues," and travel guides published from the 1820s on. An impression of the Ostsee provinces as "Russia's own foreign lands" which was advanced at an early stage in the blending of Estonian-Russian cultural space, was cemented in the Russian cultural consciousness as a fundamental feature of the region. However, perceptions of Livonia and its populace evolved markedly. At first, the land is viewed as entirely German; German orderliness inspires delight, while the local population is repugnant: the stubborn, ignorant, and slovenly peasants do not want to submit to the civilizing influence of the Baltic Germans. Beginning in the 1840s, the picture gradually shifts: Germans begin to be perceived as foreigners in this land, and the native peoples as having their own history and culture deserving of respect. Of course, this evolution corresponds to the overarching historical context: a shift in attitude toward the "Ostsee question" in Russian public opinion, the development of ethnography as a science, and the powerful development of the culture of local peoples beginning in the mid-19th century. This evolution was neither rapid nor linear, and was complicated by the comparison and contrasting of Estonians and Latvians. I explore this question deeply through the compositions of F. Bulgarin and his unique interactions with the works of G. Merkel, A. Hupel, and F.G. De Bray.

Those Russian citizens (not necessarily ethnic Russians) who had lived in Estonia for a longer period (for example, those who had studied or taught at Tartu University or ended up here for other personal reasons) inherently held a particular point of view. Tartu itself, as a European "center on the periphery," is one of the main protagonists of this chapter. An analysis of its depiction in Russian literature and memoir leads to the conclusion that this depiction aligns completely with the representation of the "spirit of Tartu" in German, and, later, in Estonian culture. Tartu is portrayed as a "Livonian Athens," a city of youth, a hotbed of academic and spiritual freedom. Local linguistic and cultural specifics are discussed through the works of such varying authors as Nikolai Karamzin, Nikolai Yazykov, Faddei Bulgarin, the surgeon Nikolai Pirogov, Zhukovsky's step-niece Maria Protasova-Moier, and the great linguist J. Baudouin de Courtenay. I analyze Baudouin's works on the issues of national and linguistic equality, which for him lay the foundation for the normal coexistence of peoples. One of Baudouin's brightest performances lies at the heart of my analysis: a speech given in German at the 100-year anniversary of Tartu University, known at the time as the Imperial University of Yuryev. The speech, which proclaimed the equality of all the local languages (Estonian, Latvian, German, and Russian), was not received kindly by the audience, who, during this period of Russification, recalled with nostalgia the times when German dominated Dorpat University. Archival materials speak to Baudouin's role in the fate of Estonian lecturer, eminent Estonian linguist and public figure Mihkel Veske, who received a doctoral degree from the University of Leipzig, during the period in which they both taught at Tartu University.

Chapter four, "The Strange Ostsee," addresses the curious figure of the Baltic German Karl Georg Woldemar Friedrich von Rosen, who became a Russian writer and national ideologue. I analyze his dramaturgy (including the play *Siege of Pskov*), his travel notes from his European journeys, and his novel *Konstantin Leven (From my notes)*. As a Baltic German expatriate from Estonia who took the common "Yegor" as a new name, Baron Rosen is a case study of both a conscious replacement of cultural identity and an attempt to break cultural stereotypes and bring to Russian literature — against the literary tradition of the time — a positive image of the Ostsee hero. However, my analysis shows that in his travel essays, Rosen distances himself from Russian literature and emphasizes his "European" face, introducing himself as a student of Goethe and a fan of Horace.

The fifth and final chapter, "Yuri Lotman and Tartu," considers the 43-year academic activity of one of Tartu University's great scholars as a life choice and as a conscious act of participation in Estonian-Russian cultural construction. This chapter is not a strict study of Lotman's methodologies, although it does discuss the formation of his conception of the semiosphere, the evolution of structuralism, and his semiotic approach to literary and cultural history. Rather, it focuses on Lotman's activities as a builder of cultural space, such as his establishment of the Department of Russian Literature at Tartu University as a particularly academic and humanitarian unit; his pedagogical work as a lecturer and mentor; his extensive academic and popular publication record; his work to create Russian literature textbooks for Estonian schools; and his efforts to fight prejudice against Russian philologists, especially those who came to Estonia from Soviet Russia. Thanks only to his conscious, life-building principles and tireless, intentional efforts, Y.M. Lotman was able to establish his scientific school in Estonia, which has glorified the University of Tartu throughout the world. He changed not only scientific methodologies and broadened the horizons of scientific knowledge, but also influenced life around him, changing people and the cultural landscape.

The concluding Afterword addresses the methodological bases of the book and the objectives of the comparatively young interdisciplinary science of the study of Estonian-Russian cultural space. Before the field can establish overarching concepts, it is still necessary to complete the enormous task of collecting factual materials. Of utmost importance is to move beyond collection to interpretation, and to involve new methods in the contextual examination of the pragmatics and poetics of various texts. In some measure, this book moves us in that direction. At this stage, from my perspective, we must begin to study the historical dynamics of individual components of Estonian-Russian cultural space.

Содержание

А.С. Немзер. Открытое пространство 5

Предисловие 11

Глава 1. Взгляд Яана Кросса на русскую историю 23

1.1. Русская история и культура в романе Яана Кросса «Императорский безумец» 24
1.2. Герои и их прототипы у Яана Кросса (на примере новеллы «Третьи горы» и пьесы «Трудная ночь доктора Карелля») 35

Глава 2. Российская империя и эстонское национальное движение 52

2.1. Империя как пространство для национального строительства . .52
2.1.1. Конструирующая роль литературы в имперском национальном строительстве 52
2.1.2. Эстонско-латышский проект «Эсты и латыши, их история и быт» 56
2.1.3. Русский либеральный проект создания новой империи на основе равноправия наций: «Отечество. Пути и достижения национальных литератур России. Национальный вопрос» 76
2.2. Национальное самосознание на раннем этапе национального возрождения . . . . . .
2.2.1. Официальный патриотизм или забота об «эстонском деле»? Сочинения Фридриха Николая Руссова и Фридриха Рейнгольда Крейцвальда о Крымской войне 96
2.2.2. «Эстонский выбор» профессора Петербургской Академии художеств Йохана Кёлера-Вилианди. 109

Глава 3. Лифляндия русскими глазами 128

3.1. Европейские провинции империи. Переход через «русскую» границу 129
3.2. Лифляндия и ее народы в описании русских путешественников (позиция Ф.В. Булгарина) 134
3.3. Тарту — европейский «центр на периферии» 145

3.4. Эстония и эстонцы XIX в. в зеркале путеводителей 155
3.5. Об особенностях тартуских путеводителей 176
3.6. Эльва как пригород Тарту и дачный локус 186
3.7. О языковом равноправии и об академической солидарности (позиция профессора Тартуского университета И.А. Бодуэна де Куртене) 195

Глава 4. Странный остзеец. 213

4.1. Эстляндец барон Е.Ф. Розен — борец за русскую народность .213
4.2. «Русский путешественник» барон Розен — европеец и космополит. Италия как его идеальная отчизна 228
4.3. Роман об остзейце и его автор 242

Глава 5. Ю.М. Лотман и Тарту. 257

5.1. Академическая деятельность Ю.М. Лотмана в Тартуском университете 258
5.2. Ю.М. Лотман как собеседник: общение как воспитание 276
5.3. О лотмановской семиосфере 288

Приложение
Спецкурсы, прочитанные Ю.М. Лотманом в Тартуском университете с 1968 г. 288

Послесловие 300

Литература 304
Указатель имен 323
Список иллюстраций 334
Summary 337

Киселева, Л.Н.

К-44 Эстонско-русское культурное пространство / Киселева Любовь Николаевна. — М. : Русский путь, 2018. — 344 с. : ил.

ISBN 978-5-98454-045-2

В книге делается попытка по-новому поставить вопрос о культурных контактах сопредельных народов и рассмотреть эту проблему на примере взаимодействия трех культурных миров, исторически сосуществовавших на территории Эстонии — эстонского, русского и прибалтийско-немецкого. Героями книги являются эстонские писатели и культурные деятели Я. Кросс, Ф.Р. Крейцвальд, Ф.Н. Руссов, Й. Келер; деятели русской культуры — Н.М. Карамзин, Н.М. Языков, М.А. Протасова-Мойер, Н.И. Пирогов, Ф.В. Булгарин и многие другие; остзеец барон Е.Ф. Розен, избравший для себя путь русского писателя и национального идеолога; немецкий просветитель Г. Меркель; русские политики начала XX в.; великие ученые И.А. Бодуэн де Куртене и Ю.М. Лотман. Книга написана в традициях тартуско-московской филологической и семиотической школы. Автор использует понятие культурного пространства, конструируемого по законам текста. Процесс конструирования и эволюции эстонско-русского культурного пространства рассмотрен на материале произведений разных жанров, созданных в XIX и XX вв. на разных языках и объединенных эстонской темой.

УДК 929

ББК 63.3(2)6-4

Научное издание

Киселева Любовь Николаевна

ЭСТОНСКО-РУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Редактор: *М.В. Архиреев*
Корректор: *О.А. Савичева*
Верстка: *Л.А. Фирсова*

Подписано в печать 14.10.2018. Формат 60x90/16.
Тираж ?? экз.

ООО «Викмо-М»
125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 6, оф. 65
Тел.: +7 (495) 629-04-82
Сайт издательства: www.rp-net.ru или русский путь.рф
Сайт магазина «Русское Зарубежье»: www. kmrz.ru

Отпечатано в типографии: Чеховский печатный двор
Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Телефон: +7(495) 988-63-41
Сайт: www.chpd.ru

ISBN 978-5-98454-045-2